

Genre

sci_politics

Author Info

Борис Юльевич Кагарлицкий

Политология революции

В 1990-е годы, когда история многим казалась закончившейся, понятие «революция» почти полностью вышло из употребления интеллектуалов и политиков, используя разве что применительно к событиям прошлого. Радикальное преобразование общества представлялось чем-то невероятным и невообразимым.

Между тем, жизнь отнюдь не стояла на месте, а общество менялось. И с точки зрения миллионов людей менялось далеко не к лучшему. Главное историческое достижение капитализма, видимо, и состоит в том, что благодаря ему появляется на свет революционная антикапиталистическая альтернатива.

Обо всем этом можно прочесть в книге известного политолога и общественного деятеля левого толка Бориса Кагарлицкого.

2.0. - добавление обложки, редактирование тэгов, обработка скриптами, проверка орфографии, исправление замеченных опечаток, восстановление курсива, восстановление пропущенных сносок -

Артамен

Борис Кагарлицкий

Политология революции

От автора

Любая книга имеет свою историю. Ее текст складывался в несколько этапов, на протяжении довольно долгого времени. Работа над этой книгой началась в самый разгар неолиберальной реакции 1990-х годов. Левое движение в Европе, да и во всем мире переживало тогда, пожалуй, самый глубокий кризис за всю свою историю.

Это было лето 1995 года. В Восточной Европе бушевала приватизация, «прогрессивные режимы» в странах «третьего мира» наперебой зазывали к себе советников из Международного Валютного Фонда, в Южной Африке, где власть взял Африканский национальный конгресс вместе с профсоюзами и компартией, демократические перемены обернулись ростом безработицы и снижением жизненного уровня для черного большинства. Социал-демократы окончательно забыли слово «социализм». Еще никто не слышал про «антиглобализм». За пределами Венесуэлы еще никто не знал имени Уго Чавеса, а выживание сапатистского восстания в Мексике было под большим вопросом.

Именно в это удивительное время Левая партия Швеции собрала в маленьком летнем пансионате небольшое число людей, которых они, видимо, записали в некий негласный список «мудрецов». Попасть в подобный список вместе с Самиром Амином, Фредериком Джеймсоном и другими не менее авторитетными авторами было, разумеется, лестно, но, как говорится, положение обязывает. Несколько дней, отрезанные от цивилизации в сельской глуши Швеции, которая, как ни странно, не так уж сильно отличается от российской, мы должны были обсуждать будущее международных левых сил.

Любопытно, что позже я обнаружил аналог подобной дискуссии в вымышленном экспертном

сообществе, описанном у Сьюзан Джордж в книге «Доклад Лугано». Разница состояла лишь в том, что героями книги были защитники капитализма, предлагавшие рецепты сохранения системы, а мы думали о том, как с ней бороться.

Было, впрочем, еще одно различие: от нас не требовали никакого итогового документа. Да мы и не пришли к единому мнению. И все же эта дискуссия побудила меня сесть за письменный стол и начать собственную работу. Во-первых, надо было обобщить то, что я узнал и понял за время участия в левом движении — не только отечественном, но и международном. А во-вторых, сформулировать основные политические выводы, необходимые для дальнейшей деятельности. Первым итогом такой работы стала трилогия «Recasting Marxism», вышедшая в Лондоне. Издало ее «Pluto Press» в 1998–1999 годах. Поскольку в мало-мальски законченном виде текст существовал только на английском, в 2001 году я кое-как сделал выжимку из всех трех книг и опубликовал ее на родном языке в Москве в издательстве «Логос» под заголовком «Глобализация и левые». Честно говоря, ни я сам, ни читатели не были особенно довольны результатом. Книжечка получилась слишком короткая и довольно сумбурная. Прочитал ее мало кто — тираж был ничтожный. Да и время шло. Многие темы я сейчас уже вижу не так, как в конце 1990-х годов. С тех пор накоплено немало нового опыта. Левое движение вновь на подъеме, причем не только в западных странах: есть чему радоваться и в своем Отечестве. Естественно, эти новые успехи сопряжены и с новыми проблемами, с новыми разочарованиями.

Обо всем этом надо было писать и думать. Разумеется, эта книга отнюдь не является типичным плодом академической работы в библиотеках и архивах. Она была бы невозможна без постоянного общения с лидерами и активистами левых движений по всему миру — от Швеции до Южной Африки и от Филиппин до Бразилии. Можно сказать, что сама она, равно как и сознание ее автора, в некотором смысле, являются продуктами глобализации. На таком фоне положение дел с левым движением в России вряд ли можно было считать особенно впечатляющим (что и предопределило приоритет именно «западного» материала в данной работе). Между тем с 1999–2000 годов ситуация начала заметно меняться. Важным симптомом этих перемен является появление нового поколения радикальных социалистических активистов в России. Люди, издающие социалистическую прессу или организующие протесты против вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию, доказывают своей ежедневной деятельностью, что левые идеи у нас в стране перестают быть достоянием академических интеллектуалов и политических сектантов. К середине 2000-х годов будущее российского левого движения стало модной темой на заседаниях элитных экспертных сообществ, неизменно начинающихся с жалобы на то, что «молодежь левеет» и «марксистские идеи снова в моде».

Получившийся в итоге текст есть плод двенадцати лет работы — с 1995 по 2007 год. Когда я говорю о «работе», имеется в виду, разумеется, не только сидение в кабинете. Это плод не столько размышлений, сколько деятельности. Моей собственной и многих других людей, вместе с которыми я переживал спады и подъемы движения. Политическая практика просто не может быть индивидуальной. Потому и получившаяся в итоге новая версия книги появляется на свет в результате многочисленных споров, дискуссий и совместного опыта, общего для большого числа людей. Чтобы назвать их всех, не хватило бы места в этом предисловии. Но я не могу не упомянуть хотя бы несколько имен. В первую очередь, моих скандинавских товарищей Арена Этцлера, Аудина

Лисбаккена, Магнуса Марсдала, Али Эсбати, Стефана Линдгрена и Стефана Сьеберга, совместная работа с которыми сыграла значительную роль при подготовке этого текста. Не могу не поблагодарить и бывшего секретаря «Socialist Scholars Conference» в Нью-Йорке Эрика Канепа, человека, который не только великолепно поддерживает международное общение левых, но и делает его удивительно приятным. Михаэль (Миша) Бри и Хельмут Эттингер из Партии демократического социализма Германии на протяжении всех этих лет не только помогали мне собирать материалы о немецких левых, но и добросовестно терпели мою критику собственной партии. Непременно должны быть названы Джон Рис и Алекс Каллиникос, а также все мои коллеги по Транснациональному институту в Амстердаме и Институту глобализации в Москве.

Всем им и многим другим я, конечно, очень благодарен. Но главное — глубоко убежден, что самый интересный совместный опыт еще впереди. Как говорил Ленин, «приятнее и полезнее „опыт революции“ проделывать, чем о нем писать».[1]

Введение

В 1990-е годы, когда история многим казалась закончившейся, понятие «революция» почти полностью вышло из употребления интеллектуалов и политиков, используя разве что применительно к событиям прошлого. Радикальное преобразование общества представлялось чем-то невероятным и невообразимым.

Станным образом, это глубокое убеждение овладело людьми только что пережившими весьма масштабные перемены. Ведь крушение советского блока и окончание «холодной войны» сопровождалось социальными катаклизмами, которые выпадают на долю не каждому поколению. Однако произошедшее в Восточной Европе относилось, по мнению официальных мудрецов, к прошлому, которое раз закончившись, уже никогда не вернется и не повторится. Мир обрел некое идеальное состояние, которое характеризовалось сначала словосочетанием «свободный рынок», а потом и новым красивым термином «глобализация».

Между тем, жизнь отнюдь не стояла на месте, а общество менялось. И с точки зрения миллионов людей менялось далеко не к лучшему. Происходил демонтаж структур «социального государства», которые сложились в западном обществе на протяжении 40—60-х годов XX века под влиянием политической борьбы левых партий и рабочего движения. Конфликты «холодной войны» заменила «война с терроризмом», провозглашенная администрацией Соединенных Штатов. Европейские страны заполнили миллионы мигрантов, а расизм, считавшийся, наряду с антисемитизмом, пережитком прошлого, сделался почти респектабелен.

Начиная с публикации работ Самюэла Хантингтона о «конflikте цивилизаций», получили распространение теории о неизбежности «культурных» и «геополитических» конфликтов.[2] Эти взгляды быстро распространились в отечественной литературе, где нашли благодатную почву среди бывших профессоров марксизма-ленинизма, жадно искавших новой идеологической опоры. В рамках подобного подхода конфликты, порождённые капиталистической глобализацией, воспринимаются как исключительно «внешнее» противостояние между странами и культурами, точнее — между Западом, христианским миром, «атлантической цивилизацией» и Востоком, Югом, мусульманским миром.

Анализ противостояния труда и капитала заменяется мифом об «извечном» конфликте Запада и Востока, что, разумеется, абсурдно с исторической точки зрения — антикапиталистические,

антибуржуазные движения и идеологии родились именно на Западе, и лишь потом, по мере развития капитализма за пределами Европы, были импортированы на Восток. Такая «культурная» интерпретация капитализма очень удобна для его сторонников, поскольку автоматически снимает вопрос о внутренних противоречиях системы. Но в конце 1990-х годов господство подобных идей было столь полным, что они принимались даже частью критиков либерального порядка. Признавая, что «в плане научно-техническом и экономическом иной альтернативы этому миру нет», наши герои затем угрюмо сетовали на то, что глобализация «это стандартизация мира, утрата им своего многообразия и многоцветия». А это, в свою очередь означает деградацию культуры, в том числе и западной, ибо «принципом культуры является не однообразие, а многообразие».[3]

Надо сказать, что в этом вопросе сторонники либеральных теорий как раз готовы идти на уступки. Культурное оформление господствующего проекта допускает небольшую дозу плюрализма. Можно даже признать «возможности исторического культурного и цивилизационного компромисса, культурной множественности, концептуальной корректировки методов и теорий экономической либерализации и движения к политической демократии». При этом, однако, границы компромисса заранее обозначены, ибо «преимущества открытой экономики не подлежат сомнению».[4]

Идеология торжествующего капитала стала общим местом массовой прессы и, в известном смысле, массового сознания в Америке и большинстве европейских стран, не, исключая и Россию. Воззрения, распространяемые популярными изданиями, по-своему, даже более показательны и значимы, нежели построения идеологов. С одной стороны, требования глобализации определяются как объективная необходимость и чисто техническая задача. «Глобализация мировой экономики неизбежно ведет к нивелированию различий в экономических системах разных стран, — читаем мы на страницах деловой прессы, — и задача международных организаций — оказывать помощь развивающимся странам в движении к открытой экономике».[5] Эту задачу должны были решать Всемирная торговая организация, Международный Валютный Фонд и Мировой Банк. Энтузиазм проповедников буржуазного рая не знал границ, «Философские основания западной, или либеральной, модели — индивидуализм и прагматизм. Фундаментальное превосходство Запада, построенного на этих принципах, над общинным и иррациональным Востоком в итоге должно привести к установлению демократии и свободного рынка во всем мире и концу истории как борьбы идей, — такова логика глобальной либерализации». Спротивление «иррационального Востока» обречено. «В новом мире, где расстояния исчезают и время обмена информацией сокращается до секунд, культурная традиция перестает играть определяющую роль в экономике. Можно, применяя универсальную методику реформирования, построить единую планетарную экономическую систему, основанную на принципах свободного рынка и, возможно, политической демократии».[6]

Показательно, что, если «свободный рынок» определяется здесь как абсолютная необходимость и сверхценная идея, то демократия — не более как «возможность». Забегая вперед, отметим, что применение «универсальной методики реформирования» привело не к нивелировке различий и сближению стран по культуре и уровню социально-экономического развития, а как раз наоборот: росту различий, поскольку, последствия применения одних и тех же «универсальных» методов оказались совершенно разными в разных ситуациях (одни страны модернизировались и увеличивали производство, пусть и ценой возрастающего социального неравенства, другие, напротив, технологически деградировали и т. д.). Парадоксальным образом и культурные конфликты по мере

развития «глобальной интеграции» лишь нарастали. Что гораздо важнее, применение либеральных методов означало резкий рост социальных конфликтов и противоречий в самих западных странах — даже в тех случаях, где имел место реальный экономический рост.

Чем более торжествовал либеральный буржуазный проект, чем более успешно преодолевал он на своем пути препятствия, оставшиеся от времен «холодной войны», тем больше вызывал отвращение у миллионов людей, оказавшихся в роли жертв капиталистического эксперимента. В 1999–2001 годах на политической сцене появились и радикальные движения, бросившие вызов этому порядку вещей и добившиеся первых успехов.

Растерянная буржуазная пресса обозвала этих молодых людей «антиглобалистами».

Эти успехи новой массовой оппозиции находились в вопиющем контрасте с безволием и деморализацией традиционной левой. Протесты 1999–2001 годов заставляют нас в очередной раз переосмыслить содержание понятия «левые». Некоторым наблюдателям массовые выступления рубежа веков казались повторением молодежного бунта 1968 года, вторым изданием тогдашней «новой левой». Можно сказать, что и «новая левая» и радикалы начала 2000-х годов бросали вызов традиционным левым организациям почти в той же мере, как и капитализму. В то же время будущее «традиционных организаций» в очень большой степени и тогда и теперь зависело от способности воспринять новые импульсы, идущие от стихийного движения и обновить себя в диалоге с ним. Однако в 1999–2001 годах среди активистов движения постоянной темой стала не только критика официальной социал-демократии и «сталинистской традиции», но и критика «новой левой» 60-х годов, которая оценивалась, как движение, не сумевшее достичь своих целей и деградировавшее. В течение XX столетия основной кассовой базой как социал-демократических, так и коммунистических партий Запаदा оставалось организованное рабочее движение. В 1980—1990-е годы упадок профсоюзов в развитых индустриальных странах стал общепризнанным фактом. Однако на рубеже веков обнаружились новые тенденции, заставляющие по-новому взглянуть на будущее рабочих организаций. В то время как профсоюзы Западной Европы стабилизировались, произошло резкое увеличение численности и активизация профсоюзов «третьего мира». Это отражает на политическом уровне социально-экономические сдвиги, произошедшие в этих странах — рост рабочих организаций является естественным следствием индустриального развития, а их политический радикализм — следствие гораздо более тяжелого положения трудящихся на периферии мирового капитализма (что также имеет прямое отношение к процессам глобализации). Перемены происходят не только в странах «периферии», Новые политические тенденции наметились к концу 1990-х в более развитых странах, включая даже США, где профсоюзы стали искать новых методов работы и организации.[7] Взаимоотношения между новыми антикапиталистическими движениями и профсоюзами стали также важнейшим предметом дискуссий, как в традиционных рабочих организациях, так и среди «антиглобалистов».

Изменения, кризис и упадок, наблюдаемые в левых партиях на протяжении большей части 1990-х годов, выглядят особенно парадоксально на фоне их относительной электоральной стабильности. Сочетание стабильных, а порой и успешных результатов на выборах с глубоким внутренним кризисом заставляет искать ответа не в анализе конкретных политических решений, принятых теми или иными лидерами, а в чем-то другом.

Хотя кризис левых партий нередко связывают с крушением советской системы в 1989–1991 годах, он

имеет гораздо более глубокие причины, как в эволюции капиталистического общества, так и во внутреннем развитии самих левых организаций. К числу этих причин можно отнести изменение роли и значения национального государства в процессе глобализации, информационную революцию, вызвавшую резкие сдвиги в структуре и характере наемного труда, изменение социальной базы самих левых партий, что неизбежно влечет за собой сдвиги в сфере идеологии.

Несмотря на то, что большая часть западных левых (включая крупнейшие коммунистические партии) критически относилась к советскому опыту, распад СССР и последовавшая затем реставрация капитализма в России спровоцировали острейший идеологический кризис в левом движении.[8]

Однако, где яд, там и противоядие. После краткого периода отрицания привычной теории, наступило время идейных поисков. Интерес к марксизму (причем не только в левых кругах) резко оживила именно глобализация, подтвердившая многие прогнозы Карла Маркса относительно развития капитализма как мировой системы, разрушающей границы и втягивающей в свой оборот все страны и народы. Этот интерес к Марксу как пророку глобализации проявился в ходе парижской международной конференции 1998 года, посвященной 150-летию «Коммунистического манифеста».[9] Аналогичным образом рассматривались вопросы об актуальности марксизма в дискуссиях, организовывавшихся Фондом Розы Люксембург в Германии[10] и «Брехтовским Форумом» в США.[11]

То, что в конце 1990-х считалось среди левых «обнадеживающей тенденцией», к началу 2000-х стало новой массовой модой. Посвященные марксизму книги стали выходить впечатляющими тиражами, выступления радикальных ораторов начали собирать массовые аудитории, а в Интернете «красных» сайты резко повысили свои рейтинги. Начавшись в Западной Европе, волна нового молодежного радикализма докатилась к 2002–2003 годам и до России.

По мере того, как возрождалось левое движение, становились очевидны и возникающие в нем противоречия. Старые политические организации столкнулись и с интеллектуальным вызовом, брошенным теоретиками, которых эти партии на протяжении предыдущего десятилетия тщательно игнорировали.

Процессы трансформации и идеологического и организационного обновления левых сил в России приняли, как всегда бывает у нас, яркую и самобытную форму. От их исхода, в конечном счете, зависит и характер формирующегося в нашей стране политического спектра, партийно-политической системы и, возможно, будущее демократических институтов. Именно типичное для западной молодежи 2000-х годов ощущение неадекватности и, зачастую, недейственности, формальности привычных демократических институтов стало одной из причин того, что ареной политической борьбы стала улица. Однако если на Западе речь идет о кризисе сложившейся системы парламентаризма, то в России отражают элементарное отсутствие практической демократии. Вписываясь в мировую капиталистическую систему, российское общество неизбежно создает условия и для формирования радикального социалистического движения, отвечающего требованиям современности. Главное историческое достижение капитализма, видимо, и состоит в том, что благодаря ему появляется на свет революционная антикапиталистическая альтернатива.

Глава I. Глобализация

Каждая эпоха любит хвастаться своей «новизной». Так, по крайней мере, обстоят дела в

капиталистическом обществе, которое готово предлагать даже исторические и философские термины как товары, выставляемые на рынок. Чем чаще появляются новые термины — тем лучше, ибо это поддерживает интерес к дискуссии.

Слово «глобализация», появившись в экономической литературе конца 1980-х годов, получило, распространение в прессе к середине 1990-х, а к концу десятилетия сделалось не просто общепринятым, но и модным. Идеологи нового либерального порядка подчеркивали, что речь идет о глобальном торжестве идей и структур «западной цивилизации», триумфе «открытого общества». Действительно, в 90-е годы XX века, после распада советского блока, капитализм стал не просто господствующей, а единственной и единой системой в масштабах планеты. Относится это не только к принципам частного предпринимательства, к свободному рынку и формальным нормам буржуазной демократии, но и к идеологии, провозглашающей накопление капитала наиболее рациональным и здоровым принципом общественного развития. Причем капитализм восторжествовал в своих радикальных, агрессивно-либеральных формах, как на уровне практики, так и на уровне идеологии. Что, впрочем, закономерно. «Умеренные» формы буржуазной общественной практики и сознания — «смешанная экономика», «социальное государство», правительственное регулирование, социальный либерализм и все то, что позднесоветская интеллигенция восхищенно называла «цивилизованным капитализмом» — сами по себе сложились в качестве уступки правящим классам вызовам антисистемных движений XIX и XX веков [12], а также являлись ответом на конкуренцию советского блока. С крахом СССР и ослаблением антикапиталистической оппозиции отпала нужда и в идеях «умеренных» идеологов в самом либеральном лагере.

Что касается левых, то они резко разделились на две группы. Одни (большинство левого «политического класса») пришли к выводу о совершенной невозможности противостоять «естественному ходу вещей», поставив перед собой единственную задачу: успешно приспособиться к новым требованиям буржуазного общества. Другая группа (более радикальные представители движения) вместе с протестующими массами составила костяк возникшего на рубеже XX и XXI столетия «антиглобалистского движения».[13]

В качестве наиболее серьезных критиков «корпоративной глобализации», выработавших идеологию и аргументацию «антиглобализма», можно назвать американскую исследовательницу Сьюзан Джордж, филиппинца Уолдена Белло, сингапурского экономиста Мартина Хора.[14] Хотя они работают в разных странах, речь явно идет о единой международной «школе» экономического анализа, что тоже можно считать результатом развития глобального капитализма. Все эти авторы являются не только признанными академическими экономистами, но и активными участниками различных международных неправительственных организаций. Показательно также, что, несмотря на различие культур между представителями «Севера» и «Юга», антиглобалистская литература существует именно на английском языке.

Различия между идеологами «антиглобализма» проявляются не столько в подходе или методологии, сколько в радикализме выводов. Как и во всяком оппозиционном движении, здесь воспроизводится противостояние между реформистским и революционным отношением к системе. Единодушно отрицая неолиберализм, «антиглобалистские» авторы куда менее единодушны в отношении будущего капитализма. Чем больше распространяются сомнения в благотельности последствий глобализации, тем чаще в рядах критиков обнаруживаются представители элит.

В 1998–1999 годах противники международных финансовых институтов получили неожиданного союзника в лице Дж. Стиглица, в недавнем прошлом — главного экономиста Мирового Банка. Поработав несколько лет на одной из самых важных руководящих должностей планеты, Стиглиц выступил с осуждением системы, обвинив ее в вопиющей неэффективности и очевидной злонамеренности.[15]

Анализируя итоги неолиберальных реформ в Восточной Европе, Стиглиц отметил в январе 2000 года, что, за исключением Польши, «все перечисленные страны после перехода рыночной экономике достигли меньшего, нежели до него. Более того, они не могут даже достичь уровня 1989 года». Подобные результаты тем более катастрофичны, что системы советского типа сами по себе не отличались высокой эффективностью и к 1989 году находились в глубочайшем кризисе. «Но еще хуже обстоит дело, если мы посмотрим на данные о бедности. 18 из 25 рассматриваемых стран, по которым есть данные, показывают, что количество людей, живущих в бедности, выросло с 4 % до 45 % населения». При этом, отмечает Стиглиц, вопреки официальной теории «быстрее росла экономика в странах с более высокой инфляцией, а не наоборот».[16] Как и следовало ожидать, после подобных выступлений Стиглиц вынужден был покинуть Мировой Банк.

Растиражированная тысячами популярных книг и журналов, банальная мудрость современного либерализма объявляет эпоху глобализации временем, когда национальное государство не то чтобы уходит в прошлое, но как будто утрачивает самостоятельное значение. Вместе с ним должен отмереть и традиционный социалистический проект. Ведь на протяжении XX века левые связывали перспективы социальных преобразований именно с национальным государством. Это в равной степени относится и к социал-демократическим, и к коммунистическим, и к левосоциалистическим партиям. Между тем к 70-м годам XX века стало очевидно, что государство уже не располагает монополией на власть. Мишель Фуко потряс умы французской интеллигенции, продемонстрировав, что власть в обществе расплывлена и находится вовсе не там, где ее принято искать. Еще более сильным ударом по концепциям левых оказался демонтаж системы государственного экономического и социального регулирования, начавшийся в 80—90-е годы XX века. Осознав, что государство не располагает полнотой реальной власти в обществе современного капитализма, левые растерялись. Если реальный контроль осуществляется за пределами государства, быть может, надо вообще снять вопрос о борьбе за власть? Найти другие способы изменить мир? Тем более что борьба за власть породила авторитарную практику большевиков и бюрократическую рутину социал-демократии.[17] Но если государство не является всей властью, это еще не значит, что вопрос о власти может быть решен вне государства и помимо него. Поскольку капиталистический рынок не может обойтись без вне рыночных институтов, государство, будучи само по себе некоммерческим учреждением, играет ключевую роль, обеспечивая не только финансирование публичных институтов, но и взаимосвязь между развитием экономики и различных структур социальной сферы.

Чем меньше государство поддерживает социальную сферу, тем менее оно легитимно в глазах населения, и тем труднее ему защищать сложившийся общественный порядок. Антонио Грамши в «Тюремных тетрадах» не случайно уделил так много места вошедшему позднее в моду понятию «гегемонии». Без определенного согласия управляемых государство вряд ли могло бы осуществлять свою классовую функцию. А это значит, что, будучи инструментом правящего класса,

государственная система не может не учитывать и интересы других слоев общества. Кризис государственности наступает тогда, когда институты власти оказываются неспособны к этому. Противоречивость государства отражается в противоречивости политики левых по отношению к нему. Но проблема существует не только для левых. Либерализм, провозглашающий принцип «меньше государства», постоянно нуждается в полицейском принуждении, чтобы осуществить свои идеи на практике. На первый взгляд кажется странным, что либерализм, будучи идеологией буржуазии, нападает на буржуазное же государство, изображая его неэффективным, насквозь бюрократизированным и в значительной мере бесполезным. Если почитать либеральных публицистов, пишущих о жизни современной России, легко прийти к выводу, будто, правительственный аппарат президента Путина только и делает, что вставляет палки в колеса бизнесу и препятствует развитию рынка. Однако в это же время частные компании делают рекордные прибыли, буржуазные отношения развиваются, а акции стремительно растут в цене. Противоречие здесь мнимое: либерализм направлен против не-буржуазных элементов в буржуазном государстве. Он не против полицейского насилия (когда оно направлено на защиту частной собственности), но постоянно призывает свести к минимуму роль институтов, не связанных непосредственно с защитой капиталистического порядка. Парадокс в том, что социальные уступки стабилизируют капиталистические отношения куда эффективнее, чем полицейские репрессии. Поэтому последовательные либеральные идеологи то и дело выступают в неожиданной для себя роли людей, которые стабилизируют существующий буржуазный порядок, навлекая на себя не только гнев государства, но и недовольство прагматически мыслящих лидеров бизнеса. Представители социальной сферы тоже не любят государство, но им становится еще хуже, когда государственные институты слабеют. Интеллектуалы, в свою очередь, терпеть не могут чиновников, но постоянно обращаются к ним за помощью, особенно, когда им нужны деньги. Без государства светская интеллигенция существовать неспособна. Другое дело — церковная. Она может кормиться от паствы, это доказано историей феодализма. Но современный интеллектуал не готов уходить в монастырь.

Социальная сфера, играющая все большую роль в жизни человечества, не может развиваться вне государства, и в то же время структуры государства совершенно непригодны для нее. Противоречие между теоретической потребностью в обновленном государстве и практической несостоятельностью государства нынешнего выливается в беспомощность политической стратегии левых сил, путаные заявления идеологов и растерянность активистов. В целом идеологи смирились с навязанным им либералами образом государства как унылой бюрократической машины, которая ничем эффективно управлять не может, а лишь пожирает деньги налогоплательщиков. Тем более что подобные образы возникают не на пустом месте. В большинстве стран отнюдь не левые были создателями государственной бюрократии. И все же к концу XX века именно они оказались в сознании миллионов людей ее служителями и защитниками. В то же время правые силы эффективно используют в своих интересах и раздражение граждан против государства, и не менее сильную потребность граждан в государственной защите перед лицом внешней угрозы. А этой угрозой все чаще оказываются не полчища иноземных завоевателей, а горы иностранных товаров, толпы полуголодных иммигрантов и стремительно интернационализирующаяся мафия. Короче — естественные последствия самой проводимой правыми глобальной экономической политики.

В 90-е годы XX века возможность серьезных структурных реформ на уровне национального государства была поставлена под сомнение. Глобализация стала ключевой идеей неолиберализма в 1990-е годы на фоне растущего разочарования масс в рыночных реформах. Разочарование это охватывало практически все страны, испытавшие на себе прелести свободного рынка. Бывший левый социолог Фернандо Энрике Кардозо, ставший позднее правым президентом Бразилии, с важным видом объяснял главному редактору российского журнала: глобализация это прогрессивная интеграция мировых рынков — финансовых и прочих. Это формирование относительно единой производственной системы и распространение ее на весь мир. Такова современная форма капитализма. Динамика глобализации определяется крупными корпорациями. Именно они обладают ресурсами, необходимыми для рационализации производства, а также информацией и средствами ее обработки, что позволяет ориентироваться в ситуации и принимать верные решения. В определенном смысле глобализация — это современное воплощение прогресса, и в этом ее можно сравнить с индустриализацией в Европе в начале XIX века, радикально изменившей привычный порядок. Многие выступали тогда против промышленной революции, но их протесты не остановили ход истории. То же самое и с глобализацией. Для вящей убедительности Кардозо вспомнил молодость и привлек в союзники основоположника марксизма: «Что за странные люди! — наверняка сказал бы об антиглобалистах Карл Маркс, будь он сегодня жив. — Выступать против глобализации — это практически то же самое, что отрицать идею прогресса».[18]

Все здесь основано на подмене понятий, затемнении смысла и игре словами. Насколько верными и обоснованными являются решения, принимаемые корпорациями, мы могли убедиться во время финансового кризиса 1998 года, не только обрушившего экономику десятков развивающихся стран, но и уничтожившего многомиллиардные инвестиции наиболее информированных и компетентных финансистов. Промышленная революция представляла собой массовое внедрение новой техники, и многие либеральные публицисты ссылались именно на информационные технологии как на основу глобализации. Однако Кардозо, будучи бразильцем, прекрасно знал, что в ходе глобализации наблюдалось не только внедрение новой техники, но и вытеснение машин в глобальном масштабе дешевым ручным трудом (другое дело, что компьютерные сети позволяли эффективно координировать взаимодействие предприятий, внутренний распорядок которых оказывался порой совершенно средневековым).

Если убрать риторику и демагогию, становится понятно, что для Кардозо всевластие капитала тождественно прогрессу, а суть глобализации он справедливо трактует как распространение ничем не ограниченной и ни перед кем не ответственной власти корпораций в масштабах планеты. Обратной стороной этой власти становится, согласно либеральной теории, резкое сокращение хозяйственных и социальных функций государства, возвращение его к типичной для начала XIX века роли «ночного сторожа». Это подают как явление закономерное, необходимое и прогрессивное. Среди левых тезис о «бессилии государства» получил тройственное обоснование. Правительства были объявлены бессильными по отношению к транснациональным корпорациям (таким, как «Microsoft», «Ford», «Газпром»), к международным финансовым институтам (таким, как Всемирная торговая организация, Мировой Банк и Международный Валютный Фонд) и, наконец — к межгосударственным образованиям, например, по отношению к институтам, создаваемым в Европе на основе Маастрихтского договора, или к Североамериканскому договору о свободной торговле

между США, Канадой и Мексикой (North American Free Trade Agreement — NAFTA). Отношение к европейской интеграции стало на Западе одним из ключевых вопросов для левых партий. Принципы, записанные в Маастрихтском договоре и других соглашениях, оформляющих новые правила игры в объединенной Европе, полностью соответствуют требованиям неолиберализма и трудно совместимы с традициями «социального государства». Разумеется, институты «социального государства» тоже не могут быть устранены в одночасье, но их эрозия является очевидным фактом точно так же, как и связь этой эрозии с формами, которые принял процесс европейской интеграции конца 1980-х годов. Среди левых произошло новое принципиальное размежевание — между теми, кто ради формирования единой Европы считает допустимым и даже необходимым демонтаж институтов «социального государства» (обещая, конечно, потом все подправить), и теми, кто, сохраняя приверженность традиционным принципам, выступает против новых европейских институтов (по крайней мере, в их неолиберальной форме). При всей новизне вопросов, вставших на рубеже XX и XXI веков, глобализация вовсе не является чем-то качественно новым для истории буржуазного общества. Капитализм зародился и возник сначала именно как мировая система.[19] Эта мировая система достигла первого пика своего развития к началу XVII века, после чего разразился длительный кризис, сопровождавшийся войнами и революциями. Лишь к концу XVIII века стал развиваться национальный капитализм, укорененный в социальной структуре конкретных западных обществ. Таким образом, национальный капитализм, да и сами современные нации, является не предпосылкой, а продуктом развития буржуазной мировой системы.

Джеймс Петрас и Иммануил Валлерстайн вычленили целый ряд последовательных циклов глобализации капитализма, за которыми следовали циклы деглобализации, или, если угодно, циклы «национального развития».[20] Вторая «глобализация» развернулась в 1830–1914 годах, завершившись новыми войнами и революциями. На исходе XX века капитализм опять становится непосредственно глобальным. Но это не отменяет существования национального общества и государства, хотя они (как и в эпоху раннего капитализма) оказались в глубоком кризисе. Петрас, разумеется, не первый, кто говорит об исторической цикличности в развитии капитализма. Английский исследователь Рэй Кайли (Ray Kiely) замечает, что процесс глобализации подробно описан уже в «Коммунистическом манифесте» Маркса и Энгельса. «Таким образом, для Маркса глобализация в конечном итоге — это продукт динамики капиталистического способа производства, которая, в свою очередь, порождена исторически специфическими производственными отношениями».[21]

Петрас обращает внимание на то, что и транснациональные корпорации имеют прямых предшественников в лице торговых компаний XVI–XVIII веков. Развитие капитализма в принципе циклично, и нет никаких оснований утверждать, будто перемены, произошедшие в обществе к концу XX века, в принципе «необратимы». И все же не следует упускать из виду и качественное отличие глобализации от предыдущих периодов интернационализации капитализма. Благодаря технологическому подъему и победе в «холодной войне» капиталистическая мировая система впервые в своей истории действительно стала всемирной системой. Предсказание Маркса и Энгельса о капитализме, преодолевающем все государственные и национальные границы, сделанное в «Коммунистическом манифесте», сбылось в полной мере лишь 150 лет спустя.

Полемизируя с теми, кто связывает глобализацию исключительно с технологическим переворотом, Петрас склонен считать, что технология вообще не имеет отношения к этому процессу. Она совместима с разными экономическими механизмами. Глобализация порождена изменившимся в пользу капитала соотношением классовых сил. Проблема, однако, не в том, с чем «совместима» технология, а как она влияет на общее развитие капитализма. В этом смысле взгляды Петраса несмотря на вполне понятный политический пафос, представляют собой пример своеобразного социологического субъективизма. Анализируя мировую экспансию капитализма в XIX веке, Маркс и Энгельс вовсе не считали технологию нейтральной, напротив, они прямо связывали новые фазы развития капитализма с новыми производительными возможностями.

Показательно, что «интернациональные» циклы в развитии капитализма совпадают с периодами, когда технологии, обеспечивающие связь, торговлю и коммуникации, развиваются быстрее, чем собственно производственные. Торговый капитализм XVI–XVIII веков был временем географических открытий, стремительного усовершенствования морских судов (достаточно сравнить тихоходные средиземноморские галеры с фрегатами нового времени), дорожного строительства и т. п. Индустриальная революция совпадает с подъемом национального государства. Появление фордистских технологий массового производства тоже совпадает с усилением роли государства в XX веке. Производство всегда локально, оно нуждается в конкретном «месте», где нужно решать конкретные социальные и политические проблемы.

В конце XX века, несмотря на рост производительности труда в промышленности, темпы развития коммуникационных технологий оказались существенно выше. Именно здесь мы видим наиболее впечатляющие достижения технологической революции. Это, безусловно, является объективной предпосылкой глобализации. Однако так будет не всегда. Развитие капитализма не только циклично, оно и неравномерно. С этой точки зрения можно по-новому взглянуть на знаменитые «кондратьевские циклы», или «длинные волны», в развитии капитализма. Открытие знаменитого русского экономиста 1920-х годов Н.Д. Кондратьева, обнаружившего, что в развитии капитализма периоды многолетней экспансии сменяются столь же затяжными эпохами депрессии, оказало огромное влияние на социальных историков и социологов. Конечно, и депрессии, и рост относительно, деловая конъюнктура, постоянно колеблется, но долгосрочные тенденции все же очевидны. Если посмотреть на приведенные Кондратьевым даты, легко заметить, что фазы экспансии (сам исследователь несколько тяжеловесно называл их «повышательными волнами») совпадают с возрастанием роли национального государства. Другое дело, что растущее влияние государства на экономику проявляется порой не в прямом вмешательстве, а в увеличении военных заказов и вынужденном протекционизме — как во время «континентальной блокады», сопровождавшей наполеоновские войны. Показательно, что отмена «континентальной блокады» после распада империи Наполеона приводит не к бурному росту экономики, а, напротив, к затяжным депрессиям. Фазы длительного спада, напротив, как легко обнаружить, характеризуются преобладающим развитием средств обмена и коммуникаций. По Кондратьеву, выдающиеся технологические новации часто предшествуют фазе подъема в мировой экономике, причем сам Кондратьев, приводя многочисленные данные о датах изобретений, не обратил внимания на то, что на «понижательные волны» приходится как раз наибольшее количество изобретений в области транспорта. Массовое внедрение новых производственных технологий начинается еще в период

«понижающейся волны», но само по себе меняет «правила игры» капитализма. Происходит это не сразу. Более того, перемены приходят не механически, не сами собой, а через цепочку социальных, политических и экономических кризисов. Кондратьев делает еще один важный вывод, на который впоследствии мало кто обращал внимание: «На периоды повышательных волн больших циклов приходится наибольшее количество важнейших социальных потрясений, как революционных, так и военных».[22] Напротив, фазы спада в кондратьевских циклах совпадают с эпохами политической реакции.

С точки зрения кондратьевской теории «длинных волн», мы находимся сейчас на рубеже. Волна понижения мировой экономической конъюнктуры, начавшаяся в 1970-е годы, вроде бы подходит к концу. Но и новая фаза подъема никак не может начаться. Некоторые аналитики даже говорят о том, что «кондратьевские циклы» перестали работать, другие полагают, что они стали предельно короткими (подъем начался в первой половине 1990-х годов, но в начале 2000-х уже сменился «понижительной волной»). По мнению большинства экспертов, нам предстоит начало нового цикла, причем переход от одной фазы экономического развития к другой неизбежно сопряжен с политическими и социальными потрясениями. Начавшийся в 1997–1998 годы мировой финансовый кризис и биржевой кризис 2000 года в США — лишь первые симптомы этого процесса. Мощный всплеск радикальных движений и развязывание Соединенными Штатами войны в Афганистане и Ираке в 2002–2003 вписываются в эту же логику.

На самом деле проблема не в Кондратьеве, а в примитивной интерпретации его идей современными экономистами. В реальной жизни смена фаз происходит не сама собой, не механически, с неизменностью смены времен года, а через общественно-политические кризисы и борьбу противостоящих друг другу сил.

В современной экономической публицистике сложилось мнение, будто развитие коммуникационных технологий само по себе повысило мобильность капитала, подорвав возможности государственного регулирования. Но дело в том, что электронные технологии могут в равной степени использоваться, как для перемещения капитала, так и для более эффективного государственного контроля за этими перемещениями.

В действительности не технологии сами по себе, а изменившееся соотношение классовых сил в мире (поражение коммунистического блока, исчерпанность ресурсов развития социал-демократических моделей к концу 1970-х, кризис национально-освободительных движений) способствовало «освобождению» финансового капитала.[23] В свою очередь, рост мобильности капитала создал спрос на развитие информационных технологий.

И все же технологические процессы далеко не нейтральны. Они порождают собственные противоречия. Глобализация может рассматриваться не только как победа капитала над трудом в масштабах мирового рынка, но и как торжество финансового капитала над промышленным. В новых технологических условиях скорость финансовых транзакций резко возрастает, тогда как инвестиции в «реальный сектор» требуют практически столько же времени, что и 20 лет назад. Это порождает рассогласование финансовых потоков и производственных процессов, в конечном счете, дестабилизирующее систему в целом. Перераспределение из медлительной «реальной экономики» в динамичный финансово-спекулятивный сектор сопровождалось перекачкой средств и в тесно связанный с ним «информационный бизнес». Однако коммуникационные технологии не могут

постоянно развиваться форсированными темпами просто потому, что обществу это не нужно. К середине 1990-х годов предложение технологических новаций явно превышало спрос.

Сопrotивление пользователей введению новых процессоров и компьютерных систем стало серьезной проблемой для действующих на этом рынке компаний. В 2000 году произошел резкий обвал стоимости акций компаний «информационного сектора» (американский индекс NASDAQ). Цикл подошел к концу.

Если в период бурного роста предпринимательские круги склонны добиваться ограничения государственного вмешательства, снижения налогов и т. д., поскольку перераспределительная деятельность правительства может замедлить развитие компаний-лидеров, то в периоды спада, напротив, возрастает потребность буржуазии в государственном регулировании. Именно поэтому критика глобализации начинает звучать не только со стороны левых, но и из уст влиятельных представителей буржуазной элиты.[24] Однако механизмы такого регулирования в 90-е годы XX века были существенно подорваны и должны будут в XXI веке фактически создаваться заново. Это объективно открывает широкое поле деятельности для левых сил, которые могут предложить общественные проекты, в том числе и существенно более радикальные, нежели прежде. Однако сами левые силы, перенесшие тяжелейшие поражения в конце XX века, оказываются, как правило, не на высоте ситуации.

Потребность в замене неолиберализма новым государственным регулированием осознается и антикапиталистическими радикалами и буржуазными прагматиками. Так возникает положение, при котором революционный (антикапиталистический, социалистический) и реформистский вектор направлены одинаково — и в том, и в другом случае первым шагом является восстановление национального суверенитета, возрождение государства как экономического агента, способного действовать автономно по отношению к буржуазии. Но каким будет это государство? В качестве проводника интересов буржуазной элиты государство из экономики ни на один день не уходило. Но теперь для регулирования нет ни идеологического обоснования, ни кадров. Социал-демократические партии настолько прониклись идеологией неолиберализма и «монетаризма», настолько стали частью буржуазного порядка, что они отстаивают сегодня принципы неолиберализма даже решительнее и последовательнее, чем традиционные правые, которые в силу своего прагматизма готовы идти на известные компромиссы.[25]

Неприятие экономически активного государства, действующего в интересах большинства населения, не просто роднит новых социал-демократов с правыми. Подобный подход делает и тех и других последовательными противниками демократии — в массовом обществе без экономически активного государства демократические выборы теряют всякий смысл. Зато у находящихся у власти социал-демократических и прочих «левых» правительств появилось великолепное алиби: тезис о «бессилии государства». Этот тезис является самореализующимся прогнозом. Государственная власть, действующая строго по правилам, навязанным неолиберальной идеологией и программами Международного Валютного Фонда, и в самом деле становится бессильной. Социологи, придерживающиеся «общепринятых» тезисов, подчеркивают, что в новых условиях «экономики суверенных государств являются уже не столько субъектами, сколько объектами», а «идея некоей альтернативы обречена на провал».[26] По существу, это означает отрицание самой возможности демократического процесса. Точнее, вместо процесса содержательного, предполагающего, что

граждане страны самостоятельно выбирают свое будущее, предлагается формальный процесс, сводящий политику к борьбе за личную власть нескольких, не отличающихся друг от друга группировок.

И все же на практике, несмотря на то, что международные финансовые институты и транснациональные корпорации приобрели огромное влияние, ни те ни другие не могут проводить свою политику без посредничества государства. Опыт Восточной Европы показал, что правительства, особенно левые, очень любят объяснять собственные решения «внешними факторами». На деле все обстоит несколько иначе. Болгарский профсоюзный лидер Красчо Петков констатирует: «Не отрицая влияния программ структурной перестройки на эрозию трудовых стандартов и социальной защиты, а также и традиционного монетаристского подхода международных институтов, следует отметить и особые „заслуги“ национальных правительств в этой области. Игнорирование или недооценка международных стандартов и правил, недооценка роли социальной политики зачастую являются результатом национальной инициативы, а не внешнего влияния. В данном случае правительства лишь прикрываются требованиями международных финансовых институтов, а те, в свою очередь, открыто не возражают».[27]

Глобализация делает компании не только больше, но и сложнее, а порой и уязвимее. Потому и возникает требование стандартизировать законы, повсеместно вводить схожие социальные нормы, открыть рынки. Неправда, что транснациональный капитал не нуждается в государстве. Без участия государства он не мог бы удерживать необходимые ему рынки открытыми, а границы закрытыми, он не мог бы манипулировать ценой рабочей силы и товаров. Если бы все национальные рынки слились воедино, а мировой рынок стал полностью однородным, это было бы не триумфом, а концом глобализации. Ведь в этом смысле не было бы никакой необходимости производить товары для европейского потребителя в далекой Азии, ибо там стоимость рабочей силы сравнялась бы с европейской. Такая интеграция сделала бы издержки, связанные с транспортировкой товаров непомерно большими по сравнению с их себестоимостью. Короче, поддержание и развитие экономики глобализации требует поддержания рыночного разрыва между странами и регионами — прежде всего в той мере, в какой это касается стоимости рабочей силы. Национальное государство с его запретами, таможами и границами играет в этом деле решающую роль.

Капитализм невозможен без права, а право также немислимо вне государства. Даже пресловутое «международное право» не существует само по себе. Оно реализуется силами конкретных государств, которые в соответствии со своими интересами и возможностями спокойно терпят одни нарушения и жесточайшим образом наказывают другие.

Иракский конфликт 2003 года стал крупнейшим разоблачением мифов глобализации. На первый план опять выступило национальное государство — не только как военная сила, но и как сила политическая, экономическая. Транснациональные и межнациональные структуры показали свое бессилие: и Организация Объединенных Наций, и Североатлантический Альянс (НАТО), и Евросоюз не смогли выступить в качестве единой силы; более того, они раскололись на вполне традиционные блоки национальных государств. Даже транснациональные компании разошлись по «национальным квартирам». Смещение капиталов не помешало потребительскому бойкоту (против франко-германских компаний в США и против американских во всем остальном мире). А стремление вытеснить европейский капитал из Ирака вообще было для правительства США и стоявших за ним

корпораций одной из главных задач войны.

Соединенные Штаты могут позволить себе новый имперский проект, основанный на мощи одной отдельно взятой страны. В Западной Европе, напротив, складываются предпосылки для формирования своеобразной имперской коалиции. Инструментом интеграции становится единая валюта и объединение капиталов крупнейших корпораций. Но эта имперская коалиция очевидным образом не совпадает с границами и структурами Европейского Союза. Франко-германский блок внутри Евросоюза противостоит как традиционным британским интересам, так и элитам «новой Европы» (правлящим кругам бывшего коммунистического блока, ориентированным на нового хозяина — США). Причины раскола надо искать отнюдь не в геополитике, а в том, как развивается международный рынок капитала. Британия не примкнула к единой европейской валюте вовсе не потому, что англичанам дороги их старые фунты с портретом королевы, а потому, что в качестве финансового центра лондонский Сити противостоит Франкфурту.

Казалось бы, мы снова вернулись к миру, каким он был в эпоху империализма в начале XX века. Однако блоки национальных государств оказались не такими, какими они были в начале XX столетия. Классический империализм времен Ленина и неоимпериализм сегодняшнего дня различаются между собой так же, как броненосец Первой мировой войны и бомбардировщик «Стелс». И, тем не менее, опыт прошедшего столетия не может быть проигнорирован.

Если приоритеты государства могли быть пересмотрены либералами, они могут изменяться и под давлением трудящихся. Политическая воля необходима и она реализуется через власть. «Бессилие государства» — пропагандистский миф. Но для того, чтобы государство смогло вновь осуществлять регулирующие функции в интересах трудящихся, оно должно быть радикально преобразовано и в известном смысле глобализировано (через демократически организованные межгосударственные сообщества). А левша организациям, борющимся в изменившихся условиях, нужна уже не только взаимная солидарность, но и прямая координация действий, позволяющая эффективно проводить кампании на межнациональном уровне.

Завоевание власти левыми имеет смысл лишь постольку, поскольку позволяет изменить правила игры, положить конец самовозрастанию «либеральной» бюрократии, а заодно и разрушить связку между национальными правительствами и международными финансовыми институтами и транснациональными корпорациями. Для многих из этих институтов массовое несотрудничество и враждебность национальных правительств будет означать настоящую катастрофу (особенно если недовольные государства попробуют создать собственные параллельные международные структуры или преобразовать действующие). Именно потому, что многие радикальные альтернативы прямо-таки лежат на поверхности, для неолиберальной идеологии вопросом жизни и смерти является недопущение самой мысли о возможности каких-то новых подходов к экономике. Тонны бумаги и несметное количество телевизионного времени, огромные интеллектуальные силы затрачиваются на то, чтобы подавить любое обсуждение альтернатив.

Межгосударственные объединения могут стать субъектами регулирования. На этом уровне может получить новый импульс и развитие общественного сектора. Однако интеграция, проводимая в рамках неолиберальной стратегии, не приблизит нас к подобной перспективе ни на шаг.

Межгосударственные структуры, создаваемые для обслуживания современного, буржуазного проекта, не могут быть ни косметически улучшены, ни демократически реформированы, ибо в самой

основе их лежит отрицание демократии. Переход к новому типу интеграции возможно лишь через острый кризис, который, скорее всего, завершится разрушением подобных структур.

Глобализация конца XX века — третья по счету за историю капитализма — качественно отличается от всех предыдущих. Если в XVI–XVIII веках, как и сейчас, интернационализация экономики сопровождалась острым кризисом государства, то в конце XX века усиление государства (по крайней мере, в странах «имперского центра») шло рука об руку с экспансией капиталистического рынка. Именно в этом — сущность явления, названного империализмом. Во времена ранних буржуазных революций речь шла о подрыве основ феодального государства. Напротив, в эпоху империализма государство оказалось вполне адекватно задачам капиталистического развития, оно было вполне буржуазным. То, что мы наблюдаем в конце XX века, свидетельствует, что между нынешними формами государственности и интересами капитала возникло противоречие. В кризисе не государство как таковое, а лишь те его структуры и элементы, которые в своем развитии переросли рамки капитализма. Третья глобализация оказалась неразрывно связана с социальной реакцией. Неoliberalизм был «проектом гегемонии» в точном соответствии с представлениями западного марксизма.[28] Технологические перемены, вызвавшие сдвиги в социальной структуре общества, не могли не спровоцировать и кризис гегемонии. Социал-демократический консенсус, типичный для Европы 1960-х и начала 1970-х годов, оказался под вопросом. Кризис был использован международными финансовыми институтами и нелиберальными идеологами для продвижения собственного проекта. С одной стороны, была подорвана традиционная классовая гегемония в мире труда, а с другой — транснациональные корпорации смогли внести в мир капитала «новое классовое сознание», консолидировав его вокруг себя.[29] Классовое сознание трудящихся было размыто, их связь со своими партиями и профсоюзами ослаблена. Напротив, правящий класс почувствовал себя сплоченным как никогда. Конечно, это не могло устранить противоречия между отдельными группами буржуазии, не говоря уже о конкуренции между корпорациями, но, как и полагается в любом классовом проекте, частное подчинено целому, особое — общему.

Именно беспрецедентная консолидация элит predeterminedила поразительную силу нелиберального проекта. Различные группировки продолжали борьбу между собой, но — в рамках общего направления. Отныне смена правительств не вела к смене курса, а столкновение интересов свелось к лоббированию. Однако новая, повсюду однотипная структура господства неизбежно накладывается на гораздо более сложную и разнообразную структуру реальных обществ. Поэтому, не претендуя на то, чтобы сделать человеческое общество единым или однородным (это подорвало бы возможность капитала к глобальному манипулированию), neoliberalизм одновременно стремится упростить для себя задачу, делая эти общества структурно однотипными, а потому легко понимаемыми и управляемыми по общим правилам.

В свою очередь, левые партии и движения протеста становятся носителями идеологии Плюрализма, разнообразия, этнокультурного «многоцветия» в современном мире. Точно так же в условиях, когда под воздействием транснациональной бюрократии ослабевает значение народного представительства, левые оказываются силой, отстаивающей права граждан по отношению к корпорациям и международным финансовым институтам, не имеющим, в отличие от представительных органов, «народного Мандата».

Традиционный аргумент радикальных демократов со времен Жан-Жака Руссо состоял в том, что

либеральные демократические институты хороши, но недостаточны. Можно и нужно расширять сферу свободы. В конце XX века эта аргументация утратила прежнюю силу. Выход за пределы традиционных институтов формальной демократии необходим не потому, что мы теоретически можем создать нечто лучшее, а потому, что эти институты в прежнем виде уже не работают. Если радикальную реформу государства не возьмут на себя левые, то ее рано или поздно предложат радикальные правые. Если демократия не утвердит себя как вне рыночная и в значительной степени антирыночная система, то массы пойдут за теми, кто призывает к ограничению рыночной стихии во имя авторитета, иерархии, нации и дисциплины.

Исключая вопросы социальной и экономической организации общества из сферы демократии, мы лишаем ее конкретного жизненного содержания. Обнаруживается, что теоретики «открытой экономики» не только отрицают право граждан на принятие принципиальных общественных решений, но, парадоксальным образом, с глубокой враждебностью относятся и к фундаментальным основам европейского индивидуализма. Ведь под «открытой экономикой» подразумевается не движение товаров — в этом смысле всякая экономика является открытой, если это не натуральное хозяйство — а именно свобода движения капиталов. Мерой «свободы» экономики является снятие с капитала любых ограничений, в первую очередь связанных с ограничением эксплуатации труда и защитой прав человека.

Еще древние философы знали, что безграничное расширение свободы для одних оборачивается ограничением или подавлением свободы других. В данном случае свобода для капитала оборачивается несвободой для труда. Капитал, становясь единственным субъектом экономической деятельности, все же представляет собой «вещь», «предмет», «объект» (и деперсонифицированный, транснациональный акционерный капитал — тем более). Труд, напротив, есть не что иное, как совокупность живых людей и ничем иным быть не может. Провозглашая преимущество капитала над трудом, теоретики «открытой экономики» занимают принципиально антигуманистическую и потому антииндивидуалистическую позицию, подчеркивая тем самым, что вещь ценнее личности. Впрочем, еще Оскар Уайльд заметил, что индивидуализм и капитализм, в конечном счете, несовместимы.

Глобалистский либерализм представляет собой не что иное, как агрессивную форму коллективного эгоизма, социальных элит. Это социальная безответственность, восторжествовавшая на глобальном уровне. Такой организованный коллективный эгоизм неизбежно ведет к авторитарным и тоталитарным видам политического поведения даже в том случае, если конкретные вопросы «технически» решаются в соответствии с процедурами буржуазной демократии. Демократическая форма становится пустой или получает новое содержание, не обеспечивая участие граждан в принятии решений, а лишь маскируя авторитарный характер проводимой политики.

Ликвидация социальных программ государства повсюду проходила под лозунгом борьбы с бюрократией. Увы, жизнь демонстрировала иную тенденцию. Крах советского централизованного планирования сопровождался бурным ростом централизованных структур транснациональной бюрократии, как частных, корпоративных, так и надгосударственных.

Система, основанная на бюрократической централизации, неизбежно предполагает авторитаризм. В соответствии с философией глобализации избранные народом органы должны отказаться от части своего суверенитета в пользу международных учреждений, неподотчетных избирателю. Даже в

Западной Европе, гордящейся своими демократическими традициями, с каждым новым шагом интеграции структуры Европейского Союза все менее подконтрольны гражданам. Интеграция оборачивается усилением бюрократий, эрозией народного представительства. В начале XXI века брюссельские чиновники Евросоюза вправе были требовать от новых членов сообщества отчетности по такому количеству параметров, которое не снилось и аппарату советского Госплана, включая такие показатели, как диаметр помидора или «европейский стандарт презерватива».[30]

Реформы, рекомендовавшиеся Международным Валютным Фондом, были по своим подходам одинаковы в Зимбабве и в России. Обоснование этого подхода великолепно сформулировал главный экономист Мирового Банка Лоренс Соммерс: «Законы экономики такие же, как законы механики. Одни и те же правила действуют повсюду».[31] Хозяйственная жизнь не только никак не зависит от культуры или географии, но и не связана с историей, уровнем развития производительных сил или структурой общества. Экономические законы, которые характерны для Соединенных Штатов начала XX века, должны были действовать и в древнем Шумере, и в империи Инков, и в средневековой Московии. Разница лишь в том, что древние шумеры их не знали, а Соммерс знает.

Одни и те же люди, не знающие ни языка страны, ни ее истории, ни даже текущих политических раскладов, перемещались из конца в конец планеты, превратившись в сплоченную и самоуверенную команду непогрешимых экспертов, диктующих свою волю правительствам и парламентам. В тропиках или в тундре, в индустриальных или в аграрных странах, в обществах с грамотным городским населением или среди горных племен — всюду проделывался один и тот же нескончаемый эксперимент. Одними и теми же методами и повсюду с примерно одинаковыми последствиями. Результатом стало резкое увеличение нищеты в глобальных масштабах, рост числа региональных конфликтов, преступности и коррупции.

Масштабы государственного вмешательства в экономическую, социальную и культурную жизнь на протяжении 80—90-х годов XX века не сокращались, а напротив возрастали. Дерегулирование тоже есть форма интервенционизма, только извращенная.[32] Но теперь вмешательство было направлено на разрушение общественного сектора, снижение жизненного уровня, снятие таможенных барьеров. Практика показывает, что поддержание рынков открытыми требует не меньшей активности правительства, чем протекционизм. Происходит лишь реструктурирование правительственного аппарата и изменение приоритетов. «Как это ни парадоксально, но в условиях рыночной экономики административный глобализм российского правительства иногда превосходит гигантоманию, которой страдали экономические структуры бывшего СССР, — писала „Независимая газета“ . — Вспомним, что непомерно высокая цена ошибки в советской управленческой иерархии была одной из главных причин кризиса отечественной экономики». Неолиберальный курс не решил этой проблемы. Более того, в результате приватизации и либерализации в руках центральной бюрократии оказалось еще больше власти. «Молодые реформаторы» Анатолий Чубайс и Борис Немцов, поддержанные экспертами Международного Валютного Фонда, произвольно ворочали миллиардами долларов, перестраивали структуры как детский конструктор, не неся ни малейшей ответственности за последствия своих решений. «В нынешнем российском правительстве, — продолжает „Независимая газета“, — цена реформаторской ошибки возросла неимоверно, поскольку решения Чубайса и Немцова и их сподвижников „тянут“ на десятки миллионов долларов. И при этом, в отличие от централизованно управляемой экономики бывшего СССР, реформаторам позволено

действовать без какого бы то ни было внешнего контроля». Необъятная власть сконцентрировалась в руках узкой группы лиц, управляющих финансовыми потоками в государстве. «В России близится к завершению формирование монополии на принятие решений, касающихся жизни десятков миллионов людей».[33]

Восторжествовав в глобальном масштабе, МВФ и Мировой Банк стали играть в капиталистической системе примерно такую же роль, как некогда Центральный Комитет КПСС — в рамках «коммунистического блока». Эксперта МВФ и Мирового Банка определяли, что делать с угольной промышленностью в России, как перестраивать компании в Южной Корее, как управлять предприятиями в Мексике. Вопреки общим словам о торжестве «свободного рынка», мировая практика еще не знала такой централизации. Даже правительства Запада вынуждены считаться а этой параллельной властью. Однако грандиозный успех породил не менее грандиозные проблемы, свойственные любым сверхцентрализованным системам. Дело вовсе не в том, что неолиберальная модель капитализма обрекает большинство человечества на бесперспективную нищету, а страны «периферии» — на зависимость от стран «центра». Подобные «моральные» и «идеологические» проблемы не могут волновать «серьезных людей». Проблема в том, что цена ошибки возрастает в невероятной степени. Огромные ресурсы, которыми управляет МВФ, позволяют «стабилизировать» ситуацию. Но проблемы не устраняются, через некоторое время кризис повторяется. Именно по такому пути шли Брежнев с товарищами, благо СССР получал огромные доходы от продажи нефти. Потом деньги кончились, а Советский Союз развалился.

Практически нигде неолиберализм не привел к резкому сокращению правительственного аппарата. Разумеется, случай России, которая, сократив общественный сектор почти в десять раз, увеличила государственный аппарат примерно в три раза, является экзотическим, но все же не уникальным. Повсюду в мире пока одни правительственные службы сокращались, другие росли. Снижение расходов на социальные нужды сопровождается ростом репрессивного аппарата, приватизация общественного сектора резко увеличивает нагрузку на налоговую службу и т. д. Сбалансированный бюджет в долгосрочной перспективе оказывался труднодостижимой целью, а финансовый кризис государства удавалось преодолеть лишь немногим счастливым, обладавшим дорогостоящими ресурсами, которые можно было выгодно продать по монопольным ценам на внешнем рынке. Однако даже для такой богатой полезными ископаемыми страны, как Россия, приток средств из-за рубежа в 1999–2007 годах оказался скорее проклятием, чем благословением. Мало того, что сыпавшиеся в казну и частные сейфы нефтедоллары способствовали разрастанию управленческого аппарата, поддерживали паразитическое существование государственных чиновников и высокопоставленных корпоративных менеджеров. Эти средства невозможно было, выгодно разместить в собственной экономике, обескровленной неолиберальными реформами. Деньги, поступающие в страну, вывозились за рубеж, бессмысленно складывались в стабилизационный фонд, разворовывались или проедались. Инвестиции в «реальный сектор» осуществлялись преимущественно иностранными компаниями, стремившимися «застолбить» свою долю перспективного и растущего за счет нефтедолларов потребительского рынка.

Тоталитарный характер идеологии и практики глобализации отмечен многими авторами. Английский журналист Крис Харман говорит о «новой ортодоксии», навязанной обществу. В основе ее, как и в любой другой догматической системе, лежит теория, которая не столько анализирует

реальность, сколько «говорит нам о том, как все должно быть».[34]

МВФ, ВТО и Мировой Банк повсеместно требуют отказа от государственного регулирования и приватизации, ссылаясь на то, что либеральные меры автоматически вызовут бурный экономический рост, который, в свою очередь, приведет к сокращению бедности, решив «естественным образом» все проблемы, с которыми не смогло справиться «неэффективное государственное регулирование», социальные программы и социалистические эксперименты. На практике, однако, обещанный экономический рост наступает довольно редко. В большинстве стран, подвергшихся реформам, наступал резкий спад. В последующий период, разумеется, спад прекращается, но показатели роста редко перекрывают докризисный уровень. Так, в Восточной Европе после 10 лет реформ существенно перекрыла уровень 1989 года только Польша, которая на самом деле «падала» еще с 1979 года. Восстановили «советский» уровень еще несколько стран, но все без исключения страны после либерализации отстают от западных соседей больше, чем до нее. Исключением является только Словения, отказавшаяся от приватизации по рецептам МВФ и к началу XXI века вплотную приблизившаяся к западноевропейским показателям.

В ряде стран «третьего мира», где экономический рост все же был достигнут, разрыв между богатыми и бедными не сократился, а увеличился. Плоды роста достались узкому слою богатых, в среднем классе произошло расслоение между небольшой привилегированной частью, связанной с крупными корпорациями, и представителями «реального сектора», оказавшимися в достаточно трудном положении.

Один из парадоксов институциональной тройцы ВТО/МВФ/МБ состоит в том, что все эти учреждения создавались в послевоенный период как раз в качестве альтернативы глобальной рыночной стихии, как инструменты государственного регулирования в международном масштабе. Теперь мы имеем у массу чиновников, оплачиваемых за счет налогоплательщиков, которые разъезжают по миру, заставляя правительства сокращать участие государства в экономике. Разумеется, диктовать свои условия они могут лишь странам «третьего мира» и бывшего «коммунистического блока», а содержатся преимущественно за счет ресурсов Запада. Конгресс США неоднократно критиковал МВФ за нарушение финансовой дисциплины, что не мешало представителям фонда требовать от национальных правительств сокращать свои расходы, дабы научиться «жить по средствам». Если бедные страны защищают свои рынки, ВТО обвиняет их в протекционизме и грозит санкциями. В тех же случаях, когда бедные страны успешно играют на рынке, против них применяют антидемпинговые санкции.[35]

Чем более бескомпромиссно насаждается новый либеральный порядок на планете, тем более очевидными становятся его теневые стороны. Неолиберальная реакция, получившая мощный толчок благодаря успеху капиталистической системы в борьбе с советским блоком, обернулась серьезной дестабилизацией буржуазного порядка на низовом уровне.

Либеральная модель капитализма нестабильна в принципе. Это обратная сторона ее динамизма. Нестабильность классического капитализма в XIX веке привела Карла Маркса к выводу о неизбежности циклических кризисов и социалистических преобразований. Спустя 80 лет те же факты подтолкнули Дж. М. Кейнса к тому, чтобы предложить свой проект «смешанной экономики», регулируемой государством. Отвергнув критику Маркса и Кейнса, разрушив структуры, созданные под влиянием их идей, новый мировой экономический порядок вернул нас к правилам игры

«классического» капитализма — со всеми вытекающими последствиями, включая кризисы перепроизводства, финансовые катастрофы (являющиеся оборотной стороной «победы» над инфляцией), в конечном счете — революции. Правда, теперь есть МВФ, работающий одновременно как идеологический центр и «пожарная команда». Однако, по мнению скептиков, «пожарные» сами разбрасывают окурки по лесу.

Функции планирования и регулирования никуда не делись. Они лишь были приватизированы, как и все остальное. Модель «идеальной конкуренции» по Адаму Смиту предполагает действие на рынке сразу сотен или тысяч независимых производителей, не имеющих информации друг о друге, а потому ориентирующихся на уровень цен и текущий спрос. На протяжении всего XX века формировались крупные корпорации, действующие по иным правилам. Возникла ситуация «олигополии». Корпорации вполне способны ориентироваться на рынке, собирать Информацию о конкурентах и партнерах, управлять ценами, регулировать уровень производства. Только делается это не в интересах публики, а в своих собственных. В этом плане русские жалобы на олигархический капитализм совершенно не уникальны. Американские республиканцы жалуются на олигархию не меньше, чем российские либералы.

«Свободный рынок» по Адаму Смиту как саморегулирующийся механизм, в современных условиях ни технически, ни экономически невозможен. «В подобной ситуации, писал известный экономист Мартин Хор, — нет никакого „свободного рынка“ в классическом смысле слова, когда одновременно действует множество продавцов и покупателей, каждый из которых контролирует лишь незначительную долю рынка, и никто 1 не может изменить общую ситуацию, манипулируя ценами. Напротив, немногие крупные компании и предприниматели могут контролировать столь значительную долю производства, продаж и закупок, что способны определять цены и даже в течение определенного времени произвольно понижать или повышать их».

Мировая экономика, подчиненная сверхцентрализованным корпорациям, живет по принципу олигополии. «То, что происходит сейчас на финансовых рынках, — типичный пример олигополии и манипуляции. Несколько крупных фондов, зачастую специализирующиеся на спекулятивных портфельных инвестициях, контролируют значительную часть денежных потоков (как в виде наличности, так и в виде кредитов), и они изучили все трюки, позволяющие им обогащаться с помощью любых финансовых инструментов. Они могут манипулировать курсом валют, ценами акций и банковскими ставками, в результате порождая финансовую нестабильность и экономический хаос».[36] Либеральные экономисты отвечали на подобную критику, что все перечисленные проблемы возникают не из-за «свободного рынка», а как раз от недостатка рыночного самоконтроля в экономике. Но в том-то и беда, что чем более экономику либерализуют, чем более активно проводится политика дерегулирования, тем более она становится монополизированной, олигополистической и централизованно-бюрократической. Лишаясь возможности ограничивать частную инициативу, государство открывает дорогу для стихийной монополизации экономики. «Свободный рынок» на рубеже XX и XXI веков является идеологической фикцией, существующей только в сознании идеологов и распропагандированных ими масс. Политика, направленная на проведение «рыночных реформ», независимо от того, насколько успешно она проводится, просто не может дать обещанных идеологами результатов, ибо подобные результаты Недостижимы в принципе. Зато она неизбежно даст иные результаты — укрепив власть международных финансовых

институтов и транснациональных монополий.

18 лет глобального укрепления транснациональных институтов (примерно с 1980 по 1998 год) дали примерно те же результаты, что и 18 лет брежневской стабильности в СССР. Глобальные элиты, сконцентрировав в своих руках грандиозные ресурсы, не просто понемногу теряли чувство реальности, но и начали позволять себе все более грубые ошибки, ибо немедленного «наказания» за эти ошибки не следовало. При столь огромной власти создается ложное ощущение, будто справиться можно Практически с любой неприятностью, а потому нет необходимости беспокоиться из-за накапливающихся нерешенных проблем. Одновременно резко падает качество управления, снижается компетентность руководящих кадров, нарастает коррупция в системе. Чем больше корпорация, тем сильнее в ней развиваются внутренние групповые интересы, вступающие в конфликт друг с другом.

В большинстве стран, где неолиберальные реформы проведены «успешно», возникли и однотипные проблемы. Россия не уникальна, разница лишь в масштабе и остроте этих проблем. Ведь с таким размахом и с таким энтузиазмом, как у нас, монетаристские программы не проводились нигде в мире.

Подобно своим советским предшественникам, идеологи «современного либерализма» пытаются ориентироваться на «передовой опыт» и «положительные примеры». Как некогда в Советском Союзе, любые проблемы объясняют ошибками отдельных руководителей, а достижения — результатом последовательного и мудрого курса. Первоначально образцом последовательного и успешного проведения реформ была объявлена Чешская республика. В начале 2000-х годов эта страна переживала глубокий кризис. Либеральные идеологи тотчас же обнаружили огромное количество ошибок, которых в упор не замечали за несколько лет до Того. Публике сообщили, что пражские чиновники не провели «подлинной приватизации», саботировали реформы и т. Д.; (что, кстати, отчасти правда — этим и объясняется относительная стабильность Чехии в первой половине 1990-х). В качестве спасительного рецепта чехам рекомендовали провести ряд мер, уже приведших Россию к дефолту в 1998 году. Мексике несколько раз предоставляли помощь для преодоления финансового кризиса, провозглашали ее образцом «успеха», а затем в срочном порядке предоставляли дополнительную помощь для выхода из нового кризиса. Каждый раз денег нужно было больше. Это не помешало предлагать Мексику в качестве образца для Южной Кореи. Какие бы проблемы ни возникали в обществе, либеральная мысль никогда не признает их связи с капитализмом и рынком. Винить можно что угодно — национальную специфику, бюрократию, коррупцию, иностранное вмешательство, политические ошибки. Лишь фундаментальные принципы либеральной экономики не могут быть поставлены под сомнение, это аксиома. Капитализм, частная собственность, рынок и свобода торговли являются основами преуспевания и благосостояния. Если же применение этих принципов не ведет к ожидаемому результату, то дело не в исходных принципах, а во внешних обстоятельствах, которые блокируют прогресс.

Типичным примером подобного подхода может быть книга Альваро Варгаса Льосы «Свобода для Латинской Америки», имеющая выразительный подзаголовок: «Как преодолеть пять столетий государственного угнетения». Сразу приходят на ум «Сто лет одиночества» Габриеля Гарсиа Маркеса, но автор пошел дальше — одного столетия ему явно недостаточно. Проблемы Латинской Америки имеют непрерывную пятисотлетнюю историю, причем с первых же страниц книги мы

понимаем, что, по большому счету, ничего не меняется. Проблем у континента Альваро Варгас Льюса насчитал тоже пять: корпоративизм, государственный меркантилизм, привилегии, перераспределение богатства (wealth transfer) и политический закон. Автор обнаруживает все эти явления уже в империи древних майя, откуда они плавно переходят к ацтекам, инкам, испанским конкистадорам, правительствам, свободных креольских республик, а в итоге достаются в наследство нынешнему поколению лидеров Латинской Америки.

Лечить все болезни нужно с помощью неизменного курса на приватизацию и свободу торговли. Проблема в том, констатирует сам же Льюса, что десятилетие неолиберальных преобразований завершилось экономической катастрофой и всеобщим возмущением. И все равно он продолжает искать причину не в самих реформах, а в культурных и институциональных препятствиях, на которые они натолкнулись. Льюса категорически отрицает мнение о том, что в основе проблем континента может лежать что-либо, кроме его собственных недостатков. Никакой «зависимости» от Запада никогда не было, просто Латинская Америка (очевидно, мучимая комплексами) «убедила себя, будто проблема слаборазвитости связана с „зависимостью“». А попытки исправить положение с помощью импортозамещающей индустриализации автор характеризует как «иллюзию экономического национализма».[37] Характерно, что авторы, пропагандирующие свободную торговлю, неизменно избегают анализа мировой экономики как целого, постоянно обращаясь к частным случаям отдельных стран или регионов, как будто те существуют в хозяйственном вакууме. Система международного разделения труда не упоминается, а хозяйственные связи стран Латинской Америки с США и Западной Европы удостоиваются упоминания только в связи с тем, что они недостаточно свободные. Даже радикальное и многолетнее открытие рынков неизменно характеризуется как недостаточное. Как и положено либеральному идеологу, Льюса видит образец успешного общества в Западной Европе, но особенно — в США, с которых он и призывает брать пример. Правда, не во всем. К Америке тоже есть претензии: Запад еще недостаточно последовательно проводит в жизнь принципы капитализма и свободной торговли: «Если Соединенные Штаты хотят продвигать капитализм свободного рынка в Латинской Америке, он должны сами следовать собственным принципам. Если они это сделают, они укрепят ценности свободы».[38]

Начиная с середины 70-х годов XX века, Латинская Америка действительно оказалась пионером рыночных экспериментов, впоследствии тиражированных по всему миру. Именно здесь провозвестники неолиберализма, экономисты «чикагской школы», которых тогда в Соединенных Штатах многие еще считали реакционными романтиками[39], получили возможность беспрепятственно осуществлять на практике свои идеи, взятые на вооружение диктаторскими режимами в Чили, Аргентине, Уругвае, а позднее и в других странах.[40] Реализация эксперимента сопровождалась массовыми казнями и не менее массовым обнищанием населения, но одновременно происходила реструктуризация экономики, за счет усилившейся эксплуатации низов общества формировался новый средний класс. Ликвидация военных режимов в конце 1980-х годов не привела к резкому изменению курса. Два десятилетия репрессий сделали свое дело: оппозиция была обескровлена и деморализована. И лишь в начале XXI века континент охватил самый настоящий бунт. Повсюду от Аргентины до Мексики вспыхивали народные волнения, забастовки, а порой и вооруженные восстания. Неолиберальная модель разваливалась на глазах.

Но даже это всеобщее отторжение не заставило идеологов свободной экономики изменить свой взгляд на вещи. Книга Льосы — лишь один пример из тысяч образчиков подобной продукции, заполнивших с некоторых пор прилавки книжных магазинов во всех концах света. Та же позиция типична для либерального исследователя, пишущего об Украине, России, Африке или Индии. О чем бы ни зашла речь, нам предлагается преодолеть некие местные условия, препятствующие повторению иноземного успеха. Каковы же эти условия? У латиноамериканцев, русских, африканцев, восточноевропейцев неизменно есть две беды: культура и институты.

Культура остается консервативной, традиционной, ориентированной на какие угодно ценности, только не на рыночный успех, а государство — большим, корпоративным, авторитарным и непременно коррумпированным. Поскольку связь между коррупцией и рынком не подлежит обсуждению, искать причины общественных пороков надо в каких-то мистических чертах национального характера или в природе государства как такового. Причем государство сохраняет свои отрицательные черты независимо от хода истории. Даже если оно само приватизирует все подряд и неукоснительно проводит политику свободной торговли, это ничего не меняет.

Между тем сохранение «старого» государства в условиях «новой» экономической реальности само по себе закономерно. Государство, разумеется, не остается неизменным, оно тоже преобразуется, приспособляясь к меняющимся условиям. И если правительство сохраняет черты авторитаризма и корпоративизма, то вряд ли все можно объяснить одной лишь инерцией.

Либеральному автору легко говорить про пять столетий, поскольку вера во всеобщее значение принципов «свободной экономики» несовместима с историзмом. Западные, либеральные институты, порядки, принципы — «правильны»; они универсальны, внеисторичны. Их успешная реализация является признаком «нормального» общества. Остальные институты и порядки, напротив — результат специфических условий. Аномалии, отклонения от нормы, зигзаги истории. В этом ненормальном положении находится почти все человечество на протяжении большей части своей истории. Что же, тем хуже для человечества.

Если марксисты считают, будто капитализм порожден определенным этапом развития общества, имеет начало и, следовательно, будет иметь конец, то либеральные мыслители твердо убеждены в обратном. Законы экономики так же объективны, внеисторичны, внесоциальны и незыблемы, как, например, и законы механики в физике Ньютона. Хорошие правительства — те, кто идет навстречу «естественным законам». Плохие — те, кто пытается им препятствовать. Соответственно, у первых все должно получаться, у вторых, напротив, все должно проваливаться. Поскольку в реальной жизни часто случается наоборот, нужно найти какое-то объяснение. Культура и институты дают нам возможность ответить, «почему все не так».

Обвинения в адрес латиноамериканской культуры весьма похожи на аналогичные обвинения, звучащие в адрес культуры русской или африканской. Макс Вебер писал о связи протестантизма с духом капитализма. Латиноамериканцам не повезло: они остались католиками. А уж в России совсем плохо: восторжествовало православие.

То, что кальвинизм выступил, например, в Англии в качестве идеологического обоснования буржуазной революции, не подлежит сомнению. Но была ли английская революция просто результатом кальвинистской пропаганды? Почему протестантизм добился успеха в Германии и был разгромлен в Литве? Почему в России, при весьма толерантном отношении государства к немецкому

протестантизму, выходцы из Остзейских провинций занимались не бизнесом, а государственной службой, причем по уровню коррупции нередко давали фору своим православным коллегам? Националисты и либералы любят ссылаться на древние традиции (первые ими гордятся, вторые на них жалуются). Но самые древние традиции уступают давлению обстоятельств. В Белоруссии в XVI веке было Магдебургское право, традиции самоуправления и сеймы. Это не помешало в конце XX века приходу к власти Александра Лукашенко.

Культура неуловима и условна, а политические и социальные институты осязаемы и конкретны. Но дело в том, что в Латинской Америке, как и в России, институты менялись неоднократно. Каждый раз смена социально-политических институтов была теснейшим образом связана с изменением экономических структур и курсов. Увы, каждая из фаз «неудачного» развития Латинской Америки была Попыткой имитировать соответствующую фазу экономической политики, господствовавшей в мире и на Западе, находилась под влиянием доминировавших на Западе идей.

Институты развивались, менялась экономическая политика, но отставание сохранялось неизменно. Другое дело, что дистанция то увеличивалась, то сокращалась, странным образом становясь меньшей при «неправильной», с точки зрения либеральных идеологов, политике, и увеличиваясь, когда возвращались к политике более «правильной», рыночной.

Рост правительственного участия в экономике западных стран и стран Латинской Америки происходили синхронно, являясь выражением одной и той же общей тенденции, единого процесса реконструкции буржуазной миросистемы. Наступление неолиберализма тоже развернулось на Западе и в Латинской Америке примерно в одно время, под влиянием одних и тех же идей.

Если мы не хотим и дальше блуждать в потемках идеологического сознания, придется вернуться к реальности и присмотреться к фактическому ходу истории. Вопреки общепринятым тезисам, культура и институты Запада являются не столько причиной, сколько следствием его успеха. Там, где достигался социально-экономический успех, стабилизировались и институты буржуазной демократии, причем даже в странах, ранее не имевших европейской традиции. Но там, где успех не был достигнут, буржуазная демократия не прививалась, даже если для этого было множество культурных предпосылок.

Успех давал возможность сложиться институтам и развиваться культуре. Они, в свою очередь, закрепляли успех. Там же, где дела шли плохо, и культура, и институты увядали. Центральная Европа и Италия, процветавшие в эпоху позднего Средневековья, пришли в упадок к XVII веку. Не помог весь блеск Возрождения. Это не значит, будто культура, традиция, институты не важны. Они являются фактором, стабилизирующим общественные отношения, их передовой линией, а порой и последним рубежом обороны. Но там, где культура или институты лишены опоры на благоприятные для них социально-экономические отношения, они неизбежно терпят крах. Победившая общественная система часто не уничтожает старую культуру и институты, а трансформирует их, превращая в один из самых ценных своих трофеев (монархия и аристократия в буржуазной Британии, кастовая система в капиталистической Индии и др.).

Вопрос в том, что предопределяет успех одних и неудачу других. В рамках мирового рынка одно с другим тесно связано. Это простейший математический факт, который не отрицает и либеральная экономическая наука, предпочитающая, впрочем, о нем пореже вспоминать. Ведь в условиях конкуренции, при ограниченном количестве ресурсов победитель достигает успеха за счет

проигравших. Чем значительнее победа, тем больше число проигравших и тем весомее их потери. Такая модель, кстати, заложена даже в детской игре «Монополия».

Максимум, к чему может призвать либеральный экономист, это достичь благополучия за счет других. Иными словами, не только обеспечить подъем собственной страны, но и добиться упадка кого-то из конкурентов. Но в отличие от детской игры, стартовые условия конкурентов не равны. А потому слабые страны «третьего мира» будут проигрывать всегда, и тем плачевнее будут обстоять их дела, чем более активно они будут вовлечены в глобальное соревнование.

Основная конкуренция разворачивается именно между относительно бедными странами, которые вынуждены отчаянно вырывать друг у друга крохи, остающиеся им от гигантского пирога мирового рынка. Как отмечал южноафриканский исследователь Патрик Бонд, «растущая конкуренция со стороны нескольких стран, активно экспортирующих продукцию обрабатывающей промышленности (Мексика, Бразилия, Восточная Азия) снизила шансы Африки на собственную индустриализацию».[41]

По той же причине иллюзорны и надежды на то, что интеграция в мировой рынок может стимулировать индустриальное возрождение России. Напротив, чем более активно отечественная экономика втягивается в международное разделение труда, тем более она специализируется на продаже сырья. Финансовые ресурсы, поступающие в страну за счет благоприятной конъюнктуры и монопольных цен на топливо, по большей части не идут на развитие отечественной промышленности, а инвестируются за рубежом. Что с точки зрения корпоративных интересов является вполне разумным подходом: действовать непосредственно на мировом рынке выгоднее, чем поднимать производство в русской провинции.

Действительные причины успеха стран, составляющих «центр» мировой системы, состоят в международном разделении труда и централизации капитала. В моменты неустойчивости страны «центра» могут прибегнуть и к применению вооруженной силы.

Идеология развития (Desarollismo) стремилась изменить место Латинской Америки в глобальном разделении труда. Но и само разделение труда в капиталистической мироземле меняется. Таким образом, политика ускоренного развития далеко не всегда ведет к изменению соотношения сил. Если все это происходит в рамках рыночного подхода, то она может, в конечном счете, даже способствовать очередной реконструкции системы и закреплению зависимости на новом уровне. Именно это, а не мифический «избыток» государства привело к кризису латиноамериканского развития к середине 1980-х. Латинская Америка не стала самостоятельным центром накопления капитала. А это означает, что все усилия, направленные на подъем экономики, будут в итоге вести лишь к «развитию слаборазвитости».[42]

Далеко не все беды мировой экономики порождены неолиберализмом. В условиях Восточной Европы было бы нелепостью отрицать влияние прошлого. Куча проблем унаследована ими от советской системы.; Но в том-то и дело, что странам, переживавшим в 1990-е годы трудные времена, вместе с кредитами предлагался пакет мер, не только не устранявших причины кризиса, но напротив, создававших новые источники нестабильности. В результате, с одной стороны, МВФ, Мировой Банк и другие глобальные финансовые институты укрепляли контроль над мировой экономикой, но с другой стороны, им довольно скоро пришлось столкнуться с последствиями собственной политики. Подобно советским учреждениям времен Брежнева, они связали себя по рукам и ногам своей

идеологией и уже не могут преодолеть инерцию собственной структуры.

В 1990-е годы кредиты МВФ и Мирового Банка, предоставлявшиеся России, шли не на развитие производства или не социальные нужды, а на поддержание избранного курса «финансовой стабилизации». Блистательным итогом этого курса стал крах рубля и развал банковской системы в 1998 году. Только после этого российское руководство вынуждено было признать, что кризис носит «структурный характер». На самом деле, кризис даже не структурный, а системный.

К концу десятилетия неолиберальный курс был в большей или меньшей мере дискредитирован в большинстве стран Восточной Европы. Правящие круги вынуждены были в срочном порядке менять риторику, а в некоторых случаях предпринимались даже робкие попытки корректировки курса. Однако радикальных перемен не произошло. В России после дефолта либеральная риторика сменилась рассуждениями о роли государства, но это отнюдь не означало изменения роли этого государства в экономике. Правительство Евгения Примакова, сформированное на фоне острого финансового кризиса, просуществовав всего несколько месяцев, сумело стабилизировать ситуацию, действуя совершенно вразрез с требованиями неолиберальной ортодоксии. Сделав свое дело, приведя экономику в порядок и добившись возобновления экономического роста, кабинет Примакова был вынужден уйти.[43]

«Розовое» правительство не решилось ни бороться за власть, ни использовать ее для попытки структурных реформ. Обладая в начале 1999 года определенной свободой рук, оно не решилось даже заикнуться о национализации «естественных монополистов», чего желало (судя по опросам) большинство населения. Серьезных перемен не принесло в этом отношении и президентство Путина. В 2003–2005 году Кремль объявил о «войне с олигархами», после чего государственная компания «Роснефть» сумела забрать в свою собственность нефтяную компанию ЮКОС, но руководствовались власти отнюдь не экономическими, а политическими соображениями и отчасти корыстными личными интересами. Сами власти постоянно подчеркивали, что экспроприация ЮКОСа проводилась исключительно рыночными методами. Показательна реакция российского бизнес-сообщества на слухи о дальнейшем расширении государственного сектора. Вместо того чтобы паниковать и протестовать, лидеры бизнеса выразили готовность продавать свои активы. Если, писала газета российского бизнеса «Ведомости», принадлежащие правительству компании начнут скупать акции, «предпринимателям это может быть на руку: если суммы сделок будут справедливыми, олигархи заработают миллиарды».[44]

Крах рубля в августе 1998 года все-таки заставил руководство России применить некоторые методы государственного регулирования, но повысившиеся цены на нефть и начавшийся экономический рост позволили власти вернуться к привычным либеральным рецептам. Москва стала активно готовиться к вступлению в ВТО.[45] В рамках этого процесса был подготовлен и очередной пакет «непопулярных мер» — знаменитая «монетизация льгот», спровоцировавшая волнения пенсионеров; реформа образования, превращающая знания в товар для избранных; жилищно-коммунальная реформа, направленная на коммерциализацию этого сектора и т. д.

Пока правительственные чиновники вели переговоры о вступлении России в ВТО, граждане весьма смутно представляли себе, о чем идет речь. Как отмечала зимой 2007 года социолог Елена Рыковцева, для подавляющей массы жителей России и сама организация, и условия вступления в нее «являются совершенной загадкой». Приняв решение, правительство «поставило народ перед

свершившимся фактом», хотя «большинство россиян ничего хорошего от ВТО не ждет».[46] Тем временем окрепший отечественный бизнес приступив к экспансивна внешние рынки. Российские корпорации сами стали транснациональными, разворачивая свою деятельность не только на территории бывшего Советского Союза, но и в Африке, Латинской Америке, а также в Западной Европе, Канаде, США и Турции. «Газпром», «Норильский никель», «Лукойл» и другие гиганты российского бизнеса вошли в список мировых корпораций. В 2007 году Россия, как сообщала газета «Ведомости», заняла «третье место в мире по накопленному объему исходящих из страны прямых иностранных инвестиций». За один только предшествующий год российский бизнес инвестировал за рубеж более \$120 млрд. В 2006 году по подсчетам аналитиков, «российские компании купили иностранных активов на \$10,27 млрд., в то время как иностранцы в России купили активов на \$4,71 млрд.».[47] Одновременно российские компании стали массово выставлять свои акции на лондонской и других западных биржах. Объем торгов по русским акциям в Лондоне составил в 2005 году 130 миллиардов фунтов стерлингов, а в 2006 достиг уже 170 миллиардов. К началу 2007 года был достигнут очередной рекорд, биржевые аналитики говорили про «беспрецедентное число русских компаний, зарегистрировавшихся на западных биржах».[48] Глобализация российского капитализма шла полным ходом.

Все это происходило на фоне катастрофического дефицита инвестиций внутри страны, которой, по мнению журналистов из «Ведомостей», остро необходим был «разворот инвестиционных рек».[49] Таким образом, даже благоприятная конъюнктура и повышение статуса российского капитализма в глобальной системе не изменили ситуацию на структурном уровне.

Национально озабоченные мыслители, обретшие новую уверенность в себе благодаря всеобщему разочарованию в либеральных идеях, склонны были объяснять экономические неурядицы происками Запада. Потому предлагаемые ими рецепты реформ сводились к укреплению отечественных корпораций в противовес иностранным, и к продолжению той же самой политики, но уже руками чистокровных славянских бизнесменов. Однако именно российские корпорации наиболее активно вывозили средства за рубеж, в то время как значительная часть роста производства для внутреннего рынка осуществлялась за счет иностранных инвестиций. В России начало бурно развиваться автомобилестроение, создавались заводы по производству бытовой электроники, строились предприятия пищевой промышленности. Естественно, создавая сборочные производства в России, международные корпорации, такие, как «Форд», «Фольксваген», «Хенде» или BMW, заботились не о развитии страны, а о закреплении своей доли растущего за счет нефтедолларов потребительского рынка. Но именно они способствовали не только оживлению индустриального производства, но и росту рабочего движения, которое очень быстро заявило о себе забастовками и акциями протеста. По мере того, как росли финансовые ресурсы российских корпораций, увеличивались и их аппетиты, что не могло не влиять и на позицию государства, честно и добросовестно их обслуживавшего, Если «непослушные» олигархи, подобные Борису Березовскому, Владимиру Гусинскому и Михаилу Ходорковскому были наказаны, то корпорации, тесно сотрудничавшие с кремлевской бюрократией, были вознаграждены. В своем стремлении во что бы то ни стоило повысить прибыли и капитализацию отечественных нефтегазовых компаний, Кремль пошел на конфликт не только с прозападными властями Украины, но и с Белоруссией, остававшейся практически единственным надежным союзником России на протяжении 1990-х годов. Резко повысив цены на поставки газа в

Белоруссию, «Газпром», при полной поддержке Кремля, спровоцировал в 2007 году торговую войну между двумя странами. Прибыли оказались важнее славянского братства.

Рост влияния России в ее традиционной сфере экономики, возможно, был неожиданностью для некоторых политиков на Западе, но представлял собой вполне закономерное явление. Россия президента Путина заняла в капиталистической миросистеме то же место «периферийной империи», которое в XVIII–XIX веках занимало петербургское государство династии Романовых.[50]

Патрик Бонд применительно к Южной Африке говорит о «субимпериализме».[51] Особенность субимпериализма состоит в том, что, обретая некоторые черты империалистического, подобное государство по многим параметрам остается глубоко отсталым и сохраняет черты «периферийности» по отношению к центрам мирового капитализма. Несмотря на военную мощь и идеологическое влияние, нарастить которые куда легче, нежели развить экономику, подобное субимпериалистическое государство не может обходиться без тесного сотрудничества с «настоящим» империализмом, даже тогда, когда кичится своим величием и своими реальными или мнимыми успехами.

Промышленный подъем, наблюдавшийся в России к середине 2000-х годов, во многом воспроизводил черты аналогичного подъема 1890-х годов, подготовившего условия для революции 1905 года. Можно сказать, что к началу XXI века Россия опять, как и в начале XX века, оказалась своего рода «слабым звеном мирового капитализма». Русская душа, мистический «коллективизм» и прочие национальные особенности не имеют к этому никакого отношения. Наша страна заняла определенное место в мировой системе, и любой кризис, разворачивающийся здесь, может стать прелюдией к глобальным потрясениям.

Важнейшим механизмом поддержания контроля «центра» над «периферией» в мировой системе является долговая зависимость. В России пик зависимости от международных финансовых институтов пришелся на конец 1990-х годов, после чего отечественный бизнес сам вышел на мировые рынки.

В рамках западной экономики происходит бурное перераспределение ресурсов, от которого выигрывает, прежде всего, финансовый капитал. Чем больше, его автономия, тем менее конструктивным является его взаимодействие с промышленным капиталом. Исторически инвестиционные банки и биржи были необходимы для перераспределения финансовых потоков между отраслями. Они не только обеспечивают стихийное перераспределение (и доступ) к инвестиционным ресурсам, но и подают бизнесу необходимые сигналы. Биржа — это своего рода оракул, сообщающий нам волю рынка, место, где мы можем время от времени видеть, куда указывает «невидимая рука». Но, как и все жрецы, представители финансовых институтов имеют и собственные специфические интересы. Чем они сильнее, тем менее адекватны биржевые сигналы. Информационно-денежные потоки уже не ориентируют, а дезориентируют бизнес. К концу 1990-х годов самым выгодным вложением капитала стала скупка акций компаний, занимающихся скупкой акций компаний, занимающихся скупкой акций компаний. А долги, накопленные в финансовом секторе, превосходят, в конечном счете, бюджетные дефициты государств.

Каждый очередной крах сопровождается спасительными акциями — за счет налогоплательщика или за счет других, более стабильных компаний, которые готовы пожертвовать своими средствами во имя стабильности. Примером может быть крах инвестиционного фонда LTCM (Long-Term Capital

Management) в США, происходивший параллельно с русским дефолтом. Его долги превосходили долги России в несколько раз. Спасительная акция была оплачена консорциумом западных банков, естественно, без всяких консультаций с вкладчиками. Еще раньше администрация Рейгана была вынуждена потратить деньги на компенсацию потерь, вызванных крахом компаний системы Savings and Loan. По подсчетам экспертов, «налогоплательщику это обошлось не менее чем в 1,4 триллиона долларов».[52] Уолден Белло отмечает, что в конце 1990-х годов очередные неурядицы на биржах «привели к потере инвесторами на Уолл-стрит 4,6 триллиона долларов», суммы, которая «составляла половину валового внутреннего продукта США и в четыре раза превосходила потери, понесенные биржей во время краха 1987 Года».[53]

Хотя именно Соединённые Штаты лидируют по количеству финансовых скандалов, их масштабам и затратам общественных денег на последующие «операции спасения» (bailing out), аналогичные события происходят и в других странах. Патрик Бонд отмечает, что «японские власти регулярно и эффективно вытаскивают свои банки из трудностей».[54] А в России связка между частным капиталом и правительством и вовсе не является тайной.

Показательно, что буржуазные правительства, весьма скупые, когда речь заходит о расходах на социальные нужды, систематически и успешно борющиеся с дефицитом общественного сектора, неожиданно находят непомерные суммы денег, когда речь идет о спасении финансовых корпораций или о компенсации нанесенного ими ущерба. Однако, как отмечал английский исследователь Ларри Шатт, подобная щедрость отнюдь не делает спекулятивный капитал более умеренным и осторожным в своих операциях. «Эта спонсируемая государством рекапитализация финансового сектора, напротив, открывает дорогу для еще более безответственного поведения».[55]

Разумеется, банкротства и финансовые крахи имеют место с тех пор, как существует капитализм. Однако никогда прежде частные ошибки и безответственность не вели к таким грандиозным (в абсолютных и относительных масштабах) потерям общественных денег. Это закономерно: по мере того, как увеличиваются масштабы и скорость финансовых спекуляций, нарастает и их дестабилизирующий эффект. Он действительно достигает такого уровня, что ни одно правительство не может игнорировать последствия финансовых провалов, не рискуя обрушить экономическую систему в целом. Но чем больше правительства осознают опасность, тем более безответственно действуют частные игроки, прекрасно понимающие: что бы они ни натворили, власти полностью или частично исправят нанесенный ими ущерб. Поведение финансовых спекулянтов становится похожим на поступки избалованных детей, за которыми родители привычно убирают битую посуду.

Возникает ситуация, когда прибыли приватизируются, а убытки социализируются. Эту формулу любил в бытность свою парламентским оратором повторять лидер немецкой Партии демократического социализма Грегор Гизи. Однако, оказавшись сам членом берлинского Сената (городского правительства), он вместе с социал-демократическими партнерами по коалиции точно так же, как и его буржуазные предшественники, поддерживал использование общественных денег для преодоления последствий банковского скандала, вызванного коррупцией в Bankgesellschaft Berlin.

Наряду с финансами спекулятивный бум захватывает и смежные сектора, в первую очередь рынок недвижимости. Это связано с тем, что жилье очень часто выступает залогом при получении займов, под его строительство и покупку берутся крупные и относительно надежные кредиты, оно является

одним из самых массовых и необходимых товаров на рынке. Спрос на недвижимость обычно возрастает в периоды высокой инфляции, поскольку подобное вложение денег считается в таких обстоятельствах наиболее надежным. Однако после того как правительству удастся снизить темпы инфляции (а это одна из главных задач государства в соответствии с монетаристской теорией), рост цен на недвижимость не прекращается. Рынок недвижимости набирает собственную инерцию, продолжая как пылесосом вытягивать деньги из реального сектора экономики. Возникает гигантский «мыльный пузырь» (bubble) завышенных цен. Несмотря на то, что спрос на недвижимость стимулирует развитие строительного сектора, для всех остальных секторов экономики это оказывается гигантским бременем. К тому же строительство жилья для низших слоев общества становится совершенно невыгодным и фактически прекращается.

В 2005 году британский «Economist» признал, что «никогда ранее цены на жилье и недвижимость не росли так быстро и в стольких странах одновременно».[56] Не осталась в стороне от этого процесса и Россия, где к концу 2006 году цены выросли до исторически рекордного уровня. Однако таким же образом цены росли в Европе, Азии и даже Африке. Рынок жилья в крупнейших мировых городах сам стал «глобальным». Прекрасным примером этого может быть резкий рост интереса западных спекулянтов к московской недвижимости. Несмотря на то, что среди иностранных инвесторов Москва по-прежнему считалась в середине 2000-х годов «самым рискованным городом», аналитики отмечали, что «с точки зрения перспектив развития российская столица занимает второе место, уступая только Стамбулу». По мнению международных спекулянтов недвижимостью, именно эти два восточноевропейских мегаполиса являлись к началу XXI века «самыми перспективными городами для инвесторов».[57]

То, что «мыльный пузырь» неизбежно рано или поздно лопнет, понимают все, но как и когда это произойдет, с чего начнется обвал, предсказать невозможно. С того момента, как становится ясно, что цены приближаются к пиковому уровню, на рынке воцаряется нервозность, которая сама по себе провоцирует инвесторов и спекулянтов на неадекватные поступки.

С того момента, как процессы, происходящие на спекулятивных рынках, окончательно теряют связь с производством, очередной приступ кризиса становится неизбежен. Однако кризис капитализма сам по себе не равнозначен укреплению политического влияния левых. Чтобы воспользоваться объективными возможностями, ежедневно открывающимися для антисистемной оппозиции в буржуазном обществе, левое движение само должно достигнуть определенного уровня зрелости.

Глава II. Труд и капитал

Новая мировая ситуация, сложившаяся на рубеже XX и XXI веков, поставила вопрос о появлении новых форм демократической и социальной оппозиции, противостоящей авторитарному коллективизму элит. Однако левые партии, выполнявшие эту роль на протяжении большей части XIX и XX веков, сами оказались в глубочайшем кризисе. Можно сказать, что новая модель политической жизни, исключая даже возможность серьезного обсуждения экономических и социальных основ общества, не только лишила политический плюрализм реального содержания, но и лишила левые партии их единственного *raison d'être*, смысла существования. Хотя, разумеется, лишь в той мере, в какой они сами приняли новые правила игры.

На протяжении большей части XX века социал-демократические и в некоторых странах коммунистические партии были своеобразным «домом» для рабочего класса. Поколение за

поколением рабочие сохраняли связь с ними, вступали в их ряды, поддерживали Их, голосовали за них, обращались к ним за помощью. В странах Северной Европы партийные и профсоюзные здания были не просто местом, где сидели штатные сотрудники аппарата, но и реальной «точкой сбора» для представителей класса, местом, где люди нередко проводили свой досуг, обсуждали личные проблемы, встречались с друзьями.

К концу XX века эта связь между классом и «его» организациями рушилась на глазах. Культура рабочих становилась менее коллективистской, новое поколение нередко предпочитало индивидуальное потребление классовой солидарности. Численность «синих воротничков» сокращалась. А партийные политтехнологи сосредотачивались на погоне за голосами «среднего класса», предпочитая общаться с избирателями и сторонниками через экраны телевизоров.

Стремительное сокращение рабочих мест в промышленности развитых стран стало исходной точкой для социологических теорий о «конце пролетариата» и даже «конце работы» (the end of work).

Американский социолог Джереми Рифкин уверенно заявил в середине 90-х годов XX века, что мы находимся «на пути к экономике без работы».[58] Правда, еще за десятилетие до него французский марксист Андре Горц объявил о конце пролетариата.[59]

Интерес левых к новым социальными перспективам, связанным с изменившимися технологиями, был вызван не только упадком промышленности. Не меньшую роль играло и разочарование интеллектуалов в исторической миссии рабочего класса. Неправда, писал в 1996 году Оскар Негт, будто Маркс недооценил жизнеспособность капитализма: он лишь «переоценил способность рабочего класса покончить с капитализмом раньше, чем тот примет варварские формы».[60]

Идеологи немецкой партии демократического социализма братья Андре и Михаэль Бри доказывали, что «рабочий класс нигде не проявил себя политически за последние десятилетия».[61]

Скептицизм относительно возможностей рабочего класса был естественным результатом поражений 1980-х и 1990-х годов. Эти поражения, начавшиеся с неудачных забастовок в Англии, повторялись снова и снова в разных частях Европы и Северной Америки. Это были поражения не только для конкретных деятелей, партий и профсоюзов, но и для традиционной «классовой политики».

Традиционные методы мобилизации не срабатывали, люди теряли веру в себя и доверие к своим лидерам. Проигранные забастовки завершались массовыми увольнениями, после которых прежняя численность рабочих в пострадавших секторах уже не восстанавливалась.

Между тем в течение примерно десяти лет сторонники и противники концепций «конца пролетариата» повторяли одни и те же аргументы и контраргументы, а дискуссия топталась на месте. Дело в том, что в 90-е годы XX века, несмотря на грандиозные технологические изменения (а отчасти и благодаря им), мы не только не приблизились к «постиндустриальному обществу», но напротив показали всю абстрактность этой теории. Технология не существует сама по себе, она может развиваться только в обществе. Само по себе распространение компьютеров, мобильных телефонов и Интернета так же не делает общество «постиндустриальным», как внедрение первых паровых машин было недостаточным в конце XVIII века, чтобы радикально изменить образ жизни Европы. Потребовалась Французская революция, Наполеоновские войны и еще множество больших и малых событий, которые подготовили индустриализацию Британии, а потом и других стран. Технологические прорывы всегда были необходимы капиталистической системе как средство давления на работников. Резкое повышение технологического уровня производства почти неизбежно

приводило к обесцениванию рабочей силы и росту безработицы. Но это, в свою очередь, делало человеческий труд более выгодным для предпринимателей, а потому резко снижало стимул к дальнейшим технологическим новациям: на определенном этапе даже очень совершенные машины начинают проигрывать конкуренцию с очень дешевым работником.

Статистика показывает, что современная безработица имеет не чисто технологические, а именно социально-экономические и, в некотором смысле, «геополитические» причины. Объяснять массовые увольнения рабочих стремительным ростом производительности труда, вызванным новыми технологиями, невозможно. Американские экономисты отмечают, что в период технологической революции 1990-х годов производительность труда в США (если взять хозяйство в целом) росла даже медленнее, чем в 1950—1960-е годы.[62] Одновременно возросла незащищенность рабочих мест. В полном соответствии с классической марксистской теорией, рост резервной армии труда создает дополнительное давление на рабочих, понижая стоимость рабочей силы. В итоге средняя заработная плата с 1979 по 1995 год сократилась (с учетом инфляции) на 3 %.

Не технология предопределяет эволюцию экономики, а напротив, потребности экономики диктуют необходимость внедрения новых технологических методов. Разумеется, технологические изменения не могут не требовать, в свою очередь, новой организации труда. Но и тут перемены имеют совершенно иной смысл, чем предполагают теоретики «постиндустриального общества».

Организация труда зависит не только от технологии, но и от соотношения сил на предприятиях между трудом и капиталом. Стремление крупных корпораций избежать концентрации рабочих на крупных заводах вполне понятно. Чем больше рабочих сосредоточено в одном цеху и на одной фабрике, тем больше сила профсоюза. Современные методы организации производства — «lean production», «reengineering» и «outsourcing» — ориентированы не на то, чтобы вытеснить традиционного работника, а на то, чтобы лучше контролировать его и заставить работать более интенсивно. Одновременно коллективный договор стараются заменить индивидуальным контрактом, разобщая работников и противопоставляя их друг другу.

Все это говорит не об исчезновении рабочего класса, а скорее о реструктурировании системы наемного труда и одновременном усилении его эксплуатации.

Корпоративная элита не скрывает, что постоянная угроза безработицы помогает повысить производительность труда. В то же время «Нью-Йорк таймс» признает, что работники часто становятся менее «лояльными» по отношению к фирме. Снижение зарплат и угроза безработицы вызывает и новую волну политизации. Отмечая растущую эксплуатацию традиционных работников — как «синих» так и «белых воротничков» — экономисты обратили внимание на то, что в рамках крупных корпораций возникает новый слой «технологической аристократии», отчасти занимающей то же место, что и «рабочая аристократия» начала XX века. В новой технологической реальности оказывается важно не столько знание машины, сколько индивидуальный талант работника. Как отмечает Фред Блок, модернизация производства и роботизация приводит к «растущей потребности в работниках, способных думать концептуально». В отраслях, где применение промышленных роботов становится массовым, каждое второе создаваемое рабочее место «потребуется два и больше года обучения в колледже».[63] Экономисты отмечают, что новые технологии и сопутствующая им организация труда затрудняют управление. Это также ограничивает возможности для сверхэксплуатации. Саймон Хед констатирует: «Потребность в знаниях технологической

аристократии возрастает по мере того, как для корпорации усиливается опасность отстать в технологической гонке. Но поскольку людей с такими знаниями и способностями не так легко найти, их будет постоянно не хватать, и их заработная плата будет расти».[64]

Проблема представляется многим экономистам чисто организационной. Между тем речь идет о серьезном вызове самой системе капиталистического управления. Эффективное использование возможностей работника оказывается невозможно без серьезного перераспределения власти на предприятии. Фред Блок сравнивает новую ситуацию с порядками, царившими на доиндустриальных ремесленных предприятиях. Инструмент всюду одинаков, но производство и продукт получаются совершенно разные. Решающую роль здесь играют не сами применяемые технологии, а подход работника. Подобные процессы могут вновь усилить позиции трудящихся по отношению к предпринимателям. Чем более индивидуализируется процесс труда, тем сложнее найти замену. Работник, обладавший уникальными способностями, был «защищен от традиционных форм принуждения».[65]

Зачастую сами работники и их организации еще не осознали всех возникающих в связи с этим преимуществ, не сумели объединиться таким образом, чтобы эти преимущества в полной мере использовать. Однако уже начало 2000 годов показало нарастающий конфликт между новой технологической элитой и корпорациями. Причем речь идет не столько о борьбе за заработную плату, сколько о борьбе за власть, за доступ к принятию решений.[66]

Оценивая перспективы новой технологической элиты, известный радикальный политолог Александр Тарасов утверждает, что Маркс поспешил, идентифицировав антикапиталистическую революцию с индустриальными рабочими, ибо «революционный субъект должен появиться, как бы сейчас сказали, вне Системы».[67] Индустриальные рабочие не могут вырваться за пределы логики капиталистической фабрики. Не крестьяне взорвали феодализм, а буржуазия, которая, будучи ущемленной, все же не была непосредственным объектом эксплуатации в феодальном поместье. Точно так же антикапиталистическая революция совершится тогда, когда новая технологическая элита, порожденная капитализмом, постарается избавиться от буржуазии.

Постиндустриальные работники находятся одновременно и вне системы, и внутри ее. С одной стороны, «способ производства, основанный на знании, оказывается таким... при котором возможно преодолеть отчуждение. Знание неотчуждаемо от его создателя и носителя. Он контролирует весь процесс „производства“ знания». А с другой стороны, массу производителей знания «капитализм постоянно будет пытаться превратить в класс наемных работников умственного труда».[68]

Собственники капитала будут пытаться установить контроль над творческим процессом, а это неизбежно вызывает сопротивление. Использование традиционных капиталистических методов контроля за работником внутри фирмы затруднено тем, что компьютер разрушает грань между трудом и отдыхом, свободным и рабочим временем, являясь одновременно средством и производством и различия. Некоторые «серьезные» программы включают в себя игровые элементы и т. д. «Кража» рабочего времени становится самым распространенным, но и самым труднодоказуемым преступлением офисного работника. Некоторые компании прибегают для борьбы со своими сотрудниками к разветвленной системе электронной слежки, но это редко дает ожидаемые плоды.

Специалист по компьютерным технологиям Юрий Затуливетер также приходит к выводу о том, что

задачи технологического развития толкают людей, их решающих, на радикальные позиции. «Главная компьютерная задача», как выясняется, состоит не в создании более совершенных программ, а в преобразовании общества.[69] Между тем к 1990-м годам технологическая элита не продемонстрировала особого революционного потенциала. Она вообще не воспринимает себя как самостоятельную социальную и политическую силу. Скорее, она стремится использовать свои преимущества в торге с предпринимателями (то, что по-английски называется bargain position). Однако отсюда не следует, будто так будет всегда. Западная буржуазия тоже не сразу стала революционной контрэлитой. На первых порах она прекрасно уживалась с феодальными верхами и поддерживала укрепление абсолютистского государства, с которым ей пришлось позднее бороться. Способность социального слоя к общественным преобразованиям зависит не только от его статуса в обществе, но и от его идеологии, от уровня политической и профсоюзной организации. Слабость самосознания новых трудовых слоев в значительной мере — результат слабой работы левых с этими слоями. Конечно, классовое сознание не заносится трудящимся «извне», как полагал Ленин в работе «Что делать?». Но оно и не возникает стихийно, само собой. Новаторская идеология является результатом исторической «встречи» радикальной интеллигенции с массовым социальным слоем, испытывающим потребность в новых идеях. Пока что подобная встреча не состоялась.

По мере развития новых отраслей, положение сосредоточенной в них технологической аристократии становится все более уязвимым. Чем больше распространяются новые профессии, тем менее привилегированным является статус их носителей. Технологическая революция конца XX века развивается по той же логике, что и индустриальная революция XVIII–XIX веков. Это относится не только к производству компьютеров и современной техники, но и к самой «интеллектуальной продукции». Потребность фирм, производящих программное обеспечение (software), в повышении производительности труда приводит к тем же процессам, что и в традиционных отраслях. «В отличие от индустриальных форм проектирования и изготовления аппаратных средств, производство программ задержалось в фазе артельного (ремесленного) труда, в которой преобладание человеческого фактора ставит объемы производства в прямую зависимость от количества привлеченных лиц достаточной квалификации, — отмечает Затуливетер. — Нетрудно видеть, что благодаря массовой компьютеризации почти весь интеллектуальный ресурс уже задействован. Практически все способные программировать уже программируют. Это обстоятельство крайне обостряет проблемы наращивания объемов производства программ с помощью технологий программирования, ориентированных на человеческий фактор. Разрешение этой ситуации приведет к распаду артельных (экстенсивных) и установлению индустриальных (интенсивных) форм производства программного продукта, когда объемы производства будут наращиваться главным образом за счет увеличения производительности труда».[70]

Происходит концентрация производства, сосредоточение все большего числа программистов в составе одной фирмы. В свою очередь, в их среде усиливается потребность в самоорганизации, осознание своего зависимого и подчиненного положения. Усиливается и эксплуатация их труда. Нарастает сопротивление господству капитала. Все это поразительно похоже на процессы, описанные Марксом и его учениками применительно к индустриальному капитализму.

Та же тенденция оказывается обратимой к работе на дому. Безусловно, постоянно совершенствующиеся средства связи позволяют организовывать работу большого числа людей на

расстоянии. Но собирать их вместе все равно оказывается проще и дешевле, особенно когда речь идет о многочисленных коллективах. Торжествует смешанный подход, самый неприятный для работника: фирма требует от него присутствия на рабочем месте, но не оставляет в покое и дома. По мере того, как новые технологии становятся все более массовыми и увеличивается число специалистов, способных ими пользоваться, давление на работников современного сектора усиливается. Логика капитализма требует распространения на них традиционной фабричной «дисциплины». И все же замена одного специалиста на другого остается относительно сложным делом, выполняемая работа все более индивидуальна, а на подготовку работника требуется время. Новый тип работника более способен к сопротивлению (в том числе и индивидуальному), а также к самоуправлению. Чем большим будет давление на него, тем быстрее произойдет осознание им своей роли в обществе, противоречий между собственными интересами и логикой развития капитала. Первая волна технологической революции ударила по «синим воротничкам». В середине 80-х годов все авторы дружно отмечали резкое сокращение удельного веса промышленности в общей структуре занятости. Так, в Соединенных Штатах в промышленности к концу 1980-х оставалось не более 17 % рабочей силы, значительно меньше, чем в сфере услуг. В Британии 1970-х годов на угольных шахтах работало более миллиона человек. К началу XXI века число шахт и занятых там людей резко сократилось. Зато в одной лишь сети супермаркетов Tesco использует более чем 250 тысяч сотрудников.[71] Аналогичные тенденции наблюдались и в других развитых капиталистических странах, за исключением, быть может, Японии.[72]

Впрочем, тот факт, что именно в Японии, являвшейся в 70—80-е годы XX века технологическим лидером капиталистического мира, сокращение Занятости в промышленности было меньшим и происходило гораздо медленнее, чем в других странах, говорит о том, что рано рассуждать о «конце пролетариата». Если в период бесспорного господства США в мировой экономике доля промышленных рабочих была там существенно выше, нежели в Японии, то к середине 1990-х в промышленности был занят значительно больший процент японцев, чем американцев.

Стремительный экономический подъем Южной Кореи также сопровождался ростом численности и удельного веса промышленного пролетариата в обществе. Рост традиционной промышленности наблюдался не только в Южной Корее, но и в Китае, а также в новых индустриальных странах Восточной Азии, в значительной мере следующих южнокорейской модели.

Прогнозы непрерывного сокращения роли промышленности в западных обществах тоже не подтверждаются. Вообще, подобные процессы не могут быть линейными. Авторы, пытающиеся экстраполировать сегодняшние тенденции на 20–30 лет вперед, доказывают лишь свою методологическую несостоятельность. Совершенно очевидно, что сокращение удельного веса промышленных рабочих в обществе зависит не только и не столько от «объективных» законов технологического развития, сколько от действующих экономических и социальных механизмов. Промышленная занятость действительно сокращается, но в еще большей степени она реструктурируется.

В середине 1990-х все больше рабочих мест сокращается для «белых воротничков». Автоматизация банков и предприятий сферы услуг приводит к тому, что требуется все меньше клерков и больше техников и операторов, выполняющих, по сути, те же функции, что их коллеги в промышленности. Как отмечают исследователи, миф о превращении сферы услуг в главную движущую силу

экономического роста был основан в значительной степени на ее технологическом отставании от промышленности. В то время как в промышленности сокращались рабочие места за счет стремительного внедрения новых технологий, производительность «белых воротничков» возрастала незначительно, а порой даже падала. Затем начинается внедрение трудосберегающего оборудования в сфере услуг. Соотношение между промышленностью и сферой услуг очередной раз меняется, на сей раз — опять в пользу промышленности.

В традиционной промышленности, где первая волна технологической революции миновала к началу 1990-х, уже не наблюдается такое резкое сокращение рабочих мест, как в 1980-е. Производство все более рассредоточено, но без «синих воротничков» обойтись невозможно.

Английский социолог Мартин Смит, анализируя изменения, произошедшие в структуре занятости Великобритании, приходит к неожиданному выводу: сокращение численности «синих воротничков» может обернуться ростом их политического влияния. По его словам, «из каждых семи человек, работающих в Британии по найму, один занят в обрабатывающей промышленности. Эти рабочие часто находятся на крупных предприятиях с сильными профсоюзами, в машиностроении, автомобилестроении и пищевой промышленности. Их число сократилось, но те, кто сохранил свои рабочие места, резко увеличили и производительность своего труда, что не может увеличить их роли в обществе».[73] Рабочий английского автомобилестроительного завода имеет производительность труда в начале XXI века в 8 раз большую, чем его предшественник 30 лет назад. В бумагоделательном производстве выпуск продукции одним работником вырос в три раза. Отсюда автор делает заключение: если они стали более производительны, значит, выросла и их мощь как класса.

Первый этап технологической революции в основных отраслях экономики к середине 90-х XX века завершается. Производительность труда и возможности оборудования будут расти и дальше. Точно так же для потребителя будут изобретать все новые хитроумные игрушки вроде телевизоров с плоским экраном, мобильных телефонов с полифонией и встроенной фотокамерой или новой видеокарты, позволяющей сгружать порнографию прямо из Интернета. Но это уже эволюция, а не революция. Переход от «ручной» обработки данных к компьютерной означал полный переворот в организации труда. Переход от 386-го процессора к 486-му или к процессору Pentium означает лишь нормальный технический прогресс, такой же, как замена станков, происходившая на протяжении всей промышленной истории.[74]

Естественным следствием технологической революции в мировом масштабе является пролетаризация «свободных профессий» и возникновение «нового технологического пролетариата», занятого, зачастую, вне традиционной промышленности. Порой сами люди еще не вполне отдают себе отчет в своем действительном социальном статусе, тем более что их положение крайне противоречиво.

Легко заметить, что перемены конца XX века оказали дезорганизующее воздействие как на «традиционного», так и на «постиндустриального» работника. Первый потерял уверенность в себе, второй стремительно лишается своего привилегированного, «элитного» статуса. Отчуждение и ложное сознание являются вполне естественным результатом неудачных попыток людей приспособиться к новым условиям. Однако подобное состояние не может продолжаться бесконечно. В мире труда действительно произошли серьезнейшие перемены по сравнению с эпохой Маркса. Но

это не «исчезновение пролетариата», о котором писали модные социологи, и даже не замена традиционного промышленного рабочего новым типом наемного работника. Во времена Маркса мир труда был относительно однородным. Вот почему в «классических» текстах понятия «пролетарий» и «промышленный рабочий» становятся синонимами. Ленин, правда, говорил, про кухарку, которая должна научиться управлять государством, но вряд ли он при этом имел в виду растущее значение сферы услуг.

Фигура европейского промышленного рабочего была не просто ключевой, но и единственной достойной внимания для теоретиков классического марксизма. Этот рабочий класс составляли преимущественно белые мужчины, нерелигиозные, но воспитанные в традициях христианской культуры. Возникновение «колониального пролетариата» в начале века мало изменило общие представления о том, каким должен быть рабочий. Более того, в представителях коренного населения европейцы долгое время вообще не желали признавать «настоящих» рабочих. Со своей стороны, осваивая уроки классовой борьбы, рабочие-неевропейцы первоначально склонны были воспроизводить традиции, культуру и организационные формы западного рабочего движения. Сегодня ситуация совершенно иная. Уходит в прошлое не пролетариат, а классическое представление о нем.

Мир современного труда неоднороден, сложен, иерархичен. Причем степень сложности возрастает с каждым витком технологической революции. Сегодня в мире меньше рабочих-европейцев, чем неевропейцев, причем в самих западных странах стремительно растет число работников, представляющих народы «третьего мира». Женщин среди наемных работников почти столько же, сколько мужчин. Мусульман оказывается не меньше, нежели христиан. В зависимости от технологического уровня производства работники могут иметь совершенно разные условия жизни и труда, разные требования к воспроизводству своей рабочей силы.

Наконец, огромное значение для современной экономики имеет стремительный рост «неформального сектора». Миллионы людей, занятые в неформальной, а часто и нелегальной экономической деятельности, являются такой же необходимой частью мировой экономики, как и специалисты по компьютерам. Однако и здесь существуют существенные различия. В странах Латинской Америки или в Соединенных Штатах граница между формальной и неформальной экономикой более или менее очевидна. В неформальном секторе работают безработные, маргиналы. В странах бывшего Советского Союза эта граница размыта, и тем и другим занимаются одни и те же люди.

Социальное развитие становится таким же многослойным, как и экономическое. В модернизированном и традиционном секторе идут свои собственные, зачастую параллельные процессы, возникает собственная социальная дифференциация, вырабатываются собственные идеологии и формы политической организации. Чем меньше регулирование рынка труда, чем слабее профсоюзы, тем острее подобные противоречия. Тенденция к выравниванию уровня заработной платы, возникающая в любом капиталистическом обществе, где сложилось сильное рабочее движение, оказывается и мощным стимулом для технологических инноваций, поскольку лишает предпринимателя возможности получать дополнительную прибыль за счет разницы в цене рабочей силы внутри отрасли. Однако между политическими и профсоюзными организациями трудящихся неизбежно возникают противоречия, порожденные неоднородностью мира труда. В 60-е и 70-е годы

XX века это было характерно, прежде всего, для стран Латинской Америки с их многоукладной экономикой. В конце века те же тенденции наблюдаются и в Западной, и в Восточной Европе. Столкнувшись с многообразием культур трудящихся и разнообразием форм эксплуатации, часть левых испытывала откровенное бессилие, не умея ни анализировать происходящее с помощью традиционных методов марксистской социологии, ни выработать что-то новое. На место конкретного и четкого описания социальных механизмов пришли морализаторские рассуждения о бедности и «исключении из общества» (exclusion), или наоборот, поэтические рассказы про общество «множеств» в книгах М. Хардта и А. Негри.[75]

Между Тем, с точки зрения классовых интересов наемного труда, совершенно неважно, где сосредоточена основная масса работников — в промышленности, сфере услуг или в научных учреждениях. Совершенно не принципиально, каков их цвет кожи, и каково их вероисповедание. Больше того, даже различия в оплате труда, играющие огромную роль в контроле капитала над работниками, не меняют классовой сущности эксплуатации.

Кстати, в сфере услуг уровень эксплуатации выше. Появление массы «дешевых» рабочих мест в этой сфере на фоне сокращения числа «дорогих» рабочих мест в промышленности США и ряда других стран говорит само за себя.

С другой стороны, несмотря на то, что с точки зрения классовой теории все эти различия являются второстепенными, они крайне важны с точки зрения идеологии и организации профсоюзного движения.

Противоречие между «традиционным» и «постиндустриальным» трудом на политическом уровне выражается в расколе между «старой» и «новой» левой. Причем «старые» левые деморализованы, поскольку утратили веру в будущее, а «новые» левые дезориентированы, так как не имеют четкой стратегии. Одержимые идеей «обновления», они, как правило, неспособны выработать политику и идеологию, которые бы обеспечили прочный союз с работниками «традиционного сектора».

Поскольку массовые слои постиндустриальных работников находятся еще только в стадии становления, им самим свойственно ложное сознание, которое ретранслируется и закрепляется противоречивыми и путаными рассуждениями идеологов.

Как «новый» труд не может полностью вытеснить «старый», так и «новая» левая культура не имеет никаких шансов, если будет строиться на отрицании старой. Напротив, задача левых политиков и идеологов состоит в интеграции великой традиции рабочего движения и новых тенденций, все более очевидных на рубеже веков. Точно так же политическая и экономическая программа исторического социализма должна быть не отвергнута левыми движениями новой эпохи, а напротив, встроена в новый, более широкий и сложный контекст.

Если «постиндустриальное» общество, в том виде, как представляли его идеологи, оказалось химерой, то и традиционный индустриализм, безусловно, ушел в прошлое. Поздний капитализм одновременно и подтверждает важнейшие выводы и прогнозы Маркса, и создает новые факты, новые противоречия и новый социальный опыт, никак не отраженные в «классических» левых теориях.

Начиная с конца 1980-х годов, рабочее движение в западных странах переживало кризис. Прежде всего, это касалось самых массовых организаций — профсоюзов, которые быстро теряли членскую базу и влияние. К середине 1990-х кризис профсоюзов перекинулся на Латинскую Америку, Южную

Африку и даже по некоторые страны Азии. Позиции трудящихся на рынке были ослаблены как изменившимся политическим раскладом сил, так и произошедшими технологическими сдвигами. Информационные технологии были вполне осознанно и успешно использованы предпринимателями, чтобы изменить правила игры на предприятиях. Появилась возможность рассредоточивать производства, переносить часть процессов в отдаленные страны с низкой ценой рабочей силы и запретом на забастовки, заменять организованных и хорошо оплачиваемых рабочих полурабским трудом в *maquiladoras* — временных сборочных цехах, возникающих и исчезающих за считанные недели.[76]

Ослабление рабочих организаций не могло не сказываться на идеологии и психологии сопротивления. Идеология становилась все менее «классовой» и все более «этической». Когда в Мексике в середине 1990-х годов началось восстание сапатистов, ключевыми лозунгами были не «классовая борьба» и «пролетарская солидарность», а «достоинство» и «самоуважение». Идеологическое крушение социализма в начале 1990-х не могло положить конец народным выступлениям: массовые протесты были порождены не агитацией, не идеологией, а социальным и национальным угнетением, бедственным положением людей. Однако в условиях идейного кризиса левых сил программа массовых народных движений стала размытой и неопределенной. Берясь за оружие или выходя на улицы, люди четко осознавали, против чего они сражаются, но им гораздо труднее было сформулировать, за что. «Гнев народа должен быть направлен в политическое русло посредством организованных политических сил», — говорилось в разгар борьбы за демократию в заявлении индонезийской Народно-демократической партии.[77] В сущности, это может написать на своих знаменах любое серьезное левое движение.

Между тем к концу 1990-х вслед за возникновением новых массовых движений началось и восстановление влияния профсоюзов. Оно шло очень медленно, на каждом шагу наталкиваясь на новые трудности. Под занавес XX века профсоюзы стран Запада утратили большую часть позиций, завоеванных на протяжении столетия, сократились численно, бюрократизировались, потеряли значительную долю своего политического и культурного авторитета. Это было связано как с общим кризисом социал-демократических институтов, так и с развивавшейся на Западе деиндустриализацией. Количество рабочих мест в традиционной промышленности сокращалось, тогда как сфера услуг и основанная на информационных технологиях «новая экономика» с трудом поддавались синдикализации. Здесь невозможно было применить привычные методы профсоюзной работы, которые были типичны для крупных предприятий. А в сборочных цехах и на стройках местных рабочих все чаще заменяли мигранты, бесправные, запуганные, часто — нелегалы, не знающие ни языка, ни законов страны, в которой их эксплуатировали.

Между тем параллельно с деиндустриализацией западных стран происходил бурный рост промышленности «на периферии» мировой капиталистической системы. Строго говоря, промышленные рабочие места не сокращались, а перемещались. К концу 1990-х это привело к росту рабочих профсоюзов в «новых индустриальных странах» Азии, а также в некоторых государствах Латинской Америки. Правда, в начале XXI века тенденции деиндустриализации докатились и сюда. Производство переносилось в Китай, где под бдительным оком «коммунистической» бюрократии рабочие должны были денно и нощно трудиться на иностранных капиталистов. Тем временем «хорошие» рабочие места стали исчезать даже в Мексике.

С другой стороны, деиндустриализация Запада имела объективные пределы. К началу 2000-х годов промышленность в основном стабилизировалась, а вместе с ней — рабочие места и профсоюзные организации. Вместе со стабилизацией промышленности началось и возрождение профсоюзов. Первым симптомом была успешная забастовка государственного сектора во Франции в 1995 году, за ней последовала смена руководства и радикализация профсоюзного движения в США. В ряды американских профсоюзов вступили представители «компьютерного поколения», принесшие свежие идеи относительно классовой борьбы, организации и солидарности. Наконец, в профсоюзы стали вступать представители иммигрантов, национальных меньшинств, которые смогли связать западное рабочее движение с борьбой «третьего мира». Именно в таких условиях стало возможно сотрудничество профсоюзов с радикальными молодежными движениями, немыслимое, по крайней мере — в США, в 1960-е или 1970-е годы.

Британские профсоюзы заговорили о разрыве с предательским руководством Лейбористской партии, а в Соединенных Штатах перемены затронули неэффективную и консервативную структуру Американской федерации труда — Конгресса производственных профсоюзов (АФТ — КПП). К концу 1990-х годов, как отмечая американский публицист Ким Муди, профсоюзы в США снова стали «похожи на движение». Наряду со скучными бюрократами в их рядах появились молодые люди, занятые организационной работой среди ранее «труднодоступных» категорий трудящихся — мигрантов, женщин, неквалифицированных работников. «Подобные перемены несколько лет назад даже невозможно было себе представить».[78]

Ответом на кризис тред-юнионизма стало, с одной стороны, появление новых организационных форм, направленных на вовлечение в движение работников неформального сектора, иммигрантов, людей занятых неполный рабочий день, и т. д. А с другой стороны, к началу 2000-х годов профсоюзы осознали значение интернационализма не просто как идеологии, но и как принципа практической деятельности, все более ориентируясь на проведение международных кампаний в тесном сотрудничестве с неправительственными организациями и новыми социальными движениями. Эта новая стратегия дала о себе знать прежде всего в странах, где упадок профсоюзов до того был наиболее заметным, в частности в США. В Калифорнии профсоюзы провозгласили ориентацию на экологически чистые производства и «разумный рост». Как отмечает левый нью-йоркский еженедельник «The Nation», «между профсоюзами, экологическими движениями и иммигрантскими землячествами возникают новые союзы, увязывающие такие вопросы, как чистый воздух и экономическое развитие, положение дел в территориальных общинах, жилье, транспорт, рабочие места и техника безопасности на производстве».[79]

Впрочем, попытки обновления привели к острому кризису, а затем и к расколу АФТ-КПП. Но, как резонно заметил на страницах «Green Left Weekly» Ли Састар (Lee Sustar), раскол, поразивший верхушечную бюрократию, давал низовым организациям «перспективу построить боеспособное профсоюзное движение».[80]

Ожили и немецкие профсоюзы, что немедленно почувствовали на себе и работодатели, столкнувшиеся с очередной волной забастовок, и лидеры официальной Социал-демократической партии. Возникновение Левой партии было бы невозможно, если бы нижнее звено профсоюзной бюрократии не почувствовало уверенности в себе и одновременно — давления со стороны своей членской базы, требовавшей более решительных действий.

В Азии тоже происходили перемены. Массовое профсоюзное движение показало свою силу в Индии, где рабочие организации имели давние традиции — еще с колониальных времен. Несмотря на возвращение к власти Индийского национального конгресса, обещавшего перемены, неолиберальная политика продолжалась. Профсоюзы ответили осенью 2005 года национальной забастовкой, которая, по признанию журнала «Newsweek», на сутки «остановила страну».[81] Встали не только железные дороги и аэропорты, но и банки.

Рабочее движение пришло к началу XXI века существенно ослабленным и неоднородным, но оно оставалось серьезным фактором, с которым международный капитал не мог не считаться.

Появление «колониального пролетариата» в начале XX века знаменовало важный культурный сдвиг в мире наемного труда, но куда более серьезные перемены произошли в последней трети XX столетия, когда массы мигрантов устремились на рынок труда Западной Европы.

Исторически массовая миграция не является чем-то новым для капитализма. В Соединенных Штатах рынок труда на протяжении всей истории страны пополнялся все новыми и новыми волнами иммигрантов. Сперва — из Англии, Ирландии и Германии, затем из Южной и Восточной Европы, потом из Пуэрто-Рико, Мексики и других стран Латинской Америки. В конце XX века в США хлынул поток иммигрантов из Азии. Следовавшие одна за другой волны иммиграции формировали американскую нацию, однако далеко не сразу представители вновь прибывших групп смешивались с большинством населения, конфликты между общинами и развитие этнической преступности стали частью истории страны.

С точки зрения рабочего движения массовая иммиграция имела двойственный эффект. Ранние волны мигрантов, прибывавшие из Северной Европы, где уже сильны были левые партии и профсоюзы, принесли с собой свои классовые традиции, которые затем размывались новыми культурно-этническими волнами. Постоянное пополнение рабочего класса США новыми этническими контингентами принято считать одной из причин того, что в этой стране нет сильной левой партии, а профсоюзы значительно менее влиятельны, нежели в Западной Европе.

После Второй мировой войны трудовая миграция стала обычным делом и в Европе. В эпоху классического капитализма единственной европейской страной, которая привлекала большие массы иностранных рабочих, была Британия (да и то, речь шла преимущественно о Лондоне и портовых городах).[82] Но в 1950-60 годы ситуация начала резко меняться. Массы трудовых мигрантов начали перемещаться из одной европейской страны в другую. Испанские и итальянские рабочие появились во Франции, Германии и Швейцарии. За ними следовали югославы и турки, а затем миллионы выходцев из бывших колоний. Политика привлечения иностранной рабочей силы проводилась совершенно сознательно. Так, например, в конце 1960-х годов, когда в Британии чувствовался недостаток медицинских кадров, началось организованное рекрутирование специалистов в Индии. К началу 1990-х годов страны, ранее отправлявшие эмигрантов за рубеж, сами стали привлекать иностранных рабочих. Первоначально это случилось в Италии и Испании, а к началу XXI века — в Ирландии.

Мигранты должны были занять низшие позиции на рынке наемного труда, снизив остроту социальных и демографических проблем, одновременно позволяя правящему классу и государству замещать непривлекательные рабочие места без повышения заработка и статуса их работников. Постепенно приток иностранных рабочих стал оказывать возрастающее давление на рынок труда. Но

ситуация радикально изменилась в конце 1980-х и на протяжении 1990-х годов. В этот момент были одновременно подорваны позиции профсоюзов, начались масштабные технологические и организационные перемены, промышленные предприятия выводились в страны Азии и Латинской Америки, а на европейском рынке труда открывались миллионы низкооплачиваемых и незащищенных рабочих мест, в значительной мере заполнявшихся иностранцами. Поощрение миграции явно стало частью общей неолиберальной стратегии, направленной на подрыв рабочего движения и изменение соотношения сил в обществе. Классовое противостояние должно были смениться этническими конфликтами, которые (в отличие от противоборства труда и капитала) не имеют решения. Солидарность трудящихся должна была смениться разобщенностью обездоленных «множеств».

Поток иммигрантов из «освободившейся от коммунизма» Восточной Европы дополнился новыми волнами беженцев из Азии и Африки, спасающихся от войн и экономической разрухи, последовавших за неолиберальными экспериментами МВФ и Мирового Банка. В скором времени внутренняя миграция — по той же экономической логике — охватила саму Восточную Европу. Массы украинских, молдавских и таджикских рабочих потянулись на заработки в нефтеносную Россию. Даже в Африке миграция начала набирать темпы: жители Сомали и Конго стали переселяться в относительно благополучные государства — Кению, Южную Африку. В Азии нефть Саудовской Аравии и соседних с ней эмиратов привлекла массы рабочих из более бедных арабских стран и Пакистана.

Выводя производство за пределы «цивилизованных стран», заменяя кадровых рабочих мигрантами, правящие классы, начиная с конца 1970-х годов, действительно сумели подорвать позиции организованного рабочего движения, ослабить профсоюзы, сдержать рост заработной платы, а с другой стороны, изменить социальную структуру населения западных государств. Место «опасного класса» — рабочих должен был занять благополучный и сосредоточенный на потреблении «средний класс», составляющий большинство голосующих граждан. Рабочий класс должен был окончательно расслоиться: с одной стороны — рабочая аристократия, но образу жизни, взглядам и уровню потребления составляющая часть «среднего класса», а с другой стороны — массы люмпенизированных разнорабочих, являющиеся бесправными мигрантами, не имеющими связи с гражданским обществом. Между ними лежала пропасть. Единое рабочее движение, объединяющее большую часть мира наемного труда, становилось невозможно.

Юридический статус трудовых мигрантов менялся с течением времени. Если вплоть до середины 70-х годов XX века, в условиях сравнительно жесткого контроля над государственными границами, большая часть иммигрантов находилась на законном положении, то по мере развития глобализации росло и число нелегальных иммигрантов. В свою очередь правительства (не без давления растущих ультраправых движений) начали ужесточать иммиграционное законодательство в большинстве стран. На практике это привело не к сокращению числа мигрантов, а к резкому ухудшению их общественного статуса и росту числа нелегалов. Однако это вполне соответствовало интересам предпринимателей, эксплуатирующих труд мигрантов. Мало того, что нелегальные рабочие стоят дороже, они оказывают дополнительное давление на рынок труда.

Влияние иммигрантов на безработицу и заработную плату «коренного населения» по-разному оценивается разными исследователями. Так, английский журналист Дэйв Крауч, ссылаясь на данные

исследований, проводившихся в США с 1990 по 2004 год, заявляет, что «иммигранты обычно не претендуют на те же рабочие места, что и американские рабочие».[83] Схожую картину давали и исследования, проводившиеся в Британии. Иммигранты и «местные» сосредотачиваются в разных секторах экономики. По той же причине, не являются иммигранты и причиной безработицы. Проблема осложняется тем, что страны, принимающие мигрантов, как правило, объективно испытывают нехватку рабочей силы. Сочетание устойчивого экономического роста с низкой рождаемостью типично для большинства «благополучных» государств. Аналогичную ситуацию в начале XXI века можно было наблюдать и в России, несмотря на то, что ей очень далеко было до западноевропейского благосостояния. С одной стороны, поддержание экономического роста (и, следовательно, — уровня жизни граждан) требует привлечения дополнительной рабочей силы за счет миграции. С другой стороны, миграционные процессы нелегко регулировать, число мигрантов может легко превысить спрос на рабочие руки. А главное, надо помнить, что мигранты конкурируют на рынке труда не только и столько с «коренным» населением, сколько друг с другом. В силу этого предприниматели крайне заинтересованы именно в избыточной миграции, которая помогает увеличить резервную армию труда.

Вот почему многие авторы не столь оптимистичны, как Дейв Крауч. Важно отметить, что данные, на которые ссылается английский журналист, относятся в первую очередь к компаниям, осуществляющим легальный найм работников. Использование нелегалов дает бизнесменам преимущество, которым те охотно пользуются, но они не торопятся объявлять во всеуслышание. «Поскольку работодатели платят рабочим, не имеющим правильно оформленных документов, меньше, — пишет американский социолог Фил Гаспер, — планка заработной платы снижается для всех».[84]

Эту проблему можно легко решить, легализовав имеющихся работников, но, по вполне понятным причинам, происходит обратное: наличие большой массы нелегалов приводится как доказательство того, что иммиграционные законы являются недостаточно жесткими, а после того, как законодательство в очередной раз ужесточается, численность нелегалов возрастает еще больше. Аналогичные тенденции можно было наблюдать в столь разных странах, как Россия, Франция и США. Показательно, что в странах с более гуманным иммиграционным законодательством (таких, как Швеция, Норвегия или Финляндия) ситуация с нелегальной иммиграцией стоит куда менее остро.

Однако успех социальной контрреволюции, осуществлявшейся европейскими элитами, обернулся таким клубком конфликтов и противоречий, что сами правящие классы почувствовали себя неудобно. В середине 2000-х годов социальные и культурные мины замедленного действия, заложенные под западное общество в процессе глобализации, начали взрываться одна за другой.

В октябре 2005 года дети мигрантов вышли на улицы Парижа и других французских городов. Ситуация вышла из-под контроля. Францию сотрясли погромы и поджоги. В России эти события вызвали волну откровенно расистских комментариев прессы. Либеральные журналисты и интеллектуалы с важным видом рассуждали об «исламском факторе» и «этнических конфликтах», объясняя, что события вызваны засильем во французских городах мусульман, которые хотят получать социальные пособия, но не хотят принимать западный образ жизни.

Французская полиция, пытавшаяся оправдать собственное бездействие, заявляла о хорошо

организованных зачинщиках, стоящих за спиной бунтовщиков. Однако серьезная пресса признавала, что бунты являются социальными, а не религиозными. После того, как факты стали известны, лишь крайне правые издания продолжали рассказывать про исламских фундаменталистов, якобы стоящих за спиной погромщиков. Напротив, в России теорию «исламского бунта» поддержали даже некоторые «левые».[85] Отечественная пресса взахлеб врала про «радикальный исламизм французских погромщиков».[86] Некоторые издания даже умудрились обнаружить в Париже разветвленное исламское подполье, возможно, связанное с террористами из зловещей и загадочной группировки «Аль-Каида». Даже уважаемый «Коммерсантъ» на полном серьезе пугал читателя тем, что «исламские бунты могут легко перекинуться в другие страны Европы».[87] Влиятельное агентство RBC в своем комментарии признавало, что «не религия становится основополагающим фактором для беспорядков. Ведь не случайно только 15 % мусульман Франции посещает мечети». Но тут же заявляло: главная причина недовольства — «кризис самоидентичности».[88]

На самом деле, по меньшей мере треть юных погромщиков были вообще не арабы, а черные африканцы, нередко христиане. Но и арабская молодежь, живущая в бедных пригородах, никакого другого языка, кроме французского, не понимала, а об исламе не имела ни малейшего представления. Среди пострадавших от поджогов зданий были не только школы и церкви, но и мечети.[89] Состав бунтовщиков, как писала британская газета «Independent», отражал смешанный этнический состав парижских окраин. «Примерно 60 % имеют арабское или африканское происхождение, примерно 30 % — черные, но есть и потомки смешанных браков, а также иммигранты из других европейских стран. Из пяти подростков, оказавшихся в четверг в суде района Бобиньи (Bobigny), два были арабского происхождения, трое белых, один — итальянец. Только один из пяти родился за пределами Франции».[90] А консервативная «Figaro» в качестве главной причины событий называла «затяжную безработицу, безработицу среди молодежи».[91]

Разумеется, среди иммигрантов, переселившихся во Францию к концу XX века, были и вполне правоверные мусульмане, соблюдающие Рамадан, не берущие в рот алкоголя и запрещающие своим девушкам показываться на улице с непокрытой головой. Но они-то как раз никакого отношения к бунтам не имели. Консервативные мусульмане во Франции держатся изолированно от общества, запрещают своей молодежи перенимать развратные нравы местных жителей, стараются удержать их от общения с христианами. Когда французские власти пытались запретить мусульманским девушкам ходить в школу в традиционных платках (хиджабах), возник серьезный конфликт, не имевший, однако, никакой связи с погромами 2005 года. Все ограничилось демонстрациями протеста и петициями в адрес властей.

Газета «Independent» совершенно справедливо констатировала, что главная причина происходящего не в культурных и религиозных проблемах, а в «бедности и отчуждении».[92]

Выходящая в Париже англоязычная газета «International Herald Tribune» не удержалась от того, чтобы в связи с бунтами напомнить о «борьбе за политическое преобладание, ведущейся между премьер-министром Домиником де Вильпенем и министром иностранных дел Николя Саркози».[93] Для первого произошедшие события оказались катастрофой, а другому они дали повод требовать дополнительных полномочий. В конечном счете, именно Саркози, оттеснив соперника, стал в 2007 году официальным кандидатом французских правых на пост президента Франции. Может быть, это

объясняет странную беспомощность полиции на первом этапе восстания?

Причину кризиса, конечно, надо искать не в сфере религии и культуры, но и не в сфере закулисных политических интриг. В конце XVIII и первой половине XIX века Европе то и дело сотрясали бунты, очень похожие на те, что развернулись во Франции 2005 года. Причем в Париже происходило это в тех же самых предместьях, на тех же самых улицах. Разница лишь в том, что автомобили не жгли за отсутствием таковых. А силы правопорядка, не приученные еще к гуманизму, без особых предупреждений открывали огонь по разбушевавшейся толпе.

Пока модные социологи рассуждали про «исчезновение пролетариата» в западных странах, мимо их внимания благополучно прошло то, что пролетариат не просто восстановился в первоначальной форме, но и заселился в те самые унылые предместья, откуда несколько поколений назад начал восхождение современный «средний класс». Новый пролетариат так же бесправен, так же не имеет родины, так же не может ничего потерять, кроме собственных цепей. Значительная часть новых пролетариев хронически не имеет работы, составляя «резервную армию труда», превращаясь в люмпенов (что тоже было типично для европейских городов середины XIX века). Масса людей, обреченных трудиться на низкооплачиваемых рабочих местах, а то и вовсе много месяцев безуспешно искать работу, прозябающих на грани нищеты, естественно, не отличается ни особой лояльностью по отношению к государству, ни чрезвычайным законопослушанием.

Две нации! — восклицал викторианский политик Бенджамин Дизраэли, сравнивая бедняков и богачей. Принципиальное новшество начала XXI века состоит, однако, в том, что пролетариат действительно этнически принадлежит к другому народу, нежели буржуа. В свою очередь, либеральное общество могло теперь демонстративно закрывать глаза на социальный конфликт, списывая все проблемы на «религиозные различия», «трудности с ассимиляцией мигрантов», «культурные особенности» и т. д. Никто не хочет замечать, что мигранты давно ассимилировались, стали органической частью европейского общества и совершенно оторвались от своих культурных и религиозных корней, но не получили и не могут получить подлинного равноправия — потому и бунтуют!

Никакая этническая и религиозная политика ничего здесь изменить не может — ни жесткая, ни либеральная. Ибо ни та, ни другая не имеет отношения к сути проблемы. Решить проблему пролетариата может только изменение общества. Бунт предместьев был насквозь французским — по духу, по традиции, по своим требованиям. Массовые выступления свидетельствовали о том, что потомки иммигрантов стали французами, сделались органической частью французского общества, разделяют ценности республики и хотят, чтобы с ними самим обращались соответственно.[94]

События 2005 года, писали французские исследователи Ален Блюм и Сильвия Серрано, вполне вписывается в традицию, начатую революциями 1789 и 1848 годов. Выступления молодежи пригородов служат наилучшим «доказательством того, что эти молодые люди — французы, что они вписываются в традиции французского социального движения и требуют, чтобы к ним применялись основные социальные и политические принципы республики».[95] Соглашаясь с этими выводами, историк Эрве Ле Брас добавлял, что на протяжении истории социального движения «уровень насилия и нанесенный ущерб раз от раза сокращались». На сей раз — после месяца столкновений молодежи с полицией — «ни одной непосредственной жертвы».[96]

Драки с полицией и поджог машин были единственным способом, с помощью которого

обездоленные могли привлечь к себе внимание прессы и «общества». Приходится в очередной раз констатировать, что насилие — это пиар бедных.

«Сегодня на улицы вышли молодые люди по имени Мурад и Мунир из бедных пригородов Парижа, Марселя и Руана, — писала израильская газета „Гааретц“. — В этой ситуации французские левые должны быть выше всех существующих предрассудков относительно „неисправимости“ ислама и мусульман и не поддаваться на провокации вроде тех, которые уже осуществила администрация Джорджа Буша (вспомним, например, рекомендацию гражданам США не посещать „районы насильственных столкновений“). Если здоровые силы французского общества смогут направить начавшуюся борьбу в правильное русло и добьются принципиального изменения системы приоритетов в социальной сфере, это пойдет на пользу всей Европе. Вполне вероятно, что сможет, наконец-то, осуществиться старая мечта левых сил о превращении этого континента в подлинно мультикультурное сообщество. Если же этого не произойдет, то не только во Франции, но и во всем мире восторжествуют принципы, вдохновляющие Джорджа Буша и израильских правых. Они гласят, что все происходящее объясняется только наличием „чрезмерно большого количества мусульман“». [97]

Между тем на французских и западноевропейских левых лежит большая доля ответственности за произошедшее. Деморализованное идеологически, дезориентированное политически, преданное своими лидерами, левое движение на протяжении 90-х годов XX века не сделало ничего для налаживания связи с новыми общественными низами. Европейский пролетариат тоже не сразу стал таким, каким мы его знаем по книгам и документам начала XX века. Этому способствовала многолетняя ежедневная и самоотверженная работа социалистических агитаторов, профсоюзных активистов, просветителей и организаторов. Именно благодаря этой повседневной работе формы протеста пролетариата стали не только более «цивилизованными», но и более эффективными, а солидарность различных групп трудящихся (независимо от национальной принадлежности, квалификации и уровня зарплаты) сделалась неотъемлемым элементом пролетарской культуры. Значительная часть этой работы была направлена на объединение и повышение классовой сознательности мигрантов (тогда — выходцев из Южной и Восточной Европы). Напротив, жители иммигрантских кварталов в конце XX века были предоставлены сами себе.

Вместо того чтобы заниматься организационной и идеологической работой среди мигрантов, многие левые идеологи и активисты предпочитали путано рассуждать о политической корректности, «мультикультурности», толерантности и идентичности. А обнищавшим жителям парижских пригородов нужны были не идентичность с толерантностью, а хорошие рабочие места, защищенные профсоюзами.

Не прошло и полугодия после восстания парижских предместий, как Франция в очередной раз привлекла к себе внимание. На сей раз выступила другая часть молодежи — куда более благополучное студенчество Сорбонны и других университетов. Поводом стал принятый правым парламентским большинством законопроект о «первом найме», фактически лишивший молодежь каких либо прав и гарантий при поступлении на работу.

Вполне в духе героев Дж. Оруэлла французское правительство пропагандировало этот проект в качестве примера заботы о трудоустройстве молодых людей. И в самом деле: бесправные работники гораздо привлекательнее для предпринимателя, чем те, чьи права защищены законом. Значит, их

будут брать на работу чаще! И увольнять тоже. Подобные меры по стимулированию занятости неизменно ведут к потере рабочих мест (вернее, хорошие рабочие места закрываются, а открываются плохие, низкооплачиваемые).

Протестующих студентов поддержали профсоюзы, левые организации. Французы вышли на улицы. Столкновение между властью и студентами переросло в конфликт, затрагивающий всех и каждого. Все вынуждены были сделать выбор.

И выбор этот оказался категорически не в пользу власти... Даже Социалистическая партия, по своей идеологии и практике давно не отличающаяся от правых либералов, испуганно шарахнулась влево: впереди маячили президентские выборы.

16 марта 2006 года студенческие демонстрации собрали по всей стране до полумиллиона участников. 18 марта, в день Парижской Коммуны, в демонстрациях участвовала уже не только молодежь.

Профсоюзы объявили, что выведут на улицы полтора миллиона человек, и сдержали слово. Полиция называла меньшие цифры, но никто не может отрицать, что общественная мобилизация была поистине впечатляющей. По выражению газеты «Le Monde», противники нового закона о трудовых контрактах «выиграли пари».[98] Власти, заявлявшие, что не уступят давлению улицы, пошли на попятный. Закон был отменен.

Грандиозные манифестации в Париже и других городах продемонстрировали, что люди готовы к более жестким действиям. Радикальная молодежь уже в ночь с субботы на воскресенье начала сражаться с полицией, а профсоюзные активисты взялись за организацию забастовок.

Либеральная пресса, столкнувшись с массовым протестом молодежи, не могла предложить ничего, кроме банальных ссылок на повторение «студенческой революции 1968 года». Между тем события, происходившие во Франции 2006 года, отличались от «майской революции» 1968 года и по форме, и по содержанию.

Студенческие протесты 1960-х были эмоциональным бунтом против потребительского общества и происходили в период расцвета европейского «социального государства». Выступления 2000-х, напротив, явились ответом населения на демонтаж системы социальных гарантий. Голосование против Европейской Конституции, волнения в пригородах и демонстрации студентов были лишь разными проявлениями массового сопротивления неолиберализму. Сопротивления, поддержанного подавляющим большинством народа.

Студенты, бунтовавшие в 1968 году, были гораздо более радикальны, но они были изолированы от основной массы населения. На сей раз, напротив, они были не более чем одним из отрядов широкого общественного движения. Причем — не самым радикальным. В 1968 году левые силы были влиятельны, но их идеи отнюдь не были идеями большинства. Получив возможность высказать свое мнение, обыватель летом 1968 года проголосовал за голлистов. Напротив, в середине 2000-х годов левых в точном смысле этого слова на политической арене Франции практически не было.

Социалистическая партия являлась таковой только по названию, а по своей политической ориентации находилась во многих вопросах правее голлистов. Коммунисты были слабы, разделены на соперничающие группировки и дезориентированы. Зато общество, на сей раз, оказалось несравненно левее, нежели в 1960-е годы.

Политическая жизнь 1960-х, с ее расколом на правых и левых (при устойчивом перевесе правых), более или менее точно отражала разделение мнений и позиций в самом обществе. Политика

середины 2000-х представляет собой своего рода зеркальное отражение, изнанку, противоположность общественных настроений. Тогда политическая борьба отражала противоречия общества, теперь мы видим вопиющее противоречие между жизнью общества и положением дел в политике.

Конфликты подобного рода — естественное следствие той политической и социально-экономической реальности, которая называется Европейским Союзом. Вернее, институциональная суть Евросоюза как раз и состоит в отмене демократии в том смысле, к которому наивные европейцы привыкли за последние сто лет. Неудивительно, что обиженное и выброшенное из политического процесса большинство выступило в защиту своих прав. Начав раньше других, Франция лишь в очередной раз показала себя, как говорил Маркс, «классической страной» политической борьбы. Несомненно, по сравнению с XX веком, времена изменились. Изменились технологии, организация общества, его структура и состав. Изменились культурные условия. Капитализм развивается, сталкиваясь с кризисами и реорганизуя себя. Новая эпоха требует от левых очередного переосмысления своей роли в обществе. Политика и идеология левых должна быть направлена на то, чтобы способствовать интеграции мира труда. Надо выделить общие интересы и сформулировать общие требования. Речь идет не о механическом «авангардизме», подчиняющем «отсталые» слои целям и задачам «передовых». Напротив, речь идет о сложном поиске взаимопонимания, ибо социальный эгоизм «передового» слоя всегда бывает наказан. Вопрос о политической гегемонии становится практическим вопросом социальной повседневности. Речь идет о том, что классовая политика необходима самим людям для того, чтобы понять собственное место в жизни, установить связи с другими людьми, найти себя в обществе. Эту работу, применительно к потребностям миллионов индустриальных пролетариев конца XIX века сделала старая социал-демократия. По отношению к новым пролетариям эта работа еще только должна быть сделана. Но для того, чтобы теория стала практикой, а благие пожелания — программой действий, вовлекающей миллионы людей, самим левым необходимо радикально изменить подход к политике и идеологии, сменив демагогически-утопические разглагольствования о «множествах» конкретным социальным анализом.

Революционные армии всегда учились сражаться уже на поле боя. Жесткая логика классовой борьбы не оставляет нам надежды, если мы будем полагать, что сначала будет достигнут массами нужный уровень массового сознания, а потом уже настанет время революционного действия. Нет, действие само по себе является важнейшим условием «созревания» трудящихся, участие в борьбе превращает толпы в массы, а массу в класс. Задача левых состоит в том, чтобы придать протесту направленность, определенность, целесообразность и эффективность. В начале XXI века мир труда не просто оказался «объективно» разобщен. Чтобы он стал единой социальной силой, нужна объединяющая политика и идеология, которые на протяжении 90-х годов левые, казалось бы, предложить не могли. А ведь искать далеко не было необходимости. Достаточно было бы вспомнить идеи классического марксизма, которые во времена глобализации ничуть не утратили своей актуальности.

Глава III. Можно ли обойтись без Маркса?

Не будет большим преувеличением сказать, что идеологическая жизнь большей части XX века прошла под знаком марксизма. Но после событий 1989–1991 годов марксистский социализм, еще недавно казавшийся столь реальной силой, вновь превратился в призрак. Если в 1970-е годы на

Западе неомарксистская культура не только бурно развивалась, но и претендовала на идейную гегемонию в обществе, даже доминировала в среде интеллигенции, то к середине 1990-х она оказалась в глубочайшем кризисе.

Кризис марксизма начался еще до крушения советской системы. События 1989–1991 годов лишь закрепили и усилили тенденцию, наметившуюся гораздо раньше. Уже к концу 1970-х годов живые дискуссии сменяются более или менее однообразным повторением одних и тех же позиций. Один за другим уходят из жизни выдающиеся мыслители, властители дум «взбунтовавшегося поколения» 60-х годов — Герберт Маркузе, Эрих Фромм, Жан-Поль Сартр, Дьердь Лукач — и на их место не приходит никого, хоть сколько-нибудь способного заполнить образовавшийся вакуум.

Во второй половине 1980-х идейный кризис дополняется политическим. Интеллектуалы продолжают изучать вопросы теории на своих кафедрах, но это все меньше связано с общественной борьбой за дверями университетов. А сами университеты перестают быть ареной политических страстей. Крушение коммунистических режимов Восточной Европы, за которым следует триумфальная реставрация капитализма, наносит еще один удар по духовному миру левых. Ренегатство становится массовым. Вчерашние радикалы превращаются в карьеристов. История кажется, если и не оконченной, то остановившей свой бег.[99]

И все же, как отметил Жак Деррида в нашумевшей книге «Призраки Маркса», несмотря на постоянно повторяющиеся попытки окончательно похоронить автора «Коммунистического манифеста», несмотря на все усилия профессиональных заклинателей, «призрак коммунизма» не уходит. В 1848 году призрак коммунизма был страшен тем, что представлял не прошлое, а возможное будущее. На рубеже XX и XXI веков противники марксизма постоянно подчеркивают, что этот призрак принадлежит именно прошлому, и в то же время страшно боятся его возвращения в будущем, доказывая, что «нельзя допустить его реинкарнации».[100]

Это постоянное присутствие призрака особенно нервировало модных интеллектуалов из числа бывших марксистов. Энтони Гидденс в своих работах конца 1990-х годов констатирует «окончательную дискредитацию марксизма»,[101] которая делает, по существу, ненужной любую дискуссию по этому поводу, но тот же Гидденс постоянно вынужден снова и снова возвращаться к марксистской традиции и объяснять преимущества предлагаемого им «радикального центризма» перед марксистскими взглядами на социализм.

В таком постоянном возвращении к вопросу о Марксе, сочетающемся со столь же неизменным напоминанием о том, что вопрос этот совершенно лишен актуальности, есть что-то фрейдистское. «Вытесненное» возвращается из подсознания.

Стремление похоронить Маркса тем более естественно, чем более воззрения Маркса живы. Никто не стремится «похоронить Гегеля» или опровергнуть Вольтера, ибо и так понятно, что гегельянство и вольтерьянство принадлежат прошлому. Идеи философов прошлого растворились в современных теориях. С Марксом этого не произошло. И не могло произойти, ибо общество, которое он анализировал, критиковал и мечтал изменить, по-прежнему живо. В этом смысле пророческими являются слова Сартра о том, что концом марксизма может быть лишь конец капитализма.

Более того, как отмечают многие западные авторы, благодаря глобализации идеи Маркса становятся только актуальнее. Разве не он писал об интернациональном характере капитализма и динамике его социального развития? Во многом, его тексты выглядят в начале XXI столетия более актуальными и

востребованными, нежели в 60-е или 70-е годы XX века. Цитата из «Коммунистического манифеста» была даже использована в одном из ежегодных докладов Мирового Банка, а 150-летие этого произведения дало толчок к широкой дискуссии об актуальности марксизма, причем не только в левых изданиях. Подводя итоги этой дискуссии, американские историки Эрик Канепа и Виктор Уоллес пишут, что почти повсеместно отмечалась точность предсказаний, сделанных Марксом, предрекавшим глобализацию еще в середине XIX века. «Эти комментарии, точно так же как и новые издания „Манифеста“, доказали, что Маркс актуален именно тем, что проанализировал природу капиталистической экспансии, повторяющихся технологических переворотов и не менее регулярно повторяющихся кризисов. Разумеется, это не все, что мы можем узнать из „Манифеста“, но это наиболее важно с точки зрения сегодняшнего дня, и именно это сейчас получило признание — иногда восторженное, иногда вынужденное — за пределами среды, обычно интересующейся политикой».[102]

Возрождение интереса к марксизму было встречено одобрительно далеко не всеми, даже среди левых. Жесткие и категоричные выводы великого экономиста создают дискомфорт, они мешают проводить умеренную и гибкую политику. В конечном счете, они оборачиваются моральным осуждением тех, кто идет на компромисс с капиталистическим порядком. Потому стремление ревизовать марксизм возникает практически одновременно с парламентскими рабочими партиями. Для того чтобы стать умеренным, социализм должен был пройти через ревизионизм. Ведь если марксизм принадлежит прошлому, значит, его жесткие выводы утратили моральное значение для современности. От исторического социализма остаются лишь общие «ценности», которые каждый волен трактовать по-своему.

Совершенно очевидно, что капитализм меняется, а потому бесполезно воевать с ним с помощью цитат из книг, написанных в прошлом веке. Ни умеренность, ни компромисс сами по себе не являются грехом. В конкретных политических условиях любая серьезная партия обречена на поиски компромиссов. Политика не может не учитывать соотношение сил. Но людям свойственно идеологизировать свою практику, превращать оправдание сегодняшних действий в идеологию будущего. А это значит, что неблагоприятная политическая конъюнктура превращается в идеальное состояние, вынужденное отступление — в мудрую стратегию, слабость — в доблесть. Там, где это произошло, поражение делается необратимым, тактическая слабость становится стратегическим бессилием, а целью движения вместо преобразования общества становится более успешное приспособление к нему.

Показательно, что термин «ревизионизм» восходит к лексике бухгалтерского учета. Речь идет не о переосмыслении или даже критике марксизма, а именно о механическом подсчете теоретической наличности, «активов» и «пассивов» учения, после чего некоторые сохранившиеся «ценности» можно использовать, а устаревшие идеологические продукты — списать в утиль. Подобная жесткость и «конкретность» подхода роднит ревизионистов с самыми отчаянными ортодоксами, Разница лишь в том, что последние цепляются за каждый идейный «предмет», доказывая, как некоторые пожилые хозяйки, что его обязательно нужно сохранить в доме «на всякий случай». А идеолог-ревизионист старается расчистить помещение и побыстрее выкинуть «лишнее». Аналитический метод ревизионизма точнее всего можно было бы назвать описательным. Сопоставляя описание тех или иных социальных явлений в классическом марксизме с современной

реальностью, они совершенно справедливо констатируют разницу. На этом исследование и заканчивается, ибо данное различие само, по себе уже рассматривается как основание для отказа от выводов Маркса. Анализа в точном смысле слова здесь нет, он считается просто излишним. Беда в том, что реальность продолжает меняться. События и процессы, описанные ревизионистами, тоже уходят в прошлое, ставя под сомнения их выводы.

Исторически ревизионизм был важным этапом в развитии социалистической мысли.

Ревизионистские заявления Эдуарда Бернштейна в начале XX века поставили под вопрос эпигонскую ортодоксию Карла Каутского и других учеников Энгельса.[103] Тем самым Бернштейн спровоцировал острую теоретическую дискуссию, конечным итогом которой были идеи Ленина, Розы Люксембург, Троцкого, Грамши, Лукача. Все они вряд ли сформулировали бы свои взгляды, если бы ревизионистский вызов Бернштейна не подтолкнул революционное крыло социал-демократии к тому, чтобы выдвинуть собственную альтернативу — как ревизионизму Бернштейна, так и каутскианской ортодоксии. Периодически повторяющиеся дебаты об актуальности марксизма и очередные ревизии знаменуют начало очередного поворотного момента в истории социалистического движения и мысли. Они, бесспорно, свидетельствуют о кризисе марксизма или его господствующих интерпретаций (включая и ревизионистские).

Когда в середине 1980-х официальная советская наука отказалась от прежних ортодоксальных подходов, не было недостатка в авторах, попытавшихся суммировать и теоретически обосновать общие выводы ревизионизма. Так, Владислав Иноземцев пишет, что на Западе в течение XX века «кардинальным образом переродились внутренние основы общественного строя, причем иногда даже в большей степени, чем там, где пронесли вихри революций и гражданских войн». По его словам «после Великой депрессии и Второй мировой войны западные общества претерпели изменения, которые, будучи относительно малозаметными поверхностному наблюдателю, к середине 60-х годов вывели эти социумы за пределы капиталистического строя». Речь идет о переходном обществе, причем все дальнейшие изменения будут происходить «эволюционным образом».[104] В ходе этой эволюции все цели прежнего марксистского социализма достигаются, но без потрясений, классовой борьбы, экспроприации и других неприятностей, хотя, конечно, не без социальных и политических конфликтов, возможность которых не отрицает даже самый умеренный автор.

Очень показательна эта отсылка к 1960-м годам в книге, вышедшей уже в 1990-е. Никакого анализа неолиберализма в ней нет, не найдем мы в ней и указаний на систематическое урезание социальных прав, начавшееся практически во всех западных демократиях. Нет и оценки того, как повлияла на западный мир реставрация капитализма в Восточной Европе. Хотя, казалось бы, автор, живущий в России, не мог подобных явлений не заметить. Здесь дело, однако, не в забывчивости, а в методологии. Подобная же аргументация, непременно отсылающая нас к послевоенной эпохе социал-демократических реформ, характерна и для других авторов. Главный редактор ведущего академического журнала «Полис» И.К. Пантин, признавая заслуги Маркса в истории общественной мысли, пишет: «Дальнейший ход истории показал, однако, что многие из проблем буржуазного общества, на которые указывал Маркс, стали решаться в процессе совершенствования капиталистического производства (повышение зарплаты, рост массового потребления, социальное законодательство, объединение капиталов и сил управления на национальном и межнациональном

уровне, вмешательство государства в экономику и т. д. и т. п.). Все чаще приходится признавать, что марксистские каноны критики капитализма соответствуют скорее прошлому, чем настоящему, а тем более будущему».[105]

Реальные изменения, происходившие в буржуазном обществе 60-х годов, были восприняты ревизионистскими школами как конец традиционного капитализма. Кстати, сходным образом оценивал перемены в западных странах и Эдуард Бернштейн, хотя, к его чести, надо отметить, что он воздерживался от однозначных выводов, делавшихся последующими ревизионистскими школами. Увы, описывая «новую реальность», они не замечали, как она, в свою очередь, тоже устаревала. «Государство всеобщего благоденствия», «социальное государство» (Welfare State, Sozialstaat); в конце XX века — это уже термины, принадлежащие прошлому. В мировом масштабе восторжествовала не только идеология свободного предпринимательства, но и практика неолиберального капитализма.

«Социальное государство» в западных демократиях поэтапно сдавало свои позиции на протяжении 1980-х и 1990-х годов. Еще более масштабным было наступление капитала на права трудящихся в странах «периферии». Рыночный механизм все более освобождался от всякого государственного и интернационального регулирования, частная собственность утверждалась в качестве всеобщего и священного принципа. Другой вопрос, насколько эти перемены являются необратимыми и насколько провозглашаемая либеральной пропагандой идеальная модель свободного предпринимательства соответствует реальной практике позднего капитализма.

Технологически перемены породили не «экономику свободного творчества», а «экономику дешевой рабочей силы».

Уровень эксплуатации вместо того, чтобы снизиться, повысился. Зависимость работников от администрации стала возрастать, а заработная плата падала не только в развивающихся странах и в бывших коммунистических государствах, но с середины 90-х — и в ряде западных стран.

На первых порах ревизионистские школы предпочитали игнорировать неолиберализм или представлять его как временное явление, лишь осложняющее общее гармоничное-развитие общества. Но неолиберализм является вовсе не «зигзагом развития», не ошибкой политиков, а магистральным направлением эволюции капитализма. Суть его в том, что буржуазное общество уже не может позволить себе сохранять социальные достижения прошлых десятилетий. И хотя социал-демократы справедливо отмечали, что объем ресурсов, которыми общество располагает для решения своих социальных проблем, по сравнению с 60-ми значительно возрос, это не имеет никакого отношения к делу: становясь глобальной системой, капитализм неизбежно делается и жестче, и расточительнее.[106]

Принципиальное отличие правой волны 80-х и 90-х годов XX века от предшествующих наступлений (или контр наступлений) консервативных сил состоит в том, что на сей раз, правые использовали лексику «прогресса» и «модернизации», ранее считавшуюся неременным атрибутом левой пропаганды.

«В социалистическом жаргоне термины „левый“ и „прогрессивный“ долгое время были синонимами», — пишет английский историк Уиллиам Томпсон. Идея прогресса доминировала в «модернистском» сознании, а идеология и практика левых воспринималась как наиболее последовательное выражение этой идеи. В результате «левые в широком смысле двигались в том же

направлении, что и общий культурный поток — за исключением лишь периода подъема фашизма в 1933–1942 годах; правые, напротив, какие бы политические успехи они ни одерживали, находились как бы в постоянной обороне, а после 1945 года они даже стали действовать по принципу „не можешь их победить — присоединись к ним“. Идея о том, что история — на твоей стороне, относится к категории мифов, но показательно, что этот миф могло выработать лишь левое движение, а правым приходилось довольствоваться ностальгией».[107] Все радикально изменилось в середине 1980-х годов. Буржуазия впервые с XIX века вновь обрела наступательную идеологию. Неoliberalизм сумел представить себя как динамичную силу, способствующую модернизации, обвинив рабочее движение, левых и профсоюзы в консерватизме, косности, враждебности техническому прогрессу и стремлении пожертвовать будущим ради сегодняшнего благополучия и «привилегий». Парадоксальным образом, в то же самое время вера в прогресс сама по себе была поколеблена, причем не в последнюю очередь об этом позаботились сами левые. Экологическая, феминистская и постмодернистская критика господствующей идеологии была основана не на более радикальном прогрессизме, а на глубоком сомнении в прогрессе как таковом. Это было закономерным переосмыслением исторических итогов XIX–XX веков.[108] Но для левых подобная смена настроений в обществе оказалась катастрофической. «Подобная смена взглядов привела к падению главной идеологической цитадели левых, и это имело гораздо более тяжелые последствия, чем любые конкретные политические неудачи».[109]

Как отмечают теоретики немецкой Партии демократического социализма, в 90-е годы XX века неолиберальной пропаганде удалось объявить препятствием для модернизации и прогресса именно те структуры и отношения, которые прежде считались главными признаками «цивилизованности» капитализма.[110] Такая подмена тезиса не может быть объяснена одними только идеологическими манипуляциями. Ведь ранее тезис о том, что «социальные реформы» качественно изменили природу капитализма, тоже с энтузиазмом был поддержан буржуазной пропагандой.

Дело в том, что период, который в марксистских категориях нельзя называть иначе, кроме как эпохой социальной реакции, был одновременно и временем бурного технологического развития. Подобная ситуация не уникальна. — Первый и наиболее бурный этап индустриальной революции XIX века тоже пришелся именно на эпоху реакции. Период 1816–1848 годов был временем господства «Священного союза», подавления и дискредитации революционных и республиканских идей в Европе, но это же было временем массового внедрения паровой машины, строительства железных дорог, формирования промышленного пролетариата. После краха наполеоновской империи на политическом и идеологическом уровне буржуазно-демократические лозунги были отвергнуты обществом, традиционные элиты праздновали не только военную, но и моральную победу. Однако именно тогда закладывались предпосылки для нового революционного взрыва, потрясшего Европу в 1848–1849 годах.

Задним числом внедрение новой техники рассматривалось как важнейшее условие развития европейского рабочего движения. Но как ни парадоксально, первым социальным результатом индустриальной революции было резкое ослабление позиций рабочего класса. Американский экономист Фред Блок отмечает: «Квалифицированные ремесленные рабочие, такие, как лионские текстильщики или шеффилдские ножовщики, в доиндустриальный период обладали реальной возможностью контролировать производство, поскольку они обладали уникальными техническими

знаниями, и их нельзя было заменить. Среди них господствовали отношения солидарности. Им приходилось сталкиваться с безработицей, когда в экономике наступал спад, но даже тогда они не соглашались на какую попало работу, зная, что с окончанием кризиса их квалификация и знания будут опять востребованы и достойно оплачены. Уровень Профессионализма защищал их от рыночного принуждения».[111] На этом основании Блок даже делает вывод о том, что переход к современной экономике мог базироваться не только на массовом производстве и неквалифицированном труде, типичном для второй половины XIX века, ибо существовал «альтернативный путь, основанный на развитии специализации и трудовой квалификации».[112] Карл Маркс тоже отмечал исключительные социальные достижения английских рабочих накануне индустриальной революции, но, по его мнению, именно стремление предпринимателей освободиться от диктата работников и навязать им новые, более выгодные для капиталистов трудовые отношения было одним из стимулов для массового внедрения новых машин, индустриальной революции. Иными словами, успехи рабочих подтолкнули технологическое перевооружение промышленности, в результате которого европейский пролетариат потерпел историческое поражение. Другое дело, что эта технологическая революция, в свою очередь, спровоцировала социальные сдвиги, которые привели к появлению нового рабочего движения, бросившего еще более радикальный вызов буржуазии.

Социальным итогом индустриальной революции XIX века стало, с одной стороны, изменение ситуации в рядах самой буржуазии, когда рост промышленного капитала привел к новым требованиям радикального переустройства общества. А с другой стороны, эта буржуазия вскоре оказалась под сильнейшим давлением со стороны формирующегося и обретающего политическую организацию пролетариата. Это означало неизбежную радикализацию общества и конфронтацию с силами «старого порядка». Если в 20-е и 30-е годы XIX века идеи Великой французской революции были дискредитированы трагической практикой «якобинского террора» и бонапартовской империи, то к 1840-м годам в Европе вновь наблюдается всеобщее увлечение якобинством, которое воспринимается уже не только как идеологическое оправдание гильотины, но и как первая, неудачная, попытка социального и политического освобождения. Марксизм появился на свет не просто как результат теоретических поисков Маркса и Энгельса, но и как отражение и осмысление этого процесса.

Начиная с конца 40-х годов XIX века, когда рабочее движение вновь окрепло и добилось серьезных успехов, когда на смену ремесленным гильдиям пришли современные тред-юнионы, а затем появились и первые социалистические партии, левые сформировали свою политическую традицию, культуру и мифологию. Как и всякая мифология, она основывалась на обобщении опыта реальной истории, но сам этот опыт был преобразован массовым сознанием. Во-первых, в среде левых установилось представление о почти механической связи между технологическим и социальным прогрессом. Во-вторых, социальный прогресс стал восприниматься как нечто неизбежное, необратимое и неудержимое.

Данные идеи никогда не были сформулированы самим Марксом, хотя его тексты дают возможность для подобной интерпретации. И все же Маркс, будучи не только учеником Гегеля, но и человеком, чья юность совпала с эпохой реакции, неоднократно напоминал и о трагических парадоксах прогресса и о неравномерности и противоречивости исторического развития. Все эти нюансы

казались второстепенными новому поколению лидеров идеологов рабочего движения, чьи идеи сложились под влиянием успешного наступления левых сил во второй половине XIX века и позитивистского технологического оптимизма. Этот же комплекс идей и представлений господствовал среди левых до конца 80-х годов XX века.

Параллели между историей промышленной революции первой трети XIX века и технологической революцией, охватившей конец XX и первые годы XXI века, буквально лежат на поверхности. Показательно, что ревизионисты 1980—1990-х годов недооценили значение и масштабы неолиберальной реакции так же, как ортодоксальные марксисты в 1960-е годы не желали видеть происходивших тогда перемен. Между тем события 1990-х показали, что глубинная природа капитализма, если и изменилась, то значительно меньше, чем хотелось умеренно-левым идеологам. А «новые явления», на которые они ссылались, были в значительной мере результатом классовой борьбы и противостояния двух систем, иными словами, были навязаны капитализму «извне». На рубеже XX и XXI веков главный редактор лондонского «New Left Review» Перри Андерсон выступил с программной статьей, в которой объявлял традиционный марксистский и левый проект исчерпанным, а политическую борьбу бесперспективной. Единственная альтернатива капитализму состояла, по его мнению, в «культурной критике».[113]

Символично, что с таких позиций выступил именно автор, имя которого неразрывно связано с развитием марксистской традиции в Англии и США, на страницах журнала, который в течение предшествовавших десятилетий оставался образцом классового и политически ангажированного анализа. Капитуляция Перри Андерсона, правда, обставленная с достоинством и изяществом истинно британского аристократизма, свидетельствовала о глубочайшем кризисе радикальной интеллигенции Запада.

На фоне кризиса традиционной левой политики постмодернистские варианты радикализма выглядели доступной и привлекательной альтернативой. Термин «постмодернизм» переместился в социологию и политику из архитектуры и изобразительного искусства. Повлияли постмодернистские концепции и на литературоведение. Речь идет о принципиальном отказе от целостного мировоззрения, а в политике — от стратегии, основанной на привычном для марксизма классовом подходе. «Мы не разделяем... мнения, что существует некая система, которую можно называть капитализмом и которой можно противопоставить четкую альтернативу — социализм», — заявляли авторы калифорнийского журнала «Socialist Review», ставшего своего рода рупором радикального постмодернизма в США.[114]

С середины 1990-х годов постмодернизм превратился не только в модное интеллектуальное направление, но и стал главной теоретической альтернативой марксизму и другим разновидностям социалистической мысли среди западной интеллигенции. Университетская публика увлекалась постмодернистскими играми с наслаждением избалованных детей.[115] Но за пределами интеллектуальной элиты постмодернизм никогда не имел массового влияния. Начиная с конца 90-х, он все более оказывался под огнем критики. По мнению многих исследователей, за новыми теоретическими течениями стоит не только стремление преодолеть ограниченность классического марксизма, но и готовность соответствовать требованиям, предъявляемым современным рынком к интеллектуальному производству.

Культ «новизны», типичный как для постмодернизма, так и для близких к нему направлений,

воспроизводит ценности и стиль, характерные для коммерческой рекламы. Чем менее активен гражданин, тем более он превращается в потребителя политики. Демократия участия сменяется «свободой выбора» равнозначной «свободе» посетителя супермаркета. «В современной культуре потребления стиль сам по себе становится ценностью, он определяет то, как люди воспринимают общество, — отмечает американский исследователь Стюарт Ивен. — Разнообразие товаров, которые мы можем приобрести, приравнивается к разнообразию идей и взглядов, которые мы можем разделить».[116] Современный рынок постоянно требует появления новых товаров, отличительным свойством которых является именно новизна. Вообще, понятие «новизны» становится ключевым, вытесняя прежнее представление о «качестве». Оно делается фактором маркетинга, символическая значимость предмета оказывается по крайней мере сопоставима с его «потребительской стоимостью». В известном смысле приобретение в собственность престижного символа само по себе становится целью потребления — самоутверждения «рыночного человека».

Характерной чертой современного капиталистического рынка становится «избыточное разнообразие». Выбор между товарами дополняется выбором между рекламными символами, за которыми может стоять совершенно однотипный продукт. «Избыточное разнообразие» не расширяет, а ограничивает свободу покупателя, лишая его возможности свободно и компетентно принимать решения, создавая иллюзию выбора там, где его нет, и делая невозможным рациональный выбор там, где он возможен.

Похожее происходит также в политике и в сфере общественной мысли. Совершенно естественно, что в такой ситуации традиционные формулы «классовой борьбы», «социальных преобразований», «солидарности» и «народовластия» оказываются отеснены на второй план новыми идеями, «раскрученными» в точном соответствии с принципами современной рекламы.

Чем более сфера идей становится разновидностью коммерции, чем более в нее проникают критерии и требования рынка, тем более калейдоскопичным делается чередование идеологических мод. Надо отметить, что началась эта тенденция со студенческой революции 1960-х годов. Радикализм «новых левых» отнюдь не был капризом избалованных молодых интеллектуалов, но, став формой массовой культуры в потребительском обществе, он был быстро освоен и использован рынком вместе с песнями «Beatles» и мини-юбками. Массовые увлечения той или иной идеей случались и ранее, это нормальное явление общественной жизни. Но массовая мода на нонконформизм была новым явлением. Традиционно человек, разделявший господствующие идеи, мог легче сделать карьеру, занять видное место в правящих кругах. 1960-е годы привели к впечатляющей демократизации буржуазного общества, но одновременно создали условия для того, чтобы капиталистическая рыночная культура смогла интегрировать в себя идеи и символы социального протеста. Начиная с 1960-х годов, радикальные идеи оказались непосредственно вовлечены в сферу рынка. С одной стороны, рынок становится все более «виртуальным». С другой — идеология делается все более конъюнктурной (не в переносном, а именно в прямом смысле слова).

В 1930-е годы Антонио Грамши в «Тюремных тетрадах» сформулировал концепцию «позиционной войны» в гражданском обществе, где доказывал, что культурное противостояние является не просто отражением общего конфликта труда и капитала, но и одним из ключевых фронтов, на котором может решиться судьба борющихся сил. Культурная альтернатива оказывалась важнейшей частью социального преобразования. По мере того, как углублялся кризис левого движения, идея

альтернативной культуры все больше выходила на передний план, становясь самоценной. Создание новой (не обязательно уже пролетарской, но непременно антибуржуазной) культуры становилось в глазах многих левых не средством борьбы за изменение жизни, а ее целью.

Проблема в том, что новую культуру для избранного меньшинства можно создать, не преобразуя общество, комфортабельно устроившись в свободных пространствах, допускаемых самой буржуазной системой. Больше того, в той мере, в какой существует потенциальная возможность превращения творческих идей в «бренды», пригодные для продажи на рынке, система сама заинтересована в существовании подобных альтернатив. По существу, система получает доступ к бесплатному интеллектуальному ресурсу, над воспроизведением которого не надо трудиться. Все виды «альтернативной культуры» объединяет негативное отношение к «мейнстриму» — к нормам буржуазно-бюрократического общества, к ценностям массового потребления, навязываемых масс-медиа, к свойственным этой системе критериям успеха, к господствующим представлениям о счастье, сводящимся к карьере и «удачным покупкам». Альтернатива — это отказ либо вызов. А формы отказа, как и вызова, бывают самые многообразные, зависящие, в конце концов, только от вашей фантазии.

И все-таки, в чем состоит альтернатива? Объединена ли какими-то ценностями, неприятием ценностей официальной культуры или только тем, что все эти явления официальной культурой на данный момент по каким-то причинам отторгаются? Четкого ответа на подобные вопросы идеологи «альтернативной культуры» никогда не давали. Отсюда и размытость, подвижность границ между «мейнстримом» и «альтернативой». Представители контркультуры постоянно сетуют, что «мейнстрим» поглощает, «ворует», переваривает их идеи и начинания. Хотя, с другой стороны, время от времени он и «изрыгает» из себя течения, которые, будучи в прошлом вполне официальными, могут при известных условиях обрести ореол оппозиционности и альтернативности. Так советский соцреализм не просто снова вошел в моду в начале XXI века, но и стал выглядеть как гуманистическая альтернатива рыночной культуре и бессодержательному формализму «современного искусства», предлагавшегося на больших официальных выставках.[117] А увлечение советскими плакатами 1930—1950-х годов стало в России просто повальным. То, что является «мейнстримом» в одном обществе, становится модной формой противостояния официозу в другом (сопоставим хотя бы китайский и французский маоизм 1970-х годов).

Исторически смысл альтернативы тоже меняется. В начале XX века братья Бурлюки пытались сбросить Пушкина с корабля современности. Радикальная культура противостояла традиции высокого искусства. Однако та же классическая традиция к началу XXI века сама по себе становится все более маргинальной. Не отрицая ее значения в принципе, «мейнстрим» с помощью «гламурных» журналов и массового производства коммерческой продукции систематически профанирует и подрывает классическую культуру. Музыка Моцарта используется для рекламы мыла, образы голландской живописи XVII века привлекают, чтобы повысить продажи элитных сортов кофе, а стихи Тютчева читают по громкой связи в московском метро вперемежку с призывами заботиться о противопожарной безопасности и покупать «горящие путевки». Можно сказать, что Пушкина уже опустили за борт, хотя и с соответствующими почестями. В итоге поклонники поэзии «Золотого века» становятся такой же экзотической (а численно, возможно, меньшей) группой, нежели хиппи, растаманы и байкеры.

Общий пафос противостояния «мейнстриму» скрывает ключевой вопрос что перед нами — альтернатива, буржуазной культуре или альтернатива в рамках буржуазной культуры? На практике, конечно, имеет место и то, и другое. Более того, зачастую вопрос остается непроявленным и незадаанным для самих участников процесса, а потому и их собственные стремления, стратегии поведения и методы действия оказываются противоречивыми, двусмысленными, непоследовательными и, в конечном счете, саморазрушающими.

Столкнувшись в начале XX века с первым взрывом «альтернативной культуры», ортодоксальный марксизм характеризовал эти явления как различные формы «мелкобуржуазного бунта». Слово «мелкобуржуазный» в лексиконе тогдашних социал-демократов было Откровенно ругательным. Однако при более внимательном взгляде на проблему обнаруживаем, что независимо от эмоциональной окраски выводы «ортодоксальных марксистов» были вполне обоснованы. Особенностью мелкобуржуазного сознания является как раз противоречивость, неспособность доводить собственную мысль до логических выводов (что порой компенсируется утрированным радикализмом политических лозунгов). Эта противоречивость порождена социальным положением мелкого буржуа — в одном лице «труженика и собственника» по Ленину, «маленького человека» русской литературы или просто социального Микки-Мауса по Эриху Фромму. Кризис Welfare State, государства «всеобщего» благоденствия, породил на Западе и новый тип — образованного и материально почти благополучного люмпена, которого система не может успешно интегрировать (не хватает рабочих мест, нет перспектив роста), но не решается и окончательно «опустить», предоставив собственной участи. Такое же противоречивое, мифологизированное и «мятущееся» сознание формируется у потерявшего опору советского интеллигента, превращенного неолиберальной реформой в образованного маргинала.

Взбунтовавшиеся дети Акакия Акакиевича требуют выдавать всем письмоводителям доброкачественные шинели. Им не нужны шинели для себя — им важен принцип! Это может быть бунт на коленях, а может быть самопожертвование героя-террориста. Образ нового мира остается размытым, ясно только, что в нем не должно быть места тем безобразиям буржуазно-бюрократического порядка, которые, собственно, и спровоцировали бунт.

Именно поэтому стиль оказывается важнее содержания, а ценностные различия между правыми и левыми критиками системы представляются не столь важными (знаменитый тезис о колебании мелкого буржуа от крайней реакционности к столь же отчаянной революционности был неоднократно доказан историей).

Поучительным примером может служить «Энциклопедия альтернативной культуры», опубликованная в 2005 году издательством «Ультра. Культура». Хотя сами авторы энциклопедии, безусловно, испытывают симпатию к левым и неприязнь к всевозможным ультраправым, фашизоидным, националистическим и расистским идеологиям, они не видят основания, с помощью которого они могли бы исключить все эти глубоко им отвратительные тенденции из общего поля «альтернативы». Ведь на уровне стиля, форм поведения и даже социальной базы общие черты имеются. Такой подход был вообще типичен для идейной методологии издательства «Ультра. Культура». Работа этого издательства, возглавляемого выдающимся поэтом Ильей Кормильцевым, была настоящим прорывом для российского книжного рынка, заваленного коммерческой макулатурой. Но то же самое издательство отличалось и крайней бессистемностью в выпуске книг,

отсутствием четких критериев отбора произведений и катастрофической нестабильностью работы. Духовный кризис постсоветского общества породил и вовсе «синтетические» явления в духе «оппозиционного патриотизма». С одной стороны, подобные идеологические конструкции предстают перед нами в выступлениях Геннадия Зюганова, упорно пытавшегося сочетать приверженность «коммунистической организации» с восторгами по поводу православной монархии. С другой стороны, мы видим политическое творчество Эдуарда Лимонова, у которого итальянский фашизм, правозащитный либерализм, русский национализм и большевизм комбинируются в единое сооружение как кубики из детского конструктора Lego. И зюгановщина и национал-большевизм обеспечивают своеобразный «синтез» доминирующих в постсоветской публицистике идей: черносотенного национализма, либерализма и сталинизма. Но в первом случае эти идеи предлагаются нам в уныло бюрократическом и консервативном, а во втором — в радикально-молодежном исполнении. При этом и национал-большевизм, и зюгановщина действительно альтернативны, но не в том смысле, что они представляют собой вызов сложившейся системе, а лишь в том, что они предлагают две версии «оппозиционной политики», которые может использовать в тактических целях недовольная властью часть элиты.

Безобразия буржуазного мира отнюдь не обязательно относятся к сущности системы — они могут быть всего лишь ее побочными и случайными проявлениями. Допустим, запрет на курение марихуаны может уйти в прошлое так же, как «сухой закон» и сексуальный «строгий режим» в пуританской Америке, но общество, порождающее подобные запреты, останется стоять на прежнем экономическом и социальном фундаменте.

Мелкобуржуазный радикал, несомненно, ярый враг системы, но удары свои он направляет, как правило, не против ее основных столпов. Фундаментальные основы системы, режим частной собственности и корпоративного предпринимательства он почти никогда не атакует — либо оттого, что второстепенные проблемы (вроде запрета на курение марихуаны) занимают его больше, либо потому, что, прекрасно отдавая себе отчет в том, на чем основана ненавистная ему система, он не видит в себе (и в окружающем мире) силы, способной его изменить.

Крайним выражением подобного образа мысли уже в наше время становится постмодернизм, заявивший, что все противоречия системы равноценны, что вопрос о равенстве числа женских и мужских туалетов в здании британского парламента имеет, в сущности, такое же важное значение, как и эксплуатация рабочих или долги стран «третьего мира».

Разумеется, постмодернизм, будучи откровенной и наглой формой примирения с действительностью, был быстро исключен из мира «альтернативной культуры». Однако он, вне всякого сомнения, был ее логическим результатом, продуктом бунта 1960-х годов (и итогом его вырождения). Он лишь выявил в предельно гротескной форме общую проблему.

Альтернативная культура и соответствующие ей политические движения постоянно ведут только тактические битвы, не имея шансов на успех (поскольку эффективность тактической борьбы зависит от того, насколько она работает на решение общих стратегических задач, которые, по определению, не ставятся).

Возникают «тактические медиа» — без стратегической задачи. Отказ от борьбы за власть оборачивается готовностью оставаться в гетто и, главное, бессилием помочь большинству, для которого в этих гетто места физически нет. А индивидуальные представители гетто с удовольствием

покидают его пределы, чтобы переселиться на страницы «гламурных» журналов, а то и в министерские кабинеты, подобно деятелям немецкой «зеленой» партии. Мир изменить все равно нельзя. Значит, можно изменить лишь жизнь для себя. Способы бывают разные. Можно уйти в сквот, а можно самому стать начальником. Между первым и вторым решением разница не так велика, как кажется.

Быть «вне системы» не значит быть «против». С таким же успехом «внесистемное» бытие может быть и жестким противостоянием, и мирным сосуществованием. Либеральный капитализм признает привилегию инакомыслия, другое дело, что она доступна лишь избранным. Интегрированные радикалы становятся одним из элементов (а может быть, и столпов?) системы.[118]

«Альтернативная культура» создает собственный закрытый мир, точнее миры. Каждый из них самодостаточен. Замыкаясь в них, их обитатель уже не слишком воспринимает окружающее пространство. Он полон иллюзий относительно всеобщего значения своей жизненной практики. Так, например, авторы «Энциклопедии альтернативной культуры» совершенно искренне убеждены, что марихуану курят все «повально и поголовно до (а многие иногда и после) 40 лет» или что движение хиппи в начале 1990-х годов включало в себя «почти всю более-менее мыслящую советскую молодежь».[119]

Человек, живущий по правилам «альтернативного мира», уже настолько не интересуется пошлыми и банальными двуногими существами, которые стригут волосы и пьют водку, что попросту не замечает их или отказывает им в праве на разумность. Таким образом, неприязнь к буржуазной пошлости плавно переходит в квазиаристократическое презрение к тем людям (огромному большинству!), что обречены жить по законам системы.

«Альтернативщик» уже свободен, даже если для мира в целом система отрицаемых им запретов сохраняется неколебимо. Вопреки Ленину, он живет в обществе, стараясь по возможности быть свободным от общества. Но какой ценой? Большая часть его энергии уходит на то, чтобы защищать свое пространство от вторжений «мейнстрима». Внешний мир остается предоставлен сам себе.[120]

Поведение такого радикала соответствует логике старого анекдота. Почему аист стоит на одной ноге? Потому что, если он и ее поднимет, то упадет. Там, где возможность стоять на двух ногах априорно отвергается, есть лишь альтернатива — стоять на одной ноге или падать. Иными словами, сопротивляться буржуазному миру или подчиниться ему. Вопрос о практическом изменении мира перед таким радикалом просто не возникает.

Итогом таких битв неизменно оказывается поражение. Причем лучшим вариантом становится поражение непосредственное, когда борец героически погибает, часто в прямом смысле, растоптанный системой. Куда худшим результатом оказываются победы «альтернативной культуры», в конечном счете, срабатывающие на усиление той самой буржуазной системы, против которой так яростно боролись. Рок-музыка поглощается индустрией телевидения, сексуальная революция наполняет своей энергией коммерческую рекламу, а порнография делается бизнесом со своими транснациональными концернами и финансовыми потоками.

Капиталистическая система, способная каждый раз поглотить и даже использовать в своих целях разрушительный потенциал бунта, выглядит мифическим всеильным чудовищем. Миссия «альтернативной культуры» заведомо невыполнима, враг непобедим. Со времен Альбера Камю ключевым мифом левых становится Сизиф, героически продолжающий свое бессмысленное дело.

Но с некоторых пор камень уже не скатывается с горы. Это расточительство, которое рациональная капиталистическая система позволить себе не может. У современного Сизифа на вершине каждый раз отбирают камень. А из доставленных на вершину булыжников строится новое крыло старой тюрьмы. Правила игры определяют те, кто занимают стратегические «господствующие высоты». Иными словами, те, у кого в руках экономическая и политическая власть. Может, дело не в камне, а в горе? Иными словами, в социально-экономических структурах, которые могут и должны быть изменены сознательным политическим действием.

После каждого поражения бунт начинается снова. Он имманентен капитализму и постоянно меняет свою форму по мере развития буржуазного общества. В конечном счете, именно противоречивость мелкобуржуазного сознания несет в себе мощный творческий потенциал. «Мятущееся сознание» крайне плодотворно. Материал, из которого получается плохая политика, порождает великолепную культуру. Было бы очень скучно, если бы вместо «театра жестокости» Антонена Арто, сюрреализма «нового романа» и фильмов арт-хауса мы бы имели лишь бесконечный поток идеологически безупречных социально-критических произведений в стиле живописи «передвижников» или прозы позднего Диккенса и раннего Горького.

И все же неслучайно, как подметил Набоков, великие революционеры по большей части оказывались людьми вполне консервативных эстетических взглядов. Радикальный вызов системе становится эффективен лишь тогда, когда роли меняются. Альтернатива должна сама стать новым «мейнстримом», вобрать в себя формально признаваемую капиталистическим миром культурную традицию, одновременно разлагая и разрушая коммерческую «массовую культуру». С появлением общей цели и общего смысла тактика обретает стратегию, мятеж, закончившийся удачей, получает право на новое название.

Подобный переворот происходит только в процессе социальной революции. Это единственное, чего система не может переварить.

Хотя «новые левые» начали с критики традиционного рабочего движения как «интегрированного в капитализм», их собственная политическая культура прошла тот же путь за значительно более короткий срок. Причем если рабочее движение, даже в своей реформистской форме, оставалось определенным альтернативным полюсом в рамках капитализма (иначе и быть не могло в силу естественных противоречий между интересами труда и капитала), то оторванная от рабочего движения радикальная культура, интеллигенции быстро эволюционировала из революционной в конформистскую, фактически миновав реформистскую стадию. Начиная с середины 80-х годов, новые идеологические направления не просто быстро осваивались рынком, но зачастую с самого начала были ориентированы на него. Время молодежного бунта породило образы и подходы, которые можно развивать, комбинировать, на основе которых можно формулировать модные идеи точно так же, как кутюрье могут перекраивать до неузнаваемости «классическую» мини-юбку.

Как отмечает американский исследователь Том Франк, символический, ритуальный протест против «буржуазных ценностей» сам по себе стал рыночным символом, его можно купить и продать.

Капитализм изменился больше, чем представления левых о нем. «Контркультурные идеи стали общим местом капиталистической культуры, стремящейся к постоянным переменам, новизне ради самой новизны. Это идеально соответствует культурно-экономическому режиму рынка, который требует постоянного обновления ассортимента. Стремление к самоутверждению и нетерпимость к

традиции в сочетании с призывами к формированию экспериментальных жизненных стилей — все это часть потребительской культуры. Конформизм в старом смысле слова уже не обязательно является требованием потребительского общества. Как раз напротив, оно настойчиво требует чего-то нового, нестандартного. Реклама призывает не к пуританскому аскетизму, не к следованию протестантским ценностям, а к тому, чтобы погрузиться в стихию непрерывного самоудовлетворения. Она учит не дисциплине большинства, а агрессивному и постоянно трансформирующемуся индивидуализму. Потребляя, мы пытаемся изобразить из себя бунтарей, людей, стоящих выше толпы, звезд рок-н-ролла, героев 60-х годов. Ради этого мы покупаем дорогие машины, красивые ботинки и модные марки пива».[121] В Восточной Европе эта связь между потребительским капитализмом, индивидуализмом и контркультурой молодежного бунта была еще очевиднее, ибо бунт никогда, даже в 1960-е годы, не был направлен непосредственно против капитализма. Западный капитализм имел свои традиции, восточноевропейский неолиберализм был отрицанием традиций коммунизма. Его философия была проста, органична и привлекательна: деньги открывают доступ в мир разнообразия, самореализации и свободы.

Постмодернистские идеологические концепции — в сущности, не что иное, как проекция рыночной ситуации избыточного разнообразия на общественную и политическую жизнь. Мир представляется пестрой мозаикой, следовательно, в рамках постмодернистского подхода содержание может меняться как узор в калейдоскопе. Старомодное социалистическое движение должно было уступить место новым социальным движениям, феминизму, движениям угнетенных национальных, культурных и сексуальных меньшинств, всему тому спектру разнообразных инициатив, что получил название «политики идентичности» (identity politics). Идеология социальных преобразований была направлена на будущее, самоутверждение позволяет жить настоящим.

Сильная сторона постмодернистской критики марксизма состоит в том, что на первый план выдвигаются проблемы, в старой социалистической теории оставшиеся на втором плане, а то и вовсе затухавшие. Расовое, этническое, религиозное угнетение совершенно реально и не может быть просто сведено к «побочным эффектам капитализма», даже если в основе всего этого лежит именно эксплуатация труда. Точно так же реально и многообразно угнетение женщин. Наконец, мир труда становится все менее однородным, следовательно, и старые представления о «рабочем классе» должны быть пересмотрены.[122]

Интеллектуальный шок, в который повергла социалистов постмодернистская критика, трудно переоценить. Однако, одержав верх над левым традиционализмом, постмодернистская теория столкнулась с собственными внутренними противоречиями. Политика самовыражения — identity politics — становится возможна благодаря идеологическому разложению рабочего социализма, когда единственной реальной альтернативой неолиберализму становится не тот или иной антикапиталистический или даже реформистский проект, а лишь радикально-демократическая интерпретация либерализма. Это закономерный результат эволюции части западной левой интеллигенции, которая, критически относясь к капитализму, не хотела или не могла соединиться с массовым рабочим движением. Далеко не всегда виновата была сама интеллигенция. Зачастую на первых порах причина отторжения интеллигенции от рабочих состояла как раз в том, что с точки зрения организованного рабочего движения левая интеллигенция была чересчур радикальна (а рабочие с точки зрения радикальной интеллигенции выглядели обуржуазившимися). Но,

отказавшись от связи с рабочим движением, радикальная интеллигенция могла беспрепятственно смещаться вправо. Это сопровождалось глубоким кризисом самой интеллигенции. В то же время интеллигенция все более успешно интегрировалась в парламентскую культуру правой социал-демократии и одновременно способствовала еще большему сдвигу соответствующих партий вправо. Как отмечает Доналд Сассун, радикализация студентов происходила на фоне деполитизации рабочих. Даже в рамках «старых» социалистических партий рабочий уже не был центральной фигурой. «Политика стала делом „среднего класса“, хотя надо помнить, что сам „средний класс“, в отличие от начала века, был уже достаточно массовым».[123] Иными словами, социал-демократические партии все менее опирались на традиционное рабочее движение и все более становились выразителями интересов образованного «среднего класса», который, в свою очередь, рос численно и становился более влиятелен.

Другое дело, что по мере роста численности «среднего класса» меняется и его отношение к буржуазным элитам, возникают новые противоречия, которые, в конечном счете, способствовали новому всплеску радикализма в самом конце 1990-х. Однако эти новые радикальные движения были созданы уже представителями другого поколения, зачастую в остром конфликте «обуржуазившимися» представителями культуры 1960-х, которые продолжали по инерции смещаться все дальше вправо.

Лозунг социального преобразования сменяется идеей расширения демократии. В различной форме эти идеи были сформулированы такими авторами, как Энтони Гидденс, Роберто Мангабиера Унгер, Ален Турен, Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф. Характерно, что при всех существенных различиях между ними, эту группу объединяет общая политическая динамика (слева направо) и общая тенденция идеологической эволюции. Парадоксальным образом, призыв к расширению демократии сочетается с констатацией полного бессилия государства в условиях глобализации, что фактически означает крайне низкую оценку уже существующих демократических институтов. В этом плане весьма показательна работа Энтони Гидденса «За пределами левого и правого» («Beyond Left and Right»). Окончательное поражение социализма, являющееся для Гидденса самоочевидным фактом, просто снимает с повестки дня борьбу за какие-либо системные преобразования. В этом смысле поражение революционного социализма фактически предполагает и отказ от реформизма, по крайней мере, в его привычной форме. Вместо этого нам предлагается набор лозунгов, идей и подходов, способствующих развитию демократии в рамках существующего порядка. Это должна быть «диалогическая демократия», которая уже «не концентрируется на государстве, хотя и соотносится с ним». Она «способствует демократизации демократии в рамках либерального государства».[124] Ключевым моментом новой радикальной политики является восстановление «духа сообщества» (community) и солидарности, причем все это, по мнению Гидденса, может быть достигнуто без изменения социальных и экономических структур, из-за которых и происходит разложение общественной солидарности за счет «политики жизненного стиля», которая придет на смену устаревшей социал-демократической политике жизненных возможностей.[125]

Проблема в том, что различные сообщества (communities) зачастую объединяются не просто так, а для борьбы друг с другом на основе противоречивых экономических интересов. То же самое в еще большей мере можно сказать и про различные формы общественной солидарности. Тем самым,

вопреки мнению автора, проект «диалогической демократии» далеко не автоматически подразумевает укрепление солидарности внутри вовлеченных в него групп. Легко догадаться, что субъектом гиденсовской диалогической политики является тот самый буржуазный индивид, который был неоднократно описан и проанализирован в работах раннего Маркса. Осознавая это, Гиденс призывает к заключению «соглашений в сфере образа жизни» («lifestyle pacts»), которые обеспечили бы гармоничное сосуществование «между бедными и богатыми». Развитие глобального потребительского общества должно быть дополнено возможностью альтернативного развития для жителей бедных стран.[126] Проблема в том, что «альтернативное развитие», если к нему относиться серьезно, изымает из сферы капиталистического рынка ресурсы и рабочую силу — именно потому оно и может быть названо «альтернативным», а не дополняющим. Во-вторых, «глобальный потребитель» есть чистейшая социологическая фикция, нечто вроде средней температуры больных в палате. Несмотря на глобальную стандартизацию потребления, в мире существует не один, а сразу несколько потребительских стандартов, отражающих не только культурные, климатические и прочие различия, но и расслоение потребительского общества. И коль скоро альтернативное развитие и более справедливое распределение ресурсов (в том числе между отраслями экономики самих западных стран) не может не затронуть имеющегося порядка, возникает вопрос — за чей счет все это может быть сделано? Будет ли рост жизненного уровня в развивающихся странах компенсирован снижением заработной платы в Старом свете или элиты должны чем-то пожертвовать?

Легко заметить, что, несмотря на всю новую терминологию, перед нами не более чем повторное издание буржуазного радикализма середины XIX века, с его озабоченностью положением бедных, потребностью в расширении демократии и культурном самоутверждении представителей «среднего класса» при одновременном нежелании ставить вопрос о системных преобразованиях и классовом конфликте. Повторение пройденного — естественное явление для эпохи реакции. Существенно, однако, что старый радикализм готовил социализм, тогда как либеральный (или «постсоциалистический») радикализм конца XX века отражает ситуацию кризиса левого движения. Практика identity politics, выглядевшая новаторской в конце 80-х годов, к 1999–2000 годам уже стала достаточно привычной частью общественной жизни западных демократий. При этом можно подвести определенные итоги. Увы, достижения сторонников identity politics отнюдь не являются впечатляющими. Главным видимым успехом можно считать утверждение в левых кругах новой нормативной лексики — «политкорректного» языка. Этот политически корректный язык, соединенный с академическим новоязом, не позволяет выразить простые человеческие чувства и потребности, ясные и конкретные требования, становясь своеобразным жаргоном посвященных. Авторы обстоятельной «Энциклопедии американских левых» даже вынуждены были уделить несколько абзацев разъяснению «часто неясной левой терминологии».[127] И это при том, что энциклопедия предназначена все же для специалистов.

Становится принципиально важно, чтобы негров называли «афро-американцами», инвалидов — «людьми с ограниченными возможностями», а обобщение «граждане» непременно должно дополниться уточнением: «и гражданки».

Стюарт Холл и позднее Фредерик Джеймсон очень удачно назвали полемику постмодернистской левой против старого марксизма «дискурсивной борьбой».[128] В этом случае словесные ассоциации и образы фактически заменяют аргументы. Достаточно закрепить положительные или

отрицательные ассоциации за теми или иными словами и можно простым употреблением их «доказать» все что угодно. Хорошие слова — «гражданское общество», «ассоциация», «диалог», плохие слова — «государство», «централизация», «контроль» и др. Что стоит за этими словами, уже не имеет значения. При этом, например, невозможно объяснить, что одни технологические процессы предопределяют необходимость централизации, а другие, напротив, с ней несовместимы.

Постмодернистский радикализм обещал выйти «за пределы тотализирующих понятий капитализма и классовой борьбы, характерных для классического марксизма». Политическим результатом этого станет «новый тип классовой борьбы, основанный на всем разнообразии повседневного жизненного опыта, демистификация великих нарративов революции».[129]

Отвергая «тотализацию» во имя конкретного, постмодернизм по-своему прав. Не потому, что всякая «тотализация» — тоталитарна (это не более чем игра слов, возможная, кстати, только в западных языках). Просто любое обобщение можно разложить, лишив всякого смысла.

«Антитотализационный» пафос постмодернистской левой, будучи порождением интеллектуалов, в своей основе антиинтеллектуален. Борьба против «тотализации» на самом деле является борьбой против традиционного научного мышления и, в конечном счете, против научного мышления как такового.

Теория имеет какой-то смысл, лишь в том случае, если осмысляет и переосмысляет конкретную практику, не различные «нарративы». Показательно, что пока радикальная постмодернистская интеллигенция пыталась переосмыслить «великие нарративы», в профсоюзах США происходили весьма глубокие сдвиги, способствовавшие возвращению организованного рабочего движения в политическую жизнь. Эти сдвиги, однако, просто не были замечены радикальной постмодернистской социологией. И это закономерно, ибо символическое место пролетариата, берущего на себя всемирно-историческую миссию освобождения человечества, в новой системе ориентиров заняли угнетенные группы и меньшинства — расовые, религиозные, национальные, сексуальные. Все они равноценны и равнозначны, никто не может претендовать на «руководящую» или «историческую» роль. Причем именно принадлежность к меньшинству является своеобразным признаком избранности (и одновременно угнетенности). И все же особое место в иерархии «меньшинств» заняли женщины, хотя, строго говоря, они являются как раз большинством.

Феминистская политика в наибольшей степени соответствовавшая критериям постмодернистской идеологии, в 1970-е и 1980-е годы была на подъеме. Исходные положения, общие для всех направлений феминизма, практически бесспорны. Во-первых, большая часть истории была временем господства мужчин и дискриминации женщин. Эта дискриминация лишь сравнительно недавно была формально осуждена обществом с достижением гражданского равноправия, но не более того. Во-вторых, преобладание мужчин в общественной жизни не могло не отразиться на господствующих социальных теориях, недостаточно принимавших во внимание интересы и взгляды женщин.

Подобная критика может быть отнесена и к «классическому марксизму», хотя ряд авторов очень высоко ставит работы Фридриха Энгельса, подготовившие современный феминизм.

Между тем, заявляя свою цель в широком смысле как защиту интересов, прав и взглядов женщин, феминистское движение претендует на право говорить от имени массы, которая просто не существует в реальности: женщины принадлежат к разным классам и культурам. Противоречия между женщинами, входящими в противостоящие социальные группы, никак не меньше, чем

соответствующие противоречия среди мужчин, они перевешивают любые формы «женской солидарности». В результате, с одной стороны, феминистская теория и соответствующее движение расслаивается на множество потоков, не только конфликтующих, но и совершенно несовместимых. А с другой стороны, именно «феминизм» отражающий настроения, идеалы и интересы женщин, принадлежащих к господствующим в обществе слоям и классам, становится господствующим видом феминизма. Начав с призывов к надклассовой солидарности женщин, такой феминизм все более становится выражением социального эгоизма представительниц западной буржуазной элиты. «Сам по себе успех движения придает дополнительный вес его сторонникам, обеспечивает им позиции в академической системе, государственной бюрократии, парламенте, суде и, в меньшей степени, в руководстве корпораций. Это легитимизирует подобный „феминизм“, одновременно вытесняя другие взгляды», — пишет австралийская журналистка Пэт Бруер.[130] Однако политический успех преходящ, как и мода, особенно если он не закреплен структурными преобразованиями в обществе. Достижения феминизма были поставлены под вопрос неоконсервативной волной 1990-х.

Одним из важных направлений постмодернистского радикализма является критика «европоцентристской» традиции Просвещения (включая марксизм, традиционную социал-демократию и даже идеологию национального освобождения в «третьем мире»). В то же время сторонники подобных взглядов крайне нетерпимо относятся к не-западным культурным традициям, отвергающим постмодернизм, права меньшинств и т. д.

Далеко не во всех культурах были восприняты с энтузиазмом представления о свободе и самоутверждении, пропагандировавшиеся феминистскими идеологами. И самое главное, далеко не все женщины, страдающие от дискриминации и готовые бороться с ней, склонны были разделять культурные и политические стратегии представительниц западного «среднего класса», выразивших свое мироощущение в радикальном феминизме.

Существует принципиальная разница между историческим женским движением XIX и первой половины XX века и западным феминизмом в том виде, в котором он сложился к 70-м годам. Показательно, что импортированный в страны бывшего советского блока западный феминизм никак не был связан с богатой революционной традицией русского женского движения начала века (наиболее ярким примером могут послужить взгляды и деятельность Александры Коллонтай). Для того чтобы одновременно показать преемственность и отличие по отношению к женскому движению начала XX века, стал использоваться термин «новый феминизм» или «феминизм второй волны».[131] Раньше ключевой идеей было равенство, теперь «особенность», идентичность. Коль скоро речь все-таки идет уже не о феминизме, а о феминизмах, сама по себе феминистская «идентичность» оказывается двусмысленным и дезориентирующим политическим лозунгом. Похвальное стремление левых воспринять феминистскую критику старого социализма и переосмыслить собственные подходы в конечном счете привело к некритическому заимствованию идеологии и лозунгов либерального женского движения.

Если подъем борьбы за права женщин в начале XX века был тесно связан с общим подъемом демократических и социалистических движений, то расцвет «нового феминизма» — с их упадком. Десятки тысяч молодых людей из преуспевающих семей были политизированы и радикализированы событиями 1960-х годов, но это продолжалось недолго. С поражением «новых левых» стала

меняться политическая культура «среднего класса». Для многих участников студенческих выступлений это означало отказ от радикализма, но не уход из политики. Поэтому не случайно, что подъем нового феминизма совпадает с упадком движения «новых левых».

Феминизм стал важным фактором политизации женщин, особенно в среде образованного «среднего класса». Но уже в конце 1970-х многие активистки феминистского движения обратили внимание на присущие ему (как и другим гражданским движениям) слабости и противоречия. «Предположим, рабочие будут протестовать только против боссов, женщины только против сексизма и дискриминирующего их разделения труда, черные лишь против расизма — подобная борьба имела бы смысл лишь в обществе, где все не было бы институционально взаимосвязано, где не было бы единой системы государственной власти. Но это просто не так, общество интегрировано единой культурой и единой системой производства, а потому частичные решения не получаются», — писала Хиллари Уэйнрайт в 1979 году.[132] Сложность в том, что даже тогда, когда частичное решение возможно, проблемы одних угнетенных групп могут быть решены за счет других.

Массовое феминистское движение меняло баланс сил в обществе и, несомненно, обладало значительным освободительным потенциалом. Однако исследования западных социологов показывают, что успехи в социальном самоутверждении женщин «среднего класса» пришлось на период, когда в значительной мере были утрачены завоевания рабочего движения и ухудшились позиции черного меньшинства в Соединенных Штатах. Иными словами, отсутствие солидарности способствовало тому, что одни движения были фактически использованы в качестве инструмента против других.

На фоне общего кризиса левой политики в 1980—1990-е годы проблемы, порожденные новыми социальными движениями, не только не были разрешены, но, напротив, стали глубже. Хотя именно социалисты наиболее настойчиво отстаивали на протяжении XX века права меньшинств и интересы женщин, далеко не всегда реальные сдвиги здесь были связаны с поворотом влево. То же самое произошло и с экологическим движением, которое в начале 1980-х представлялось новой, постиндустриальной формой антикапиталистической оппозиции. Как отмечает Сассун, «в основе „зеленой“ идеи лежит представление о том, что надо регулировать и ограничивать капиталистические фирмы и установить в обществе некие общие, — то есть коллективистские — цели, такие как улучшение окружающей среды. Идеологически это гораздо более приемлемо для левых, чем для правых».[133]

Между тем реальное экологическое движение не сближалось с социализмом, а, напротив, все более удалялось от него. Причиной была слабость самих левых партий, которые стремились не столько переосмыслить социализм через призму экологических идей, сколько спрятаться за них.

Несостоятельной оказалась и претензия экологических движений на то, чтобы встать «выше традиционного деления на правых и левых». Рассуждения о том, что разрушение окружающей среды одинаково затрагивает и богатых и бедных, свидетельствовали лишь о нежелании лидеров движения всерьез ставить вопрос о системных причинах экологического кризиса, о связи между разрушением природы и экономической логикой капитализма. Стремление части экологистов уйти от вопроса о капитализме и социализме привело к политическим проблемам внутри движения. К концу 1990-х кризис «зеленой» идеологии стало невозможно скрывать. Как справедливо отмечает Норберто Боббио, становится все более очевидным, «что развитие экологических движений не сделает

традиционное деление на левых и правых анахронизмом, поскольку деление на левых и правых воспроизвелось внутри самого „зеленого“ движения, и без того раздираемого противоречиями».[134] Движения за права этнических и культурных меньшинств столкнулись с теми же противоречиями. В традиционном марксизме господствовала идея об однородности, порождаемой капиталистической фабрикой. На самом деле даже в рамках индустриальной экономики сосуществовало несколько типов организации и несколько производственных культур. Российское социалистическое движение обнаружило это в начале XX века, когда появился еврейский рабочий союз — «Бунд». Это была одна из первых левых организаций, построенных не на территориальной, а на этнической основе. С одной стороны, «Бунд» появился ранее общероссийской социал-демократической партии и стал ее прообразом (неслучайно многие активисты «Бунда» впоследствии сыграли важную роль в партии меньшевиков). А с другой стороны, организация еврейских рабочих имела свои отличительные черты. В то время как русские и украинские рабочие были сосредоточены на крупных производствах, еврейские рабочие преобладали на мелких, полуремесленных предприятиях. Этническая солидарность в сочетании с классовой позволила быстро организовать партию, но в дальнейшем «Бунд» столкнулся со сложными противоречиями: он не мог достичь своих целей вне более широкого социал-демократического движения и одновременно постоянно старался внутри этого движения обособиться в качестве «единственного представителя еврейского пролетариата».[135] «Бунд» стал предметом острых споров, дискуссия «о месте „Бунда“ в партии» переросла на II съезде Российской социал-демократической рабочей партии в раскол между большевиками и меньшевиками.

Этническое разделение труда — реальность капитализма. Капиталистическая система воспроизводит различные идентичности и нуждается в них. Их поддержание, развитие и укрепление есть важнейший элемент управления социальными и производственными процессами. Разумеется, идентичности подвижны, но и экономика меняется. Социалистические организации, идеализируя и воспроизводя «дисциплину фабрики», во многом тоже содействовали воспитанию рабочей силы для капиталистического производства. Но одновременно, утверждая принципы солидарности и взаимопомощи, они бросали вызов системе. Напротив, identity politics способствуют закреплению сложившейся ситуации. Они консервативны.

Противоречия между женским движением и движениями этнических меньшинств, между группами гомосексуалистов и представителями религиозно-культурных меньшинств совершенно естественны. И чем больше будут развиваться подобные движения, тем больше противоречия будут усиливаться. Призывы к солидарности ничего не дают, ибо, в отличие от солидарности старого рабочего движения, здесь отсутствует общий интерес и общая идея. Солидарность оказывается механической — в борьбе с общим противником. Истеблишмент все более успешно использует подобные движения друг против друга и против левых сил в целом.

Сторонники identity politics убеждены, что, выступая против угнетения своей группы, они содействуют общей эмансипации. Но эмансипация — процесс не механический, и здесь ответы не обязательно складываются из суммы слагаемых. Угнетение связано с разделением, что и отражает сложившиеся идентичности. Политика, направленная на кристаллизацию различий, а не на консолидацию общих интересов, практически способствует деклассированию наемных работников. Историческая проблема социализма состоит в том, что, выступая выразителем интересов

индустриального рабочего класса, он одновременно стремился быть движением, отстаивающим права всех угнетенных. Теоретическое обоснование этому дано Марксом и Энгельсом уже в «Коммунистическом манифесте», где говорится о пролетариате как наиболее угнетенном классе, потому и способном к наиболее решительной борьбе против любых форм угнетения и эксплуатации. В этой широкой социальной миссии левых, один из источников их силы, их способности объединить вокруг себя значительные массы людей не только в развитых капиталистических государствах, но и в странах периферии. Но здесь же — источник проблем и противоречий. В конечном счете, именно отсюда возникает первый импульс к замене классовой политики identity politics.

Стремясь сочетать марксистский анализ с концепциями, доминирующими среди западных радикальных интеллектуалов, идеолог немецкой Партии демократического социализма Андре Бри пишет про необходимость «освободить» от господства капитала «разнообразие, неоднородность (Heterogenitaet) и противоречивость (Gegensaetzlichkeit) современных обществ и экономик».[136] Между тем неоднородность современного общества не существует сама по себе, она возникла и сложилась именно в рамках капитализма, отражает его проблемы и противоречия, точно так же, как «многообразие» феодального или кастового обществ отражали соответствующие формы господств и угнетения. Упреки по адресу марксизма в том, что, сводя общественное развитие к борьбе классов, он игнорирует многообразие социальной и культурной жизни, раздавались еще в 20-е годы. В своих рукописях 1937 года Николай Бухарин попытался ответить на эту критику, заявив, что проблема несводима к противопоставлению «многообразия» и «единообразия». «Есть различные КАЧЕСТВЕННО многообразия, различные их ТИПЫ, различные ИЗМЕРЕНИЯ многообразия, различные виды его отношения к ЕДИНСТВУ».[137] Противопоставляя хаос звуков и симфонию (любопытно, что такое же сравнение возникло в «Тюремных тетрадах» Антонио Грамши), Бухарин заявлял: «Капиталистическое многообразие разделяет людей». В сущности «все это есть ПОДЛОЕ МНОГООБРАЗИЕ, означающее УБОГОСТЬ жизни для миллионов, ее крайнее ОДНООБРАЗИЕ».[138]

В отличие от Бухарина, Грамши считал, что хаос звуков, возникающий при настройке оркестра, необходим для того, чтобы возникла симфония: звуки в обоих случаях одни и те же, вопрос лишь в том, как они организованы. Впрочем, несмотря на типичное для него упрощенное противопоставление (хаос — симфония), Бухарин прав по отношению к своим оппонентам: многообразие само по себе не является ни благом, ни «богатством» общества.

Превращение широкого левого движения в сумму «специфических» движений не гарантирует даже поддержки соответствующих «специфических» групп, которые вполне могут найти другие способы самоорганизации и самовыражения. Нужно не механическое «объединение», а сотрудничество на основе стратегической инициативы. Речь идет не о механическом руководстве «специализированными» движениями и «фронтами партии» («front organizations»), практиковавшемся во времена Коминтерна. Напротив, ключевым вопросом трансформации левого движения в XXI веке является создание новых возможностей и перспектив, которые различные группы и силы будут использовать самостоятельно. Это действия могут создать в обществе резонанс, стимулируя эскалацию требований и самоорганизацию (как во время революции 1905 года в России, где были революционные партии, но не было «авангарда»).

По мере того, как противоречия identity politics становятся все более очевидными, возникает

потребность в межэтнической и межгрупповой солидарности. Так, некоторые авторы стремятся предложить новый, более широкий подход, предполагающий поиск новых, объединяющих «идентичностей».[139] Однако это выдает как раз кризис identity politics. Идентичность вообще невозможно конструировать искусственно — иначе она оказывается плодом воображения или результатом сознательного сговора политических карьеристов. Если идентичность можно произвольно менять, переосмысливать, включать (следовательно, и исключать) те или иные категории людей, это значит, в то что эти «identities» имеют мало общего с реальной идентичностью людских масс. В действительности идентичность складывается исторически, изменяется очень медленно под влиянием коллективного и личного опыта.

Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф подчеркивают, что единство должно быть достигнуто через «гегемонию демократических ценностей» и таким образом, чтобы обязательно обеспечивалось «равновесие между разными видами борьбы».[140] Проблема в том, что при всей необходимости защиты прав той или иной ущемленной группы, для общества их проблемы не равнозначны. Именно поэтому любая серьезная стратегия предполагает выделение главных противоречий и стратегических общих задач, решая которые мы получаем возможность решить и другие. Иными словами, стратегия — это иерархия целей. Вопреки представлениям революционеров прошлого, победа на одном фронте не обеспечивает автоматически победу на другом — так, эмансипация трудящихся сама по себе еще не есть решение «женского вопроса». В этом смысле феминистская и постмодернистская критика старого социализма закономерна и справедлива. Но иерархия целей все равно неизбежна, ибо без нее невозможно преобразование сложных и взаимосвязанных структур.

Исторически общая демократическая и «гражданская» культура как раз складывается в результате совместной борьбы. А представление о равноважности всех движений исключает возможность гегемонии.

К середине 1990-х годов из наступательных стратегий концепции «радикальной демократии», «политики идентичности» и «самоутверждения» (affirmative action) превратились в оборонительные. Неолиберальная политическая стратегия включала в себя поощрение «многообразия» в рамках «открытого общества», но лишь до тех пор, пока «многообразие» и культурный плюрализм были необходимы в качестве средства борьбы против «униформирующего» и «обезличивающего» коммунизма и традиций социал-демократического рабочего движения. В условиях второй половины 90-х годов отношение элит к различным программам, направленным на защиту специфических интересов меньшинств, изменилось. С одной стороны, коммунизм побежден в мировом масштабе. А с другой стороны, благодаря экономической либерализации и приватизации количество ресурсов, которые можно отвлечь на любые социальные и культурные программы, резко сократилось. С точки зрения идеологии неолиберализма, любые интересы наилучшим образом могут быть реализованы через рыночный механизм, а любые программы и меры, противоречащие естественному функционированию рынка, в лучшем случае неэффективны, а в худшем случае наносят вред тем самым слоям, которым должны помочь. Иными словами, программы борьбы с бедностью наносят ущерб самим же бедным (снижая их конкурентоспособность на рынке и стимулы к труду, то же относится к женщинам, неграм, гомосексуалистам и т. д.). В такой ситуации из способа исправления несправедливости общества «позитивная дискриминация», политика самоутверждения и т. д. превратились в попытку сдержать неоконсервативную волну и сохранить завоеванные позиции для

конкретных групп. Приход к власти социал-демократов в Англии и Германии мало изменил ситуацию по существу. Хотя администрация Тони Блэра в Британии официально взяла на вооружение целый ряд идей, сформулированных идеологами «радикальной демократизации» и постмодернистской левой, на практике это выразилось лишь в резком увеличении числа женщин в лейбористской фракции парламента. Одновременно социальные программы, затрагивающие интересы работающих женщин, продолжали урезаться.

Фрэнсис Фукуяма, заявивший, что конец коммунизма является и концом истории, предупреждал, что через некоторое время история может начаться снова. Данное пророчество сбылось значительно быстрее, чем хотелось бы его автору. Если исторический процесс продолжается, то неизбежно встает и вопрос об альтернативах неолиберализму и капитализму, ибо ничто не вечно, а развитие общества невозможно отменить декретом. Точно так же встает и вопрос об актуальности марксизма как теории исторического анализа, на основе которой могут быть сформулированы политические стратегии левых. После краха «социального государства» мир не стал ни стабильнее, ни справедливее, ни даже свободнее, ибо превращение насилия в норму общественной жизни обесценивает гражданские свободы. Но, обличая пороки нового мирового порядка, левые не решаются противопоставить им собственную идеологию. Американец Роджер Бербак и никарагуанец Орландо Нуньес видят единственную альтернативу неолиберализму в стихийных движениях, выражающих базовые потребности народа. Новое, более справедливое, общество «родится из соединения разных национальных, этнических и культурных движений по всему миру».[141]

Показательно, что Бербак и Нуньес сознательно не упоминают социальных движений. Им кажется вполне естественным, если экономические преобразования будут результатом культурных требований. Социальную солидарность заменяет культурно-этническая. Несмотря на то что многие из этнических движений откровенно реакционны, левые не находят в себе сил осудить их, ибо сами потеряли психологическую и моральную опору, которую раньше давало им порой упрощенное, но достаточно ясное видение мира, сформировавшееся в рамках марксистской традиции. Без привычных принципов социализма у них уже нет ни четких критериев прогрессивности и реакционности, ни даже серьезного представления о той роли, которую подобные движения играют в системе мирового порядка/беспорядка.

С другой стороны, часть западных авторов подчеркивает необходимость, переосмыслив теорию классовой борьбы с точки зрения постмодернистской критики и опыта новых социальных движений, все же сохранить классовый подход. «Признавая, что различные идентичности и социальные движения не могут быть сведены к классовой борьбе, марксисты одновременно могут ответить на вопрос о том, как различные формы социальной, культурной и этнической идентичности влияют на характер классовой эксплуатации. На этой основе мы сможем понять, каким образом новые социальные движения могут способствовать радикальным переменам и освобождению трудящихся».[142]

Для Маркса и социалистов первой половины XX века было очевидно, что далеко не любой протест против капитализма прогрессивен. Марксистская традиция, с одной стороны, признает историческую роль капитализма как силы, способствовавшей развитию современных форм жизни. А с другой стороны, социалисты были убеждены, что до тех пор, пока борьба против угнетения не будет одновременно борьбой за новое общество, она обречена на поражение. Отказ от марксистской

традиции и теории социального прогресса неизменно сопровождается критикой содержащихся в них «утопических элементов». Вне зависимости от того, насколько представления Маркса о социализме формировались под влиянием его утопических предшественников, оценка социалистического проекта как «утопии» вовсе не означает искоренения утопизма в массовом сознании. Дискредитация прогрессивного утопизма на уровне массового сознания всегда имеет только одно неизбежное последствие: его место занимает реакционная утопия.

Главной заслугой социал-демократии на рубеже XIX и XX веков Ленин считал соединение марксизма с рабочим движением. Как представитель просветительской традиции он был убежден, что пролетарское сознание просто вносится в массы интеллигенцией. На самом деле, как это отмечал еще Плеханов, процесс был обоюдным. Массы не могут разрабатывать теорию, но без связи с массовым движением теория мертва. Став идеологией рабочего движения, сами идеи Маркса пережили трансформацию, стали марксизмом.

Совершенно естественно, что теоретики, как правило, оказываются радикальнее практиков. Еще Маркс делал различие между компромиссом в политике и в мышлении. Если для политика компромисс допустим, то мыслителя должен предохранить от него «простой моральный такт».[143] Политика — это искусство компромисса, и уже в этом заложена возможность «развода» Между теорией и практикой. Конкретные действия Ленина, Троцкого или Грамши далеко не обязательно вытекали из их теоретических построений (что, кстати, великолепно иллюстрируется контрастом между их собственными текстами, написанными в «периоды действия» и в «тюремно-эмигрантские» периоды). Однако для представителей классического марксизма практическое действие все же оставалось тесно связано с теоретическим поиском. В послевоенный период эта связь оборвалась. Марксизм действительно потерпел историческое поражение, но не в конце 1980-х годов, когда рухнула Берлинская стена, а гораздо раньше, когда теория вновь отделилась и изолировалась от движения. Это произошло не только на Востоке в ходе создания сталинского «марксизма-ленинизма». На Западе академический марксизм уже в 30-е годы стал достоянием университетских кружков, тогда как общие «классические» формулы остались не более чем мертвым ритуалом для социал-демократии и коммунистических партий.

В 1990-е годы ритуалы были отброшены. Сделать это было легко именно потому, что никто уже давно не задумывался об их смысле. Мы вернулись к исходной точке, когда теория и массовое движение разобщены. Но они не разделены непреодолимой стеной. Из того, что значительная часть трудящихся имеет смутное представление о социалистических идеях, вовсе не следует, будто эти идеи невозможно успешно проповедовать.

Меняющаяся политическая ситуация вела и к смене интеллектуальной моды. Если в начале 1990-х популярностью пользовались постмодернистские авторы, то десятилетие спустя бестселлерами становились книги, обильно сдобренные марксистской терминологией. Алекс Каллиникос ехидно заметил, что после начала нового подъема левого движения «постмодернизм стал историей».[144] Это течение еще сохраняется в качестве реликтовой интеллектуальной формы, но лишь потому что на протяжении 1990-х годов оно успело пустить корни во многих американских университетах. Однако до окончательного крушения постмодернизма было еще далеко, да и о «возвращении» марксизма говорить было рано. Интеллектуальным бестселлером начала XXI века стала «Империя» Майкла Хардта и Антонио Негри, авторы которой объявляли себя последователями марксистской

традиции, но переосмысливали ее в духе идей «автономизма» 1970-х годов. Для «левого» постмодернизма появление книг Хардта и Негри было чем-то вроде «жизни после смерти». Объявив себя последователями Маркса, модные писатели, по существу, взяли за основу своей конструкции набор постмодернистских идей, прямо противоположных марксизму.

До появления книги Хардта и Негри говорить о существовании какой-то особой «автономистской» теории не приходилось, хотя в качестве общественного движения «автономное действие» было реальностью в Германии, Италии и других западных странах. Как и многие другие общественные течения 1970-х годов, оно было порождено поражением революции 1968 года. «Автономные» группы негативно относились к историческим левым партиям, причем эта неприязнь к парламентской политике превращалась у них в отрицание организованной политики как таковой. Вместе с партиями и политической борьбой ненужным становилось и стратегическое мышление, что предопределяло, в конечном счете, и отсутствие систематической теории. Заменой им служило непосредственное действие, не обремененное тактическими соображениями и стратегическими концепциями. «Побочным детищем» идеологии «автономизма» принято было считать левый терроризм конца 1970-х годов, и в качестве одного из его вдохновителей Тони Негри отбыл в Италии тюремное заключение.

Однако в условиях подъема «антиглобалистской левой» теоретики «автономизма» выступили с обобщающей теоретической работой, претендующей на то, чтобы стать своего рода новой версией (или заменой) марксизма и адресованной не только своим традиционным сторонникам, но и всему массовому движению. Одновременно с Хардтом и Негри собственную версию «автономного марксизма» предложил и Джон Холлоуэй в книге с говорящим за себя названием «Изменить мир, не беря власть».[145]

Сразу приходится оговориться, что термин «марксизм» по отношению к работам Холлоуэя, Хардта и Негри можно применять лишь постольку, поскольку они сами на связи с марксистской традицией настаивают. Но дело, разумеется, не в том, в какой мере эти авторы «верны» идеям Маркса, а в том, какие ответы они дают на вопросы современности.

Холлоуэй, Хардт и Негри заявляют себя сторонниками не просто левых идей, а именно коммунизма, о котором пишут с неизменным поэтическим пафосом. «Коммунизм — это море, к которому текут все реки», — торжественно заявляет Холлоуэй.[146] Но в то же время коммунизм — это «утопическая звезда», которая ведет нас к этому морю (хотя не совсем понятно, зачем нужна путеводная звезда тем, кто просто плывет по течению?).[147] В этой логической (фрейдовской) оговорке Холлоуэя содержится вся суть автономистской идеологии. Ведь речь идет не просто об отказе от борьбы за власть как стержень политической борьбы, но, как следствие этого, и от какой-либо внятной стратегии, да и вообще от сознательного, организованного политического действия. Идеи Хардта и Негри, изложенные в книгах «Империя» и «Множество» (Multitude),[148] достаточно просты. Во-первых, авторы убеждены, что глобализация, изменившая капиталистический мир, эффективна и необратима. Во-вторых, что экономические отношения становятся все менее зависимыми от политического контроля и что национальное государство приходит в упадок. Собственно, эти два тезиса представляют собой общие места неолиберальной пропаганды. Но главный вклад Хардта и Негри в общественную мысль состоит в заявлении, что на смену национальному государству приходит Империя. Обязательно с большой буквы, и не путать с

империализмом. «Империя становится политическим субъектом, эффективно регулирующим эти глобальные обмены, суверенной властью, которая правит миром».[149] Собственно, ничего больше об Империи мы уже не узнаем, поскольку авторы тут же заявляют, что речь идет о сетевой власти, вездесущей, неуловимой, но крайне противоречивой. Российский читатель, испорченный чтением газеты «Завтра» и других продуктов национального постмодернизма, может ненароком подумать: не идет ли речь о еврейско-масонском заговоре или о «мировой закулисе»? Нет, теоретики заговора предполагают наличие некой тайной власти. А власть Империи является явной. Просто у авторов нет ни слов, чтобы ее описать, ни конкретных примеров, на которые они могут сослаться.

Невозможность что-либо конкретно сформулировать как раз и является главной новаторской мыслью этой удивительной книги. Все дело в противоречивости самого явления, объясняют нам. Империя еще до конца не сложилась, но она уже переживает глубокий упадок. «Противоречия имперского общества являются неуловимыми, множасьими и нелокализуемыми: противоречия везде».[150]

Поскольку существование Империи является исходной аксиомой авторов, невозможность ни увидеть, ни описать ее отнюдь не ставит под сомнение исходный тезис. Напротив, чем менее определенно мы представляем себе Империю, тем больше мы должны убеждаться в ее существовании. Но в глубине души авторы сами понимают, что у них концы с концами не сходятся, поэтому они то и дело успокаивают читателя: «Будьте терпеливы. Продолжайте читать. Иногда философским идеям нужно время, чтобы принять окончательную форму. Представьте себе эту книгу в виде мозаики, из Которой постепенно складывается общая картина».[151] Проблема в том, что книги Хардта и Негри представляют собой не столько мозаику, сколько пазл, причем — перемешанный сразу из нескольких коробок (марксизм, постмодернизм, апология неолиберализма, критика неолиберализма и т. д.). Чем тщательнее стараешься сложить вместе части такой мозаики, тем хуже получается.

В рассуждениях Хардта и Негри есть, конечно, своя логика, причем глубоко идеологическая. Приняв за абсолютную истину неолиберальную теорию глобализации, они, однако, не хотят примириться с властью капитала. На этой основе они формулируют собственные выводы и даже свою программу борьбы, которая отвечает новой реальности и новым правилам. Империя есть лишь политическое воплощение новой реальности. Если нет больше национального государства, если рынок и капитализм глобален, а национальные и региональные рынки остаются не более чем пережитками прошлого, должна же власть капитала иметь какую-то «политическую надстройку»? Если мы ее не видим, значит, она просто невидима.

Все признаваемые авторами за истину экономические и социальные теории указывают на необходимость существования такой глобальной Империи. Беда лишь в том, что теории, взятые Хардтом и Негри за исходную точку, элементарно неверны. Причем неверны эмпирически. Сетевая организация общества, о которой столько написано в работах Хардта и Негри, представляет собой некую социологическую фантазию, навеянную избыточным чтением популярной буржуазной прессы. Сети повсюду. Компании создают сети для управления, глобальная Империя представляет собой всепроникающую сеть, куда встроены отдельные государства, включая даже Соединенные Штаты, а сами трудящиеся организуются в «коммуникативные и кооперационные сети» (cooperative and communicative networks).[152] Всякий, кто имеет хоть какой-то опыт реальной жизни, прекрасно

понимает, насколько эта картина далека от действительности. Крупные компании остаются вполне иерархическими, вертикальными организациями, использующими сетевые технологии управления как дополнение, но отнюдь не как основу своей структуры. Межгосударственные объединения, которые можно изобразить в качестве примера «сетевой» организации (Атлантический альянс, Европейский Союз), отнюдь не являются порождением последних лет. Подобные организации существовали, по крайней мере, со времен Афинского Морского Союза и никому не приходило в голову утверждать, будто Древняя Греция была «сетевым обществом».

Последовательно сетевое общество может сформироваться только за пределами капиталистической системы, а сетевое государство есть противоречие в определении: круглый квадрат, горячий лед. Другое дело, что и правящие классы и их противники постоянно используют сетевые методы организации наряду с иерархическими. Делается это уже на протяжении последних двух с лишним тысяч лет — ведь и ассоциации греческих городов, боровшиеся с персами, и раннехристианские общины можно изобразить в виде своеобразных политических или социальных «сетей». Информационные технологии XXI века создают возможности для более широкого и успешного применения сетевого принципа, но это отнюдь не означает появления какого-то « сетевого общества ».

Выступая на Европейском Социальном Форуме, английский исследователь Алан Фриман, заметил, что в буржуазной идеологии все вывернуто наизнанку. Принято считать, будто глобализация оказалась экономическим успехом, но политической и культурной неудачей. На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Список экономических провалов глобализации можно составлять бесконечно. Достаточно вспомнить русский дефолт 1998 года и череду катастроф в Латинской Америке, нынешнюю слабость мирового хозяйства и неспособность экономики США набрать темпы после депрессии. 2000–2003 годов. Но самое существенное то, что мировая торговля, и мировое производство в целом в период глобализации росли медленнее, нежели во времена протекционизма. Будучи цикличным, капитализм проходит периоды интернационализации, сменяющиеся периодами «национально-ориентированного» развития. В этом смысле особенность нынешней эпохи не в том, что происходит что-то столь уж необычное, а в том, что благодаря информационным технологиям мы гораздо лучше видим и осознаем процессы, которые в ходе предыдущих циклов были известны в основном специалистам!

Не подтверждается опытом и тезис об ослаблении государства. Все происходит противоположным образом. Государство не слабеет, а укрепляется. Другое дело, что оно отказывается от своих социальных функций, становясь все более буржуазным, агрессивно-репрессивным и насквозь реакционным. Именно постоянное и возрастающее государственное принуждение (своего рода силовое регулирование общества в интересах рынка) позволяет глобализации продолжаться, несмотря на непрерывную череду экономических провалов и упорное сопротивление большинства людей практически во всех точках планеты.

Транснациональные корпорации, в которых Хардт и Негри видят основную силу, организующую новый социально-экономический порядок, на самом деле остро нуждаются в государстве, причем именно государстве национальном. Ведь «глобальность» транснационалов возможна лишь в условиях, пока остается неоднородным мировой рынок труда. Если бы все национальные рынки действительно слились в единый глобальный рынок, деятельность транснационалов потеряла бы

всякий смысл. Зачем было бы, например, производить кроссовки для английского рынка во Вьетнаме или Мексике, если бы затраты производства были бы примерно такими же, как в Англии? Подобный глобальный рынок в силу своей однородности неминуемо распался бы на множество однотипных, но локальных рынков, где производство для местного потребителя и из местного сырья было бы несравненно выгоднее, чем перевозка товаров из дальних стран.

Корпорации заинтересованы как раз в том, чтобы продолжали существовать локальные рынки с принципиально разными условиями и правилами игры. А они, благодаря своей мобильности, могли бы эти различия эксплуатировать. Потому-то глобализация и остается принципиально незавершенной — довести дело до конца не в интересах тех, кто возглавляет процесс. Другой вопрос, что вечная незавершенность глобализации на пропагандистском уровне будет постоянно использоваться для оправдания ее провалов.

Легко понять, что в сложившихся условиях национальное государство не только не является пережитком прошлого, но как раз оказывается идеальным инструментом, с помощью которого транснациональные элиты решают свои вопросы. Сетевая Империя как политическая структура корпорациям не нужна, поскольку за последние 15–20 лет национальное государство полностью перенастроено: вместо того чтобы обслуживать своих граждан, оно, выражаясь языком Путина, решает проблемы «конкурентоспособности», иными словами, ублажает транснациональный капитал. Империи Хардта и Негри не видно не потому, что она неуловима, а просто потому, что ее нет. Разумеется, авторы прекрасно отдают себе отчет в том, что глобальное социально-экономическое пространство, которое они описывают, неоднородно и иерархично. Но они не делают из этого факта никакого вывода, кроме указания на то, что Империя и транснациональные корпорации (так, кстати, кто все-таки?) это пространство организуют. Между тем принципиальная новизна современности состоит не в том, что национальное государство ослабевает, а в том, что корпорации приватизируют его. В этом смысле оказывается повернутым вспять процесс, происходивший на протяжении большей части XX века, когда государство под давлением трудящихся классов постепенно превращалось из органа диктатуры буржуазии в систему институтов, функционирующих на основе компромисса между классами. В социал-демократическую эпоху капитализм предстал перед нами в виде «цивилизованного» регулируемого рынка и «государства всеобщего благоденствия», а успокоенные своими достижениями левые заявили об отказе от лозунга диктатуры пролетариата. Однако социал-демократический порядок оказался обратим, как и любой компромисс. На фоне «одичания» современного капитализма весьма странно звучат слова Хардта и Негри о том, что новый порядок лучше старого, хотя, разумеется, они имеют в виду не моральную сторону дела и не конкретные проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневном опыте, а некую философскую диалектику в духе Гегеля. Эта диалектика условна, абстрактна и именно потому неприменима в жизни. Если бы дело обстояло иначе, ни Маркс, ни Вебер, ни Фрейд человеческой мысли не понадобились бы.

Критический взгляд на современную ситуацию заставляет ставить совершенно иные вопросы, нежели те, которыми занимаются наши герои: Во-первых, если современный порядок вещей является на практике проявлением реакции, а социал-демократический компромисс ушел в прошлое, логично предположить, что так же обратим окажется и пришедший ему на смену неолиберальный капитализм вместе с идеологией глобализации. Иное дело, что из этого отнюдь не следует, будто нас

ждет возврат к социал-демократии. В свете имеющегося исторического опыта он не является ни необходимым, ни желательным.

Другой вопрос состоит в моральной стороне происходящего. Для того чтобы изменить положение дел, риторических ссылок на необходимость «сопротивления» недостаточно. Массы сопротивлялись капиталу с момента зарождения буржуазного порядка. По большей части сопротивлялись неэффективно, хотя на протяжении последних двух веков мы видели и примеры успешной классовой борьбы, причем каждый раз речь шла не о сопротивлении, а о реализации более или менее внятных революционных или реформистских проектов. Успех этих проектов (будь то левый якобинизм, большевизм, тред-юнионизм или кейнсианство) был ограниченным и, как уже было сказано, обратимым. Революционный порыв не раз оборачивался катастрофой тоталитаризма. Но, тем не менее, нельзя отрицать значение этих попыток.

В мире Хардта и Негри, напротив, нет ни необходимости, ни возможности вырабатывать какие-либо программы. Неуловимая и зыбкая реальность новой глобальной Империи делают такие попытки бессмысленными. Здесь есть только движение, которое каким-то мистическим образом (в духе Гегеля) само собой приведет к заранее заданной цели. Цель эта, как и на плакатах советского времени, — коммунизм. И он так же абстрактен и недостижим, как и идеальное будущее советской пропаганды.

Как мы уже заметили, Империя Хардта и Негри, по существу, бессубъектна. Точнее, в ней субъект есть, но он так же неуловим, подвижен и абстрактен, как и все остальные понятия этой книги. В этой зыбкости, бессубъектности Хардт и Негри видят проявление новизны современной эпохи. Однако парадоксальным образом, когда они начинают говорить о прошлом, оно тоже становится размытым и бессубъектным. Стоит им обратиться к истории, например, европейского Ренессанса и Просвещения, как перед нами всплывают такие же неясные очертания самодвижущегося процесса, в котором действуют совершенно гегельянские общие идеи — революционное и контрреволюционное начало, стремление к свободе и потребность в контроле, причем совершенно неважно, чье это стремление и чья Потребность. Время от времени на страницах книги появляются какие-то не менее абстрактные «массы», про которые мы знаем не больше, чем про абсолютные идеи старинной философии. Для Маркса массы представляли собой форму существования и организации совершенно конкретных социальных групп и классов, имевших определенные интересы и на этой основе формирующиеся потребности. Пролетариат становится массой в силу того, что этого требует логика фабричного производства, накопления капитала и урбанизации, собирающая людей вместе и превращающая их в «массу». Эта же логика еще раньше вовлекает в свой оборот и мелкую буржуазию. Однако все эти социальные группы сохраняют свое лицо. Социология — Маркса ли, Вебера ли — интересуется именно собственным обликом класса, его специфическими особенностями, из которых и произрастает потребность в политическом действии, необходимость борьбы и стремление к освобождению. Социология Хардта и Негри, если применительно к ним вообще можно говорить о социологии, напротив, предполагает полную обезличенность.

Единственное, что мы точно узнаем про массы, прочитав «Империю», — это то, что они бедны. В этом главная особенность текущего момента. Рабочего класса больше нет. Бедность, говорят нам авторы, стала отношением производства. Мы узнаем, что теперь бедность «проявляется во всей своей открытости, поскольку в эпоху постсовременности подчиненные поглотили эксплуатируемых.

Иными словами, бедняки, каждый бедный человек, массы бедных людей поглотили и переварили массы пролетариев. Самим этим фактом бедняки стали производительной силой. Даже продающие свое тело, нищие, голодающие — все виды бедняков — стали производительной силой. И поэтому бедняки обрели еще большую значимость: жизнь бедняков обогащает планету и облекает ее стремлением к творчеству и свободе. Бедняки являются условием любого производства».[153] Социологическое мышление здесь поднимается до уровня сказок Шарля Перро. Ведь уже герои «Золушки» и «Кота в сапогах» прекрасно понимали противоположность между бедностью и богатством, прилагая изрядные творческие усилия (и демонстрируя в этом немалую свободу), чтобы из первой группы перебраться во вторую.

О противоречиях между бедными и богатыми много писали с древнейших времен, но внятных решений предложить не могли просто потому, что бедность сама по себе не является не то что «производственным отношением», но даже и общественным отношением. Она лишь следствие сложившихся социальных отношений и экономического порядка. Новаторство марксистской мысли состояло в том, что она отбросила морализаторство прежних идеологов, то восхищавшихся добродетелями бедняков, то негодовавших по поводу царящей вокруг нищеты. Марксизм предложил говорить конкретно — о социальной структуре, об организации экономики. Обнаружилось, что бедность по своему происхождению неоднородна. Именно поэтому движения, стремившиеся опереться на бедняков, оказывались неустойчивыми и неэффективными. Когда Маркс писал о революционном потенциале пролетариев, он меньше всего имел в виду их нищету. И закономерно, что наиболее успешные революционные попытки предпринимались далеко не самыми обездоленными группами общества.

Оригинальность теоретической мысли Хардта и Негри состоит в том, что она даже не поднимается до уровня современной банальности, оставаясь на уровне банальностей полуторасотлетней давности. Надо сказать, что разделение общества на богатых и бедных, то есть по уровню потребления, вполне закономерно. Так же, как сочинители «Империи» принимают за чистую монету газетные передовицы об успехах глобализации, переходя к социологии, они не менее последовательно следуют буржуазному подходу, который видит человека только как собственника либо потребителя. Другое дело, что революционная совесть требует как-то увязать это с привычными марксистскими лозунгами — отсюда и рассуждения о бедняках как производительной силе.

Избранный авторами «Империи» ход мысли исключает любую попытку предложить какую-либо стратегию преобразований. Ведь стратегия предполагает наличие какого-то организующего смысла в системе. Поскольку же в мире «Империи» нет главной оси, основного, системного противоречия, то невозможно (и не нужно) обсуждать вопрос о том, куда направить основной удар. Любая политическая программа адресуется к каким-то конкретным социальным и экономическим проблемам, которые можно четко сформулировать и разрешить — здесь и сейчас. Но в мире «Империи» это бессмысленно, ибо проблемы и противоречия плодятся бесконечно и бессистемно, как кролики на фермах Ходорковского.

Борьба с Империей сводится к сопротивлению, к «бытию-против». У Холлоуэя ту же функцию выполняет постоянное «стремление к самоопределению» (drive to self-determination).[154] Это не программа, не идеология, а образ жизни. Который, кстати, может прекрасно вписываться в буржуазную реальность, не преобразуя, а дополняя ее — вместе с майками, украшенными

портретами Че Гевары, радикальными бестселлерами и другими символами протеста, рыночный спрос на которые возрастает тем больше, чем меньше остается желающих покупать идеи неолиберализма.

Восторг многих радикальных читателей вызвала финальная фраза про «безудержную радость быть коммунистом».[155] С давних пор мы знаем про «радость борьбы». Но, да простят меня поклонники Негри, слова о «безудержной радости» ассоциируются не с революцией, а скорее с глупостью. Этика «Империи» — противоположна марксистской. Ведь Маркс, в отличие от Хардта и Негри, понимал, что знание и убеждение предполагают также ответственность.

Хотя большинство западных марксистов от книги Хардта и Негри пришло в ужас, сами авторы вполне искренни в своем позитивном отношении к идеям Маркса. Дело в том, что, высказывая нечто противоположное марксизму в одной части книги, они с «безудержной радостью» повторяют общие места марксистской теории в другой. Создается впечатление, что авторы «Империи» любят общие места искренне и бескорыстно — неважно, откуда почерпнута та или иная банальность, насколько она стыкуется с другим общим местом, повторенным на следующей странице. Банальность любого тезиса для авторов «Империи» является синонимом его убедительности. Возможно, впрочем, что именно это нагромождение банальностей оказалось своего рода конкурентным преимуществом книги, предопределившим ее кассовый успех. Благодаря изобилию общих мест читатель овладевает текстом без особых интеллектуальных усилий — несмотря на большое количество философской лексики и изрядную длину текста.

Хардт и Негри предлагают нам новую версию младогегельянских идей — тех самых, с критики которых начинал формирование своей теории Карл Маркс. Отсюда, видимо, и многие длинноты книги. В духе гегелевской эволюции абсолютной идеи развивается перед нами и идея Империи (от Древнего Рима, через перипетии Новой истории к эпохе империализма), чтобы достичь абсолютного и полного выражения в современной глобальной Империи. Осознав себя в трудах Хардта и Негри, Империя завершает свою эволюцию.

Странным образом в начале XXI века подобный подход воспринимается не просто как продуктивный, а как оригинальный и новаторский. Дело не в том, что новое — это хорошо забытое старое: в области теории подобная обывательская мудрость не срабатывает. Авторы «Империи» ссылаются на перемены, произошедшие в мире. Но в данном конкретном случае не общество изменилось, а общественная мысль деградировала. Такое ощущение, что интеллектуальный багаж, накопленный на протяжении полутора столетий, практически утерян, сохранились лишь обрывки идей да набор имен, кое-как встраиваемых в структуру интеллектуального повествования, на самом деле глубоко архаическую. Что-то подобное было, наверно, после гибели Александрийской библиотеки. Нам остались лишь клочки папирусов, случайные фразы, полемические формулировки, утратившие контекст. Сохранился Альтюссер, но потерян Сартр и почти забыт Грамши, ветер принес несколько разрозненных страниц из Макса Вебера, воспринимаемого эпигоном Мишеля Фуко. Осколки марксистской теории всплывают в идеологическом бульоне вперемешку с фрагментами структуралистского дискурса и постмодернистской критики.

Типичной реакцией левых интеллектуалов, потерявших политические ориентиры, стало стремление свести к минимуму требования социалистического проекта. Например, на страницах «Свободной мысли» один из авторов утверждал, что «социалистической может быть названа любая политика,

направленная на ограничение рыночной стихии и на перераспределение доходов».[156] Между тем марксистская традиция всегда настаивала на том, что перераспределение не обязательно служит социальной справедливости, а базовые потребности (basic needs) для большинства не могут быть обеспечены без структурных преобразований.

Маркс начал с того, что попытался очистить социалистический проект от утопизма. Ему это не вполне удалось просто потому, что утопическое измерение неизменно присутствует в любом общественном проекте. Однако решающий вклад Маркса в политическую теорию состоял именно в том, что он показал необходимость и возможность ухода от утопических мечтаний в сферу практического преобразования. Отказываясь от прагматизма, марксистская традиция провозгласила необходимость соединения идеализма (как верности щелям и принципам) с политическим реализмом конкретных действий. Именно опыт практического преобразования превращает, по мнению Маркса, социалистическую мысль в науку. А потому подобная теория вне политической практики просто не имеет смысла.

Западный академический марксизм, отчужденный (часто не по собственной воле) от массового движения и политического действия, несмотря на свои огромные интеллектуальные успехи, постепенно утрачивал способность различать теорию и утопию. В то же время неолиберальное контрнаступление на социализм проходило под знаменем «антиутопизма». Показательно, однако, что к 1990-м годам сами левые вполне примирились с обвинением в «утопизме». Одни, объявив себя «реалистами», под лозунгом борьбы с «утопизмом» отказались от какой-либо социалистической или даже реформистской программы, а другие, сохранив веру в идеалы, стали культивировать именно утопические традиции социализма. Об этом говорят даже названия левых журналов — «Utopie-kreativ» в Германии, «Utopias» в Испании, «Utopie-critique» во Франции и т. д. Странники антикапиталистической левой доказывают необходимость «конкретной утопии».

Фактически левое движение оказалось, как и сто лет назад, перед необходимостью сделать шаг от утопии к теории, от мечтания к деятельности. Это не означает осуждения или устранения утопических традиций, но они должны быть преодолены именно в диалектическом, Марксовом смысле. Не отрекаясь от утопий, мы должны решительно выйти за их пределы. В этом смысле вновь может оказаться актуальным антиутопический пафос Марксова социализма.

Слабость левых сил — реальный факт политической жизни конца XX и начала XXI века. Поэтому антикапиталистическая политика по необходимости становится оборонительной, политикой сопротивления. Но сопротивление оказывается эффективным и сильным лишь в том случае, если основано на четком и трезвом понимании ситуации, своих возможностей и целей противника.

Парадокс конца века в том, что именно слабость левых объективно вынуждает их быть бескомпромиссными. Никакого «нового консенсуса» или «выгодных для трудящихся условий нового социального компромисса» при неблагоприятном соотношении сил быть не может. Возвращение от размытости и двусмысленности постмарксистского теоретизирования к жестким и простым истинам классического марксизма оказывается требованием политической практики, даже если сегодня мы великолепно осознаем ограниченность многих первоначальных марксистских посылок.

Со времен реформации неотрадиционализм был идеологией революционеров. Мартин Лютер, призывая вернуться к Библии, был типичным неотрадиционалистом. Английские пуритане под лозунгом восстановления традиционного благочестия совершили грандиозный социальный

переворот, открыв новую эру в истории собственной страны и Европы. Традиционализм не имел ничего общего с консерватизмом. Во имя традиционных ценностей и принципов отвергался извративший и отвергнувший эти принципы мир. Возврат к традициям является одним из наиболее эффективных средств мобилизации. Традиция — это то, что известно, понятно, доступно массам, и в то же время противостоит бездушному прагматизму и эгоизму элит. Вне связи с традициями новые идеи не воспринимаются народным сознанием. Бунт, восстание против несправедливости всегда опирались на традиционные представления о справедливости. Другое дело, что в процессе борьбы сама традиция претерпевала радикальные изменения. Исламский фундаментализм, например, был именно современной формой реакции на капиталистическую вестернизацию. Будучи глубоко реакционной формой протеста, фундаментализм достиг небывалого успеха именно потому, что вобрал в себя опыт XX века, вернул массам веру в собственную культуру.

Западные социологи, признавая новизну фундаментализма (Гидденс отмечает, что до 1950 года в английском языке даже слова такого не было), испытывают явный дискомфорт, сталкиваясь с этим явлением. Так, Гидденс постоянно повторяет, что фундаментализм есть не что иное, как традиция, определяемая в традиционном смысле, но в новых условиях глобальных коммуникаций.[157] Но в том-то и дело, что в новых условиях традицию невозможно защищать традиционными методами. В эпоху Магомета не было не только пластиковых бомб, но и террористов-самоубийц. Не было не только Интернета с исламскими сайтами, но и характерных для новых массовых движений форм мобилизации.

Фундаментализм имеет мало общего с традиционным исламом, потерпевшим поражение в столкновении с Западом. Этот ислам продолжает свое существование параллельно с фундаментализмом, постепенно оттесняемый им. В обществах, которые не были радикально модернизированы, нет и фундаментализма. Лишь там, где традиция была подорвана или разрушена, фундаментализм смог как бы сконструировать ее заново применительно к реальности и возможностям конца XX и начала XXI века.

Исламский фундаментализм, вопреки представлениям Гидденса и либеральных журналистов, вовсе не похож на закрытую систему, отталкивающую все «чуждое». Как раз напротив, он постоянно осваивает новые методы, новый опыт, он открыт миру, но открыт агрессивно и наступательно. Именно в этом его реальная опасность. Точно так же, как и опасность нового европейского национализма, который невозможно объяснить простыми ссылками на традиции популизма и фашизма, сохранившиеся в тех или иных странах с 30-х годов XX века. Наступательное действие резко меняет смысл традиции. Ее уже не «сохраняют», а утверждают. Она обновляется, обогащается новым опытом.

К традиции обращаются не только восстающие низы, но и элиты, стремящиеся вернуть утраченные позиции. Неолиберализм является одним из наиболее выразительных примеров неотрадиционалистской идеологии. Столкнувшись с необходимостью противопоставить социализму собственный наступательный проект, идеологи финансовой буржуазии не стали изобретать новые идеи. Напротив, они обратились к своей традиционной, классической программе, нашли вдохновение в трудах теоретиков «золотого века» либерального капитализма. При этом неолиберализм и неоклассическая школа в экономике меньше всего похожи на механическое повторение старого либерализма. Даже «невидимая рука» Адама Смита, на которую постоянно

ссылаются, вовсе не была центральной идеей английского экономиста.

В то время как реакционные силы активно используют традиции, левые оказались неспособны к этому, ибо утратили свою главную традицию — активной борьбы против капитализма. Однако будущее развитие левого движения неизбежно потребует возвращения к фундаментальным принципам социалистической идеологии. Это постепенно начинает осознаваться теоретиками, хотя все еще отвергается политиками. Оскар Негт, вероятно, последний теоретик Франкфуртской школы, пишет, что на пороге нового века левым необходим «возврат к традиции».[158] Так же считает и Андре Бри, идеолог Партии демократического социализма в Германии. Призывая к радикальному обновлению левых взглядов, он подчеркивает: «Современная социалистическая мысль для меня есть также — критическое — возвращение к Марксу (и одновременно поворот, к новым вопросам современного капиталистического общества и глобальным вызовам)».[159]

Речь не идет о культивировании ностальгии по «золотому веку» рабочего движения, хотя использование ностальгии для политической пропаганды — прием вполне допустимый и эффективный. Просто там, где левые решаются быть верными самим себе, им удастся вернуть себе политическую инициативу. Общество испытывает в равной степени потребность в новых идеях и в прочных традициях.

Возвращение к марксизму означает, прежде всего, восстановление «классового подхода» в качестве центрального элемента в политическом мышлении левых. Классический марксизм никогда не утверждал, будто противоречие между трудом и капиталом является единственным или обязательно самым острым. Не утверждали Маркс и Энгельс и того, что общество полностью и без остатка делится на классы (достаточно вспомнить их рассуждение о том, что в Германии начала XIX века классов не было). Они лишь утверждали (и совершенно справедливо), что противоречие между трудом и капиталом является ключевым, что без него не могут быть разрешены другие противоречия и проблемы. Классовый «редукционизм» был действительно свойствен марксистской мысли начала XX века. Поняв «центральное» противоречие эпохи, многие левые аналитики как бы освободили себя от необходимости думать о «второстепенном». Между тем «второстепенное» не менее реально, нежели «главное», и понять одно без другого невозможно. Отсюда нарастающая бедность и бессодержательность, схематизм, примитивизм марксистского анализа, в конечном счете, приведшая к дискредитации всей левой традиции. И все же, осознав богатство и неоднозначность социальной жизни, мы не должны забывать, что она определенным образом структурирована. Многие социологи на Западе отмечают, что класс уже не играет в обществе и жизни людей той огромной роли, которую он играл прежде, тем более что свой социальный статус люди в большей степени осознают через потребление, а не через производство.

В Восточной Европе и Латинской Америке мы видим массовое деклассирование трудящихся, их атомизацию. И все же потребление невозможно без производства, а деклассирование — без классовых структур. Противоречие между трудом и капиталом остается центральным и фундаментальным, несмотря на появление множества новых и обострение старых проблем. Противостояние труда и капитала — не только борьба интересов, но и противоположность ценностей, принципов, морали. Лишь опираясь на подобную твердую основу, этический социализм может иметь какой-то позитивный смысл. Общественная потребность в «возвращении» исторического марксизма дает о себе знать уже с середины 1990-х годов. Показательно увеличение

спроса на марксистскую литературу и курсы «классического» марксизма, отмечаемое с 1998 года в западных академических структурах. Не менее существенным показателем является и усиление радикальных политических групп, открыто провозглашающих связь с марксистской традицией. Вопрос о том, в каких формах произойдет подобное «возвращение», остается открытым, но к началу 2000-х годов оно уже становится фактом интеллектуальной и политической жизни.

В то время как марксистская интеллигенция пребывала в нокдауне, радикальные антисистемные идеи начали возникать в новых и достаточно неожиданных для левых формах — например, внутри исламской культуры.

После террористических актов 11 сентября 2001 года ислам стал модной интеллектуальной темой. Одни пугали всевозможными угрозами, исходящими от мусульман, другие боролись с «исламофобией», а третьи строили всевозможные культурологические теории. Поражает, что в массе опубликованных на русском и других европейских языках работ почти нет книг, написанных самими мусульманами, отражающих их собственные взгляды и видение мира, дискуссии, происходящие в их собственной среде.

В этом плане работы Гейдара Джемалья являются редким и значимым исключением. Другой вопрос — насколько можно судить о современном исламе по его статьям и книгам. Ведь Джемаль не просто философ и теолог, но и общественный деятель, занимающий самостоятельную позицию, решительно противопоставляющую его большинству мусульманского духовенства. Больше того, не будет преувеличением сказать, что взгляды Джемалья более активно обсуждались в России среди левых, нежели в мусульманских общинах.

Идеи Джемалья могут рассматриваться как исламский аналог «теологии освобождения», распространенной среди радикальных католиков Латинской Америки. В книгах «Революция пророков» и «Освобождение ислама» Гейдар Джемаль четко обозначает свои политические позиции на левом фланге общества.[160] Свою миссию автор «Освобождения ислама» видит в том, чтобы соединить потенциал сопротивления, накопленный в исламе, с опытом и структурами левого движения. При этом практика политического ислама в современной России подвергается Джемалем уничижительной критике. Он вспоминает, как представители Исламской партии возрождения в качестве серьезного требования выдвигали замену воскресенья пятницей в качестве выходного дня. «Проблема в том, что люди, занимающиеся политикой от ислама, как правило, просто-напросто не знают, что делать. И когда они пытаются выйти из этого тупика, их фантазия не идет дальше пресловутой пятницы. Хотя, по сути дела, это выдает их примитивный внутренний маргинализм и колоссальную ущербность. Так же, наверное, робинзоновский Пятница всерьез отвоевывал себе право на ношение камзола на голое тело во время великосветских раутов своего хозяина».[161] Ключевым для теологии Гейдара Джемалья является понятие «авраамической религии». Начавшееся со времен Авраама поклонение единому Богу создает непрерывную религиозную традицию, объединяющую иудеев, христиан и мусульман в общую семью. В подходе Джемалья нет места ни религиозной нетерпимости, ни пресловутому «диалогу культур» и религий, поскольку и делить-то изначально нечего. Подобный подход вполне логично укоренен в исламской культуре.

Христианство, признавая свое происхождение от иудаизма, ценит Ветхий завет, что, впрочем, никогда не было препятствием для развития антисемитизма. И уж тем более христианство всегда открещивалось от близкого родства с исламом. Пророк Мухаммед, напротив, связи между своим

учением и прежними религиями никогда не отрицал, призывая поклоняться Моисею и Христу как своим предшественникам, пророкам.

Сегодня либеральные публицисты постоянно подчеркивают «мусульманскую нетерпимость», но на теологическом уровне христианство относится к исламу гораздо менее терпимо, чем ислам к христианству.

Авраамическая традиция, уверен автор книги, несет в себе потенциал революционного и освободительного сопротивления. Больше того, она актуальна в наше время «как инструмент преодоления постмодернистского сознания».[162]

Борьба начинается с вызова, брошенного Моисеем фараону, и продолжается до сих пор. Джемаль принадлежит к шиитскому направлению в исламе, которое всегда враждебно и подозрительно относилось к государственным институтам. Ислам выглядит здесь прообразом современного анархизма.

Ключевым моментом для «авраамической традиции», по Джемалю, является не только единобожие, но и «завет» как основа коллективных отношений с Богом. В этом смысле, кстати, ислам (во всяком случае, в трактовке нашего автора) гораздо ближе к иудаизму, чем к христианству в его современном, индивидуалистическом понимании. «Завет» является коллективной обязанностью, даже если человек остается один. В отличие от христианских представлений о спасении, иудейское и мусульманское представление о «завете» сугубо коллективистское. Христианину достаточно лично соблюдать принимать Христа, соблюдать обряды и божественные установления. Именно потому в христианстве совершенно неясным остается вопрос о том, как быть с теми язычниками или атеистами, которые Христа не принимают, но во всех остальных отношениях ведут себя безупречно. Это, кстати, хорошо показано в книге Томаса Манна «Иосиф и его братья». Когда Иосиф оказывается один при дворе фараона, он воспринимает себя не как индивидуума, который должен вести частную жизнь сообразно определенным религиозно-моральным нормам, а как человека завета, отвечающего перед своей общиной и Богом за некое порученное ему дело.

«Дело в том, — пишет Джемаль, — что дикарь не имеет никакой ответственности. А человек, который принадлежит к авраамической религии, принимает на себя ответственность. Он принимает на себя завет с Богом; если он этому не соответствует, то он судим. Он судим здесь, в этой жизни, и в будущей, на Страшном суде. Это как офицер или солдат — если ты еще не принял присягу, то идешь по гражданскому суду, если принял — то под трибунал».[163]

И все-таки, если христианство, иудаизм и ислам так близки, то в чем причина многовековых конфликтов? Джемаль отвечает с полной определенностью: все дело в полах; муллы, впрочем, ничем не лучше. Теология Джемала последовательно антиклерикальная. Именно в развитии клерикализма Джемаль видит «проигрыш исторического христианства»: «попы украли слово Христа».[164]

Никейский Собор — это своего рода термидорианский переворот в христианском движении.

Возникла новая «каста» священнослужителей, которые навязали пастве Символ веры и закрепили свое господство. Именно поэтому потребовалось возрождение революционной традиции — в исламе. «В ислам вошли все христиане, которые не принимали Символ веры. Когда появился Мухаммад, они все перешли в ислам, для них он не был чужой религией, для них ислам был продолжением христианства, возвращающим их к истокам Благодетеля».[165]

Политический ислам Джемала — это «теология революции». В определенной мере он опирается на

Идейный опыт «красных мусульман», сыгравших немалую (и в полной мере еще не исследованную) роль в революционных событиях 1917–1919 годов. Как и большинство исламских критиков Запада, Гейдар Джемаль занимает жесткую антиамериканскую позицию. Однако его антиамериканизм является в первую очередь антиимпериалистическим. Соппротивление Америке рассматривается им не как противостояние чуждой культуре или религии, а как антибуржуазное восстание.

Впрочем, у Гейдара Джемалья есть и собственная версия столкновения цивилизаций. В отличие от Хантингтона, который противопоставлял христианскую цивилизацию миру ислама,[166] Джемаль говорит о противостоянии Старого и Нового Света. При этом Старый Свет — место рождения всех трех «авраамических религий» и вообще всех великих культур — выглядит в его описании миром цивилизации, которому противостоит рыночное варварство изначально буржуазной Америки. Спасение культуры состоит в победе над буржуазностью, что, в свою очередь, предполагает и возрождение Старого Света, и его успешное сопротивление американской экспансии. Джемаль, как и Тони Негри — сторонник сильной и объединенной Европы. Другое дело, что в отличие от Негри, поддерживавшего неолиберальный проект Европейской Конституции, автор «Освобождения ислама» делает ставку не на геополитическое соперничество, а на революционное восстание. Разрушение порядка отнюдь не является, с точки зрения Джемалья, бедой. Хаос несет в себе потенциал для создания иного порядка. Потому бунт (в том числе и бунт против европейской элиты) оправдан и справедлив.

Легко заметить, что взгляды автора «Освобождения ислама» одновременно и перекликаются с привычными для левых идеями, и явственно отличаются от них. Сама по себе история левого движения вызывает у Джемалья острый интерес. Он неоднократно и сочувственно упоминает Троцкого, опираясь на его анализ бюрократического вырождения русской революции. Сталинизм оценивается в «Освобождении ислама» как форма международной реакции.

На этом фоне неожиданностью для левого читателя оказывается заявление Джемалья о том, что он опирается на идеи Ленина, но отвергает марксизм.

На первый взгляд все выглядит достаточно просто. Материалистическая философия марксизма отвергается как несовместимая с теологией, тогда как ленинизм, будучи методом политического действия, вполне совместим с революционным исламом. На самом деле, однако, ход мысли Джемалья гораздо сложнее. Ведь материализм далеко не обязательно предполагает атеизм — примером тому являются многие философы Просвещения, являвшиеся безусловными материалистами и врагами церкви, но далеко не обязательно безбожниками. Точно так же к марксизму обращаются и представители католической «теологии освобождения».

Больше того, среди мировых религий ислам выглядит как раз наиболее рационалистической и материалистической. В нем нет ни «непорочного зачатия», ни идей о Богочеловеке, для него не свойственна напряженная вера в чудеса, типичная для раннего христианства и иудаизма. Пророк Мухаммед прокладывает путь своему учению не с помощью чудес, а политической пропагандой и вооруженной борьбой.

Гейдар Джемаль отвергает марксизм по совершенно иным причинам, не имеющим особой связи с вопросом о материалистических основах марксистской идеологии: «Стратегическое поражение марксизма, досадным образом дающее фон контрреволюционно-реставраторской карусели в странах бывшего соцлагеря, стало неизбежно из-за его связи с менталитетом XIX века. Марксизм опирается

на догматическое представление о четко определенных социально-экономических классах. Это не только отношение к средствам производства и способу распределения прибавочной стоимости, но, что гораздо важнее, это „надстройка“ в виде классового сознания, морали, исторических задач. Вне контекста рассуждений о расчищающей дорожке для человечества прогрессивной деятельности буржуазии и освободительной миссии пролетариата марксизм лишается своего главного пафоса, а стало быть, и смысла. Помимо этого, марксистскому сознанию присущ специфический для эпохи его зарождения миф о „научности“ — наукопоклонство, порождающее тупиковую антирелигиозность и неприемлемый сегодня догматизм в способах описания живой человеческой действительности».[167]

Легко заметить, что оценка Джемалья в полной мере относится лишь к позитивистской интерпретации марксизма. От Карла Каутского через Г.В. Плеханова и Н.И. Бухарина идет идеологическая традиция, завершающаяся на И.В. Сталине. Но в самой же книге Джемалья сталинизм оценивается уже как идеология реакции.

Между тем в марксизме есть и другие идейные традиции, которые совсем не похожи на унылый позитивизм. Диалектический метод Маркса изначально враждебен подобному позитивистскому подходу. В культурном плане легко обнаружить линию преемственности от молодого Маркса к теоретикам Франкфуртской школы и высоко ценимому Джемалем Ж.-П. Сартру. Невозможно также игнорировать работы Розы Люксембург, Льва Троцкого или Иммануила Валлерстайна. Наконец, есть марксисты «третьего мира» — Франц Фанон, председатель Мао и те же латиноамериканские представители «теологии освобождения».

Сам Гейдар Джемаль неоднократно высказывался в пользу «постмарксистского синтеза». Но из его собственных текстов так и остается непонятным, на какой основе должен произойти этот синтез и на какие элементы в марксистской традиции он готов опереться. И все же, главные возражения вызывает не оценка марксизма, а предлагаемая в книге трактовка ленинизма. Смысл ленинизма, по Джемалю, «в переносе марксистского акцента с пролетариата как класса, наделенного освободительной миссией, на революционеров как самостоятельную касту, особый духовный человеческий тип, который, в конечном счете, независим от того, какими социальными классами или группами он должен пользоваться в качестве инструментов своего дела — революции».[168]

То, что Ленин называл организацией профессиональных революционеров, Джемаль считает объединением пассионарных личностей, которые сами для себя устанавливают правила игры, а затем им жестко, эффективно и неукоснительно следуют. Вряд ли Ленин согласился бы с такой трактовкой собственных взглядов. Но дело даже не в том, что говорил о классовой природе большевизма его основатель. В конечном счете, он мог заблуждаться относительно своей партии или даже самого себя. Проблема в том, что Джемаль упускает из виду другой важнейший аспект ленинской политической теории, без которого все остальные просто не имеют никакого смысла. Ленин говорил не просто об организации революционеров, вдохновленных определенными социальными идеалами; а о политической партии, опирающейся на марксистскую теорию. Именно в этом принципиальное отличие взглядов Ленина от идей народников, которые уже задолго до основателя большевизма не только говорили о роли передовых личностей, но и на практике создавали из них боевые организации.

Ленин, несомненно, использовал многое из наследия народников, не признаваясь в этом. Но

народником он не был. Именно марксистская теория становится политическим стержнем для объединения его сторонников, более того, она становится тем интеллектуальным инструментом, с помощью которого пассионарная личность (по Джемалю) превращается в профессионального революционера (по Ленину).

Точно так же и выбор класса, на который предстоит опереться революционерам, не является для Ленина произвольным или тактическим. Этот выбор предопределен выводами все того же марксистского анализа. Другое дело, что догмы ортодоксального марксизма подвергаются сомнению: применив социологический метод Маркса к российской практике, большевики обнаруживают, что готовые рецепты, предложенные немецкими учителями, никуда не годятся. Но эти выводы опираются на все тот же марксистский инструментарий, который, в свою очередь, неизбежно видоизменяется и совершенствуется по мере применения (как, впрочем, любой работоспособный интеллектуальный и не только интеллектуальный инструмент).

Значение марксизма в качестве интеллектуальной основы большевистской революции было подтверждено на практике. Ведь пассионарных личностей у народников и анархистов (социалистов-революционеров) было не меньше, а быть может, и больше, нежели у большевиков. Однако именно большевики взяли верх — в значительной мере потому, что обладали интеллектуальным превосходством, выразившемся в способности правильно и своевременно заключать союзы, формулировать и менять лозунги, учиться на собственных ошибках.

Возможно, теория Джемалья о роли революционеров как особой пассионарной касты ближе к взглядам Че Гевары. Латиноамериканский герой утверждал, что под воздействием политической воли и прямого действия созревание объективных предпосылок революции может ускориться. Но даже Че никогда не заявлял, что вопрос о социальной базе революции определяется «свободным выбором» ее «авторов».

Впрочем, парадоксальным образом, этого не утверждает и сам Джемаль, хотя из его рассуждений о ленинизме такой вывод следует неизбежно. И все же, как только речь заходит о конкретной общественной ситуации, он начинает анализировать объективно сложившиеся социально-политические расклады. Другое дело, что его оценки, не совпадая с тезисами ортодоксального марксизма Каутского и Плеханова, похожи на выводы, к которым пришли некоторые представители Франкфуртской школы и левые радикалы в странах «третьего мира».

Предстоящее восстание, полагает Джемаль, не будет делом европейского индустриального пролетариата, организованного в жестко структурированные партии и профсоюзы. Скорее это будет бунт всемирной улицы против глобальных элит. Пролетариата в старом смысле уже вроде бы и нет, есть только пролетаризированные массы, причем они пролетаризированы в разной степени и по-разному. Здесь, опять же, идеи Джемалья пересекаются с определенными течениями в неомарксизме — достаточно вспомнить книгу Валлерстайна «После либерализма», где утверждается практически то же самое. Другой вопрос, что источником бунта является не только «мировая улица». С одной стороны, «средний класс», которому либеральные идеологи наговорили столько незаслуженных комплиментов, отнюдь не является основой стабильности — в условиях системного кризиса он сам превращается в бунтующую массу, а его обманутые надежды становятся эмоциональным топливом радикального протеста. Точно так же никуда не исчез и промышленный рабочий. Реальные перспективы революции в XXI веке связаны не с миссией какой-то одной социальной группы, а со

способностью многообразных общественных сил объединиться на общей антисистемной платформе. И задача революционеров не в том, чтобы произвольно, выбрать себе «массу», а в том, чтобы выработать такую платформу, найти методiku практического действия, объединяющую и консолидирующую эти разнообразие силы и направить их совокупный потенциал на разрушение старого мира — во имя создания нового.

По мере того, как левое движение возвращалось на политическую сцену, все более популярным становился лозунг «сопротивления». Мало какое слово повторяется так часто на митингах, в дискуссиях и в декларациях, мало какое слово несет такой положительный эмоциональный заряд. Сопротивление — это стойкость, верность своим принципам, готовность бороться наперекор всему, невзирая на неравенство сил и очевидную для обывателя обреченность борьбы. Логика сопротивления — экзистенциальна. Я не рассчитываю шансы. Я просто стою на своем. Даже если я не могу победить, даже если я знаю, что обречен на поражение, я все равно должен дать бой, ибо всякое иное поведение — предательство. Не только по отношению к своему делу, но и по отношению к самому себе.

Именно так приходилось бороться против наступающей реакции на протяжении 1990-х годов. Тактические соображения отступали на второй план. Те, кто оценивали шансы на успех, быстро отказались от борьбы, пополнив ряды перебежчиков, рассуждающих о бесперспективности марксизма и самоочевидной эффективности свободного рынка. Другие стали поклонниками Тони Гидденса, соратниками Тони Блэра, немецкими «красно-зелеными» министрами и «социально озабоченными» депутатами от «Единой России», которые каждый законопроект, направленный на ограничение прав трудящихся сопровождали извержением «прогрессистской» риторики. Нигде не найдешь столько бывших революционеров, как среди этих господ. Они бы с удовольствием низвергали капитализм, но по здравому размышлению, обнаружив, что революция — дело отделенного будущего, а жизнь коротка, и карьере надо делать быстро, предпочли пойти в услужение разоблаченному им злу. При этом ни на минуту не переставая гордиться своим революционным прошлым и при каждом удобном случае пытаюсь извлечь из него моральную или материальную выгоду.

И все же, в логике сопротивления есть своя моральная двусмысленность, которая становится очевидной тем более, чем эффективнее мы сопротивляемся. Дело в том, что капитализм вполне может пережить сопротивление себе. Чего он не может пережить, так это революции, которая его уничтожает. Революции могут быть неудачными, более того, подавляющее большинство революционных попыток именно таковыми и оказываются. Но, как говорил перед смертью Жан-Поль Сартр, от неудачи к неудаче идет вперед прогресс человечества. Если бы не было этих неудачных попыток, мы, наверное, все еще жили бы в каменном веке. Незавершенные и даже потерпевшие трагическое поражение революции значат для истории больше, чем целые десятилетия «спокойного» развития, ибо мир, переживший подобное социальное потрясение, уже не может быть прежним. Вернемся, однако, к идеологии сопротивления. Неслучайно слово это было произнесено генералом де Голлем в самом начале Второй мировой войны, когда мощь нацистской Германии казалась непреодолимой, а дело свободной Франции безнадежно проигранным. Страна была оккупирована, армия разгромлена, значительная часть элиты предала республику или бросила ее на произвол судьбы. Естественно было в таких условиях поднять знамя сопротивления. После

Сталинградской битвы взгляд на борьбу радикальным образом менялся. Надо было уже не просто выстоять, но и победить. Победа, благодаря стойкости и самопожертвованию первых лет войны, стала реально достижимой, но для того, чтобы приблизить ее, надо было действовать уже по-другому. Нужна была тактика, стратегия, координация. Нужна была эффективность и организация, которые совершенно не обязательно требовались для каждого акта сопротивления, ибо подобные акты носили в первую очередь моральный характер.

После массовых демонстраций 1999 года в Сиэтле, когда под давлением протестов Всемирная Торговая Организация вынуждена была отложить очередной раунд глобальных переговоров об очередной волне неолиберальных реформ, идеолог антиглобалистского движения Уолден Белло заявил, что это был Сталинград современного капитализма.[169] Точно так же, как под Сталинградом Красная Армия переломила хребет германскому вермахту, так и массовое сопротивление в Сиэтле нанесло стратегическое поражение неолиберальному проекту. К сожалению, Белло ошибался. Сиэтл можно сравнить скорее с битвой за Москву, в которой обороняющиеся показали, что могут выигрывать сражения, но до решающей победы над нацизмом было еще очень далеко. Стратегический перелом в борьбе против неолиберального капитализма еще не наступил. Однако возникла новая ситуация, когда одной лишь решимости и твердости недостаточно. Надо учиться побеждать.

Тактика и организация становятся принципиально важны. Возникает потребность в позитивных программах и политически эффективных методах работы. Возможны компромиссы, приобретающие стратегическую и моральную осмысленность: ведь они позволяют приблизиться к целям борьбы, которые становятся совершенно конкретными и реальными.

Сопrotивляясь, мы достигаем своеобразного морального комфорта. Разумеется, есть принципиальная разница между теми, кто проповедует свои идеи с западноевропейской кафедры, и теми, кто сопротивляется власти транснациональных корпораций где-нибудь в Нигерии или Индии, ежедневно рискуя здоровьем и даже жизнью. Однако больше всего об идеалах сопротивления говорят именно те, кто меньше всего рискует, их отстаивая.

Дело, разумеется, не только в репрессиях. Моральный риск не менее, а, в конечном счете, даже более значим. Можно жить, по выражению великого русского писателя Салтыкова-Щедрина, «применительно к подлости». Можно просто говорить «нет» системе и удовлетвориться этим. В последнем случае мы избегаем множества сложных и морально неоднозначных вопросов. Ведь практическая деятельность, направленная на решение конкретных задач, заставляет нас постоянно принимать решения. Эти решения оказываются спорными, они могут быть ошибочными. Они ставят моральные вопросы, на которые у нас нет готовых ответов. С кем можно сотрудничать, а с кем нет? Где границы допустимого компромисса? У кого можно принять денежные пожертвования, на каких условиях? Как обеспечить единство и эффективность организации, сохраняя при этом в ней демократическую жизнь? Как использовать разногласия между нашими врагами на пользу нашему делу? Как бороться за власти одновременно сознавая, что власть развращает? Вопреки знаменитому афоризму Черчилля, малая толика власти развращает даже больше, чем власть, полученная во всей ее полноте.

Короче, как победить дракона и не стать самому похожим на дракона?

На подобные вопросы нет общеупотребительных теоретических ответов. Отвечать на них можно

только практическим действием, совершая поступки, осознавая связанные с ними моральные и политические риски, критически оценивая собственные ошибки. Единственная гарантия в том, что Действуют не отдельные люди, а массы. Одиночки, даже героические, даже мудрые и вооруженные передовой теорией, то и дело ошибаются. Массы тоже нередко заблуждаются. Им свойственно поддаваться иллюзиям, загораться энтузиазмом, а порой и впадать в депрессию. Именно депрессия масс после поражений 1980-х годов подтекстовывала ощущение глобальной безнадежности в 1990-е годы. Но критически мыслящие интеллектуалы для того и нужны, чтобы увидеть перспективы и опасности, не замеченные массами. А массовое движение, если оно способно развиваться и учиться, может и должно поставить под контроль «своих» интеллектуалов и политиков. Далеко не всегда люди способны учиться на своих ошибках. Но ошибки одних могут быть исправлены другими. Легко понять, что в эпоху сопротивления модны были анархические идеи. В конце концов, зачем нужна политика, если все равно на этом поле ничего не достичь? Закономерно, что появляются книги, призывающие изменить мир, не пытаясь взять власть. Как в басне Эзопа, виноград зелен: победить в борьбе с государством левым не удастся.

Но изменить мир, не пытаясь взять власть невозможно. Если бы это было возможно в принципе, история не знала бы ни революций, ни политической борьбы. Ибо те, кто правит миром, сохраняя контроль над государством, не только не позволят преобразовать систему, но даже не пойдут на уступки, пока не почувствуют угрозу собственному господству. Оппозиции далеко не всегда удастся взять власть, но она становится эффективной лишь тогда, когда правящий класс начинает понимать, что угроза потери власти совершенно реальна.

Надо признать, что большинство людей в любом обществе — далеко не революционеры. И это относится к Марксовым пролетариям точно так же, как и к любому другому классу в истории. Но это отнюдь не значит, будто «обычный человек» по природе своей консерватор. Скорее он стихийный реформист. Чем более трудящиеся осознают свои классовые интересы, тем более они враждебны системе. Другое дело, что эта враждебность — пассивная. Готовность действовать возникает тогда, когда появляется конкретная перспектива успеха. Сопротивление — удел одиночек. Когда оно становится массовым, это уже восстание, первый шаг к революции.

Глава IV. «Пустая оболочка»

«Партийная бюрократия представляет собой наиболее опасную косную и консервативную силу; если она превратится в сплоченную, солидарную группу, которая существует сама по себе и чувствует себя независимой от партийной массы, то сама партия в конце концов станет анахронизмом и в периоды острого кризиса потеряет свое социальное содержание и уподобится пустой оболочке».[170] Так писал Антонио Грамши в «Тюремных тетрадах». Кризис левого движения в 90-е годы века вполне подтвердил справедливость этого тезиса. Крупные партии, обладавшие мощной бюрократической и электоральной машиной, отнюдь не утратили своего места в политике — во всяком случае, на протяжении длительного времени они продолжали получать места в парламентах, а иногда и портфели в правительствах. Однако свою социальную миссию и идеологическое содержание они давно потеряли, превратившись в бессмысленные механизмы, работающие по инерции (или, еще хуже, выполняющие социальный заказ того самого буржуазного класса, для борьбы с которым некогда были созданы). Несостоятельность большинства традиционных партийных организаций парадоксальным образом стала очевидна именно в тот момент, когда в

первой половине 2000-х годов левое движение начало выходить из кризиса.

Поверхностному наблюдателю политическая история левых сил в 1980-е и первую половину 1990-х может показаться непрерывной цепочкой поражений. Крушение Берлинской стены сопровождалось исчезновением мирового коммунистического движения. Более или менее традиционная компартия сохранилась в Центральной и Восточной Европе лишь в Чехии, где в конце 1990-х существовал также и Левый блок, созданный сторонниками более радикального обновления партии, а также возрожденная социал-демократия. В остальных случаях коммунистические организации стремительно преобразовались, Чаще всего новые/старые партии объявляли себя социал-демократическими, сохранив, впрочем, прежние кадры и авторитарный внутренний порядок. Подобные процессы наблюдались не только на Востоке Европы. Политическую трансформацию пережила и итальянская компартия — крупнейшая на Западе. Провозгласив необходимость «обновления», руководство уверенной рукой повело организацию вправо, не считаясь с настроениями собственных членов и сторонников.

Западные парламентские партии, называвшие себя с конца 1970-х годов «еврокоммунистическими», на протяжении длительного времени критиковали СССР. Они постоянно подчеркивали, что опираются на другую традицию, имеют собственные теоретические и программные установки, делающие их независимыми от Советского Союза. И хотя события 1989–1991 годов не могли не сказаться на их авторитете, было бы наивно полагать, будто крах СССР нанес им непоправимый удар. Эволюция вправо итальянской компартии была вполне логична, и началась задолго до распада советской системы. Скорее можно говорить о том, что после ликвидации Советского Союза партийное руководство воспользовалось случаем, чтобы еще более резко повернуть руль вправо и завершить давно задуманный и начатый политический маневр.

Парадоксальным образом именно процесс «реформирования» показал, до какой степени в итальянском коммунистическом движении, гордившемся своими «европейскими демократическими корнями», сохранилась сталинистская традиция бюрократического контроля над массами. Партия преобразовалась в «Демократическую левую». Как только смена названия состоялась, партия вошла в Социалистический Интернационал. Это стало большим облегчением для международной социал-демократии, поскольку Итальянская социалистическая партия в те же годы распалась под воздействием коррупционных скандалов и межфракционных склок.[171] Бывшие компартии видели в социал-демократизации спасительное решение, позволяющее сохранить свои позиции в меняющемся обществе. Тем временем сама социал-демократия переживала глубокий кризис, все более смещаясь вправо.

Если первой причиной кризиса левых сил в 1990-е годы принято считать деморализацию, связанную с крушением коммунистической идеологии, то второй причиной, как правило, объявляют глобализацию. По общему мнению, глобализация лишила национальное государство традиционных инструментов воздействия на экономику, ибо мировой рынок стал глобально интегрирован, а вместе с тем капитал приобрел невиданную ранее мобильность, делающую любое регулирование неэффективным. Отныне все должны участвовать в глобальном соревновании, а для солидарности и перераспределения просто не остается места в изменившемся мире.

Западные социал-демократические партии и «еврокоммунисты» возлагали существенные надежды на перестройку в Советском Союзе, а также на процесс перемен в Восточной Европе, рассчитывая,

что реформы изменят страны бывшего коммунистического блока в социал-демократическом или демократическо-социалистическом духе. Эти надежды, как известно, не оправдались. Вместо социал-демократических идей в посткоммунистических обществах восторжествовал неолиберализм, причем, как правило, в наиболее жестких формах.

Левая альтернатива в рамках реформистского движения на Востоке действительно существовала, но почти нигде не могла опереться на общественные силы достаточно организованные и влиятельные, чтобы изменить направленность процесса перемен. Мрачные результаты советской перестройки предопределили и неизбежную череду катастроф для национально-освободительных движений в развивающихся странах. Оставленные без поддержки СССР, «прогрессивные» режимы один за другим меняли политическую ориентацию, переходя под покровительство США и приглашая экспертов Международного валютного фонда. Впрочем, и здесь перемены произошли не в один день. Стремительной переориентации бывших «прогрессистов» предшествовал длительный период формирования авторитарно-бюрократической элиты, заинтересованной не в развитии страны, а в поддержании своих привилегий.

При более пристальном взгляде, впрочем, мы замечаем, что картина 1990-х годов не может быть сведена к постоянным неудачам и отступлению левых. Были и успехи на выборах, и победоносные стачки. Большинство партий и профсоюзов переживало трудности, но некоторые все же росли. Более того, с середины 1990-х наметилась противоположная тенденция. (Несмотря на заявления о кризисе, в мировом масштабе левые в 90-е годы XX века имели серьезные электоральные успехи, если не считать периода 1989–1991 годов. Социал-демократы в Скандинавских странах, теряя власть, быстро возвращали ее. Правые, долго правившие в Дании, потерпели сокрушительное поражение в 1993 году. В Швеции социал-демократы к середине 1990-х вновь стали самой сильной партией. В Италии правительство левого большинства было сформировано впервые за всю историю страны. Выборы 22 апреля 1996 года дали убедительную победу левоцентристскому «Союзу оливкового дерева», получившему большинство не только в парламенте, но и в Сенате: блок левых сил оказался у власти, покончив с полувековой политической монополией консервативной Христианской демократии. Длительный период упадка лейбористской партии Великобритании в 1997 году завершился самой большой избирательной победой в истории партии. Французские социалисты, считавшиеся к концу президентства Франсуа Миттерана партией без будущего, оправались и добились в том же 1997 году блестящей победы на парламентских выборах, сформировав правительство «плюралистической левой» с участием коммунистов и «зеленых». Затем к власти после долгого перерыва вернулись социал-демократы в Германии.

В Центральной и Восточной Европе посткоммунистические партии тоже быстро оправались после шока, вызванного крушением Берлинской стены. За исключением Чехии, они вернулись к власти почти всюду, где были проведены свободные выборы. Другое дело, что возвращались они уже не в качестве коммунистов, а под именем «новой социал-демократии». В Чехии после периода неолиберальных реформ к власти пришла социал-демократия. В отличие от соседних стран, она представляла собой не «переупакованную» компартию, а возрожденную «историческую» организацию (забегая вперед, отметим, что, сформировав правительство, социал-демократы начали быстро терять влияние, а компартия — резко набирать электоральный вес). Лишь на территории бывшего СССР в период 1991–2000 годов левые повсюду, кроме Литвы и Молдавии, оставались

либо в оппозиции, либо вообще за пределами серьезного политического процесса.

Несмотря на крайне умеренные взгляды английских лейбористов образца 1997 года их победа, быть может, вопреки их желанию, оказала радикализующее воздействие на миллионы людей в других европейских странах — от Франции до России. Британские консерваторы за 18 лет пребывания у власти стали символом незыблемости капитализма и непобедимости праволиберального проекта. А французские выборы, последовавшие через несколько недель после английских, оказались знаменательны не только неожиданной победой социалистов, но также усилением позиций компартии и рекордным количеством голосов, отданных за крайне левых. Как, впрочем, и за крайне правый Национальный Фронт.

За пределами Европы электоральные результаты левых в 1990-е годы тоже были впечатляющими. Бразильская Партия трудящихся не пришла к власти, но резко укрепила свои позиции в парламенте и муниципалитетах. В Уругвае, Колумбии, Чили левые на глазах усиливались. В 14 избирательных кампаниях, состоявшихся в Латинской Америке между 1993–1995 годами, левые в среднем достигли 25 %, что, безусловно, являлось историческим рекордом континента; Причем показательно, что продвинулись как радикальные, так и умеренные партии. Успехи 1990-х годов готовили мощный подъем «левой волны», наступивший в следующем десятилетии.

В Южной Африке у власти оказался Африканский Национальный Конгресс, состоявший в блоке с компартией и профсоюзами. Коммунисты победили на выборах в Непале, но не смогли удержаться у власти. Бывшие маоисты из Коммунистической партии Индии (марксистской), набрав рекордное количество голосов, даже получили предложение сформировать кабинет министров, однако партия отказалась возглавить буржуазное правительство.

Успехи 1990-х годов в Латинской Америке были лишь преддверием нового электорального подъема левых. К середине следующего десятилетия левые или левоцентристские силы оказались у власти в Бразилии, Венесуэле, Уругвае, Эквадоре, Боливии, Никарагуа, Чили и Аргентине. На пороге власти левая оппозиция находилась в Мексике, где предотвратить ее торжество удалось только за счет сомнительного подсчета голосов. Но, увы, все эти блестящие электоральные победы совершенно не обязательно знаменовали начало левого поворота в социальном или экономическом развитии. В большинстве случаев, придя к власти, «левые» не только не отказывались от неолиберального курса своих предшественников, но, напротив, начинали проводить неолиберальную политику гораздо более жесткими методами и в больших масштабах, чем консерваторы. Лидеры социал-демократии назвали это политикой «третьего пути», хотя никакого собственного пути они вообще не предлагали: вся их политика и идеология сводилась к тому, чтобы доказать свою лояльность элите финансового капитала.

Успехи на выборах, таким образом, отнюдь не свидетельствуют о преодолении кризиса социалистического движения. Просто кризис не имеет ничего общего с электоральной слабостью, «исчезновением» или «узостью» социальной базы. Напротив, он вызван бюрократическим перерождением старых рабочих партий, организационным авторитаризмом, сочетающимся с политической слабостью и моральным бессилием левых, которые, не имея четкой стратегии, даже победы умудряются превращать в поражения.

Поведение левых идеологов (да и многих активистов) заставляет подозревать, что мы имеем дело с коллективным неврозом. Итальянский исследователь Доменико Лосурдо замечает, что

коммунистическое движение в конце 80-х и на протяжении 90-х годов XX века, не справившись с необходимой самокритикой, оказалось поражено «автофобией», *Selbsthass* — комплексом ненависти к самим себе. «Несмотря на внешнее сходство, — отмечает Лосурдо, — самокритика и автофобия представляют собой два противоположных принципа. Как бы ни была жестока и радикальна самокритика, она предполагает утверждение основных принципов собственной идентичности и сведение счетов с собственным прошлым; автофобия, напротив — это бегство от собственной истории, от реального идеологического и культурного конфликта. Если самокритика предполагает реконструирование собственной идентичности, то автофобия означает капитуляцию и, в конечном счете, отказ от собственной идентичности».[172] Автофобия всегда была уделом побежденных и угнетенных. Этот феномен был характерен для части еврейского населения в гетто и чернокожих рабов. Причем именно для тех, кто внутренне смирился со сложившимся положением дел. В эпоху неолиберальной глобализации автофобия поразила прежде всего побежденные западной буржуазией классы и общества. Формирующийся среди европейцев комплекс неполноценности по отношению ко всему идущему из США — тоже «не столь ярко выраженная форма автофобии».[173] На правом фланге социал-демократы открыто признавались в том, что чувствуют полное бессилие. Тем временем социалисты и коммунисты мечтали стать именно правыми социал-демократами, стремясь отделаться от собственного прошлого. Причем отношение к прошлому является именно невротическим в том смысле, что исторический анализ и теоретическая самокритика заменяются символическими «очищающими» действиями (смена названия, повторение ритуальных формулировок и т. д.). Зато принцип бюрократического централизма, авторитарные методы работы с массами сохраняются в неприкосновенности. Невротический тип поведения заметен не только в бывших компартиях. Там, где благодаря радикальным лозунгам левые социалисты резко увеличивали число сторонников, они тут же отказывались от собственных идей, надеясь приобрести «респектабельность» и доказать правящим элитам свою безобидность. В итоге, однако, они теряли сторонников, после чего и правящие элиты утрачивали к ним интерес. Так произошло в начале 1990-х с левыми социалистическими партиями в Скандинавии. За резким ростом влияния этих партий следовал не менее резкий спад, вызванный попытками «сменить имидж» и показать свою «ответственность». В Дании к концу 1980-х годов Социалистическая народная партия достигла 12 % голосов на парламентских выборах, а затем в 1994 году число ее сторонников упало до 7,3 %. Стремясь показать свою респектабельность, партия отказалась от принципиальной оппозиции по вопросам европейской интеграции ради участия в «национальном компромиссе». Результат был катастрофическим для партии. Как отмечает датский социолог Нильс Финн Кристиансен, партия «политически разоружилась. Отвергнутая своими избирателями, она потеряла не так уж много членов, но в любом случае уже, не является независимой силой, какой она была прежде». Продолжающееся существование партии параллельно с традиционной социал-демократией «в большей степени — результат действия избирательной системы, вопрос стиля или истории, но не результат действительных политических различий».[174] На протяжении последующих лет деградация партой продолжалась, достигнув позорной кульминации в 2005 году, когда большинство партийного руководства проголосовало за то, чтобы поддержать неолиберальный проект Европейской Конституции.

То же самое произошло в Норвегии, где Социалистическая левая партия в начале 1990-х

пользовалась поддержкой 12–15 % населения. Почувствовав «запах власти», социалисты резко повернули вправо, смягчили свою оппозицию НАТО и Европейскому Союзу, поддержали военное вмешательство Запада в бывшей Югославии. По признанию Финна Густавсена, одного из основателей партии, она двигалась «к тому, чтобы занять позиции левой социал-демократии», что может привести к «отказу от марксистской культуры».[175] Результат не заставил себя долго ждать. Поддержка партии избирателями сократилась до 7,9 %. Последовавший за этим внутренний кризис привел к новому сдвигу партии влево, после чего ее электоральные позиции опять окрепли. Находясь на подъеме, Социалистическая левая партия в начале 2000-х годов стала по социологическим опросам опережать социал-демократов. Однако в очередной раз сработала привычная ловушка. Как только перед лидерами партии замаячила перспектива участия в правительстве, они резко повернули вправо. Между тем тоже социал-демократия двигалась все дальше вправо, и тоже теряла сторонников. Норвежская Рабочая Партия, которая некогда считалась наиболее радикальной в Социалистическом Интернационале, проводила приватизацию и последовательно отказывалась от прежних реформистских принципов. Такое положение дел обернулось массовым бегством избирателей.

Неожиданно для многих лидеры НРП оказались способны извлечь уроки из произошедшего. Руководство начало публично каяться перед народом за участие в неолиберальных реформах. Избирательная кампания 2005 года шла под левыми лозунгами. Политики обещали трудящимся не забывать о социалистических традициях. В 2005 году Рабочая партия вернулась к власти после короткого периода пребывания в оппозиции. Левые социалисты удовлетворили свою мечту, получив министерские портфели в коалиционном правительстве! Начав кампанию при поддержке 16 % норвежцев, они закончили ее, имея всего 8,8 %. Почти половина их потенциальных избирателей перешла к социал-демократам. Последние поднялись за счет левой риторики с 24,3 %, которые они имели в 2001 году, до 32 %.

В Голландии «Зеленые левые» («Groenlinks»), добились сенсационного успеха в 1989 году, завоевав 7 % голосов. В 1994 году на парламентских выборах они, выступив с более умеренных позиций, получили ровно в половину меньше. А более правые «зеленые», выступавшие отдельно, вообще смогли набрать лишь 0,16 %. В Швеции бурный рост влияния Левой партии (Vansterpartiet) сменился столь же драматическим упадком. Если в 1991 году она получила 4,5 % голосов, то в 1994 году за нее проголосовало уже 6,2 %, а в 1998 — 12 %. Когда Швеция впервые избирала своих депутатов в Европейский парламент, Левая партия получила 12,92 %. К этому надо добавить 17,22 %, полученных «зелеными», что свидетельствует о явном недовольстве избирателей «реалистической» политикой вернувшихся к власти социал-демократов. Совокупный прирост «зеленых» и Левой партии составил 18,7 %, а потери социал-демократов — 17,2 %. При этом правые партии, обычно выигрывающие от ослабления социал-демократов, на сей раз тоже теряли голоса. Однако бурный рост влияния Левой партии был вовсе не результатом ее активной борьбы. Напротив, в партии царили растерянность и неуверенность. Вскоре подъем сменился спадом. В 2002 году — 8,3 %, а в 2006 Левая партия опустилась до 5,85 % голосов.

Неудачи парламентских левых невозможно объяснить «эффектом 1989 года», поскольку в период 1989–1992 годов их положение оставалось довольно прочным. Спад наступил позднее, в результате их собственной политики. Поворот вправо датской Социалистической народной партии также не

может объясняться и давлением ее социальной базы. После того, как социалисты стали доказывать свою умеренность, разочарованные избиратели обратились к более радикальным группам. Впервые за много лет в датском парламенте вновь оказались коммунисты, прошедшие в блоке с троцкистами и бывшими маоистами. На выборах 21 сентября 1994 года социал-демократы и социалисты потеряли голоса, а «Единый список» левых радикалов добился серьезных успехов, завоевав 6 мандатов. Позднее «Единый список» был преобразован в политическую партию.

В Голландии на фоне поражения «зеленых левых» крошечная экс-маоистская Социалистическая партия резко увеличила число сторонников. Эта небольшая политическая организация отличалась решительным нежеланием отступать от своих позиций в угоду меняющейся конъюнктуре. В то же время, не будучи обременены грузом прошлых ошибок и исторической ответственности, голландские социалисты действовали изобретательно, энергично и неожиданно. Эмблемой партии в противовес традиционной революционной символике — был избран красный помидор (красный и внутри, и снаружи, да к тому же красный цвет как-то сам собой получается из зеленого, по мере созревания).

Восхождение «томатной партии» началось с полутора процентов электората в начале 1990-х. В 1999 году партия провела своего депутата и в Европейский парламент. Лидер партии Ян Марийниссен объяснял ее успех тем, что партия не боялась говорить про «действительно важные вещи», несводимые к уровню потребления. «Томатная партия» провозгласила, что в эпоху глобализации единственный путь для сохранения демократии состоит в том, чтобы «расширить сферу государственной ответственности — не ради сильного правительства, а ради того, чтобы дать гражданам доступ к принятию решений, которые могли бы улучшить общество и нашу жизнь».[176] В 2006 году «зеленые левые» получили 7 мандатов в нижней палате парламента (из 150 депутатов), а Социалистическая партия завоевала 25 мест, превратившись в одну из ведущих политических сил Голландии. Левоцентристская группа «Демократия 66», которая, в отличие от социал-демократов из Партии Труда, не участвовала в правительственных коалициях, на протяжении 1990-х годов укрепляла свои позиции, но лишь до тех пор, пока не началось восхождение «томатной партии». В 2006 году «демократы» завоевали всего 3 мандата.

В Финляндии и Норвегии бывшие Аграрные партии, переименованные в Партии Центра, резко сдвинулись влево, после чего их политическое влияние существенно выросло. Норвежская Партия Центра (бывшие аграрии), выступавшая с жестких позиций против Европейского Союза и Маастрихтского договора, получила в 1993 году 17 % голосов, став, по признанию журналистов, подлинным победителем на этих выборах.[177] А к началу 2000-х годов Партия Центра в Финляндии стала крупнейшей политической силой в стране. Нетрудно догадаться, что речь идет о голосах, потерянных социалистами и социал-демократами. И в Норвегии и в Финляндии, войдя в состав коалиционных правительств, «центристы» на самом деле сдвигали их политику влево.

Показательно сравнение Междуевой партией в Швеции и ее братской организацией в Финляндии — Левым Союзом. Обе партии имеют «посткоммунистическое» происхождение, но организационно и идеологически преобразовались еще до краха СССР, что позволило им в значительной мере избежать «эффекта 1989 года». Однако шведская Левая партия находилась в оппозиции, тогда как Левый Союз в Финляндии вошел в коалицию с социал-демократами и либералами для проведения «рыночных реформ». В итоге шведская партия быстро росла, тогда как финская партия стагнировала.

Буржуазная пресса, напротив, восхищалась Левым Союзом, который, в отличие от шведских товарищей избежал соблазна укрепить свои позиции за счет критики власти, предпочтя пожертвовать своим влиянием ради поддержки необходимых реформ (то есть демонтажа социальных завоеваний социал-демократии).

Увы, как только Левая партия вошла в состав правительственного большинства и разделила с социал-демократами ответственность за проводимую политику, ее позиции пошатнулись. И дело здесь не в том, что в оппозиции быть комфортнее, а в том, что сама политика уступок буржуазии не пользовалась поддержкой трудящихся.

Безусловный успех Партии демократического социализма (ПДС) в Германии 1994–1996 годах сопровождался резким обострением разногласий и все более явным стремлением части партии доказать свою умеренность. По данным социологов, «внутренние споры в ПДС (особенно в руководящих кругах)» стали одной из основных причин, по которым рядовые члены покидали партию.[178] Постепенный сдвиг партии вправо привел к бунту партийных «низов» во время съезда в Мюнстере в 2000 году, поставив партию на грань краха. «Восстание масс» пришлось на момент заранее предусмотренной уставом смены партийного руководства и фактически сорвало первоначально запланированный сценарий «бесконфликтной» передачи власти от основателей партии Грегор Гизи и Отара Баски к новому поколению лидеров.

Партия, добивавшаяся на протяжении десяти лет одного успеха за другим, в 2002 году потерпела сокрушительное поражение на выборах и не попала в Бундестаг.

Возникает ощущение, что левыми овладел инстинкт самоубийства. Левые не решались ни открыто отказаться от своих традиционных ценностей, ни последовательно их отстаивать. Эта ситуация классического невроза, неоднократно описанная психоаналитиками применительно к жизни отдельного человека, характерна и для коллективного самосознания европейских левых 1990-х годов. Политики боятся собственного успеха, инстинктивно и бессознательно стремясь его уничтожить или свести к минимуму. Можно сказать, что после 1989 года невроз парализовал их волю к борьбе. Социалисты публично говорят, что не верят в модные либеральные теории, согласно которым всякий коллективизм тоталитарен, но в глубине души подозревают, что эти теории верны. Трагический опыт русской революции лежит на их сознании слишком тяжелым грузом. Чувство вины за чужие ошибки в сочетании с ощущением бессилия — вот основы невроза левых. На практике все сводится к постоянному самообличению, непрерывным покаяниям и обещаниям «исправиться».

Без сомнения, левым есть, за что себя винить. Но двигаться вперед, постоянно рассуждая об ошибках прошлого, просто невозможно, тем более что таким образом выбрасывается за борт и весь огромный политический и моральный капитал, который был нажит социалистическими левыми за сто лет современной истории. И то, что люди продолжают голосовать за левые партии, является свидетельством того, насколько по-прежнему ценен этот моральный капитал.

Пока либеральная пропаганда повторяла на разные лады тезис об окончательном крахе социалистической идеологии, спрос на левые идеи и политику рос повсюду. Вторая половина 1990-х годов оказалась временем, породившим новое поколение активистов, которое вскоре заявило о себе. Победа капитализма в Восточной Европе, казавшаяся совершенно бесспорной в начале 1990-х, к концу десятилетия стала вызывать сомнения. Запад пережил массовые выступления трудящихся, а в

странах «третьего мира» недовольство сложившимся порядком привело к насилию. Показательно, что и в России 2–3 года спустя после торжественных похорон социализма эта идея снова оказалась в моде. Буквально каждый либеральный интеллигент считал своим долгом высказать свое видение перспектив социалистической идеи, а партии, именующие себя «социалистическими», стали расти как грибы.

Антикапиталистические выступления конца 1990-х годов в принципе невозможно объяснить стараниями социалистических агитаторов. В большинстве стран, где имели место массовые протесты, они произошли не благодаря, а вопреки деятельности политических организаций левых сил, призывавших к умеренности и подчеркивавших неизбежность «рыночных ограничений». Точно так же в январе 2005 года массовые протесты, охватившие большинство российских городов, не имели ничего общего с деятельностью парламентской оппозиции. Напротив, оппозиционеры из Государственной Думы прилагали все силы, чтобы остановить волнения и успокоить массы.[179] В то время как массы левели, политики правели. Избиратель неизменно голосовал за крупнейшую и наиболее влиятельную из парламентских левых партий, надеясь, приведя ее к власти положить конец неолиберальным реформам. Но лидеры социал-демократических партий, напротив, были полны решимости подобные реформы продолжить. В этом и состояла суть провозглашенной Герхардом Шредером и Тони Блэром в конце 1990-х годов «политики третьего пути».

С термином «третий путь» вообще-то получилось неважно. С ним произошли странные мутации. Первоначально это словосочетание использовали европейские социал-демократы, имея в виду третий путь между американским капитализмом и советским коммунизмом. Позднее тот же термин использовали еврокоммунисты на Западе и коммунисты-реформаторы на Востоке, причем они говорили уже о третьем пути между социал-демократией и сталинизмом. Таким образом, когда в конце 1990-х годов лидер английских лейбористов Тони Блэр и лидер немецких социал-демократов Герхард Шредер объявили себя сторонниками «третьего пути», это был уже, по меньшей мере, четвертый «третий путь». Самое удивительное, что на сей раз авторы лозунга даже не удосужились объяснить, между чем и чем этот путь проходит. По умолчанию, можно предположить, что где-то между «старой» реформистской социал-демократией и неолиберализмом. Но при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что пролег он не слева, а справа от неолиберального курса.

Поражение левой альтернативы на Востоке не только ослабило западных левых психологически и идеологически, но и создало качественно новую глобальную ситуацию с единственной сверхдержавой — США, с новой глобальной экономикой, где неолиберальный капитализм остался не просто господствующей, но и единственной формой хозяйственной организации международного масштаба. На этом фоне правое крыло социал-демократии не видело никаких иных перспектив, кроме отказа от своих исторических требований в обмен на право участвовать в управлении буржуазным государством. Впрочем, в этом сторонников «нового третьего пути» готов был поддержать и кое-кто из «радикальных» левых. Главный редактор британского журнала «New Left Review» Перри Андерсон убежден, что именно победа лейбористов в Англии и социал-демократов в Германии окончательно закрепила исторический триумф неолиберализма, ибо левые, придя к власти, полностью приняли идеологию и стратегию правых, тем самым подтвердив тезис Маргарет Тэтчер о том, что никакой альтернативы неолиберализму не существует. Неолиберальный консенсус был закреплен приходом к власти режимов «третьего пути» — Блэра и Клинтона. Этот «третий путь» не

только не является альтернативой неолиберализму, но, напротив, «представляет собой идеальное идеологическое оформление для неолиберализма сегодня».[180] Однако высказывания Андерсона отнюдь не надо трактовать как критику Блэра и его сторонников. Английский мыслитель вообще не видит ни возможности появления новых сил, способных предложить полноценную альтернативу, ни необходимости в подобной альтернативе.[181] Английский историк Доналд Сассун, получивший в 1997 году Дейчеровскую мемориальную премию за свою историю европейского социализма, отмечает, что у левых исторически было две руководящие идеи — «регулирование» и «сопротивление капитализму».[182] В конце 1980-х идея регулирования превратилась в общие пожелания, поскольку социалисты ничего не могут противопоставить мощи транснациональных корпораций. Подобно другим идеологам современных «реалистических левых», Сассун воспринимает глобализацию не как социально-экономический процесс со своими сильными и слабыми сторонами, структурными противоречиями и сложной динамикой, а как наваждение, необратимый перелом, нашествие непонятной и непреодолимой силы. Столкновение с этой силой парализовало волю левых политиков и идеологов. Однако сопротивление капитализму продолжалось, несмотря на капитуляцию реформистских партий. Только из организованного оно стало стихийным, из политического — социальным. Массы оказываются радикальнее интеллектуалов, которые по инерции ссылаются на «консерватизм» масс.

Энтони Гидденс в книге «Третий путь», отвергая традиционную социалистическую программу, одновременно подчеркивает, что социал-демократии необходимо придерживаться определенных ценностей. Эти ценности таковы: «равенство, защита слабых, свобода как автономия, нет прав без обязанностей, нет власти без демократии, космополитический плюрализм, философский консерватизм».[183] Идеолог Горбачев-фонда Юрий Красин пишет, что социализм есть «некий вектор развития многообразных общественных движений, тяготеющих к ценностям социальной справедливости».[184] По его мнению, суть социализма выражена «в понятиях гуманности, справедливости, честности».[185] Разумеется, служение этим ценностям требует, чтобы политическая энергия была направлена «не в привычное для нашей истории, но бесперспективное русло революционного радикализма, а в русло эволюционного реформаторства».[186] Отметим между делом, что реформаторство в принципе не может быть эволюционным. Сама потребность в реформах (то есть преобразованиях, сколь бы умеренными они ни были) возникает лишь тогда, когда общество в своей «естественной» эволюции не может решить возникающие перед ним проблемы. Эволюционное развитие есть принцип консерватизма, который вовсе не отрицает постепенных и «естественных» перемен. Реформизм (если, конечно, относиться к нему серьезно) методологически совместим с революционностью, но с идеологией «естественной эволюции» — никогда.

Эдуард Бернштейн, который считал, что цель ничто, а движение все, был по современным понятиям слишком радикален. Он верил в общественные перемены. Значительной части «левых» интеллектуалов рубежа XX–XXI веков социализм представляется уже не как система, альтернативная капитализму, не как новое состояние общества, которого можно достичь с помощью постепенных реформ, и даже не как политическое движение, а лишь как набор ценностей.

Итальянский мыслитель Норберто Боббио, доказывая, что деление на левых и правых в политике сохраняет актуальность, тщательно избегает самого термина «социализм». Левые отличаются от правых, по его мнению, тем, что исповедуют «идеал равенства».[187] Такое понимание левизны

мало отличается от ее отрицания. На протяжении большей части своей истории и рабочее движение, и социалистические партии доказывали, что отстаивают не просто более равномерное распределение плодов экономического роста, но и собственную систему идеалов и принципов, отличающуюся от буржуазной. Между тем отказ от собственной исторической цели становится главным политическим козырем, с помощью которого политики, возглавляющие левые партии, стремятся привлечь сторонников. Массимо д'Алема, возглавлявший в 1990-е годы Партию демократической левой (бывших коммунистов) в Италии, объявляет своим принципом «отказ от мифа о возможности построить какое-то другое общество».[188] Романо Проди, глава первого в истории страны правительства «левого большинства», открыто заявлял, что его миссия состоит в том, чтобы провести весь комплекс неолиберальных мер, на которые итальянские правые так и не решились. В этом суть «нового реализма», ставшего доминирующей идеологией среди левых политических элит 1990-х годов.

Важнейшим достижением умеренных левых в Европе 1990-х годов было формирование первого кабинета Романо Проди в Италии. До этого здесь ни разу не было правительства левого большинства. Коалиции «левого центра» в 1970-е годы представляли собой блок мощной Христианской демократии со слабой Социалистической партией. На сей раз, основу кабинета министров составили представители «преобразованной» Коммунистической партии.

Суммируя программу правительства, российский исследователь З. Яхимович отмечает: «В соответствии с ориентацией Европейского Союза на углубление рыночных отношений и разгосударствление экономики правительство подтвердило свое намерение сократить государственный сектор путем приватизации либо передачи части государственных предприятий в распоряжение областным органам власти, перейти от прямого управления к регулированию их деятельности, обеспечить повышение уровня эффективности государственных предприятий, открыть возрастающую часть экономики для свободной конкуренции и т. п. С этим правительство пыталось увязать сохранение и повышение уровня экономической и деловой активности, преодоление наметившегося уже в 1996 г. спада прироста национального дохода (с 3,6 % в 1994–1995 году до 1,2 % в 1996 году) с тем, чтобы обеспечить его рост к 1999 году на 2,9 %, а также сокращение уровня безработицы — с 11,8 % в 1996 до 10,9 % в 1999 году. В интересах основной массы населения и особенно средних слоев, правительство обещало упростить и децентрализовать налоговую систему, в течение трех лет не наращивать и без того тяжелого налогового бремени, содействовать росту занятости, особенно на юге страны, покупательной способности и доходов всех слоев населения, а не только привилегированных. Был поставлен вопрос о модернизации социальной системы и „социального государства“ в целом для повышения его эффективности, а также коррекции интересов различных поколений».[189]

Перед нами классическая программа неолиберальной реформы. Эта программа значительно менее радикальна, чем программа Маргарет Тэтчер в Великобритании второй половины 1980-х, но вполне укладывается в концепцию первого этапа неолиберальных преобразований, проводившихся теми же британскими тори в 1979–1983 годы. Она весьма близка и к программе немецких христианских демократов, хотя, безусловно, является более последовательно правой, чем у итальянских христианских демократов 1980-х годов! Ключевыми моментом здесь является именно признание идеологическо-теоретических посылок неолиберализма относительно неразрывной связи между

экономическим ростом, с одной стороны, и свободным рынком, сдерживанием инфляции, низкими налогами и сокращением государственного сектора — с другой. В основе такой политики лежит отождествление узко понятых интересов «среднего класса» с интересами «населения» (при явном отказе от ориентации на рабочий класс) и, наконец, принимаемое на уровне аксиомы представление, будто защита социальной справедливости, даже если таковая морально оправдана, является фактором, сдерживающим экономический «прогресс». Не менее важным теоретическим постулатом неолиберализма является и представление о кризисе пенсионной системы, якобы порожденном не социальной или финансовой политикой государства, а исключительно объективными противоречиями между интересами различных поколений и демографическими изменениями в обществе. Предполагается, будто «эгоизм» старшего поколения, выступающего за сохранение гарантированных пенсий, должен уступить место этике рыночного соревнования, когда каждый сам должен обеспечить себя через коммерческое социальное страхование, частные пенсионные фонды и т. д. Правда, система «накопительных пенсионных фондов», отстаиваемая правыми и поддержанная «реалистическими левыми», позволяет не только сэкономить государственные средства, но и направить значительные дополнительные средства на рынок капитала, удешевить кредит для предпринимателей, обеспечить дополнительные ресурсы для спекулятивного финансового сектора. Иными словами, она ориентирована на интересы банкиров, а не пенсионеров.

Анализируя деятельность правительства левого центра, Яхимович признает, что программа «корректировки» социального государства является фактически программой его ликвидации.[190] Заявления о повышении эффективности в качестве цели реформы являются не более чем пропагандой, поскольку даже доброжелательному наблюдателю не очевидно, что новая система будет эффективнее старой. Если бы эффективность была действительной целью, правительство должно было бы обещать, что вернется к старой системе в том случае, если показатели новой окажутся хуже. Однако ни одно нелиберальное правительство и ни одна партия «нового реализма» подобных обязательств не давали. Больше того, именно «необратимость реформ» является одним из важнейших принципов нелиберальной политики независимо от того, проводится она правыми или «левыми».

Подобная политика левого центра не только не расширила его социальную базу, но напротив, сузила ее, вызвала резкое недовольство в обществе, что, в конечном счете, привело к уходу Проди и д'Алемы с руководящих постов в итальянском государстве. Единственным бесспорным итогом правления левых оказался резкий рост влияния крайне правых. Закономерным результатом политики левого центра стало сужение его социальной базы, разрыв с левыми (в лице большинства коммунистической партии Rifondazione), а в конечном итоге приход к власти правых во главе с Сильвио Берлускони. Причем на сей раз правые пришли к власти не как консерваторы, даже не как неолибералы, а как популисты, опирающиеся на поддержку крайних сил, исторически продолжающих традицию итальянского фашизма.

Вне зависимости от того, насколько обоснованны теоретические послышки нелиберальной экономики, совершенно очевидно, что для социал-демократических и левых партий. Признание этих посылок означает отказ от наиболее фундаментальных и принципиальных основ собственной теории и практики. Поэтому несправедливо предположение некоторых исследователей, что проведение левыми и правыми схожей политики связано с «узким коридором реальных возможностей».

Принципиально важно, что правые партии проводят политику, которая вполне соответствует интересам их социальной базы, их традиции, идеологии. Напротив, левые проводят политику, неорганичную для себя и не приносящую непосредственных выгод их социальной базе.

Политика левого центра в Италии свидетельствовала о том, что бывшие коммунисты все больше занимали пустующую нишу христианской демократии. В рамках коалиции «оливкового дерева» происходило слияние обеих политических традиций. Хотя в организационном плане речь шла скорее о поглощении христианской демократии более сильным аппаратом, вышедшим из недр компартии, в плане идеологическом и политическом традиции христианской демократии завоевали гегемонию. Пресса отмечала, что каждое новое выступление лидеров оказывается оскорблением их собственной традиционной социальной базы. Газета «Республика» назвала эту политику итальянских левых «самоубийством».[191]

В 1960—1970-е годы радикальные левые обвиняли социал-демократов в реформизме, доказывая, что те выступают за интересы трудящихся непоследовательно, но никто не мог утверждать, будто не существует принципиальной разницы между подходами социалистов и либералов. В начале XXI века подобные обвинения утратили всякий смысл. Большая часть социал-демократических партий решительно порвала с реформизмом. Но не для того, разумеется, чтобы совершить социалистическую революцию. Целью социал-демократических партийных элит стало превращение своих партий в либеральные.

Исторический разрыв с фундаментальными принципами левой идеологии был оформлен партийной бюрократией и близкими к ней карьерными интеллектуалами в виде отказа от «утопизма».

Лозунг отказа от «утопий» позволяет руководству партий, не вдаваясь в теоретические дискуссии, избавиться от большей части своего идеологического багажа. Антиутопический пафос, однако, не означает, что найдена политически эффективная стратегия и реалистическая концепция общественного развития. Никакой теоретически обоснованной критики или, тем более, самокритики левых традиций лидерами итальянского левого центра, немецкими социал-демократами или британскими лейбористами предпринято не было. Речь идет именно о декларативном отказе от тех или иных идей и принципов, объявляемых утопическими и тем самым автоматически выводимых за пределы «серьезной дискуссии». Это качественно отличается от предшествующей марксистской и социал-демократической критики утопизма, которая основывалась на развернутом теоретическом анализе, а завершалась выдвиганием собственной позитивной концепции, причем достаточно разработанной. Таким образом, речь идет о радикальном разрыве не только с «утопическими» или марксистскими идеями, но и о разрыве с политическим мышлением, а в конечном смысле — вообще с мышлением как таковым. «Возможное часто достигалось только благодаря тому, что делалась попытка выйти за его границы и проникнуть в сферу невозможного», — писал в свое время Макс Вебер.[192]

Строго говоря, без «новаторско-утопического» начала прогресс человечества был бы невозможен в принципе. Сила социализма всегда была именно в способности сочетать «утопическую» цель с конкретной программой социальных преобразований. Политическая стратегия как раз и есть не что иное, как способность увязывать цель и движение. Отказ от «утопизма» и замена политического лозунга новой социальной системы ссылками на социалистическую «систему ценностей» означает готовность не бороться с капитализмом, не реформировать его, а просто жить в обществе, только

относиться к происходящим событиям несколько иначе, чем, например, к ним относятся либералы. Вместо альтернативных действий нам предлагается право на критическую оценку.

Подобный подход был сформулирован и обоснован в работах Алена Турена, Перри Андерсона и целого ряда авторов, вышедших из традиции «западного марксизма». Алэн Турен, в частности, убежден, что новые социальные движения радикальнее старого рабочего движения, поскольку, в отличие от него, способны «ставить под сомнение саму необходимость модернизации и прогресса», а не только призывать к перераспределению его результатов. Поскольку ряд новых социальных движений отрицает сам экономический рост «или просто игнорирует эту проблему», они «подрывают основы западной рациональности, по крайней мере, в ее наиболее распространенном варианте».[193] Принципиально вне поля зрения теоретика остаются вопросы о том, насколько эти ценности реализуемы и насколько они определяют конкретные действия представителей движения. При этом парадоксальным образом Турен категорически выступает против попыток рабочего движения сопротивляться неолиберальным реформам, поскольку видит в этих мерах проявление объективной экономической необходимости.

Преимущество исторического рабочего движения было в том, что оно ставило перед собой задачу конкретных структурных преобразований, меняющих сам характер воспроизводства общества. Новые радикальные движения, зачастую заявляя о несостоятельности господствующих принципов, но, не имея стратегии комплексных структурных реформ, не ставят перед собой задачу изменить общество. Их возникновение — не альтернатива, а лишь симптом духовного кризиса.

Андрей Баллаев, один из наиболее радикальных и проницательных авторов журнала «Свободная мысль», ставшего своеобразным голосом российской леволиберальной интеллигенции в 1990-е годы, писал, что левые в эпоху глобализации ведут борьбу за сохранение и укрепление тех «элементов социалистичности», которые накопились в обществе за предшествующий период. Это не заменяет радикального преобразования общества, но создает для него необходимый исторический плацдарм, подобный тому, который был у буржуазии в начале ее исторической борьбы с феодализмом.

Поскольку глобальный переворот остается делом будущего, российский автор приходит к мрачному выводу: «Нынешний и ближайший социализм — это социализм трусливый, нищий, нивелирующий и штопающий „зло“ нашей социальности. Этим он неизбежен, справедливо необходим и трагичен».[194]

Однако может ли «трусливый социализм» быть эффективным? Может ли политика «латания дыр» привести к успеху? Большие перевороты в истории действительно не приходят сразу. Им предшествуют малые перевороты. Без радикальной перспективы, без сильной стратегии, без радикального видения будущего частичные реформы обречены. Английский историк Доналд Сассун, один из идеологов «нового реализма» в левом движении, справедливо отмечает, что «золотой век» европейского социализма совпал с наиболее успешным периодом в развитии капитализма. Левые осуждают жадность наживы и буржуазное общество. «Но чем больше успех социалистов, тем больше они зависят от процветания капитализма».[195] Кризис капитализма всякий раз сопровождался тяжелым кризисом левых партий, а подъем рабочего движения, напротив, наблюдался именно в годы экономического роста. Получается парадокс — что хорошо для капитализма, то хорошо и для социализма. Однако на практике социалистические реформы вовсе не были простым следствием капиталистического процветания. В 30—40-е годы XX века они сыграли решающую роль в

преодолении кризиса.

Опыт Западной Европы и Северной Америки в целом подтверждает неолиберальный тезис, что от проведения широкомасштабных социальных программ эффективность и конкурентоспособность экономики, как правило, понижается. И хотя можно привести ряд впечатляющих исключений, общая картина от этого не меняется. Тем не менее подобные программы проводятся. Более того, в них ощущается явная потребность, поскольку отказ от таких программ рано или поздно заканчивается крупным экономическим кризисом. Парадоксальным образом этот кризис всегда происходит на фоне впечатляющих достижений в области роста эффективности и конкурентоспособности большинства компаний. Этот парадокс был проанализирован и объяснен еще Марксом, показавшим, что эффективность предприятий не равнозначна эффективности всей системы, а эффективность экономической системы еще не гарантирует успешного развития общества. Более того, современный капитализм достиг такого состояния, когда максимизация экономической эффективности (учитывая возникающие технологические, экологические, социальные и культурные проблемы) приводит к подрыву основ того самого общества, которое в качестве принципа своего существования требует максимальной эффективности. Абсолютная, стопроцентная эффективность всех элементов экономики привела бы к немедленному краху всей системы в целом. Отражением этого противоречия были и волны социальных реформ на Западе и волны национально-освободительных движений в странах «третьего мира». Логика и тех, и других была противоположна логике капиталистической эффективности. С той лишь разницей, что социальная реформа предполагала перераспределение благ в обществе, а национально-освободительные движения добивались нового соотношения сил между странами «центра» и «периферии».

На уровне идеологии это воспринимается как противоречие между эффективностью и справедливостью или, скажем, между свободой и равенством. Либералы обвиняют социал-демократов в «неэффективности», а социал-демократы обвиняют либералов в «антисоциальности». Можно сказать, что и те и другие по-своему правы, ибо дополняют друг друга. Глобализация не только не смягчает противоречие, но, напротив, обостряет его. Логика глобализации требует пожертвовать социальными издержками ради эффективности соревнования в масштабах единого мирового рынка. Но это одновременно означает и стремительное возрастание рисков, дестабилизацию общественной жизни и централизацию капитала в беспрецедентных масштабах, что, в свою очередь, ставит под вопрос само существование общества, основанного на свободной конкуренции.

Отстаивая социальное начало в капиталистическом обществе, социал-демократия является его важнейшим стабилизатором. Вообще, современная социал-демократия это и есть воплощенная буржуазная социальность. В этом смысле постоянные неудачи социал-демократических партий на Западе, их постоянные идеологические уступки либералам являются симптомом нового, очень глубокого и опасного кризиса общества в целом.

На самом деле, речь идет вовсе не об «объективном» противоречии между эффективностью и справедливостью (это все не более чем слова), а о внутреннем противоречии системы, которая уже не может примирить экономическую и социальную стороны собственного развития и воспроизводства. Система одновременно «работает» и «не работает». Последствиями повышения эффективности на микроэкономическом уровне становятся финансовые кризисы, а за

макроэкономической стабилизацией и победой над инфляцией неизбежно следует кризис в системе образования, здравоохранения и сокращение инвестиций. Несмотря на рост средней заработной платы, снижается качество жизни. Эта двойственность не может не вызвать потребности в переменах. Но что менять? Логика буржуазной социальности подсказывает: надо изменить второстепенные элементы системы, не трогая ее основ. Между тем проблемы системного характера невозможно решить таким способом.

В сущности, то, что мы видим сегодня, есть не что иное, как кризис исторических последствий русской революции 1917 года. Ведь социальные реформы послевоенной эры были не чем иным, как своеобразной реакцией западного общества на эту революцию. В свое время еще князь Кропоткин напоминал Ленину, что революционный террор задержал распространение принципов Французской революции в Европе на целых 80 лет. То же самое, по мнению князя, произойдет и с русским социализмом. Ленин, несомненно, придерживался иного мнения. Но дело, разумеется, не только в терроре, а в структурах и порядках, порожденных революцией. Советская модель для распространения в Европе явно не годилась.

Влияние русского 1917 года на западное общество было огромно, но оно оказалось совершенно иным, нежели надеялись идеологи Октября. Русский опыт стимулировал уступки со стороны правящих классов и одновременно стал препятствием для поисков самобытной европейской модели радикального преобразования. Выход был найден в реформизме, причем успех реформистских попыток был прямо пропорционален серьезности «революционного шантажа», воплощенного в мировом коммунистическом движении и «советской угрозе». Это можно назвать «отложенной революцией».[196]

Неудивительно, что крах советского коммунизма оказался и катастрофой для социал-демократии. Реформистский курс рабочего движения Запада после 1989 года полностью исчерпал себя, а новой идеологии и стратегии не было. Результат очевиден: Запад вступил в эру острых социальных конфликтов и неясных социальных альтернатив. Место реформизма и революционизма стихийно занимает радикализм, выражающийся в разрозненных агрессивных требованиях, вспышках неорганизованного протеста, неприятию институтов власти.

Еще в начале 80-х годов XX века идеологи структурных реформ в рядах «еврокоммунистических» партий и левой социал-демократии столкнулись с серьезными проблемами. Как отмечали исследователи, левые «колеблются между верой в „альтернативные программы“, основанные на смешанной экономике и рыночном социализме, и пониманием того, что правящие классы будут терпеть эти реформы лишь до тех пор, пока ясно, что они не будут социалистическими».[197] Между тем противоречие это вообще не может быть разрешено в теории. Динамика развития капитализма такова, что система не может стабилизировать себя, не привлекая средства и институты как бы «извне».

Рыночный капитализм — это система, которая подчиняет процесс производства процессу обмена. С точки зрения либерального теоретика, именно обмен становится центральной и главной функцией хозяйственной жизни. С точки зрения истории и обычной логики, это очевидный абсурд. В прошлом, когда новые товары появлялись не столь часто, еще можно было предполагать, будто спрос порождает предложение. Но 80-е годы XX века великолепно показали, как изобретение и массовое производство нового типа товаров (видеоаппаратуры, персональных компьютеров, микроволновых

печей и т. п.) порождало и массовый спрос на них. Это психологически вполне объяснимо с точки зрения повседневной жизни. Времена натурального хозяйства, когда продукты производились для собственных нужд, давно ушли в прошлое. При капитализме производство действительно не имеет смысла, если оно не ориентировано на обмен. А для людей вполне естественно путать смысл своих действий с их причиной.

Однако система, сводящая первостепенные функции к второстепенным, ограничивающая все богатство возможностей человека узкими задачами homo economicus, неизбежно порождает внутри себя невыносимое напряжение. Она постоянно подрывает собственную возможность к воспроизводству. Великий секрет капиталистической системы состоит в том, что она (в отличие от традиционных обществ) не является самодостаточной. Это, кстати, является и одной из причин ее невероятного динамизма. Надо идти вперед, чтобы не погибнуть. Остановка равнозначна кризису, крушению. Рост позволяет снимать или смягчать противоречия, которые иначе взорвали бы общество изнутри. Экономика должна развиваться, иначе она рухнет. Однако постоянный рост невозможен, тем более что ему препятствуют противоречия самой системы.

«Чистый» и «полный» капитализм в короткий срок пришел бы к саморазрушению. Именно потому с ранних этапов своего развития капитализм нуждался во внешних стабилизаторах. Еще Роза Люксембург показала, какую важную роль для поддержания равновесия капитализма сыграло вовлечение в мировую систему некапиталистической периферии, где так и не сложилось полноценное буржуазное общество. В самих странах «центра» институты и традиции, оставшиеся в наследство от феодализма, играли не менее важную роль. Монархия, английская обуржуазившаяся аристократия, академические учреждения, христианская религия, конфуцианская «семья» на Востоке — все это было не только наследием прошлого, но и гарантией стабильности в будущем.

Британский исследователь Уилл Хаттон великолепно почувствовал, насколько буржуазный порядок зависит от традиционных институтов. Капитализму, подчеркивает он, необходимы не только прибыль, но и «социальные и политические ограничения», вне рамок которых он вообще не может развиваться.[198] Протестантская этика также была не только идеологией поощрения личного успеха, но и «источником совместных усилий». В развитии капитализма на континенте также сыграли огромную роль добуржуазные традиции: прусская традиция дисциплины и государственного регулирования, католическая традиция солидарности, наконец, средневековые традиции самоуправления и «коммунитарности».[199]

Сила протестантской этики состояла как раз в том, что, будучи буржуазной, она была одновременно и традиционной. Но по мере модернизации старые институты ослабевали или обуржуазивались до такой степени, что уже не могли эффективно играть свою компенсирующую роль. Их место постепенно занимало рабочее движение. Потенциальные могильщики капитализма одновременно оказывались его опорой. В XX веке капитализм нашел себе подпорки уже не в институтах, доставшихся от прошлого, а в самом зарождавшемся будущем: «социальное государство» (Welfare State), социал-демократия в Европе и Новый курс (New Deal) Ф.Д. Рузвельта в США.

А. Бугалин и А. Колганов в книге «Трагедия социализма» дали своеобразный перечень ключевых для развития капитализма реформ, которые были бы невозможны без вмешательства рабочего движения: «Прежде, чем морализировать, хотим напомнить — без угрозы революции не было бы фабричных законов в XIX веке, без Октябрьской революции 1917 не было бы международной

конференции 1919 года в Вашингтоне, которая приняла решение о переходе на 8-часовой рабочий день, без попыток строительства социализма в СССР не было бы реформ Ф.Д. Рузвельта, без постоянного давления со стороны профсоюзов, без массовых забастовок и политической агитации не было бы всех тех гуманных и демократических черт, которыми так гордится современное капиталистическое общество в его наиболее высокоразвитых странах. Историческая инициатива всех этих изменений исходила не от господствующих классов, и осуществлены они были вопреки сопротивлению этих классов».[200]

Нуждаясь в реформах, капитализм одновременно постоянно вынужден сдерживать их, чтобы процесс не вышел за рамки «допустимого», а также ликвидировать результаты этих реформ всякий раз, когда в них исчезает непосредственная необходимость. Неолиберальная волна свидетельствует не только о том, что социал-демократические реформы не смогли фундаментально изменить капитализм и, в конечном счете, были им побеждены, но и о том, что в них заключался определенный (как правило, нереализованный) потенциал системных преобразований. Именно поэтому многие институты Welfare State были демонтированы.

Социализм смог сыграть огромную роль в совершенствовании капитализма именно в силу своей антикапиталистической сущности. Если бы социализм не был реальной альтернативой, не имел собственной экономической и социальной логики, на основе которой в самом деле возможно создать новое общество, он не мог бы и выработать идей и подходов, пригодных для успешных преобразований. Реформирование системы нуждалось во внешнем идеологическом импульсе. Если социалистическая идеология перестает быть принципиальной альтернативой капитализму, если рабочее движение утратило способность к агрессивному поведению и не готово к решительной борьбе против буржуазии, то оно никого и ничто укротить не сможет. Без классовой ненависти не было бы никаких социальных реформ, социального партнерства. Вообще, партнерство порождено вовсе не взаимными симпатиями партнеров, а пониманием того, что отказ от сотрудничества может привести к катастрофическим последствиям.

Главным козырем «нового реализма», с точки зрения его идеологов, является способность людей, вооружившихся подобными идеями, прийти к власти. Именно в этом суть политической культуры, благодаря которой во главе лейбористской партии оказался Тони Блэр. «Длительное пребывание в оппозиции объединило партию вокруг единственной цели: вернуть власть любой ценой», — отмечает Сассун.[201] Когда цель эта была достигнута, встал вопрос: что дальше? Это было, по признанию Сассуна, неясно даже для многих сторонников «нового реализма»: «Одно дело — говорить о необходимости обновления, другое дело — знать куда идти; без этого призыв к новациям выглядит не особенно убедительным», — признается английский историк.[202] Тем не менее, он ни минуты не сомневается в том, что избранный курс правильный, куда бы он ни вел.

Книга «Наше государство» («The State We're In») Уилла Хаттона, называемого «гуру Блэра», фактически стала первой попыткой более или менее систематически сформулировать позитивную программу «нового реализма» и доказать, что существуют принципиальные различия между ним и неолиберализмом. Принимая буржуазный порядок, Хаттон настаивает на том, что в рамках этой системы существуют различные модели, своего рода «соперничающие капитализмы».[203]

Симпатии автора полностью на стороне «немецкой модели». Это капитализм, предполагающий социальное партнерство, регулирование и ответственность перед обществом, четкое понимание

каждым своего места в едином отлаженном социальном механизме.[204] Эта система обеспечивает устойчивое развитие экономики, низкую безработицу, взаимопонимание рабочих и работодателей. Короче, Германия, описанная Хаттоном, напоминает какой-то капиталистический «город Солнца», сообщество безупречных граждан.

Интерес к «немецкой модели» был вообще характерен для правого крыла английской Лейбористской партии, по крайней мере, с 1970-х годов. Когда в начале 1980-х правые вышли из Лейбористской партии и создали собственную Социал-демократическую партию, они не скрывали, что именно Германия была для них образцом социального государства. Ирония истории в том, что пока английские поклонники «немецкой модели» восхищались ее достоинствами, в самой Германии говорили о ее нарастающем кризисе. Демонтаж социального государства (Sozialabbau) в Западной Германии начался с приходом к власти христианских демократов Гельмута Коля в середине 1980-х, а после объединения страны в 1990 году «социальное государство» в Германии вообще оказалось под вопросом. Принципиальный подход правых состоял в том, что в эпоху глобализации «социальное государство» и «немецкая модель» являются анахронизмом. Социал-демократы, не признав этого принципа на идеологическом уровне, готовы были смириться с вытекающими из него выводами на уровне практической политики.

Безработица в течение 1990-х годов резко росла, разрыв между восточной и западной частями страны не только сохранялся, но и приобрел структурный характер — «новые земли» превратились во внутреннюю периферию. Объясняя причины резкого роста популярности Партии демократического социализма, один из ее основателей Ганс Модров говорил, что именно в условиях кризиса «немецкой модели» «снова ощущается потребность в левореформистских концепциях».[205] Лидер парламентской группы ПДС Грегор Гизи писал, что это вполне естественно в обществе, где «число бедных растет прямо пропорционально числу миллионеров, а система социального обеспечения радикально свертывается из-за роста задолженности».[206]

«Немецкая модель», описанная в книге Хаттона, не только уже не существовала к 1990-м годам: в том виде, в каком она описана в его книге, она вообще никогда не существовала (так же, как никогда не было и не могло быть той мифической «Европы», о которой всегда мечтали русские «западники», и не существовало мифического Советского Союза, который пропагандировали его друзья на Западе). Однако программа Хаттона несводима к наивно-утопическому призыву превратить реальную Англию в сказочную Германию. Хаттон предлагает широкий список конкретных реформ: «Писаная конституция; демократизация гражданского общества; республиканизация финансов; признание необходимости управления и регулирования в рыночной экономике на национальном и интернациональном уровне; расширение государства всеобщего благоденствия таким образом, чтобы оно включало социальные права граждан; создание стабильного международного финансового порядка».[207] Если добавить к этому призыв национализировать естественные монополии и добиваться более регулируемого международного капитализма, то программа реформ выглядит поистине впечатляюще. Если бы ее смогли выполнить, Блэр, несомненно, оказался бы самым радикальным социал-демократическим лидером последнего десятилетия. Однако реализуемость подобной программы вызывала сомнения с самого начала.

В то время как Хаттон призывал британцев учиться на немецком опыте, Энтони Гидденс, напротив, подчеркивал, что континентальная социал-демократия должна перенимать опыт английского

«нового лейборизма», который, в свою очередь, является проводником американского влияния в Европе. При этом Гидденс откровенно подчеркивал, что главным отличием и преимуществом англо-американской модели над континентальной является то, что эти две страны пережили длительный период господства радикального неолиберализма при Рейгане и Тэтчер, чего в континентальной Европе не было. Английские «новые лейбористы», в наибольшей степени усвоившие восторжествовавшую рыночную культуру, таким образом, могут обеспечить «творческое взаимодействие между США и континентальной Европой», а социал-демократы должны «пересмотреть свои прежние взгляды еще основательнее, нежели прежде».[208]

Английское влияние на континентальные социал-демократические партии проявилось прежде всего в совместном письме, опубликованном Блэром и Шредером летом 1999 года, где фактически декорировался разрыв с левой традицией, в том числе и социал-демократической. Взамен ей предлагалась идеология «нового центра» (Neue Mitte). Письмо вызвало резкие протесты в рядах самой немецкой социал-демократии, а также ответное письмо Грегора Гизи, в котором основатель ПДС вынужден был защищать социал-демократические принципы от лидера социал-демократии.[209]

Показательно, что, давая историческое обоснование «новому реализму», Доналд Сассун указывает на испанских и французских социалистов как на образец. Хаттон, напротив, крайне негативно отзывается об их действиях у власти, фактически ничем не отличающихся от политики неолибералов.[210] Такое противоречие совершенно естественно. В качестве идеолога Хаттон должен выделить в «новом реализме» именно то, что отличает его от господствующей неолиберальной доктрины. Но это как раз то, что невозможно осуществить на практике. Левые экономисты постоянно критикуют своих либеральных коллег за то, что последние видят в обществе бездушный механизм, игнорируют социальные и культурные аспекты происходящих процессов. А затем, переходя к формулированию своих позитивных программ, впадают в ту же ошибку.

«Оптимальная» экономическая политика оказывается невозможной потому, что каждая социальная группа, что бы она ни провозглашала, стремится не к «идеальному равновесию» или «максимальной эффективности» и даже не к «торжеству справедливости», а к конкретным результатам для себя. Равновесие возникает не там, где применяются «оптимальные» экономические теории, а там, где устанавливается баланс между борющимися силами.

Реальный правящий класс будет активно сопротивляться любым попыткам преобразований. Даже если эти преобразования необходимы в интересах капитализма, любая группа интересов, не получающая от них непосредственной выгоды, сделает все возможное, чтобы их сорвать.

Противовесом саботажу элит всегда была мобилизация масс, что не могло входить в планы «новых реалистов».

Еще в начале XX века стал заметен своеобразный дуализм теории и практики социал-демократии: с одной стороны, реформистская практика, с другой — социалистическая «утопия». Однако одно не только противоречило другому, но и дополняло его. «Умеренные реформы», «оптимальные решения» никогда никого не вдохновляют на борьбу. Именно поэтому социал-демократия так долго сохраняла официальную верность социалистическому идеалу, к которому не особенно стремилась. В новых условиях, когда вера в «утопию» похоронена, а советская угроза не существует, у реформаторов нет ни возможности мобилизовать своих сторонников, ни аргументов, чтобы напугать

противников. Демобилизованным трудящимся противостоит организованный и объединенный неолиберальной гегемонией капитал. Если это соотношение сил не будет изменено, реформы невозможны. Однако если перелом произойдет, то в повестку дня может встать не только реформа, но и революция.

В результате, как отметил один из деятелей левого крыла бразильской Партии Трудящихся, «сегодня умеренный, но последовательный прогрессист не может не быть радикалом».[211]

Любой реформистский проект на определенном этапе сталкивается с выбором: радикализация или отступление. Специфика эпохи глобализованного капитализма состоит в том, что этот выбор наступает очень рано, практически еще до начала реальных реформ. Логика «нового реализма» гарантирует, что выбор будет сделан именно в пользу отказа от реформ вообще. Практический опыт большинства «левых» правительств это наглядно подтверждает. Причем речь идет не только о социал-демократии, но и о партиях, первоначально числившихся революционными.

Впрочем, политика уступок тоже не гарантирует дружбы правящего класса. Теория, согласно которой количество завоеванных на выборах голосов зависит от способности политиков жертвовать собственными принципами, выглядит, мягко говоря, спорной. «Факт в том, что политика приспособления в избирательном смысле отнюдь не была успешна, — отмечала лейбористская „Socialist Campaign Group News“ в январе 1997 года. — Напротив, наиболее важные избирательные победы левых в течение последних 25 лет были одержаны на основе радикальных программ». Речь идет о первой победе Миттерана во Франции, приходе к власти социалистов в Испании и Греции. Даже в Британии лейбористам в 1945 и 1974 годах удавалось побеждать с радикальной программой. Хотя, как отмечает газета, если обещания в большинстве случаев не были выполнены, отсюда не следует, что они не были привлекательны для избирателей.[212] Опыт немецкой социал-демократии в начале XXI века является еще более выразительным. Каждый раз успех на выборах ей обеспечивала только радикальная риторика. Когда в 2002 году партия была на грани поражения, Шредер резко сменил тон, сделав антиамериканские и антивоенные выступления доминантой своей избирательной кампании. Это спасло его кабинет от краха. В 2005 году, когда ситуация оказалась еще хуже, правительство, проводившее жесткие неолиберальные реформы, вдруг разразилось антикапиталистическими речами. «Эта тактика сработала даже чересчур хорошо (all too well), — признает консервативный журнал „Newsweek“, — в течение двух месяцев христианские демократы потеряли 20-процентный перевес среди избирателей».[213]

Радикализм вовсе не обязательно приводит к победе, но трусость и беспринципность тем более не являются гарантией успеха. Политическая теория «новых реалистов» предполагает, что само по себе получение Мандатов; не говоря уже о завоевании парламентского большинства, надо считать достижением. В этом, кстати, его принципиальная философская, мировоззренческая и политическая основа: победа на выборах, приход к власти, получение портфелей в правительстве составляют смысл и цель политической деятельности. Власть более не является средством, она становится самоцелью и сверхценностью. Ничего ницшеанского здесь нет. Упрекать подобный подход в тоталитарности было бы несправедливо, ибо представления о власти в данном случае очень скромные. Под властью подразумевается не способность действовать, управлять и преобразовывать, которую так ценили все великие реформаторы, освободители, герои и тираны, а лишь простое и спокойное пребывание в правительстве, при должности. Перед нами квинтэссенция мировоззрения

функционера в условиях современной западной демократии. Искусство политики состоит в максимизации количества портфелей и должностей для своей группы. Демократия — в соревновании нескольких групп за ограниченное количество кресел.

Политические успехи «нового реализма» в этой области бесспорны, но и здесь есть проблема. Чем быстрее «новые реалисты» приходят к власти, тем быстрее они ее теряют. Хуже того, потеряв ее раз, им уже гораздо труднее получить ее снова. Испанская соцпартия, которая, бесспорно, являлась для Сассуна и для политиков типа Блэра образцом, потеряла власть как раз тогда, когда в Британии и Германии социал-демократы вернулись в правительство. Литовская Демократическая партия труда первой в Восточной Европе стала левой партией, которая пришла к власти для проведения правой программы. С нее началась «левая» волна в регионе. С Литвы же началось и возвращение правых. Катастрофическое поражение ДПЛТ на парламентских выборах 1996 года оказалось вполне закономерно. В Испании социалисты сумели позднее вернуться к власти исключительно благодаря антивоенной и антиамериканской риторике (причем обязательство прекратить участие в американской войне против Ирака они сдержали и войска вывели). Их литовские коллеги так и не смогли в течение десятилетия вернуть себе доверие соотечественников.

В 1993–1994 годах повсюду в Восточной Европе к власти приходили «реалистические» левые, обещавшие не защиту интересов рабочего класса, а «честное, компетентное и ответственное правительство», приватизацию с учетом «интересов коллектива». Это были «очень современные» левые, уверенные, что неолиберальная реформа есть «обязательное условие для преодоления чрезвычайно острых социальных проблем, для перераспределения национального дохода в пользу трудящихся».[214] Один из лидеров польской социал-демократии выразил формулу «нового реализма» еще жестче: «Я привержен ценностям левых потому, что понимаю, что нельзя отнять у людей всю их социальную защищенность сразу. Это надо делать постепенно, чтобы они привыкали».[215]

Политика социалистов, руководствующихся рекомендациями Международного Валютного Фонда, вызвала рост недовольства и в Венгрии. В Болгарии «левая» администрация рухнула под напором массовых выступлений протеста в 1997 году. Надо отметить, что, в отличие от своих коллег в других восточно-европейских странах, болгарские социалисты пытались честно выполнять свои социальные обязательства, одновременно продолжая и начатую правыми политику приватизации и добросовестно выплачивая долги западным кредиторам. Результатом стал стремительный рост инфляции и падение жизненного уровня. При годовой инфляции в 300 % заработная плата выросла всего в два раза. Результатом стало поражение социалистов на выборах и массовые волнения, после которых к власти пришли правые.

Со второй половины 1990-х годов для большинства стран Центральной и Восточной Европы стало характерным чередование партий у власти при сохранении неизменного правого курса в экономике. Таким образом, социал-демократические партии смогли закрепить за собой устойчивое положение в политической системе, но происходило это на фоне возрастающего разочарования общества в сложившихся политических институтах.

Блестящие успехи «нового реализма» в Британии, сначала завоевавшего большинство в Лейбористской партии, а потом приведшего ее к власти в 1997 году, многие воспринимали как преддверие нового кризиса. «Сама скорость, с которой эта идеология достигла успеха,

свидетельствует о слабости ее корней в обществе», — констатирует один из левых комментаторов.[216] Несомненно, Блэр оказался одним из самых долговечных премьеров в истории Британии, но это было вызвано отнюдь не популярностью его партии, а фактическим отсутствием альтернативы. Консерваторы переживали организационную и политическую разруху, жесткая избирательная система, дискриминировавшая малые партии, препятствовала появлению новой оппозиции. Результатом стало возникновение фактической однопартийной системы, на фоне формального парламентского плюрализма когда выбрать оказалось не из кого. Если в 1950 году число неголосующих британцев составляло 16 % от общего количества избирателей, а между к 1970 и 1997 годами систематически колебалось около 27–28 %, то в 2001 году достигло 40,7 %.[217] Не скрывающий своего сочувствия к Блэру журнал «Newsweek» отмечал: «Популярность премьер-министра неуклонно снижалась на протяжении всего периода после 1997 года».[218]

Выразительным проявлением кризиса блэровского проекта стали выборы мэра Большого Лондона в 2000 году. Наиболее привлекательной фигурой для жителей города был Кен Ливингстон, но в рядах лейбористов он был известен своими радикальными высказываниями и публичным несогласием с политикой руководства. После того, как аппарат заблокировал его выдвижение на пост, Ливингстон решился выдвинуться в качестве независимого. В итоге исключенный из партии критик Блэра был избран подавляющим большинством лондонцев, а официальный кандидат партии оказался на третьем месте, уступив не только Ливингстону, но и кандидату консерваторов. Позднее партийному руководству пришлось смириться и вернуть Ливингстона в партию.

«В основе политической культуры „нового лейборизма“ лежит твердая уверенность, что между интересами Корпораций и интересами трудящихся нет никаких противоречий, — писал известный левый публицист Тарик Али. — В результате под властью Блэра социальное неравенство существенно углубилось».[219] По мнению Тарика Али, все это могло сходить с рук правительству лишь до тех пор, пока на левом фланге не существовало никакой альтернативы. Бунт Ливингстона изменил ситуацию. «С того момента, как Тони Блэр возглавил после смерти Джона Смита Лейбористскую партию, он и окружающие его бюрократы постоянно доказывали, что со старой социал-демократией покончено, что победить на выборах партия может лишь на основе идеологии свободного предпринимательства. Победа Ливингстона ставит это под вопрос. Более того, она подает пример, которому последуют другие».[220]

Левая оппозиция начала постепенно складываться, находя выражение в успехах Шотландской социалистической партии, сумевшей получить места в региональной ассамблее, а затем коалиции Respect, добившейся представительства в национальном парламенте в Вестминстере.

«Новый лейборизм» возник не в результате долгого и сложного процесса переосмысления стратегии, а был следствием деморализации левого движения и работы средств массовой информации. Триумф «нового лейборизма» на выборах 1 мая 1997 года, как и предшествовавшие ему успехи левоцентристского блока в Италии, победы посткоммунистических партий в Литве, Польше, Венгрии и т. д. — великолепное доказательство того, что «новый реализм» оказался эффективным средством борьбы за власть. Однако большинство избирателей во всех перечисленных случаях голосовало, в сущности, не за политику, предлагаемую левыми, и даже не против правых, а прежде всего за перемены. К сожалению, перемены — это как раз то, чего «новый реализм» принципиально не желал предложить. Его смысл состоял именно в преемственности по отношению к побежденным

правым. Чем больше надежд породила победа таких левых, тем глубже и драматичнее оказывалось потом разочарование.

«Новые реалисты» приходили к власти только там, где правые партии были настолько дискредитированы и ослаблены, что не могли удерживать власть. В подобных обстоятельствах значительная часть деловых кругов делала выбор именно в пользу левых как силы, не скомпрометированной различными скандалами, динамичной и способной продолжать прежнюю политику на основе нового кредита доверия со стороны избирателей. Другое дело, что симпатии буржуазных элит к левым, даже доказавшим свой «реализм», не очень стабильны. В Испании после десятилетий правой диктатуры, консервативные политики были столь скомпрометированы, что просто не могли соперничать с социалистами. Но как только произошла смена поколений и среди правых появились новые люди, не связанные с прошлым, социалисты потеряли власть. Здесь совместились и разочарование избирателей, и сдвиги в настроении правящего класса, обретшего большую уверенность в себе как раз благодаря «реформам» социалистов.

Обычным делом оказывается, что социалисты приходят к власти на волне всеобщего раздражения против неолиберальной политики и после своей победы продолжают проводить именно эту политику. Результатом неизбежно становится утрата ими позиций и авторитета и поражение. Причем поражение левых «реалистов» не обязательно приведет к возвращению к власти умеренных правых. Повсюду пребывание у власти «реалистических» левых сопровождается стремительным ростом радикальных антидемократических правых. В Англии, где левые не были у власти, неофашистов почти нет. Зато во Франции резкий подъем Национального Фронта и его лидера Ж.-М. Ле Пена является одним из наиболее очевидных следствий 14 лет правления социалистов, В 2000 году в Австрии неофашистская партия впервые в истории послевоенной Европы вошла в правительство. Не случайно, что это произошло в стране, являвшейся традиционной «вотчиной» социал-демократов. В Венгрии, где в 1994 году к власти пришли социал-демократизировавшиеся коммунисты, ставшие образцовыми «новыми реалистами», ситуация развивалась еще более драматично. Обновленная Социалистическая партия, вернувшаяся к власти в 1994 году, получилась не похожей ни на старую коммунистическую структуру, ни на традиционную рабочую организацию. Представители прежней номенклатуры уже не играют в ней ключевой роли, а сама номенклатура резко изменилась и окончательно обуржуазилась. Социалисты, не пользуясь активной поддержкой рабочих, получили значительную часть своих сторонников в среде технократов, связанных с различными экономическими лобби. Социологи отмечают разрыв между деятельностью «политического класса» и заботами обычных людей.

Продолжение левыми неолиберального курса сделало правительство непопулярным. «Традиционные требования левых были отныне присвоены правыми, соединены с расизмом и национализмом, что в венгерских условиях представляет собой ужасную комбинацию», — констатировал идеолог «левой платформы» в партии Тамаш Краус. «Новые правые», пользующиеся поддержкой обездоленной части населения — «куда худшая перспектива, нежели первое консервативное правительство».[221] Масса активистов венгерской Социалистической партии с ужасом констатировала, что «собственное» правительство оказалось им враждебно. В результате внутри партии резко усилилась «Левая платформа», находящаяся в открытой оппозиции курсу руководства. «Левая платформа» обвинила руководство партии в «некритическом обслуживании интересов иностранного и

отечественного капитала».[222] По мнению «Левой платформы», правый курс официальных социалистов левых открывает путь к власти гораздо более реакционным силам.[223] В конечном счете поражение социалистов привело к власти «умеренных» правых популистов, а радикальные правые националисты впервые вошли в парламент.

«Реалисты» менее всего интересуются своей «традиционной» социальной базой. Они уверены, что большинство низов и рабочий класс поддержат их в любом случае, поскольку этим социальным слоям все равно некуда деваться. Политика «новых реалистов» ориентирована на то, чтобы завоевать поддержку средних слоев. Однако забытые всеми низы неожиданно находят свой выход. Очевидное и вполне открытое предательство их интересов «левыми» заставляет людей обратиться к крайне правым, которые не только демагогически используют трудности, но в отличие от «реалистических» левых действительно выдвигают требования, отвечающие конкретным интересам значительной части населения.[224]

Массы, в отличие от партий, отвергают аргументы пропагандистского. «здравого смысла», если их собственный опыт противоречит подобной расхожей мудрости. Это настроение известный журналист Даниел Сингер выразил словами: «К черту вашу пропаганду — если то, что вы нам предлагаете, единственно возможное будущее, то лучше вообще не иметь никакого будущего».[225] Именно крайне правые, сохранившие своеобразный идеологический иммунитет в условиях неолиберальной гегемонии, не затронутые, в отличие от левых, моральным кризисом, не страдающие политическими неврозами, впервые после Второй мировой войны могут стать в Европе настоящей народной силой. В их речах справедливые требования перемешаны с националистической и расистской ложью об эмигрантах и инородцах как источнике всех бед. Но если мы не осознаем, что, например, антиевропеизм и неприязнь «новых правых» к европейской интеграции вполне соответствуют настроениям и потребностям миллионов людей, мы не поймем причин стремительного успеха политиков типа Ле Пена. «Левые» говорят, что все хорошо, правые это отрицают, а простой человек прекрасно знает, кто в данном случае лжет. «Левые» говорят, что нет иного пути, кроме как, затянув пояса, идти в Единую Европу, а рядовой француз, англичанин и даже немец очень часто не хочет туда идти, тем более затянув пояс. По мнению социологов, если бы в Англии в конце 1996 года был проведен референдум по вопросу об отношении к Европе, сторонники интеграции проиграли бы.[226] В этом смысле именно правое крыло тори в наибольшей степени выражает настроения рядового избирателя. Приход к власти «левых» позволяет консерваторам, освобожденным от груза правительственной ответственности и старых обязательств, сдвинуться дальше вправо — и найти в этом широкую поддержку народных масс.

Если советское общество конца 1980-х оказалось в тупике бюрократической централизации, то на Западе в те же годы проявилась как раз ограниченность и тупиковость социальных реформ социал-демократической эры. Неспособность левых сил предложить новые альтернативы означала неизбежный откат с уже занятых позиций. Два потока реакции на Востоке и на Западе слились. На первых порах трансформация левоцентристских партий проходила сравнительно успешно. Социал-демократия могла опереться на исторический авторитет, накопленный многолетней борьбой за права рабочих. Она по-прежнему имела основания рассчитывать на лояльность масс, привыкших голосовать за «свою» партию. Наконец, мощная бюрократия, хорошо организованные парламентские фракции и немалые материальные ресурсы позволяли удерживать ситуацию под контролем даже

там, где было заметно разочарование и недовольство. Точно таким же образом в России под брэндом Коммунистической партии Российской Федерации долгие годы могла функционировать националистически-консервативная организация, абсолютно враждебная не только левой идеологии, но и непосредственным интересам большинства трудящихся.

И все же подобное положение дел не может продолжаться бесконечно. Повсюду — от Германии до Бразилии и от Италии до России — наблюдался прогрессирующий развал традиционных левых партий, усиливавшийся по мере того, как возникали предпосылки для нового подъема левого движения. Другое дело, что кризис и распад старых структур происходил намного быстрее, нежели становление новых.

В конце XX века перед левыми во всех странах с новой остротой встает ранее, казалось, давно решенный вопрос об их «исторической миссии» и об их роли в обществе. Показательно, что дискуссия эта охватывает представителей общественных наук в самых разных странах — от России и Польши до Англии и Италии.

Глава V. Альтернативы?

Тобиас Абсе, политик левоцентристского блока в Италии, отмечает: значительная часть его сторонников «по-прежнему видит в нем носителя традиционных социальных реформ».[227] Легко догадаться, насколько разочарован оказался именно этот, лояльный и дисциплинированный левый избиратель, когда столкнулся с практикой «нового реализма». Политики «левого центра» не просто обманули и предали своего избирателя. Они унизили его, буквально «вытерли об него ноги». Такое не проходит бесследно. Неудачи левого правительства создали благоприятную среду для роста правого популизма, который в итоге и восторжествовал в лице правительства Сильвио Берлускони. Однако в Италии существовала и радикальная левая альтернатива в лице партии *Rifondazione Comunista*. Наличие радикальной левой в Италии стало важным фактором политической мобилизации в условиях, когда сопротивление политике Берлускони сделалось основной задачей массового движения. В 2006 году массовое сопротивление, вдохновляемое некоммунистическими идеями, оказало решающее воздействие на исход выборов. Правительство Берлускони пало. Однако поражение правых в Италии отнюдь не свидетельствовало о конце правого популизма в Европе. И особенно сильно заметен был его рост в странах, где радикальной левой альтернативы не было или она была слаба.

В середине 1990-х крайне правые проявляли гораздо больше чувствительности к настроениям масс, чем умеренные левые или уважаемый правый центр. Показательно, что французский Национальный Фронт после массовых выступлений трудящихся в 1995 году резко сменил риторику. Вместо критики работников государственного сектора, представлявшихся в качестве «привилегированных функционеров», лидеры националистов стали говорить о справедливых требованиях трудящихся, начали даже создавать собственные профсоюзы, доказывая, что только они одни готовы серьезно защищать интересы французских трудящихся от глобализации.[228]

Нечто подобное происходило в Польше, где именно крайне правые, действуя через профсоюз «Солидарность», в 1997 году подняли знамя сопротивления программе рыночных реформ, проводившейся правительством бывших коммунистов. Союз Труда, критиковавший правительство слева, не имел такой массовой социальной базы и прочных позиций в профсоюзах, какие были у правых. «В программе Союза Труда заметна своего рода шизофрения: с одной стороны

категорическая приверженность требованиям рынка — программа повторяет классические слова о том, что альтернативы не существует, а с другой — такая же приверженность социальным правам и правам профсоюзов», — отмечает лондонский журнал «Labour Focus on Eastern Europe». Несмотря на явный радикализм СТ по многим вопросам, постоянно возникала «неясность относительно его природы: либеральной или же социал-демократической».[229]

Колеблясь между стремлением противостоять неолиберальному курсу и готовностью защищать власть от нападок справа, Союз Труда в принципе не мог стать организующим центром для массового недовольства. Для более радикальной Социалистической партии (PPS) были характерны те же противоречия. Она так же боялась дестабилизировать «левую» посткоммунистическую власть, одновременно заявляя о верности «западным ценностям», стремлении присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу, игнорируя вопрос о социальной природе этих структур.

В то время как левой альтернативы не было, либералы и оппозиционные социалисты оказались в общей ловушке. Кароль Модзелевский, в прошлом диссидент и идеолог «Солидарности», а позднее лидер Союза Труда, мрачно констатировал: либеральные политики напрасно радуются неудачам посткоммунистических партий в Восточной Европе. Массовые рабочие протесты против увольнений, проходящие под антикоммунистическими лозунгами в сочетании с антирыночными требованиями, в условиях полной дискредитации левых сил становятся питательной почвой для роста националистических и популистских организаций. «Падение посткоммунистов в огне социальных конфликтов не приведет к возвращению к власти либеральных правых», — отмечает он. Кризис «нового реализма» способствует появлению гораздо более реакционной и агрессивной оппозиции.[230] Прогноз Модзелевского подтвердился, хотя и с опозданием. Несмотря на резкое усиление клерикальных кругов и национал-популизма, падение первого левоцентристского правительства вернуло к власти те же политические силы, что правили Польшей в 1989–1993 годах. Если «левое» правительство продолжало политику правых, то вернувшиеся к власти правые продолжили экономический курс левых. Точнее, никаких принципиальных отклонений от неолиберального курса на протяжении всего периода 1989–2000 годов в Польше не было. Более того, правые проводили неолиберальные реформы сдержаннее и осторожнее, чем левые. Выборы 2001 года в Польше привели к очередной смене правительства. Партии, входившие в состав ушедшего кабинета министров, вообще не получили ни одного места в парламенте, а посткоммунистическая социал-демократия вместе с Союзом Труда завоевала большинство голосов и сформировало новое правительство. Можно сказать, что чередование партий у власти при сохранении неизменной политики стало в Центральной и Восточной Европе такой же нормой, как и в большинстве западных стран. Как легко догадаться, эти меры вызвали новый взрыв народного недовольства, вернувший к власти правых в 2005 году. На фоне серии коррупционных скандалов посткоммунистическое правительство потерпело очередное впечатляющее поражение. Польша поставила своеобразный восточноевропейский рекорд: ни одно правительство здесь не пережило свободных выборов. Но зато ни одна смена правительства не отразилась на проводимой политике!

Закономерным следствием растущего разочарования масс стало появление новых политических сил, выросших из движения протеста. Из выступлений польских крестьян родилось движение «Самооборона» во главе с Анджеем Леппером. Это было движение идеологически непоследовательное, находящееся под влиянием католицизма, но показавшее себя куда более

эффективным, нежели интеллектуально безупречные левые, рассуждавшие о кризисе социалистической теории на скучных международных семинарах. На выборах 2001 года «Самооборона» получила 10,2 % голосов, став третьей по величине партией страны. А на выборах 2005 года «Самооборона», набрав 11,41 %, обошла посткоммунистический Союз демократических левых сил, получивший 11,31 %. Недовольство населения выразилось и в «голосовании ногами»: явка избирателей была невелика и составила 38,65 %.

В октябре 2005 года, когда в Польше состоялись президентские выборы, разрыв еще больше увеличился: Анджей Леппер занял третье место с 16,32 % голосов, а кандидат «официальных левых» Марек Боровский остался далеко позади, набрав всего 10,21 %. Победителем стал Лех Качинский, один из двух братьев близнецов, возглавивших популистскую партию «Право и справедливость». Второму брату — Ярославу — достался пост премьер-министра. После полутора десятилетий чередования у власти левых и правых либералов во главе страны оказались правые популисты. К ним примкнула «Самооборона».

Объединение различных популистских групп в единую коалицию было далеко не случайностью, и объяснялось не только карьеризмом и идеологической неразборчивостью Леппера. Правые популисты были гораздо понятнее и ближе к массам, нежели леволиберальные интеллектуалы. Характеризуя Качинского, газета «Тыгодник повсехный» писала, что он — «типичный представитель польских правых: традиционалистов, этатистов и поборников социальных льгот».[231] Это идеально соответствовало настроению большинства народа, измученного неолиберальными реформами. Энтузиазм, вызванный присоединением Польши к Европейскому союзу, сменился разочарованием и раздражением, а восхищение возможностями свободного рынка — потребностью в сильном государстве, обеспечивающим социальную защищенность. Поскольку левые не решались отстаивать социальные интересы большинства, то в роли защитников простого человека выступили правые.

Даже по внешнему своему облику новый президент резко контрастировал с респектабельными представителями польского политического класса, чувствующими себя совершенно органично в Брюсселе и Париже. Зато он мало отличался от заурядного обывателя, немного недотепы и подкаблучника: «Он помогает бедным, — говорит его друг Станислав Костшевский. — Деньги он отдает жене, поэтому у него часто нет при себе наличных. Много раз случалось, что он просил денег в долг, после чего отдавал их людям, которые обращались к нему за помощью (...) Лех — не привередливый гурман. Он любит томатный суп и курицу и обожает сладости».[232] Вдобавок ко всему президент коллекционирует фигурки уток, которыми заставлено его жилище. Фамилия Качинский происходит от слова «кача» — утка.

Политический крах левых был закономерным и заслуженным. Пожертвовав повседневными интересами масс ради «либеральных ценностей» они получили в ответ презрение и безразличие. Другое дело, что правый популизм не только не решает вопросы, стоящие перед обществом, но порождает новые противоречия. Максимум, на что готовы правые — перераспределить некоторые ресурсы, немного улучшив положение бедных.

Такая политика создает «клиентеллу», массу сторонников, непосредственно заинтересованных в успехе «своего» лидера, готового постоянно «делиться с бедными», но она не позволяет искоренить бедность как таковую. Больше того, принадлежность к «клиентелле» развращает, блокирует

гражданское сознание, препятствует развитию самоорганизации низов.

Популистский протест оказывается неизбежным следствием политического единомыслия или «консенсуса» элит. Он отражает разочарование значительной части общества не только в результатах либеральной экономической политики, но и в политических институтах, не допускающих к власти силы, способные к серьезному отходу от этой политики. Как показывает опыт Польши, подобный протест может принять как левые, так и правые формы, в зависимости от специфических условий страны, ее политической культуры и идеологического состояния общества. Причем граница между «правым» и «левым» популизмом весьма подвижна.[233]

По мере того, как среди левых усиливаются тенденции к элитарной политике, правые все больше становятся популистами. После слабых левых на авансцену выходят сильные правые. Такова логика политической борьбы. Левые не решаются говорить о бюрократии. Крайне правые — говорят. Левые доказывают, что международные институты работают во благо. Крайне правые это отрицают. Массы слушают и довольно быстро понимают, что в пропаганде «левых», по крайней мере, не меньше демагогии, чем у правых.

В этом смысле очень показательна ситуация, сложившаяся в начале 2000-х годов в Германии. В восточных землях, где действовала Партия демократического социализма, отвергавшая (во всяком случае, на словах) идеи «новых реалистов», праворадикальные партии (республиканцы, национал-демократы, Немецкий народный союз) сталкивались с серьезными проблемами. В западных землях, где слева от социал-демократии нет серьезной силы, голоса протеста уходили к неофашистам. Но как только праветь начала сама ПДС, популярность националистов резко поднялась. Участие ПДС во власти на местном уровне в Саксонии и Тюрингии сопровождалось резким подъемом ультраправой оппозиции, рост которой был прямо пропорционален разочарованию в деятельности левых.

Возникает ситуация, описанная в «Тюремных тетрадах» Антонио Грамши: «На определенном этапе их исторического пути, — писал Грамши, — социальные группы порывают со своими традиционными партиями. Это значит, что традиционные партии — с данной формой организации, с теми определенными людьми, которые составляют и представляют эти партии и руководят ими, — больше не рассматриваются как действительные выразители класса или его части. Когда возникают такие кризисы, положение становится очень затруднительным, даже опасным, так как создается возможность для разрешения этих кризисов с помощью насилия, возможность действия темных сил, представленных провиденциальными личностями».[234] «Новый реализм», поворот к «умеренности» и поиски «консенсуса», оказавшиеся своеобразной реакцией левого политического истеблишмента на кризис движения, лишь усугубили этот кризис. Самодискредитация левых политических структур к концу 1990-х годов была беспрецедентной. Со времен краха II Интернационала левые силы никогда не были до такой степени деморализованы и дезориентированы. Причем, как это уже нередко бывало в истории, кризис левого движения достиг наивысшей остроты именно в период, когда в наибольшей степени проявилась несостоятельность капитализма как мировой системы. Оставаясь наблюдателями капиталистического кризиса, левые были неспособны ни заменить его лучшим обществом, ни реформировать его, ни даже помочь ему. Газета «The Independent» характеризовала взгляды Тони Блэра как «благопристойный радикализм „среднего класса“».[235] В это же самое время «Socialist Register» констатировал его «парализующий ужас перед всем, что может показаться антикапиталистическим».[236] Раньше партию критиковали

за оппортунизм и умеренность, находя в лейбористском социализме все возможные пороки — от эмпиризма до примитивного доктринерства, однако это имело смысл лишь до тех пор, пока у лейбористов было определенное представление о преобразовании британского общества. Новое руководство, отказываясь от традиционной партийной идеологии, фактически не смогло предложить партии новых целей. Речь идет не столько о резком повороте вправо, сколько о полной потере ориентиров, когда уже невозможно даже говорить о каких-то стратегических «поворотах».

Показательно, что ни в одной стране мира не удалась попытка создать новую партию на основе идеологии «нового реализма». Это непременно старые партии, бесовестно эксплуатирующие свою традиционную социальную базу, которая поддерживает их исключительно в память об их прошлых (революционных и реформистских) заслугах. Не случайно поэтому в Восточной Европе «новый реализм» оказался представлен посткоммунистами, а на Западе — социал-демократами: и те и другие были для трудящихся своих стран партиями «Великого Прошлого».

Консервативно-бюрократическую природу «нового реализма» становится все труднее скрывать за модернистской риторикой. Перед нами не новая фаза в развитии левого движения, а лишь заключительный этап вырождения централистско-бюрократических организаций. Они утратили всякое представление о том, ради чего были когда-то созданы. Политика «нового реализма» постепенно подрывала привычную связь между политическим аппаратом и массами, высвобождая социальную энергию для появления новых массовых движений.

Своеобразным зеркальным отражением торжества «нового реализма» является расцвет всевозможных леворадикальных сект. Эти группы, по сути, совершенно безопасны для системы, ибо неспособны не только подорвать ее функционирование, но и возглавить сколько-нибудь серьезное массовое движение.

«Квазиреволюционеры существуют ровно столько времени, — писал Александр Тарасов в книге „Революция не всерьез“, — сколько существуют революции. Они морочат всем — и своим, и чужим — голову, путаются под ногами у революции, отравляют общественную атмосферу мелким честолюбием, своим сектантством, мещанской трусостью или же мелкобуржуазным авантюризмом, склочничеством, догматизмом, демагогией, умственной ограниченностью — кто чем может, тот тем и отравляет. Словом, виснут на ногах у революционного субъекта в периоды революционного подъема, паразитируют на революции в дни успехов и побед, сеют панику и неуверенность в годы реакции».[237]

Наиболее активны среди ультралевых всегда были анархистские и троцкистские группы, однако после крушения официального коммунистического движения начали плодиться и такие же точно сталинистские секты, которые неожиданным образом воспроизвели изрядную часть политической культуры троцкизма.[238] Хотя подобные организации ведут острую борьбу между собой, их идеология и аргументация обычно поразительно схожи.

Основным принципом сектантства является объявление себя единственными «настоящими» революционерами. Показательно, что наибольшее развитие политические секты получают именно в эпоху реакции. На фоне идеологической катастрофы, переживавшейся левым движением после 1989 года, неизбежно возникал соблазн подобной политики. Революционные секты оказывались своего рода «хранителями огня», защитниками традиции, героями заведомо безнадежного сопротивления. И в этом смысле играли не только негативную, но, до известной степени, и позитивную роль. Однако, в

начале 2000-х годов когда обстановка в мире стала меняться, обнаружилась и оборотная сторона медали.

Любая сектантская группа постоянно говорит о своей революционности. Но это революционеры без революции. О том, кто в самом деле является революционером, а кто нет, окончательно судить может только история. Мы называем Ленина, Троцкого или Мао великими революционерами не потому, что нам нравятся их взгляды, а потому, что они на практике участвовали в великих революциях. Практическим деятелем революции был и молодой Сталин, что мы должны признать независимо от того, как мы относимся к той роли, которую он играл, начиная с 1920-х годов. И если бы, например, Троцкий не сумел выбраться из Америки и принять участие в событиях 1917 года в Петрограде, то независимо от его теоретического наследия он вряд ли занял бы место в пантеоне великих революционных деятелей.

Самопровозглашенные революционеры, возглавляющие леворадикальные секты, напротив, никак не связывают оценку своей деятельности с политической практикой. Идеология, с их точки зрения, является оправданием самой себя.

Поскольку главное обоснование существования сектантской группы состоит в том, что она является единственным настоящим и последовательным носителем революционной идеи (нас мало именно потому, что мы самые-самые лучшие), то наличие других марксистских и революционных групп является для сектанта прямо-таки личным оскорблением, посягательство на смысл его жизни.

Потому основные силы тратятся именно на борьбу против других левых, и в первую очередь — против революционных левых. Чем радикальнее та или иная группа, тем больше ненависти она вызывает у соперников (соответственно, прочие революционные секты являются не просто идейными противниками, но порождением тьмы, воплощением зла, дьявольским соблазном, отвращающим людей от света истинной веры). Невозможно даже на секунду допустить, что на свете есть кто-то, занимающий более левые, более жесткие позиции. В результате изрядная часть времени уходит на то, чтобы не только обосновать свою непревзойденную левизну и неповторимую революционность, но и на то, чтобы продемонстрировать несостоятельность аналогичных претензий всех остальных. Если конкурирующая группа тоже называет себя марксисткой, коммунистической или троцкистской, то недостаточно объяснить имеющиеся политические различия, надо доказать своим сторонникам и слушателям, что все революционные претензии иных групп суть прямая ложь, подмена, демагогия, а то и прямая провокация. Лучше всего, если удастся обвинить соперничающие группы в сотрудничестве со спецслужбами, продажности и работе на империализм.

Итак, все революционеры из соперничающей организации на самом деле не революционеры вовсе, а «злостные оппортунисты», «враги рабочих», «агенты буржуазии». Чем больше схожи выдвигаемые различными группами лозунги, тем больше сил требуется для полемики. И тем более она становится лживой, агрессивной и демагогической. «Поддержание огня» в сектантской группировке требует от ее лидеров развития в себе всех самых худших человеческих качеств, какие только могут сложиться у людей, занимающихся политикой. Руководители ультралевых групп понемногу становятся похожи на буржуазных и социал-демократических деятелей, только без опыта работы в крупной бюрократической организации. Неудивительно, что когда тот или иной представитель леворадикальной оппозиции, «образумившись», переходит в ряды истеблишмента, он делает там стремительную карьеру.

Оставшиеся «верными» предают его анафеме, не задумываясь ни о причинах предательства, ни о психологических механизмах, сделавших это предательство столь легким и успешным.

Закономерной формой политической борьбы в сектантской среде становится раскол. Малочисленные группы умудряются делиться на удивительно большое количество кусочков, причем повторяют это бесчисленное число раз, ставя под вопрос законы математики.

«У сектанта, — писал Грамши, — вызывают воодушевление незначительные факты внутрипартийной жизни, которые имеют для него тайный смысл и наполняют его мистическим энтузиазмом».[239] Дело в том, что сектантские группы полностью погружены в самих себя, их собственные внутренние проблемы и споры являются абсолютно самодостаточными.

Неудивительно, что подобные организации постоянно раскалываются. Ведь любое, даже частное разногласие приобретает масштаб вселенского противостояния, любой спор становится принципиальным, любые тактические различия — стратегическими расхождениями. Невозможность вообще выработать какую-то стратегию делает немыслимыми товарищеские дискуссии о тактике. Любое обсуждение тактики воспринимается как доказательство безнадежного оппортунизма (ведь предполагаются какие-то действия, направленные на сотрудничество с теми или иными идеологически «незрелыми» или вообще «классово чуждыми» силам — к этим же категориям относится и основная масса трудящихся).

Поскольку большая часть сектантских групп принадлежит к троцкистской традиции, ритуальное цитирование Троцкого является для них такой же жесткой необходимостью, как для ортодоксальных коммунистов — ссылки на Ленина. Однако парадоксальным образом характерной чертой всех сектантских объединений является как раз неспособность усвоить идеи Троцкого относительно переходной программы, через которую сиюминутные реформистские требования масс связываются с революционной перспективой. Как подчеркивал Троцкий, путь к свержению капитализма, к перерастанию буржуазно-демократических преобразований в социалистические, предполагает необходимость не просто бороться за власть, но и «вводить все более радикальные социальные реформы».[240] Это отнюдь не означает, будто основатель IV Интернационала был реформистом или верил в возможность постепенного перерастания капитализма в социализм. Но он понимал, что программа — и власти, и оппозиции — должна быть конкретной и понятной массам.

Дело в том, что любое конкретное требование, взятое отдельно, изолированно от общей стратегии, является реформистским. Революционность программы не в радикализме лозунгов, а в ее комплексном содержании, в ее системности (и стратегической направленности). Лозунги, с которыми большевики взяли власть в 1917 году, были отнюдь не марксистскими. «Мир — народам!» — это пацифизм. «Земля — крестьянам!» — это очевидная уступка мелкобуржуазной идеологии. А лозунг «Фабрики — рабочим!» отдает анархо-синдикализмом. Тем не менее, именно благодаря этим насквозь «неправильным» лозунгам стала возможна величайшая в XX веке революция.

В «Переходной программе» Троцкий указал главную особенность сознания сектантов: «Мост, в виде переходных требований, этим бесплодным политикам вообще не нужен, ибо они не собираются переходить на другой берег. Они топчутся на месте, удовлетворяясь повторением одних и тех же тощих абстракций. Политические события являются для них поводом для комментариев, а не для действий. Так как сектанты, как вообще всякого рода путаники и чудотворцы, на каждом шагу получают щелчки от действительности, то они живут в состоянии вечного раздражения, непрерывно

жалуются на „режим“ и „методы“, и погрязают в мелких интригах. В своих собственных кружках они заводят обыкновенно режим деспотизма. Политическая прострация сектантства лишь дополняет, как тень, прострацию оппортунизма, не открывая никаких революционных перспектив. В практической политике сектанты на каждом шагу объединяются с оппортунистами, особенно центристами, для борьбы против марксизма».[241]

Эффективность левого движения зависит от возможности опереться на реальные настроения масс и подсказывать радикализирующимся трудящимся естественные ответы на уже назревшие в массовом сознании вопросы. Это отнюдь не значит идти за толпой. Но невозможно и оставаться в стороне с «идеально предельными» формулировками, которые никто не собирается слушать.

Естественно, та часть левого движения, которая ведет непосредственную борьбу за массовое сознание, оказывается обвиненной в реформизме, ревизионизме и всех возможных грехах. Война против всех других левых является главной формой политической деятельности сектантов. Но особую ненависть вызывают у них организации, которые, обращаясь к реформистски настроенным массам, стараются повернуть эти массы дальше влево, к антикапиталистической перспективе. С точки зрения сектантского сознания, именно такие политические проекты особенно опасны: с одной стороны, они ставят под вопрос «чистоту» революционной программы, заменяя ее «переходными» лозунгами, а с другой — тем, что они, в отличие от сект, способны добиться успеха, в том числе на поприще конкретной борьбы против системы.

Разумеется, сектантская левая не отказывается от работы с массами. Понимая, что массового движения на собственной основе им не создать, подобные группы предпочитают тактику «энтризма» — вступления в уже существующие движения и организации, главным образом социал-демократические. В чем, разумеется, ничего дурного нет. Однако, поразительным образом, в рамках энтристского подхода сектанты, как показал уже Троцкий, нередко предпочитают сотрудничество с умеренным официальным руководством общей работе с другими левыми. Официальное «оппортунистическое» руководство не является соперником в борьбе за роль носителей чистой революционной идеологии. Другие марксисты, напротив являются. Потому блок с правыми против других левых является, по крайней мере, тактически приемлемым решением. К тому же оно часто бывает вознаграждено: бюрократическое руководство использует лояльных «энтристов» против разного рода «неорганизованных» критиков в своих рядах. Увы, благодарность бюрократии редко бывает велика. Рано или поздно правое руководство социал-демократических партий и профсоюзов избавляется от попутчиков.

Проводя политику энтризма, секты мечутся между демонстративной лояльностью по отношению к правым лидерам «массовых организаций» и жесткими конфликтами с этими же самыми лидерами. Конфликты они всегда проигрывают, поскольку повод и время для атаки выбирает всегда само руководство, а ее жертвы неизменно оказываются изолированы. Неудивительно поэтому, что попытки энтризма регулярно проваливались, даже если на первых этапах удавалось достичь реального успеха (так было с группой «Militant» в рамках британской Лейбористской партии, с радикальными группировками в рядах бразильской Партии трудящихся). Поражение «Militant» было тем более впечатляющим, что на определенном этапе группа достигла серьезного влияния в партии, контролируя лейбористскую организацию Ливерпуля и даже соответствующее место в парламенте. Сектантские группы предпочитают экономическую борьбу, поскольку политическая борьба в

строгом смысле слова для них сводится к непрекращающейся идейной войне против остальных левых. Провозглашая культ «рабочего класса», они находятся в оппозиции и к массовому рабочему движению, которое, естественно, насквозь заражено «оппортунизмом» и «реформизмом». Зато в качестве доказательства своей пролетарской природы такая группа тщательно культивирует отношения с несколькими «настоящими» рабочими, которых ей удалось завербовать. При этом неважно, что ее правильные рабочие не имеют влияния на массы. Несмотря на «пролетаристскую» риторику, сектантская левая испытывает к массам глубочайшее презрение.

Неудивительно, что там, где действительно происходит революция, подобные радикалы оказываются неспособны сыграть сколько-нибудь существенную роль в происходящем. В Венесуэле, где у власти оказалось революционное правительство Уго Чавеса, ультралевые группы предпочли критиковать ошибки нового режима, оставаясь в стороне (а то и объединяясь с буржуазной оппозицией). Никакой серьезной роли не сыграли они и в массовых народных выступлениях в Боливии и Эквадоре.

Для того чтобы левые могли играть активную общественную роль, необходимо изменение политической конфигурации, объединение разрозненных групп. Поиски новой политической линии ведутся, как правило, разрозненно, несколькими течениями и группами, а порой и просто отдельными людьми. Но на определенном этапе слияние воедино этих течений становится необходимым условием перехода от кружков и групп в политическую организацию.

Однако объединение не может быть механическим действием. Больше того, далеко не все группы и активисты способны включиться в общую работу (особенно если они уже прошли «школу» сектантской политики).

Неоднородность левого движения отражает неоднородность трудящихся масс, а потому и процесс идейного созревания антикапиталистической альтернативы неизбежно оказывается достаточно сложным и противоречивым. Необходимость объединения, координации сил не снимает вопроса о политических различиях, не отменяет потребности в тактической дискуссии. Подобное объединение или его попытки всегда сопровождают начало общественного подъема (начиная от объединения русских марксистов в рамках социал-демократической партии в 1903 году и кончая формированием коалиции сторонников Чавеса в Венесуэле конца XX века). Однако именно в объединительных процессах секты видят для себя главную угрозу.

Объединение сектам невыгодно — надо отказаться от собственных с таким трудом выстроенных структур (даже если их и не придется распускать, надо будет менять методы работы), открыть собственную организацию для внешних влияний. Есть риск утратить контроль над своими сторонниками и лидерство — пусть и в крошечной команде, зато бесспорное.[242]

Начало массовых антикапиталистических выступлений в Европе начала 2000-х годов вызвало своеобразный кризис сектантской левой. Лишь немногие группы решились открыто повернуться спиной к возникающему движению. Некоторые троцкистские организации, сделав над собой усилие, начали меняться, преодолевая сектантские традиции. Организации, входящие в Объединенный секретариат IV Интернационала, и сторонники британской Социалистической рабочей партии сумели наладить между собой сотрудничество. Объединение нескольких революционных групп в Шотландии привело к созданию там Социалистической партии, получившей широкую поддержку среди рабочих. Пользуясь шотландским законодательством, более демократичным, чем английское,

партия смогла прорваться в местную законодательную ассамблею, получив поддержку рабочих кварталов традиционно «красного» Глазго. Избиратели, разочарованные в политике «новых лейбористов», охотно отдавали свои голоса социалистической партии, ставшей реальной силой в шотландском парламенте. Однако в 2006 году партия все же раскололась.

Поводом для раскола послужили на сей раз не идейные расхождения. Все началось с сексуального скандала, разгоревшегося вокруг лидера шотландских социалистов Томми Шеридана, которого журналисты из бульварной «News of the World» обвинили в посещении сомнительного клуба. Шеридан подал в суд на газету и выиграл дело, однако в ходе судебных слушаний ряд членов руководства партии заявили, что Шеридан принуждал их к лжесвидетельству, ссылаясь на то, что присяга, данная в буржуазном суде, не является сдерживающим моральным фактором для настоящих революционеров. В свою очередь, сторонники Шеридана обвинили своих товарищей в «штрейкбрехерстве». Лондонский еженедельник «Weekly Worker», подробно смакующий все слухи и сплетни левого лагеря, удовлетворенно констатировал: «после победы в суде гражданская война в партии пойдет по-настоящему».[243]

Разумеется, судьба шотландской социалистической партии, ставшей жертвой сексуального скандала, является исключением. Однако глубинной причиной кризиса, было все же не различие взглядов партийных активистов на пролетарскую мораль, не отношение их к личности Томми Шеридана, и даже не разногласия в руководстве. Объединение левых, основанное на общности идеологических деклараций, не привело к выработке единой стратегии и единой политической культуры. Общую организацию необходимо выращивать на протяжении целого периода времени. Быстрый взлет шотландской соцпартии происходил на фоне нерешенных внутренних проблем, сохраняющихся глубоких внутренних противоречий и отложенных дискуссий (в частности, партия провозглашала лозунг «Независимой Шотландии», вызывавший недоумение у многих ее сторонников). То, что раскол произошел в форме сексуального скандала, свидетельствует лишь о своеобразии традиций британской политики, но отнюдь не о том, что во всех остальных отношениях партия была в полном порядке.

В большинстве случаев группы, зараженные вирусом сектантства, оказывались неспособны даже на формальное, механическое объединение. Сектанты охотно вступают в массовые организации, но либо разваливают их изнутри, либо, парадоксальным образом, способствуют их деполитизации. Раз «настоящий» политический радикализм возможен только на основе правильной идеологии, а правильная идеология есть только у данной конкретной группы, то пусть лучше не будет никакой политической радикализации, чем она произойдет под другими лозунгами и под чуждым руководством. Сектанты готовы добросовестно годами работать в низшем звене профсоюзов, но как только профсоюзный актив начинает говорить о самостоятельной политической организации, они с ужасом выступают против появившихся у рабочих «реформистских иллюзий». Они готовы ходить на антивоенные демонстрации, но возмущенно протестуют, когда антивоенное движение пытается сформировать предвыборную коалицию. То, что с точки зрения нормального здравого смысла являлось бы, шагом вперед на пути становления классового сознания, рассматривается ими как опасная тенденция, аннулирующая все плоды многолетней идеологической работы с отдельными особо продвинутыми представителями рабочего класса, и сектантский подход к политике означает, в конечном счете, невозможность политической организации. Ибо те, кто не хочет проходить

промежуточные фазы, обречены стоять на месте и тормозить движение других.

Потеряв веру в историческую миссию рабочего класса, левые политики вовсе не утратили уверенности в собственной необходимости. Однако если традиционная идея борьбы за освобождение трудящихся теряет смысл, становится неясным, для кого организуются партии, кого представляют парламентские фракции. Один из идеологов испанской Объединенной левой, отмечая, что рабочие в большинстве своем предпочитают социал-демократов и даже правых, рекомендует своим товарищам ориентироваться на «часть молодежи и средних слоев».[244] Опросы показывают, что в Западной Европе левые неуклонно теряют поддержку рабочих, переориентируясь на «средний класс».

Это лишь отчасти связано с сокращением доли рабочего класса в обществе, поскольку снижение поддержки левых среди рабочих значительно опережает сокращение числа рабочих.[245]

Парадоксальным образом, чем менее левые организации удовлетворяют рабочий класс, тем больше их идеологи склонны сомневаться в его исторической миссии. Как бы ни была велика лояльность традиционных сторонников левых партий, она имеет пределы. Видя несостоятельность левых политиков, рабочие отказывают им в поддержке. Это нередко сопровождается деморализацией и деполитизацией самих рабочих. Неудивительно, что на таком фоне имеет успех агитация правых в рабочей среде. А это, в свою очередь, дает основание идеологам еще более настойчиво разьяснять, что рабочий класс утратил свою прогрессивную роль в истории. Надо искать какую-то иную социальную основу для левого движения.

Известный экономист Александр Бузгалин уверен, что в России общество «не просто разделяется на собственников капитала и наемных работников». Не менее, а может быть, и более важно «противоречие конформистов и тех, кто способен к совместному социальному творчеству».[246]

Традиционные рабочие и профсоюзные организации с их скучной дисциплиной и идеологией солидарности выглядят безнадежно принадлежащими к старому миру, а независимые интеллектуалы, напротив, провозвестниками коммунизма.

И в самом деле, дисциплина капиталистической фабрики вовсе не является хорошей школой самоуправления и демократии. Но и нонконформизм отнюдь не равнозначен революционности. В обществах, где новации становятся требованием рынка, нонконформизм может быть не более чем проявлением своеобразного метаконформизма. Кооперативы и различные экспериментальные творческие и производственные ассоциации порождают собственные нормы и условности, порой не менее жесткие, чем старая индустриальная культура. А подавляющее большинство трудящихся, обреченное на борьбу за выживание, просто не может позволить себе роскоши «свободного творчества». Такая возможность может появиться у людей лишь непосредственно в процессе социальных преобразований, к которым они, по мнению идеологов, совершенно не готовы.

Политика левых партий в 90-е годы XX века поставила под вопрос еще один тезис, ранее воспринимавшийся как нечто само собой разумеющееся. Эти партии и их лидеры не просто перестают на практике выступать в качестве представителей трудящихся, но и перестают рассматривать себя в качестве таковых.

Самоопределение социал-демократии как «народной», а не только «рабочей» политической силы относится в большинстве стран к 1960—1970-м годам. Но подобное самоопределение вовсе не означало однозначного стремления порвать связи с традиционной социальной базой в лице рабочего класса. Речь шла, прежде всего, о расширении социальной базы левых. Напротив, в 1990-е годы

социал-демократия осознанно отдаляется от рабочего класса. «В социалистических партиях, — отмечает Сассун, — все более преобладают активисты, вышедшие из „среднего класса“, что парадоксальным образом позволяет этим партиям более адекватно отражать социальную базу постиндустриального общества». В Лейбористской партии Великобритании лишь один из четырех членов является рабочим. Профсоюзы «белых воротничков», зачастую не являющиеся коллективными членами партии, дают больше индивидуальных членов, чем состоящие в партии профсоюзы «синих воротничков». К тому же «средний член Лейбористской партии значительно богаче среднего избирателя».[247] Иными словами, партия опирается на относительно благополучную часть общества. Среди представителей «среднего класса», в свою очередь, было заметно все более явное деление между тяготеющими к левым представителями общественного сектора и более правыми функционерами частных предприятий. В этом смысле левые в Англии, как и в ряде других стран, оказывались представителями скорее институтов Welfare State, нежели определенного класса.

Однако поворот к «среднему классу» вовсе не означал, будто рабочий класс более не нуждался в политическом представительстве. Даже относительное благополучие «рабочей аристократии» европейских стран отнюдь не свидетельствует об исчезновении пролетариата, который, якобы растворяется в «среднем классе».

Понятие «средний класс» характеризует уровень потребления, но отнюдь не место людей в системе производственных отношений. А конфликт труда и капитала не исчезает в ситуации, когда труд достойно оплачивается. Более того, поскольку этот конфликт порожден объективным противоречием интересов, он воспроизводится снова и снова, независимо от уровня оплаты труда, а борьба рабочих за свой жизненный уровень и социальные права является перманентной. Ее невозможно прекратить или приостановить. А достигнутый уровень не поддерживается автоматически. Положение рабочих зависит от их готовности и способности защищать свои интересы.

Отказ левых политиков и идеологов от опоры на рабочий класс не был просто изменением теоретической концепции. Он представлял собой практическое предательство, последствия которого непосредственно сказались на жизни миллионов людей. Другое дело, что вызвано это предательство было не злым умыслом отдельных беспринципных индивидов или групп, а противоречиями и кризисом самого движения.

В большинстве стран рабочие продолжали на протяжении 1990-х годов по инерции голосовать за «свои» партии, но лишь потому, что у них не было альтернативы. К концу десятилетия наметился тревожный симптом: голоса стали все чаще доставаться правым популистам.

Возникла трагическая ситуация: традиционный индустриальный пролетариат все более теряет связь с левой политикой, а новые массовые слои трудящихся, занятые как в науке, так и в сфере услуг, не имеют с ней органической связи. Радикальные настроения, зарождающиеся в этой среде, за редкими исключениями, не имеют никакого отношения к парламентскому или академическому социализму. И тем более никак они не соотносятся с замкнутой самой на себя деятельностью квазиреволюционных сект.

Однако радикализация масс становится реальным фактом. И это не может не сказаться на политике. «Вопрос не только в том, — писал мексиканский политолог Лопес Кастельянос, — чтобы решить, какова должна быть стратегия, что предполагает внесение изменений в программы и разработку

новых принципов парламентской работы и мобилизационной тактики, а в том, как вернуть доверие масс партиям, убедить широкие слои, обеспокоенные снижением уровня благосостояния (что вполне понятно), в том, что активное участие в политической жизни является: действительным механизмом социальных преобразований».[248]

Реальная практика левых партий в парламентской системе к концу XX века в большинстве случаев явно противоречила этой цели. Испанский публицист Энрике дель Ольмо говорит про появление «аполитичной, ручной, деидеологизированной левой», которая в принципе «не способна к действию».[249]

Это применимо не только к социал-демократии, но и к значительной части радикальной левой, в том числе и внепарламентской, даже «революционной». Именно к ней относится ироническое замечание испанского писателя Хосе Хименеса Лосано о том, что, очевидно, существует два сорта «красных» — «прежние, у которых были идеалы, но которым нечего было есть», и другие, «которых звали „красными“ по какой-нибудь другой причине, но которые не могли быть таковыми».[250]

Принадлежность к сильной левой партии открывает определенные перспективы личного успеха, даже если эта партия находится в оппозиции. Левые организации становятся механизмом, обеспечивающим вертикальную мобильность для образованных и активных выходцев из социальных низов и части «среднего класса». Ясно, что попытки некоторых левых течений требовать от своих сторонников аскетичного служения идее не шли на пользу движению. Однако в период кризиса политического движения деятельность оппозиции, лишенной моральных стимулов, рискует выродиться в еще одну, более изощренную, разновидность конформизма.

Разлагающее влияние парламентских или академических институтов на оказавшихся в их стенах радикалов было описано еще в XIX веке. И все же в прежние времена левым удавалось выработать мощное противоядие. Этим противоядием была связь парламентариев и интеллектуалов с массовым движением и глубокая идеологизация рабочих партий. Каковы бы ни были издержки жесткой идеологии традиционного социализма, в ней были заложены определенные моральные нормы и требования, нарушить которые было просто невозможно, не порвав, связи со своей организацией. А это автоматически означало и потерю высокого-положения в парламентской системе.

Идеология выступала одновременно критерием, ограничителем и моральным стимулом для «практического политика». Это было нечто, объединяющее парламентария с массами, а главное, система принципов равно понятная и «низам» и «верхам» движения. Иными словами, «низы» могли судить о действиях «верхов» по тому, насколько эти действия соответствовали общепринятым в партии идеям.

Деидеологизация рабочего движения сопровождалась закономерной эрозией нравственных требований по отношению к лидерам и интеллектуалам. Перенос центра тяжести с рабочих организаций на «средний класс» сопровождался постепенным исчезновением традиционной системы норм и ценностей. Не удивительно, что левое движение созрело для нового морализма так же, как к началу XVI века христианская церковь созрела для Реформации. Возвращение к исходным принципам является революционным лозунгом.

Презрение интеллектуальных левых кругов к рабочим сравнимо лишь с презрением рабочих к этим кругам. И как бы ни был многочислен новый «средний класс» в западных странах, он оказался бессильным выработать собственную мораль. Отказ от исключительной ориентации на промышленного

рабочего, естественный в условиях, когда мир труда претерпевает глубокие изменения, не привел к появлению новой, более широкой идеологии. Вместо того чтобы попытаться объединить вокруг себя разные группы эксплуатируемых, левые стали выразителями наивного себялюбия «широкого» «среднего класса». Единственное «объединение», которое может быть достигнуто на этой основе, — между интеллектуалами и чиновниками.

Подводя итоги многолетнему правлению социалистов в Испании, Хайме Пастор отметил, что партийная элита использовала свое пребывание у власти для того, чтобы добиться максимальной автономии «по отношению к своей собственной социальной базе». Но и потеря власти вовсе не означала морального очищения. Напротив, складывается «биполярное отношение», в котором «социал-либеральная левая», интересующаяся только министерскими постами, противостоит догматикам, думающим только о великом прошлом.[251] Эти слова относятся не только к Испании. То же самое можно сказать про противостояние Тони Блэра и сторонников лейбористских традиций в Англии, про бесконечную дискуссию между националистами из Коммунистической партии РФ и сталинистами из Российской коммунистической рабочей партии. Повторение старых лозунгов, ставших очевидно бессодержательными, не позволяет выйти из порочного круга уступок и поражений. Догматическая левая, не имея возможности выработать собственную альтернативу, все равно каждый раз обречена в решающий момент поддерживать «реалистов» в борьбе за власть, ибо сама никаких шансов не имеет. Тем самым социалистические «старообрядцы» фактически становятся соучастниками «новых реалистов», постоянно демонстрируя бессилие революционной мысли и политической практики. Действия сменяются декларациями, идеи — символами, программы — перечислением принципов. Позиция простого отрицания в моральном плане так же сомнительна, как и позиция примирения с действительностью: результат в обоих случаях один — все остается по-старому.

Центральный вопрос всякой реформы состоит в том, за чей счет она проводится. В зависимости от ответа на него можно ответить и на другой вопрос — в чьих интересах. Разумеется, все реформы официально проводятся в интересах «народа». Но методы проведения реформ не только сами по себе заслуживают рассмотрения, но и выявляют их подлинные, а не декларативные цели. Курс, проводимый в большинстве стран Европы поочередно левыми и правыми в 1990-е годы, свидетельствует не только о наличии консенсуса, но и о том, что этот консенсус обеспечен за счет исторического разрыва левых партий с собственной социальной базой.

Речь идет не о временном отступлении левых, а об историческом переломе, сопоставимом с тем, что произошел в начале Первой мировой войны, когда единое рабочее движение раздробилось на два потока. Проблема не в том, что левые в 1989–1991 гг. потерпели серьезное поражение, а в том, каковы его последствия. Поражения — неизбежная часть политики. Далеко не всякую борьбу можно выиграть, далеко не всем можно рисковать. Однако в любой дискуссии необходима ясность. Сознанием левых, начиная с середины 1980-х, владеет постоянный страх перед поражением. Нередко он является бессознательным, но от этого дело становится только хуже. Пессимизм стал естественным продолжением триумфалистских иллюзий прежних десятилетий. Обсуждение альтернатив оказывается заблокировано.

Кризис 1990-х годов мог показаться предвестником окончательного ухода с политической сцены левых сил в том смысле, какой вкладывался в это слово на протяжении XX века. Но массовое

недовольство последствиями неолиберализма, проявляющееся в самых разных странах, опровергло как оптимистические обещания буржуазных идеологов, так и пессимистические прогнозы разочаровавшихся в марксизме левых. Новые массовые антикорпоративные и антикапиталистические движения стали долгосрочным фактом политической жизни. Они оказываются источником обновления для традиционной левой, но и сами нуждаются в политическом оформлении, в том, чтобы осмыслить собственный опыт и сформулировать на этой основе эффективную стратегию борьбы.

Спустя полтора десятилетия после того, как Фукуяма провозгласил конец истории, а левые интеллектуалы начали массово складывать оружие, стало ясно, что борьба разворачивается с новой силой, сопротивление становится беспрецедентно массовым.

Глава VI. «Третья левая»

Ситуация напоминала старый еврейский анекдот: когда Рабиновичу предлагают купить шкаф, он недоумевает: зачем. Но когда ему сообщают, что в шкаф он сможет повесить свою одежду, он удивляется еще больше: «А что, сам я, на минуточку, буду ходить голый?»

К началу 1990-х годов было ясно, что теоретический багаж левого движения, накопленный в течение XX века, явно устарел. С другой стороны, бодрые призывы «новых реалистов» выбросить весь этот багаж за борт, звучали все менее убедительно. Потребность в новых идеях ощущалась повсеместно, но в качестве новых идей каждый раз предлагался все тот же набор привычных лозунгов и формулировок, в конечном счете сводившихся к призыву обойтись без каких-либо идей вообще.

Неудивительно, что практические шаги по созданию новых левых организаций опережали теоретические поиски. Движение не могло больше ждать, пока интеллектуалы возьмутся за дело.

В середине 1990-х годов, когда в Финляндии коммунистическая партия преобразовывалась в Левый Союз, экономист Ян Отто Андерссон сформулировал идею «третьей левой». По мнению Андерссона, «первой левой» было буржуазное республиканское движение конца XVIII и начала XIX века. Это движение было антифеодальным, нацеленным на борьбу с привилегиями и абсолютизмом. Оно вдохновлялось «идеями свободы, гражданства и демократии».[252] «Второй левой» Андерссон называет представителей рабочего социализма, из которого, в конечном счете, выросли социал-демократические и коммунистические партии. Это движение боролось за социальные и политические права, результатом его усилий стало «социальное государство». Рабочий социализм требовал коллективистских решений для социальных проблем капитализма, отстаивал национализацию и планирование ради достижения более справедливого общества.

«Третья левая», по Андерссону, находится в фазе становления. Новое движение должно соединить ценности радикальной демократии, прав человека и социализма. «Третья левая» неизбежно опирается на традиции первой и второй, но и преодолевает их ограниченность. Первым проявлением этого было движение «новых левых» в 1960-е годы, за которым последовали экологические и феминистские движения 1970-х. Теперь левые научились думать более глобально, более внимательно прислушиваться к требованиям угнетенных народов и уважать разнообразие. Но левое движение не смогло извлечь выгоды из кризиса фордистской модели капитализма. «Вместо этого мы стали свидетелями наступления неолиберализма и неоконсерватизма».[253] По мнению финского экономиста, левые вновь станут влиятельной политической силой только после того, как в полной мере оценят смысл драматических изменений, произошедших в современном капитализме за

последние два десятилетия XX века. Изменений социальной структуры развитых индустриальных обществ, деградации «социального государства» и политические перемены, последовавшие за крахом Советского Союза.

Испанский социолог Хайме Пастор также говорит про зарождение «третьей левой», которая будет «способна к антикапиталистическим преобразованиям». Критически осмыслив советский и китайский опыт, «левое движение должно быть готово обновить как содержание, так и формы своей политики, начиная с самой формы политической партии и кончая подчинением институциональных действий задачам создания альтернативной социальной организации и образа жизни». Впрочем, по признанию Пастора, «мы еще очень далеки до этого».[254] Легко заметить, что несмотря на употребление сходных терминов, разные авторы подразумевают разное. Андерссон акцентирует необходимость для левых взять на вооружение освободительные идеи ранней буржуазной демократий, в то время как Пастор на первый план выдвигает антикапиталистическую альтернативу, сформулированную по-новому. Термин «третья левая» к концу 90-х годов XX века получил широкое распространение среди политических активистов, отвергающих как «новый реализм» Блэра и Шредера, так и сталинизм старого коммунистического движения. Однако, несмотря на частое употребление, это понятие долгое время не могло наполниться конкретным политическим и идеологическим содержанием.

Левые силы в мировом масштабе действительно вступили в новый этап своего развития. Но каковы их перспективы и задачи на новом этапе? Каково их место в изменившемся обществе и мире? Если проект буржуазно-демократической левой стал достоянием истории потому, что был в целом успешно реализован, по крайней мере — в Западной Европе, то рабочий социализм к концу XX века потерпел поражение. Является ли это поражение окончательным — вопрос другой. Так или иначе, к 1990-м годам можно было констатировать, что не только советская система рухнула, не только «коммунизм» прекратил свое существование как мировое движение. Социал-демократия, выжив организационно, пережила тяжелейший кризис, в ходе которого в значительной степени потеряла свое политическое лицо. К тому же невозможно утверждать, будто обновление левой идеологии может состоять в простом соединении демократических ценностей с социалистическими принципами, поскольку большая часть социал-демократических, а с 1970-х годов и коммунистических партий, именно это и декларировала в своих программах.

Более того, неудачи «второй левой» поставили под вопрос и ценности «первой левой». На фоне почти всеобщего признания демократических принципов в мире, 1990-е годы стали временем, очевидного ослабления демократических институтов в традиционно «свободных» странах.

Исторически рабочее движение вовсе не было враждебно демократии. Оно родилось из ее недр и сыграло решающую роль в завоевании и защите гражданских свобод. Именно рабочее движение во многих странах добилось введения всеобщего избирательного права, введения республиканских конституций, отмены различных ограничений на политическую деятельность. Отто Бауэр, один из ведущих теоретиков «австро-марксизма», еще в 1936 году писал: «Демократический социализм Запада является наследником борьбы за духовную и политическую свободу. Революционный социализм Востока является наследником революции, направленной на экономическое и социальное освобождение. Нужно объединить то, что раздвоило развитие».[255] Бауэр называл это «интегральным социализмом». Легко заметить здесь переключку с идеями «третьей левой».

В то время как Ян Отто Андерссон говорил о «третьей левой», известный экономист Самир Амин ввел в оборот термин «третий социализм». По мнению Амина, первый социализм принадлежит XIX веку. Это был социализм эпохи паровой машины и ранней индустриализации, социализм и II Интернационалов. Его время закончилось в 1914 году. Второй социализм был порожден мировыми войнами, фордистскими технологиями массового производства. Он умер вместе с советской системой. Вместе с победой капиталистической глобализации наступает время «третьего социализма».

Итак, с точки зрения Амина, «третий социализм» — это социализм эпохи глобализации и компьютерных технологий. В новых условиях социалистическое движение может быть только интернационалистским, и в то же время оно должно ставить перед собой цель «восстановить полицентричный мир, тем самым открывая возможность для прогресса, основанного на самостоятельности народов». Самир Амин подчеркивал, что подобный переход не может произойти стихийно. Нужна политическая сила: «Я назвал бы ее революционной силой, хотя возможно достичь цели через структурные реформы; главное, чтобы сформировалось определённое идеологическое сознание, на основе которого можно сформулировать принцип нового социального проекта».[256] Если этот переход не состоится, человечеству предстоит столкнуться с нарастающим кризисом и вырождением глобальной капиталистической системы, которая не может ни справиться с порожденными ею противоречиями, ни реформировать себя. Единственной альтернативой социализму остается варварство — «упадок общества, рост насилия и эскалация бессмысленных конфликтов». В этом смысле формула Розы Люксембург «социализм или варварство» актуальна как никогда.[257]

И Андерссон и Амин уже не отождествляют новый социализм с рабочим движением, видя в нем проект, интегрирующий широкий спектр социальных сил на глобальном уровне. В известном смысле их подходы дополняют друг друга. В то же время социальная и политическая конфигурация нового блока остается довольно размытой, а стратегия и программа конкретных действий — неясной.

В цифре «три» есть, видимо, какой-то интеллектуальный символизм, заставляющий связывать с третьей фазой такие понятия, как «зрелость», «возрождение», «консолидация», «синтез» и т. п. В то время как Амин говорил про «третий социализм», а Андерссон — про «третью левую», кубинский социолог Мария Раубер писала про «третье поколение революционеров», формирующееся в Латинской Америке.[258] Если первое поколение представляло «традиционную левую», вдохновлявшуюся идеями русской революции, а второе поколение — «новую левую», наследников кубинской революции, деятелей чилийской и сандинистской революций, то третье поколение определяется довольно размытыми общими словами про «объединение всех тех, кто стремится соединить независимость и национальное развитие с социальной справедливостью и этническим равенством».[259] Иными словами, это пока революционеры без революции. Впрочем, книга Раубер была написана еще до восстания сапатистов в Мексике и до победы Чавеса в Венесуэле.

Было бы несправедливо требовать от теоретиков четкой программы для движения, которое еще только зарождается. Беда в том, что попытки радикальных идеологов сформулировать цели на самом общем уровне оставляют простор не только для различных, но и прямо противоположных интерпретаций.

Идея «третьей левой» может лечь в основу широкого антикапиталистического реформаторского

блока, может вдохновить революционеров, а может быть использована как самооправдание для политиков с радикальным прошлым, стремящихся к комфортабельному существованию в парламентской системе. Точно так же идея «третьего социализма» может стать ориентиром для практических действий, а может и остаться темой академических дискуссий. В обоих случаях неясным остается и ответ на самый болезненный и, быть может, самый важный вопрос: что из наследия традиционной левой должно быть отброшено, а что сохранено, в какой форме исторические ценности и цели социализма будут реализовываться в изменившемся мире?[260] Кризис неолиберализма, наметившийся уже в середине 1990-х, не привел к немедленному подъему альтернативных политических проектов. Левые партии почти повсюду в мире выиграли электорально от разочарования масс в либеральной идеологии, но эти электоральные победы не были началом социальных преобразований.

Между успехом на выборах и преобразованием общества существует огромная разница. Для левых электоральные успехи, не приводящие к успешным экономическим и социальным реформам, равнозначны поражению. Принципиальный вопрос состоит в том, насколько вообще возможны радикальные преобразования в рамках демократии. Исторический опыт свидетельствует, что радикальные преобразования сопровождаются острыми политическими конфликтами, ставящими демократию под вопрос. С другой стороны, слабостью большинства реформаторских проектов 1980-х годов — от левого курса первых лет президентства Франсуа Миттерана до перестройки Михаила Горбачева — был их «верхушечный», технократический характер. Потому неудивительно, что все чаще звучит лозунг заменить авторитарно-элитарный подход, типичный как для реформистских, так и революционных партий, «новыми массовыми движениями», а «реформы сверху» — «альтернативами снизу».

Джон Холлоуэй призывает вообще забыть про какую-либо деятельность, связанную с преобразованием государства. Борьбу за власть должно заменить «стремление к самоопределению», которое реализуется не после захвата власти, а «здесь и сейчас».[261] Вместо борьбы «внутри государственного пространства» (*within the space of the state*) необходим «бунт против этого пространства» (*rebellion against that space*).[262] Однако такой бунт возможен только в воображении автора, поскольку в реальном обществе нет жесткого разграничения между социальными и политическими пространствами — все они существуют в одном и том же месте и в одно и то же время. Даже поворачиваясь спиной к государству, невозможно игнорировать его до тех пор, пока оно не сочтет нужным само тебя игнорировать.

Легко заметить, что культ массового движения зеркально повторяет прежний культ партии. И в том и другом случае предполагается, что существует единственное спасительное организационное решение, которое гарантированно позволит осуществить необходимые преобразования. На самом деле государство иерархично. То же может быть сказано о структуре капитала и об экономической миросистеме. Все эти структуры сложились исторически именно благодаря постоянной необходимости эффективно противодействовать давлению снизу, требованиям масс. В то же время любое массовое движение стихийно начинает формировать собственные иерархии, собственную контрэлиту — это неизбежная дань политической эффективности. При определенных обстоятельствах эти контрэлиты коррумпируются и интегрируются в истеблишмент (что в значительной степени произошло и с лидерами движения «новых левых» 1960—1970-х годов).

Отсюда, однако, не может быть сделан вывод, будто массовое движение может вообще обойтись без собственных политических кадров и контрэлит.

Радикально-реформистский проект может сформироваться лишь за счет соединения «движения снизу» и «преобразований сверху». Следовательно, для левых невозможно отказаться от борьбы за влияние в государственных институтах. Но успех этой борьбы имеет значение лишь в той мере, в какой выражает требование массового «низового» движения. Ключевой вопрос в данном случае — до какой степени массовые движения способны контролировать собственных лидеров, а иногда и принуждать их делать то, что они не хотят или не решаются делать. Но массовые движения, лишенные политической программы и стратегической перспективы, никого проконтролировать не в состоянии. Они становятся, в конечном счете, заложниками стихийно развивающейся ситуации, а порой превращаются в объект манипулирования со стороны собственных лидеров.

В конце 1930-х годов Лев Троцкий, находившийся в изгнании в Мексике, сформулировал понятие «переходной программы». Марксисты начала XX века исходили из необходимости сосуществования «программы-минимум» (буржуазно-демократической) и «программы-максимум» (социалистической, коммунистической), тем самым, закладывая в свою стратегию неизбежное противоречие между долгосрочными революционными целями и краткосрочными реформистскими задачами. Теория и практика социалистического движения первой половины XX века постоянно сталкивается с проблемой реформизма, не находя для нее внятного решения. С одной стороны, реформизм осуждается как политика, направленная на совершенствование капиталистической системы. Но с другой стороны, сталкиваясь со стихийным требованием реформы, выдвигаемым массами трудящихся, левые принуждены либо отстраняться от массового движения, пребывая в добровольном бездействии вплоть до момента, когда сам собой настанет час революции, либо плетутся в хвосте стихийного рабочего протеста, формулируя все те же реформистские требования. Предложенная Троцким «переходная программа» должна была разрешить это противоречие. «Надо помочь массе в процессе ее повседневной борьбы, найти мост между ее нынешними требованиями и программой социалистической революции. Этот мост должен заключать в себе систему переходных требований, которые исходят из сегодняшних условий и сегодняшнего сознания широких слоев рабочего класса и неизменно ведут к одному и тому же выводу: завоеванию власти пролетариатом».[263]

Мексиканский изгнанник подчеркивал в «Бюллетене оппозиции», что кризис буржуазного порядка превращает реформистские требования в революционные: «В эпоху загнивающего капитализма, когда вообще не может быть речи о систематических социальных реформах и повышений жизненного уровня масс; когда буржуазия правой рукой отнимает каждый раз вдвое больше, чем дает левой (налоги, таможенные пошлины, инфляция, „дезинфляция“, высокие цены, безработица, полицейская регламентация стачек и пр.); когда каждое серьезное требование пролетариата и даже каждое прогрессивное требование мелкой буржуазии неизбежно ведут за пределы капиталистической собственности и буржуазного государства».[264]

Надо признать, что автор «переходной программы» явно недооценил жизнеспособность капитализма. После Второй мировой войны буржуазный порядок в Западной Европе и Соединенных Штатах Америки сумел модернизироваться, обновив и укрепив себя с помощью социальных реформ. Эти реформы были, бесспорно, прогрессивными, ибо способствовали не только росту

благополучия наемных работников, но и росту общественного контроля над производством.

Однако точно так же они были необходимы капиталу, чтобы преодолеть системный кризис, бушевавший на протяжении 1920-х и 1930-х годов.

И все же подход Троцкого был исторически совершенно оправдан, ибо исходил он не из конкретной экономической конъюнктуры (в анализе которой он неоднократно ошибался), а из общей динамики развития системы. В этом плане тезис о невозможности успешных реформ, не затрагивающих основ существующего порядка, оказывается гораздо более актуальным в начале XXI века, нежели в момент его написания. Троцкий просто опередил свое время.

Показательно, что автор «Переходной программы» не видел ничего зазорного и в поддержке мелкобуржуазных требований, если они объективно направлены против системы, а их реализация открывает перспективы для социалистического преобразования общества. Неспособность капитализма пойти навстречу даже вполне умеренным и благонамеренным требованиям является свидетельством глубочайшего системного кризиса.[265]

Социальные компромиссы ушли в прошлое вместе с «холодной войной» и эпохой Дж. М. Кейнса. Именно невозможность «безобидного» реформизма в изменившихся условиях конца XX — начала XXI века в значительной мере и предопределила крушение традиционной социал-демократии, переход ее лидеров на неолиберальные позиции. Именно поэтому правительства, пришедшие к власти под левыми лозунгами, быстро дают «задний ход», натолкнувшись на неожиданно жесткое и бескомпромиссное сопротивление элиты даже самым безобидным преобразованиям. В то же время реформистски настроенная масса трудящихся сдвигается влево. Появляется возможность того самого «моста» к революции, о котором говорилось в «Бюллетене оппозиции».

В сложившейся ситуации любой серьезный реформизм начинает быстро принимать антисистемный характер, становясь идеологией, мобилизующей людей скорее на революцию, нежели на исправление недостатков существующего строя. В свою очередь, революционные лозунги становятся конкретными и понятными для миллионов людей, заинтересованных в решении своих конкретных проблем.

Но переходная программа требует и соответствующего типа организации, который включал бы в себя как революционные, так и реформистские черты. Организации заведомо противоречивой, внутри которой неизбежна идейная и политическая борьба.

Именно такую форму стихийно начало принимать левое движение на рубеже столетий, после краха традиционных коммунистических партий. Однако русская пословица не зря говорит, что «первый блин комом». Практические опыты создания «новых левых» организаций свидетельствовали не только об общественной потребности в переменах, но и о незрелости политического проекта.

Характерно, что подобные организации быстрее всего возникали и развивались там, где влиятельные рабочие партии либо отсутствовали, либо не смогли пережить потрясений 1989–1991 годов. Так, например, параллельно с «Демократической левой» на политической сцене Италии появилась Партия коммунистического возрождения (Rifondazione comunista) — новая организация, отстаивающая старую традицию. Rifondazione возникла как коалиция различных течений: тут были и ностальгические коммунисты, объединившиеся вокруг А. Коссута, еврокоммунисты, оставшиеся верными идеям Энрико Берлингуэра, возглавлявшего компартию в 1970-е годы, и сторонники его постоянного внутрипартийного левого критика Пьетро Инграо, троцкисты из бывшей партии

Democrazia i Proletaria, неомарксисты из группы «Il Manifesto». Объединило их главным образом неприятие соглашательской политики «официальной» левой. Однако этого оказалось достаточно для того, чтобы Rifondazione прочно вошла в политическую жизнь страны.

В сущности Rifondazione стала тем, чем обещала стать, но не стала Партия демократической левой: широким объединением реформаторских, альтернативных и революционных течений. Позиции Rifondazione оказались сильнее всего в традиционных зонах влияния компартии. После прихода к власти правительства «левого центра» во главе с Проди руководство Rifondazione оказалось перед сложным выбором: поддержать Проди, который не скрывал своего намерения проводить неолиберальный курс в «левой» упаковке, или отказаться ему в поддержке, тем самым сыграв на руку ждущим своего часа правым популистам. Rifondazione сделала выбор в пользу критической поддержки кабинета Проди, но в правительство не вошла. Однако практические меры, проводимые правительством, ошеломили даже сторонников Rifondazione, не ожидавших от новой власти ничего хорошего. В результате партия оказалась в остром конфликте с партнерами по парламентскому большинству. Руководство Rifondazione после долгих колебаний сделало вывод о необходимости перейти к жесткой оппозиции. Это сопровождалось серией расколов, повлекших за собой существенное ослабление партии. Показательно, что наиболее решительными критиками левого курса партии оказались представители группы А. Коссута, ранее считавшейся в компартии просоветской. Покинув Rifondazione, коссутянцы основали собственную небольшую партию, ставшую своего рода политическим сателлитом «Демократической левой».

Хотя Rifondazione и не удалось остановить бодрый марш «левого большинства» вправо, она, по крайней мере, смогла сохранить лицо в качестве антикапиталистической силы. К началу 2000-х годов, когда на политическую сцену вышло новое поколение радикальной молодежи, Rifondazione выглядела для многих его представителей образцом принципиальной и последовательной левой партии.

После возвращения к власти правых Rifondazione стала ведущей силой сопротивления. На фоне вялых и непоследовательных политиков «умеренной оппозиции», лидеры Rifondazione Фаусто Бертинотти и Витторио Аньолетто выглядели настоящими, решительными борцами, последовательно отстаивавшими права трудящихся. Флаги партии развевались над многотысячными колоннами демонстрантов, протестовавших против саммита лидеров мировых держав в Генуе и против войны в Ираке.

Весной 2006 года, когда настал срок парламентских выборов, активисты Rifondazione опять были на переднем крае, агитируя против правительства, разоблачая Берлускони и его политику, мобилизуя избирателей. Однако партия коммунистов отнюдь не предлагала себя в качестве альтернативы правым. Противостояние правительства и оппозиции воспринималось как столкновение двух лидеров — действующего премьер-министра Сильвио Берлускони и бывшего премьера Романо Проди.

Предвыборная кампания с самого начала была напряженной и скандальной. Под конец у Берлускони стали сдавать нервы. Он обзывал тех, кто собирается голосовать против него, «идиотами», а своему противнику, возглавляющему левоцентристскую коалицию, пенял, что он и ему подобные коммунисты едят детей.

Трудно представить себе обвинение, которое было бы менее по адресу. Ведь Проди не был

коммунистом и (в отличие от политиков из «Демократической левой») никогда даже не был левым. Вся его карьера была связана с консервативными кругами. Он учился и преподавал в консервативных американских университетах — Стэнфорде и Гарварде, работал в правых итальянских правительствах, сотрудничал с христианскими демократами. Правительственный курс, проводившийся Проди в бытность его премьер-министром, по сути, ничем не отличался от политики Берлускони.

Отсутствие серьезных различий между соперничающими группировками предопределило и невразумительность результатов. Когда после двухдневного голосования вечером 10 апреля начали считать бюллетени, выяснилось, что обе коалиции идут голова в голову. После подсчета первых 15 % лидировал с отрывом в доли процента «Союз», возглавляемый Проди. Но затем шансы выровнялись, а когда обработали больше половины данных, вперед вышла коалиция Берлускони «Дом свобод». В итоге она получила в сенате перевес, правда, весьма незначительный — в один голос. В нижней палате картина была не столь ясна. Но после подсчета 63 % голосов начало вырисовываться преимущество Берлускони, но затем снова вышли вперед сторонники Проди, и так всю ночь. Под утро обнаружилось, что левый центр победил с перевесом менее одной десятой процента! Правда, итальянская политическая система конвертировала этот разрыв в довольно солидное преимущество, если считать по мандатам: «Союз» получил 340 мест, а «Дом свобод» — 277.

Последующие события выглядели как повторный показ давно знакомого фильма. Правительство «левого центра» было сформировано при поддержке Rifondazione, но партия коммунистов практически не влияла на его политику. Единственная прогрессивная мера, которую Бертинотти сумел навязать своим партнерам по коалиции, состояла в прекращении приватизации воды, которую и без того саботировали муниципалитеты.

Войдя в правительство, коммунисты вынуждены были взять на себя ответственность за проведение курса, не имевшего ничего общего с их принципами и программой. Уже в ноябре 2006 года в Италии проходили, массовые демонстрации против нового правительства. Сторонники Rifondazione, писал левый английский журналист, «шокированы и дезориентированы».[266] Партия, которая совсем недавно возглавляла антивоенные и антикапиталистические выступления, теперь голосовала за присутствие итальянских войск в Афганистане и отправку контингента в Ливан. Она лояльно сотрудничала с властью, конфликтовавшей с профсоюзами и готовящей новую волну приватизации. Такая политика «способна только нанести урон движению. Это стратегия, которая может разочаровать тех, кто думал, будто вступает в партию нового типа, которая обернется пассивным примирением с реформистской повесткой дня».[267]

Увы, повестка дня правительства Проди не была даже реформистской. Проблема сотрудничества с «умеренными левыми» состояла не в их умеренности, а в том, что они вообще не являлись левыми — ни по своим ценностям, ни по идеологии, ни по целям. Поддерживая таких «умеренных» во имя борьбы против «правой опасности», Rifondazione на деле лишь облегчала задачу Берлускони и его сторонникам. Казалось бы, опыт первого правительства Проди мог чему-то научить, но лидеры Rifondazione не проявляли ни малейшего желания учиться.

Дальнейшие события не могли не вызвать ощущения «дежа вю». Политика Проди уже через несколько месяцев после его прихода к власти вызвала протесты населения. Депутаты-коммунисты колебались, оправдывая свое бездействие необходимостью проявлять политическую

ответственность. Однако в феврале 2007 года лопнуло терпение у нескольких сенаторов, представляющих левое крыло партии. Когда бывший коммунист Массимо д'Алема потребовал поддержки Сената для расширения американской базы в Виченце и продолжения итальянского участия в американской оккупации Афганистана, они проголосовали против. Это был вотум недоверия.

Правительство Проди пало, вновь под ударом слева. Но на сей раз принципиальную позицию заняло не руководство Rifondazione, а двое радикальных парламентариев, решившихся взять ответственность на себя.[268]

В свою очередь, руководство партии горячо поддержало кабинет Проди, призывая своих активистов выйти на улицы и агитировать за него население. Благодаря голосам Rifondazione в нижней палате парламенту правительству Проди удалось пережить кризис и продолжить свою политику.

Недовольные начали покидать партию.

Противоречия, типичные для итальянских левых, вовсе не были уникальны. Сходная картина наблюдалась и в других странах.

Восточная Германия тоже породила в ходе объединения политическую организацию, бросающую вызов как социал-демократии, так и старому коммунизму. До кризиса 1989 года Социалистическая единая партия Германии (СЕПГ), правившая в Германской Демократической Республике, была одной из наиболее ортодоксальных в Восточной Европе. Это не означало отсутствия в ней реформаторских течений, но они были гораздо менее видимы и организованы. В то же время общая обстановка в ГДР предопределила и то, что реформаторы гораздо более, чем в других «братских странах», обосновывали свои позиции не только стремлением к большей экономической эффективности, но и необходимостью реализовать возможности социализма. В последние годы существования ГДР одним из лидеров реформаторского крыла СЕПГ стал партийный секретарь из Саксонии Ганс Модров.

На фоне общего кризиса Восточного блока чрезвычайный съезд Социалистической единой партии Германии в декабре 1989 года принял решение преобразовать ее в Партию демократического социализма, плюралистическую, современную левую партию, соединяющую в себе «социал-демократические, социалистические, коммунистические, антифашистские и пацифистские традиции».[269] Этому предшествовал настоящий бунт партийных низов, требовавших смещения старого руководства и переориентации партии. Ничего подобного не было ни в Советском Союзе, ни в других странах Восточной Европы. Этот бунт был частью общего демократического движения, охватившего Восточную Германию осенью 1989 года и давшего, как говорилось на съезде, «шанс для радикального обновления нашей партии».[270]

На чрезвычайном съезде председателем партии стал 41-летний адвокат Грегор Гизи. Во времена ГДР Грегор Гизи выступал защитником на процессах диссидентов, в том числе знаменитого марксиста Рудольфа Баро. Энергичный и харизматичный лидер, обожающий шутки и парадоксы, он был так не похож на скучных лидеров социал-демократии и старых партийных аппаратчиков! В феврале 1990 года прошла вторая часть съезда, принявшая новую программу и устав. Дискуссия разгорелась между теми, кто требовал сначала распустить старую партию, а затем уже создавать новую, и теми, кто настаивал на сохранении преемственности. Победа последних позволила сохранить часть традиционной членской базы и собственности. Одновременно новая организация получила в

наследство массу проблем и ярлык «наследника сталинской СЕПГ». На первых порах партия даже сохранила двойное название СЕПГ — ПДС, от которого, впрочем, отказались, как только было покончено с бюрократическими формальностями по оформлению наследства. В конечном итоге, материальная база, доставшаяся ПДС от бывшей государственной партии, оказалась весьма скромной. После объединения страны, когда новые власти конфисковали все здания и фонды, переданные партии в годы Германской Демократической Республики, у нее осталось всего несколько зданий, принадлежавших коммунистам еще до прихода к власти Гитлера.

Хотя Партия демократического социализма по своему происхождению мало отличается от других посткоммунистических партий, ее политическая траектория оказалась совершенно иной. Причины следует искать в специфике восточногерманской ситуации после объединения. Старая номенклатура здесь не смогла не только, возглавить процесс капитализации, но даже вписаться в него. Западная буржуазия не оставила ей никаких шансов. Точно так же существование настоящей и сильной социал-демократии в «старых землях» делало невозможным появление еще одной социал-демократической партии в «новых землях». «Социал-демократическая платформа» в ПДС не смогла сыграть существенной роли. Посткоммунистическая партия могла выжить, лишь выступая в качестве радикальной альтернативы и одновременно решительно отмежевываясь от сталинистского прошлого. Это осознавали даже те партийные деятели, которые при иных обстоятельствах, возможно, выступили бы сторонниками более умеренного курса. Радикальные обновленцы смогли относительно легко получить большинство в руководстве и начать уникальный политический эксперимент — строительство левой социалистической партии «нового поколения» на руинах одной из самых ортодоксальных сталинистских организаций.

Крушение коммунистической системы в Восточной Германии сопровождалось мощным взрывом демократической энергии масс, причем не только на улицах и площадях, но и на предприятиях. Последующий опыт объединения не позволил этой энергии воплотиться в конкретную преобразующую деятельность, и ПДС оказалась практически единственным политическим каналом, куда эта энергия могла быть направлена.

Анализируя историю рабочих советов в бывшей ГДР, радикальный берлинский журнал «Sklaven», весьма критически относящийся к ПДС, отмечает, что, несмотря на «конфликт между базисно-демократическими и аппаратными левыми», эта партия оказалась единственной политической силой, которая «предоставила рабочему движению организационную, финансовую и публицистическую поддержку». В результате деятельность партии на предприятиях можно оценить как «высочайший успех».[271] Отсюда вовсе не следует, будто политические приоритеты лидеров ПДС и активистов во всем совпадали. Скорее наоборот — между ними постоянно возникали противоречия. Но именно способность партии взаимодействовать с людьми и группами, стоящими на более радикальных позициях, стала ее очевидным преимуществом по сравнению с социал-демократическими и профсоюзными бюрократиями Запада.

На последних выборах в Народную палату (парламент) ГДР 18 марта 1990 года ПДС показала неплохие результаты, особенно в традиционных рабочих округах. Однако победителями стали христианские демократы, обещавшие всеобщее процветание после быстрого объединения.

Правительство, возглавлявшееся членом ПДС Гансом Модровым, ушло в отставку. У власти в Восточном Берлине оказалось правительство христианских демократов, возглавляемое Лотаром де

Мезьером, позднее разоблаченным как агент госбезопасности ГДР («Штази»).

На выборах в первый общегерманский Бундестаг в 1992 году результаты ПДС оказались куда скромнее: 2,4 % голосов (11,1 % на Востоке и 0,3 % на Западе). Она попала в парламент только благодаря временному правилу, обеспечивавшему специальные квоты для «восточных» политических сил. Зато в 1994 году результаты ПДС почти удвоились. Она получила 4,4 % в масштабах Германии, но преодолеть пятипроцентный барьер все же не смогла. Тем не менее партия опять оказалась представлена в Бундестаге. Она получила 4 прямых мандата от территориальных округов, благодаря чему голоса, отданные за весь список, были засчитаны. Важным элементом избирательной стратегии ПДС стали «открытые списки», включающие представителей «левого спектра», от которых не требовали «прямой или косвенной связи с партией». Беспартийные составили 13 % депутатов, избранных по этим спискам в Восточных землях.[272] Всего в Бундестаге созыва 1994 года оказалось 30 депутатов от ПДС и ее союзников. Партия оказалась представленной во всех ландтагах (региональных парламентах) и муниципальных собраниях восточных земель, сделавшись там третьей, а иногда и второй по величине фракцией.

После того, как Грегор Гизи стал руководителем партийной группы в Бундестаге, он ушел с поста лидера партии. ПДС возглавил Лотар Биски. Организация продолжала сталкиваться со всевозможными проблемами, начиная от случаев выявления в ее рядах бывших агентов «Штази», кончая притеснениями со стороны властей новой Германии. Партию сотрясали внутренние разногласия.

Крах Германской Демократической Республики поставил демократических социалистов перед серьезными проблемами, но именно он, в конечном счете, предопределил превращение ПДС в одну из первых левых партий новой волны, уникальную для Западной Европы.

Уникальность ПДС проявляется, прежде всего, в том, что это единственная политическая сила Запада, непосредственно представляющая интересы периферии. Это предопределено положением восточных земель Германии, являющихся, с одной стороны, частью самой сильной капиталистической страны Европы, а с другой, по выражению теоретиков ПДС — ее «экономической и социальной периферией».[273] Отсюда и политика партии, которая стремится отстаивать как социальные, так и региональные интересы. На первых порах многие лидеры ПДС воспринимали сохраняющееся деление страны на западные и восточные (соответственно «старые» и «новые») земли как временное явление. «Как социалистическая партия, левая альтернатива, мы не можем долгое время оставаться региональной партией. Восточногерманская идентичность исчезнет в ближайшие пять-восемь лет», — говорил Андре Бри.[274] Однако последующее развитие показало, что все обстоит гораздо сложнее. Существование периферии предопределено самой природой капиталистической экономики. Восточная идентичность сохранялась потому, что сохранялись специфические «восточные» проблемы. Они тоже изменились, но с каждым новым рыночным циклом это противоречие воспроизводилось в новом виде.

Опросы общественного мнения, проводившиеся в 1997 году, показали, что ностальгия по ГДР сходит на нет, а различия между «восточниками» и «западниками» (Ossies и Wessies) остаются. Для восточных немцев по-прежнему было характерно стремление к социальной справедливости, сочетающееся с «равноудаленным отношением» («Wieder-noch-Haltungen») к старой ГДР и новой ФРГ.[275] Социологи отмечали, что подавляющее большинство населения восточных земель, в том

числе и те, кто не голосует за левых, являются «бессознательными социалистами».[276]

В сложившейся ситуации регионализм вовсе не противоречит идеологии и стратегическим перспективам социалистического движения. Как говорилось в одном из документов ПДС, это не «восточная» партия, но это «социалистическая партия, которая пришла с Востока».[277] Проблема не в том, чтобы уйти от регионализма, а в том, чтобы сочетать его с более широкой стратегией — не только общегерманской, но и общеевропейской. «Без прорыва на Востоке не будет прорыва на Западе!» — гласят документы ПДС. Восточные немцы должны «наступательно действовать ради перемен» в Германии в целом.[278]

1996–1997 годы стали временем нового усиления ПДС, на этот раз за счет притока активистов и сторонников на Западе. Здесь партия оставалась незначительным меньшинством, но динамика роста поражала. Ганновер стал первым крупным городом в «старых землях», где удалось завоевать позиции в местных органах власти (до того были лишь случаи перехода к ПДС недовольных муниципальных советников из числа «зеленых»). Сенсацией стали выборы в Марбурге, где «красный» список собрал 6,2 % голосов и получил 4 места в городском собрании.

Марбург, будучи старым университетским центром, являлся традиционным бастионом левых, где даже в годы «холодной войны» были сильны коммунисты. Однако партия Грегора Гизи и Лотара Биски укрепила свои позиции и в других крупных городах.[279] Именно из университетских центров распространялось влияние партии в Западной Германии, а молодая интеллигенция оказывалась наиболее восприимчива к идеям ПДС. На Востоке большинство избирателей партии концентрировалось в крупных промышленных центрах, однако более половины сторонников Гизи и Биски проживало за пределами традиционных «бастионов» партии.

Несмотря на появление новых членов в западных землях, ПДС оставалась, по крайней мере, на Востоке, партией пожилых людей, составлявших в ней 67 %. Членская база, полученная «в наследство» от СЕПГ, старела и умирала. Единственным утешением для лидеров социалистов было то, что и «с другими партиями происходит то же самое».[280]

В период 1990–1994 годов, когда под вопросом было само выживание партии, лозунгом ПДС стало создание, пользуясь словами писателя и бывшего гдэээровского диссидента Стефана Хайма, «подлинной, сильной и левой оппозиции».[281] Ситуация изменилась после побед партии в 1994–1995 годах. Дело не только в том, что демократические социалисты почти удвоили количество сторонников, но и в том, что они оказались у власти во многих небольших городах, а в земле Саксония-Ангальт фракция ПДС держала в руках судьбу правительства. На определенных условиях левые согласились «терпеть» (tolerieren) социал-демократическую администрацию. Это означало не только фактическое право вето, но и вынудило социал-демократов согласовывать свою политику с оппозицией.

Неудивительно, что наряду с лозунгом «оппозиции» в лексиконе ПДС появилось новое слово «ответственность». Магдебург, столица земли Саксония-Ангальт, стал своеобразным экспериментальным полем, где отрабатывались механизмы, выявлялись возможности, пределы и проблемы нового реформизма.

Действия ПДС в Магдебурге вызвали острую полемику внутри партии. Примкнувшие к партии сторонники Эрнеста Манделя из Объединения за социалистическую политику (VSP) отмечали, что успех в Магдебурге чреват опасностью «адаптации ПДС к капиталистической системе».[282] Еще

более резко выступили против «магдебургского эксперимента» представители «Коммунистической платформы» и молодежной секции партии. Параллельно с идеологической критикой под лозунгом «наше место — в оппозиции!» началась и серьезная дискуссия на тему о допустимости и границах политических компромиссов.

Недовольство левого крыла имело под собой основания. Петра Зитте, председатель фракции ПДС в ландтаге земли Саксония-Ангальт, говоря о безусловных достижениях в сфере социальной политики, одновременно признавала, что за время «магдебургского эксперимента» ее фракция стала более дифференцированной, а в принятии решений исчезла прежняя открытость. В этом, однако, она винила социал-демократов, отказывающихся обсуждать вопросы бюджета и региональной политики публично: «Чем интенсивнее наше сотрудничество, тем труднее реализовать принцип открытости».[283]

Идеолог «магдебургского эксперимента» Роланд Клаус, на которого обрушились стрелы левого крыла ПДС, доказывал, что радикальная критика системы неэффективна, если она не дополнена конкретным реформистским проектом. «Магдебургский эксперимент» дает шанс сформулировать такой проект на основе реальной практики. «Но нет шансов без риска. Если мы хотим настоящих реформ, мы должны пойти навстречу этому риску».[284]

Вторым острым вопросом для ПДС оставалось отношение к наследию Германской Демократической Республики, Социалистической единой партии Германии и коммунистической традиции вообще. В отличие от стран Центральной и Восточной Европы, где партийная номенклатура легко сменила идеологию, сохранив старую структуру, в Восточной Германии речь шла о сложной духовной эволюции сотен тысяч рядовых членов партии, которые, заново переоценивая свой опыт, старались не только осудить прошлое, но и найти в нем опору для борьбы за будущее. В итоге, ПДС пошла по пути, прямо противоположному другим посткоммунистическим партиям. Не отрицая преемственности в идейной традиции, партия начала радикально изменять структуру, форму и методы деятельности. В этом смысле ПДС можно считать стихийно возникшим образцом новаторского неотрадиционализма.

С одной стороны, постоянно подчеркивалось, что «ПДС не считает себя коммунистической партией».[285] Более того, некоторые ее деятели выступали с резко антикоммунистических позиций. С другой стороны, оформилась «коммунистическая платформа». Теоретики партии пытались примирить эти тенденции, опираясь на традиции и взгляды коммунистов-диссидентов в ГДР (ключевыми именами здесь становятся Роберт Хавеман, Эрнст Блох, Бертольд Брехт), а также призывая «критически определить нашу связь с первоначальной коммунистической идеологией».[286]

На деле, однако, вовсе не отношение к коммунистической идеологии было ключевой проблемой. Будучи одновременно организацией людей, занимавших реформистские позиции в старой ГДР, и оппозиционной силой в новой единой Германии, она должна была найти свое лицо, проявив прагматизм и серьезность в решении конкретных задач в сочетании с политической принципиальностью. Редактор близкого к партии журнала «Utopie-kreativ» Вольфрам Адольфи говорит о парадоксальном соединении опыта восточного коммунистического реформизма и внепарламентской оппозиции 1960—1970-х годов в старой Западной Германии. На этой основе появляется совершенно иное представление о политическом реализме, совсем непохожее на то, что

мы находим у социал-демократических и посткоммунистических деятелей последних лет. В начале века Роза Люксембург говорила про «революционную Realpolitik».[287] Для ПДС это становится формулой выживания. Адольфи считает признаками реализма смелую готовность пойти «навстречу неизвестности», «разрыв с повседневностью», «постоянное присутствие необычного».[288]

Непрекращающаяся борьба течений и групп зачастую, вызывала раздражение в самой партии. Многие участники дискуссий признавали, что идеологические споры становятся самоцелью, серьезное обсуждение стратегии и тактики заменяется «псевдодебатами» (Scheindebatten). А председатель партии Лотар Биски даже призвал: «Мы не должны блокировать друг друга, пока мы все вместе боремся против политической блокады».[289]

Однако партийные дискуссии лишь ширились и разрастались по мере усиления и роста влияния партий. Постоянные разногласия внутри ПДС отражают не только слабости стратегии, но и неоднородность ее социальной базы. В одной организации находятся представители восточных и западных земель, немцы и иммигранты (в том числе турки и курды), радикальная молодежь и левоконсервативные пенсионеры, промышленные рабочие и люди, связанные с новыми технологиями, технократы и интеллектуалы, мужчины и женщины.

Современное левое движение не может и не должно быть однородным, ибо неоднородны трудящиеся массы. В этом смысле ситуация радикально изменилась по сравнению с началом XX века, когда в Европе создавались профсоюзы и социалистические партии. Различия в квалификации, оплате и культуре внутри рабочего класса существовали и тогда. Но с тех пор они резко увеличились.

Социальную базу левых партий сегодня составляют уже не только промышленные рабочие. На одном полюсе — масса работников, не имеющих никакой квалификации, представители «неформального сектора», на другом — операторы компьютеризированных производств и высококвалифицированные работники традиционной промышленности. «Белые» и «синие воротнички» обнаруживают, что у них масса общих интересов, но совершенно разная психология. Люди, работающие в науке, осознают себя «новым пролетариатом», но не торопятся вступать в ряды «старого» рабочего движения. Представители различных рас, религий и культур не только объединены общими проблемами и совместным трудом, но и разделены традициями и предрассудками. Этот пестрый мир труда не может быть и организован механически. Но это не значит, будто консолидация в принципе невозможна. Именно неоднородность трудящихся масс делает задачу политического объединения особенно важной. Причем эффективной в таких условиях может быть только демократическая и плюралистическая организация, соединяющая черты партии и движения, отчасти даже коалиции. Как отмечают теоретики немецкой Партии демократического социализма, социальная мобилизация в современных условиях невозможна без решительного отказа от старых понятий о дисциплине. Необходимы «новые, открытые, организационные формы».[290]

Эта открытость и, возможно, некоторая организационная рыхлость затрудняют политическую мобилизацию. Но они же являются и своеобразной гарантией против оппортунизма, ибо руководство уже не может быть уверенным в безоговорочной поддержке и лояльности членской базы.

В 1998 году ПДС достигла своего наилучшего результата, получив 5,1 % голосов, причем на Западе ее поддержали 1,2 % (вместо 2 %, на которые рассчитывали организаторы избирательной кампании), зато на Востоке этой партии отдали предпочтение 21,6 % граждан.[291] Однако внутрипартийная

борьба на фоне этих успехов лишь обострялась. Противоречия между группами и течениями вылились в 2000 году в жесткую конфронтацию на съезде в Мюнстере. Открывая съезд, Лотар Биски признал, что существует конфликт между критикой капитализма и идеологией модернизации, между критиками и апологетами западноевропейской социальной модели, традиционалистами и реформаторами, левыми и правыми, «весси» и «осси». Сам Биски призвал консолидировать ПДС в качестве «партии социальной справедливости», отстаивающей «путь, альтернативный англо-американскому капитализму».[292] Такая формулировка, очевидно, не удовлетворила левое крыло, настаивавшее на том, что в качестве социалистической организации ПДС должна представлять альтернативу капитализму, а не только его англо-американской версии. Непосредственным поводом к конфронтации стал вопрос о поддержке использования немецких вооруженных сил за границей под флагом ООН. Левые выступили против любого использования немецкой армии за пределами Федеративной Республики, причем активным сторонником этой точки зрения выступила секретарь партии по международным вопросам Сильвия-Ивонн Кауфман, считавшаяся сторонником умеренного («реформаторского») крыла в партии. Съезд закончился полным поражением руководства. Отставка Биски и Гизи с руководящих постов в ПДС в ходе съезда была запланирована заранее (устав партии требовал ротации лидеров), но на фоне политического поражения эта отставка приобрела совершенно иной смысл. В качестве нового лидера правлением партии неожиданно для многих была предложена Габи Циммер (Gabi Zimmer) из Тюрингии, являвшаяся компромиссной («центристской») фигурой, способной примирить «реформаторов» и левое крыло. Формально отставка Гизи и Биски была представлена в виде выполнения уставного требования о регулярной ротации кадров, но в политическом плане выглядела как признание руководством неспособности контролировать ситуацию. Избрание Циммер оказалось компромиссом между течениями в партии. С одной стороны, она получила поддержку радикального крыла, поскольку в ней видели деятеля, способного остановить сползание партии вправо. С другой стороны, умеренные видели в ней практичного и эффективного молодого лидера. В то же время подъем молодежных «антиглобалистских» движений дал новый импульс для развития левого крыла ПДС, которое приняло в этих выступлениях активное участие. Тем самым ПДС в Германии, как и Левая партия в Швеции, особенно в лице своих молодежных организаций, вновь оказались выразителями растущей радикализации части общества.

Надо отметить, что внутренние разногласия не подорвали авторитета ПДС среди избирателей. Триумфом ПДС стали муниципальные выборы в Берлине осенью 2001 года. Партия получила 22,6 % голосов, вплотную приблизившись к социал-демократам (СДПГ) и христианским демократам (ХДС). В восточной части города ПДС с большим отрывом заняла первое место. Можно сказать, что избиратели продолжали воспринимать партию, во-первых, как выразителя интересов Востока, а во-вторых, как левую альтернативу традиционным партиям западного истеблишмента.

Троцкистские критики сталинизма, признавая идею дисциплинированной авангардной партии, постоянно обнаруживали в ней «проблему руководства». Но опыт ПДС показывает, что решающим остается вопрос о партийной демократии. Там, где партийные массы сохраняют влияние на политический процесс, сохраняется и возможность корректировки курса и полевения. История XX века продемонстрировала ограниченность централизованной структуры и «фабричной дисциплины» старого рабочего движения. Конец XX века создает возможность для торжества нового подхода.

Именно поэтому, вероятно, бразильская Партия трудящихся и германская ПДС, несмотря на очевидную рыхлость и противоречивость своей политики, долгое время казались двумя наиболее эффективными левыми партиями «нового поколения».

В начале века «моделью» для левых была немецкая социал-демократия, после 1917 года на ту же роль претендовали большевики, затем маоистская компартия Китая, повстанческие организации, создававшиеся по инициативе Эрнесто Че Гевары. Сегодня такой модели нет и не может быть. Немецкая ПДС, бразильская ПТ, мексиканское движение сапатистов представляют собой явления одного порядка именно потому, что они внешне, формально не похожи друг на друга. Все эти политические проекты, однако, оказались схожи не только своими гибкими организационными формами, но и своими противоречиями. Вторая половина 1990-х была временем их подъема, но следующее десятилетие показало, что децентрализованная и «гибкая» модель, пришедшая на смену старой партийной дисциплине, сама по себе не гарантирует ни эффективности, ни политической принципиальности.

Левое движение «новой волны» не может быть однородным, его объединяет именно отсутствие стандартной формы и единой модели при наличии общих задач и целей. Вообще организационные формы оказываются подвижными, неустойчивыми, поскольку складываются на основе крайне противоречивой практики. И все же, необходимость плюрализма и широкого объединения не отменяет потребности в единой стратегии и общих целях. Больше того, если общность социалистической цели заменяется декларативным согласием с абстрактными лозунгами, все плюсы плюралистической организации немедленно оборачиваются минусами.

Как бы ни велика была ценность плюрализма, необходимы объединяющие и консолидирующие механизмы, позволяющие принимать общие решения, а главное — выполнять их. Без общей организации различные группы трудящихся не только не смогут отстоять общие интересы (а тем более — изменить общество), но не сумеют решить и свои специфические, «частные» задачи. Отсутствие солидарности и помощи со стороны «других» всякий раз будет вести к поражению «своих».

Неоднородность является характерным признаком левых организаций «новой волны» независимо от того, где разворачивается их деятельность — в Европе, Азии или Латинской Америке. В Новой Зеландии, где резкий поворот вправо старой Лейбористской партии вынудил социалистов уйти и создать Новую лейбористскую партию (New Labor Party), ее влияние оставалось незначительным, пока она не объединилась с другими радикальными организациями, представлявшими коренное население, женское и экологическое движение, сформировав «Альянс». Популярность «Альянса» стала бурно расти, что вскоре привело его в правительственную коалицию с теми же старыми лейбористами. Не имея ни четкой стратегии, ни ясных политических целей, «Альянс» оказался не готов к правительственной ответственности, распался на правое и левое крыло.

Турция может быть еще одним примером того, как объединение различных сил позволило создать левую партию «новой волны». Здесь в конце 1990-х на политическую сцену вышла Партия свободы и солидарности. Ее лидер Уфак Урас определил свою организацию как «плюралистическую, открытую партию», своеобразную коалицию «революционной левой, социалистов, социал-демократического актива, феминисток, зеленых, антимилитаристов, анархистов и т. д.». Задача партии, выросшей за несколько месяцев 1996–1997 годов до 30 тысяч человек, состояла, по словам ее

лидера, в том, чтобы «заново основать левое движение».[293]

Первым шагом к объединению левых было создание десяти революционными группами в 1995 году Объединенной социалистической партии (BSP). Затем стало возможно образование более широкой организации — Партии свободы и солидарности. Процесс объединения занял несколько лет. Показательно, что он проходил на фоне стихийного роста рабочего движения. Парадоксальное на первый взгляд сотрудничество неолибералов и исламистов в турецком правительстве после выборов 1996 года создало ситуацию, когда левые оказались единственной идеологической и политической альтернативой. Партия свободы и солидарности в условиях Турции стала не только носителем социалистических идей, но и наиболее последовательным защитником гражданских свобод и светских принципов. Это, по оценкам активистов партии, является одновременно ее силой и ее слабостью, поскольку большая часть их деятельности оказалась посвящена именно защите общедемократических свобод. В известном смысле эта партия бросила вызов всей традиционной для Турции политической культуре с ее авторитаризмом и клиентелизмом. Ее основатели стремились преодолеть традицию сектантства и экстремизма, характерную для турецких левых в 1970-е годы и отнюдь не преодоленную на протяжении 1980-х. В то время как левоцентристские партии, претендующие на роль местной социал-демократии, сдвигались вправо, превращаясь в безликие группировки, обслуживающие оппортунистических лидеров, левые смогли объединиться, противопоставив себя как господствующему в стране неолиберализму, так и политическому исламу. Однако давние традиции сектантства скоро дали о себе знать. Начались расколы. Лишь с большим трудом партии удалось выжить.

В значительной мере то же самое могло быть сказано про Народно-демократическую партию в Индонезии, быстро набиравшую силу в конце 1990-х по мере того, как поднималась волна массового протеста против диктатуры Сухарто. Стремительная индустриализация страны создала условия для роста рабочего движения, формировавшегося одновременно с созревающей в обществе потребности в демократии. Однако падение режима, открыв перед левыми новые легальные возможности, поставило их и перед множеством острых стратегических и тактических вопросов, к решению которых они отнюдь не были готовы.

Бразильская Партия трудящихся (ПТ) долгое время считалась среди левых своеобразной «моделью» успешной организации. Она также относится к числу «поздних» и «политически неоднородных». Бразильский социолог Эмир Садер говорил даже о «преимущество опоздавшего».[294] В отличие от популистской и сектантской «революционной левой», Партия Трудящихся сложилась как массовая рабочая организация, тесно связанная с профсоюзами и «новыми социальными движениями», опорой партии стало мощное профобъединение Единый центр трудящихся (Central Unica dos Trabalhadores — CUT).

Для многих в Латинской Америке и даже в Европе ПТ стала своего рода «моделью», образцом нового типа политической организации, избегающей крайностей централизма, сочетающей революционную спонтанность с широкой демократической дискуссией.[295]

Бросается в глаза идеологическая неоднородность ПТ: тут и различные марксистские течения, и «теология освобождения», и социал-демократы. Крупнейшим бастионом партии является Сан-Паулу, самый индустриальный и модернизированный город страны с квалифицированными рабочими и постиндустриальными технологиями. В то же время ПТ добилась массовой поддержки в деревне,

среди безземельных крестьян, живущих зачастую в условиях полуфеодальной системы.

На президентских выборах 17 декабря 1989 года кандидат ПТ профсоюзный лидер Луис Игнасио Лула да Сильва проиграл всего 5 % кандидату правых Фернандо Коллору. Успех ПТ на выборах 1989 года и крайне неудачное правление Коллора, сопровождавшееся скандалами и кончившееся его досрочной отставкой, вызвало у активистов партии почти уверенность, что Лула неизбежно станет следующим президентом Бразилии. В 1993 году по опросам общественного мнения он опережал своих предполагаемых соперников на 20 %. Однако левые существенно недооценили возможности бразильской буржуазии. Следующим президентом страны стал не Лула, а Фернандо Энрике Кардозо, бывший радикальный социолог.

Правящие круги страны вынуждены были выбрать самого «левого» кандидата, какого только могли найти. Марксистское прошлое Кардозо дезориентировало и значительную часть активистов ПТ, надеявшихся на сотрудничество с новой администрацией. К тому же в ПТ, как и в любой большой рабочей партии, вовлеченной в управление на местном уровне, сложилось влиятельное правое крыло, выступающее за «социал-демократизацию» бразильской левой. Часть парламентских лидеров левых после поражения на выборах 1994 года мечтала о сотрудничестве с новым «прогрессивным президентом». Однако этим иллюзиям не суждена была долгая жизнь. Став во главе страны, бывший радикальный социолог стал проводить жесткую неолиберальную политику.

Электоральный успех Кардозо был основан на реальных экономических победах, которые были достигнуты им еще в период предыдущей администрации. В стране, привыкшей жить в условиях гиперинфляции, он сумел успешно провести финансовую реформу и дать в руки бразильцев «настоящие» деньги — неслучайно новая денежная единица была названа «реал» (формально в честь старой португальской монеты, но на самом деле — в честь того, что у банкнот теперь появлялась «реальная» ценность). Любопытно, что Кардозо проводил свою политику, совмещая традиционные неолиберальные рецепты с некоторыми идеями, почерпнутыми из арсенала левых. Так, его план, предусматривавший на первых порах сосуществование новых денег (реалов) со старыми (крузейро), в точности повторял реформу, проведенную большевиками в начале 1920-х годов (введение в оборот «червонца» параллельно с обесцененными «совзнаками»).

На первых порах ПТ критиковала «план Реал», предсказывая ему поражение, но в краткосрочной перспективе план сработал, а его левые критики, казалось, были посрамлены. Поражение на выборах 1994 года обнажило, по признанию активистов партии, «стратегический вакуум».[296] До выборов слишком многое строилось вокруг кандидатуры Лулы. Дискуссии о стратегии откладывали в надежде на быстрое завоевание центральной власти. Между тем у партии был и другой опыт, позволившей ей пережить неудачу на выборах и быстро восстановить свое влияние в качестве ведущей политической силы в стране.

Важнейшим достижением ПТ в 1990-е годы стала ее активная работа в местном самоуправлении. Четыре года правления левых в крупнейшем городе страны Сан-Паулу не стали грандиозным успехом, хотя нет причин и говорить о провале. Представители ПТ оказались неплохими администраторами, но не смогли радикально улучшить жизнь для беднейших слоев населения. В самой партии наблюдались острые разногласия между прагматиками, доминировавшими в администрации, и городскими социальными движениями, давившими на них слева. Местная администрация проводила политику муниципализации транспорта, при этом постоянно подчеркивая

разницу между своими методами и традиционным «огосударствлением». На определенных условиях в состав общественного сектора входили и частные предприятия. Главной целью муниципализации стало установление «социального тарифа для коллективного транспорта».[297]

Несмотря на энергичное начало, левая администрация в Сан-Паулу не смогла консолидировать свою социальную базу и удержаться у власти. В значительной мере это связано и с нараставшим в ее рядах «реализмом», приведшим, в конечном счете, к острой конфронтации с профсоюзами муниципальных служб, разочарованными в результатах работы левой мэрии.

Куда большими оказались достижения ПТ в Порту-Алегри и Бело-Оризонте. Левые взяли в свои руки управление мегаполисами с населением в несколько сот тысяч, а иногда и более миллиона жителей. С одной стороны, муниципальные ресурсы использовались для активной инвестиционной политики, что позволяло создавать рабочие места, а с другой, утверждался принцип открытости и публичности в принятии решений. Общественная собственность управлялась не анонимными бюрократами, а самим обществом на основе народного участия в формировании бюджета (партисипативного бюджета). Рассмотрение очередного бюджета теперь начиналось на уровне местных гражданских ассамблей, а городские депутаты вынуждены были теперь лишь утверждать то, что обсуждено и принято населением.[298] На практике, однако, жители города могли распределять далеко не весь бюджет, а лишь его часть, причем меньшую. Но и это было значительным шагом вперед на фоне коррупции, неэффективности и бюрократического произвола, которые характеризовали предшествующую администрацию.

«Партисипативный бюджет» Порту-Алегри на какое-то время стал настоящей модой среди радикальных левых как в Западной Европе, так и в Латинской Америке. Этот опыт приезжали изучать с другого берега Атлантики.[299] Повлиял он и на методы управления в других латиноамериканских городах, оказавшихся на рубеже XX и XXI веков в руках латиноамериканских левых. Правда, в полной мере этот процесс полностью не был воспроизведен почти нигде, хотя в руках левых к концу 1990-х — началу 2000-х годов оказались крупнейшие мегаполисы (Монтевидео, Каракас, Мехико).[300]

Смысл проводимой политики идеологи ПТ определили словами «завоевание гражданских прав на уровне города».[301] Некоторые энтузиасты видели в подобном подходе прообраз новой демократии, которая придет на смену формализму буржуазного порядка, и даже начало революционного двоевластия. Скептики, напротив, отмечали, что партисипативный бюджет и «демократия участия» отнюдь не отменили капиталистического строя, более того, не способствовали радикальному перераспределению ресурсов в пользу беднейших слоев населения города.

Определенный прогресс в социальных вопросах был, несомненно достигнут, но следует помнить, что Порту-Алегри и до победы ПТ был одним из наиболее благополучных городов Бразилии.

Муниципальные выборы 1996 года стали для партии проверкой ее способности пережить поражение в борьбе за президентское кресло. Эти выборы показали расширение социальной базы партии и географической зоны ее влияния. В крупных индустриальных центрах, являющихся традиционной базой ПТ, она получила немного меньше голосов, чем на президентских выборах, но зато резко усилила свое присутствие в отсталых регионах севера, где раньше была слаба. В Порту-Алегри левые доказали, что проводимая ими политика популярна, а сформированная ими система пользуется доверием большинства жителей. Главной причиной, приведшей к потере голосов на

индустриальном Юге, были не административные проблемы в управляемых партией городах, а постоянные публичные разногласия между различными течениями. Там, где левые смогли действовать сообща, они достигли успеха.

Муниципальная политика становится принципиальным стратегическим направлением для левых «новой волны». В первой половине 2000-х годов левая администрация находилась у власти в целом ряде мегаполисов — от Берлина до Мехико и от Монтевидео до Лондона.

Если для социал-демократических и коммунистических движений прошлого муниципальный социализм был лишь этапом на пути к центральной власти, для левых партий нового поколения он становится экспериментальной лабораторией перемен. Муниципальный социализм теоретически позволяет сочетать ориентацию на общественную собственность с децентрализацией, преобразованием структуры власти и использованием рыночных стимулов.

На практике, впрочем, все оказывается весьма непросто. Капиталистическая система заставляет даже радикальную местную администрацию играть по своим правилам. Муниципальный социализм должен создавать и воспроизводить собственную социальную и политическую базу, сталкиваясь с многочисленными проблемами.

Партия Демократического социализма в Германии обнаружила, насколько это сложно, когда ее представители, жестко отвергаемые политическим истеблишментом, начали возглавлять муниципалитеты — сначала в небольших городах. Поглощение Восточной Германии Западом предопределило и отсутствие в «новых землях» собственной крупной буржуазии. Напротив, мелкая и средняя буржуазия на Востоке чувствовала себя ущемленной и неполноправной. В результате партия получила здесь поддержку не только трудящихся, но и части мелких и средних предпринимателей. Избранные в восточных землях бургомистры-социалисты оказались перед сложной дилеммой: являются ли они только представителями трудящихся или представляют «общие интересы местности».[302]

В условиях, когда и то, и другое предполагает противостояние власти и крупным корпорациям Запада, подобные противоречия могут отходить на второй план, но они не могли остаться незамеченными для активистов и теоретиков партии. Отто Теель; избранный по списку ПДС бургомистр небольшого города Нейруппин, признавался на страницах партийного журнала, что его мучает «внутренний конфликт».[303] В сущности, речь идет об общей проблеме любой левой местной администрации в капиталистическом обществе. Причем здесь нет и не может быть готового рецепта, а любой успех по определению может быть только частичным. Единственным средством разрешить эти противоречия является постоянное движение вперед и демократический диалог между администраторами, партийными активистами и массовыми движениями.

В конце 1980-х и в 1990-е годы левые в Латинской Америке добивались успехов в таких крупнейших деловых и индустриальных центрах, как Сан-Сальвадор, Каракас, Монтевидео, Сан-Паулу и Мехико. Их практическая муниципальная работа во многих случаях была вполне успешной. Как показал опыт, успехи в крупнейших городах не гарантируют еще прихода к власти на общенациональном уровне, но они являются важным этапом борьбы за преобразование общества.

Оценивая работу муниципалитетов, находящихся под управлением ПТ, Лула пришел к выводу, что благодаря этому опыту партия стала более «зрелой», не став при этом менее радикальной: «А партия становится зрелой не тогда, когда делается более умеренной, а тогда, когда она осознает свою

ответственность».[304] При этом будущий президент Бразилии тактично умолчал о том, что и он сам, и его политическое окружение постоянно одергивали представителей левого крыла партии и сдерживали их. Активистам ПТ из Порту-Алегри объясняли, что они заходят слишком далеко, проводят «слишком узкую политику союзов».[305] В конечном счете, однако, более радикальные местные организации добились большей поддержки избирателей, чем умеренные.

В тех случаях, когда затеянные радикалами эксперименты удавались, партийная верхушка с удовольствием заявляла о солидарности с ними и даже косвенно приписывала их себе. Так было с идеей партисипативного бюджета, которая на первых порах была воспринята как совершенно излишняя, а затем, когда «модель Порту-Алегри» вошла в моду, Лула стал охотно выражать ей поддержку, намекая, что в этом городе можно увидеть прообраз того, как будет управляться после победы левых вся Бразилия. С другой стороны, по мере того как правое крыло партии начинало проникаться интересом к «демократии участия», сама демократическая практика левых муниципалитетов все более сводилась к набору формальных процедур.

Описывая ситуацию в Латинской Америке, мексиканский социолог Беатрис Столович отмечала трагический парадокс. С одной стороны, «никогда не было столько прогрессивных парламентариев и столько муниципалитетов, управляемых левыми». А с другой стороны, «росло разочарование, особенно среди молодежи». Муниципалитеты, управляемые левыми, характеризовались «отсутствием коррупции, бюрократических злоупотреблений, репрессий, улучшением состоянием улиц, площадей и культурных учреждений». Но воспользоваться плодами этих улучшений мог преимущественно «средний класс», тогда как большинство жителей продолжало прозябать в нищете. Выигрывать выборы стало легче, но среди левых активистов все чаще звучал вопрос — «ради чего?» («ganar para qué?»).[306]

В муниципалитетах, возглавляемых ПТ, усиливались конфликты между более умеренными администраторами и более радикальными активистами. Уже в самом начале восхождения партии к власти подобные противоречия привели к поражению администрации Луизы Эрундины в Сан-Паулу. Парадокс в том, что избиратели, голосовавшие за левую муниципальную администрацию, надеялись, будто она будет и радикальной, и компетентной одновременно, тем самым обеспечив для масс ощутимое улучшение жизни. Когда в 1997 году бывшие повстанцы в Сальвадоре получили большинство в муниципалитетах столицы и шести крупнейших городах, активисты движения отмечали, что люди «хотят от нас конкретных результатов», и в то же время это было голосование за «радикальные перемены».[307]

На локальном уровне успех может быть достигнут за счет новаторского подхода и радикальных решений, меняющих правила игры. Но в то же время левая местная администрация, сколь бы радикальна она ни была, не может игнорировать логику капиталистической системы. Тем самым она изначально находится в двойственном положении, испытывая давление с противоположных сторон. Без постоянного напора снизу левая администрация просто не имеет перспективы, она будет подавлена силой системы. Критика и поддержка оказываются взаимосвязаны. Задача левой муниципальной власти состоит именно в том, чтобы быть, в отличие от либеральной администрации, открытой для такого давления.

Кен Ливингстон, описывая свою деятельность в качестве председателя Совета Большого Лондона (GLC), подчеркивал, что многие наиболее удачные решения он принял под давлением «снизу».

Принцип открытого принятия решений, как и в муниципалитетах бразильской Партии Трудящихся, оказался залогом популярности. Расправа правительства тори с GLC была следствием его успеха — у правительства не было шансов победить в открытой избирательной борьбе. Именно поэтому правительство вынуждено было пойти на беспрецедентную в условиях демократии меру, ликвидировав городское самоуправление в столице.

«Левые в парламенте в десять раз эффективнее, когда за стенами парламента — в обществе, на фабриках — массы действуют. И наоборот, выступления масс более успешны, когда есть группа парламентариев, готовая поддержать их борьбу в Палате общин», — отмечает Ливингстон.[308] Но если «парламентский социализм» может в течение значительного времени существовать в изоляции от массового движения, то муниципальный социализм без критической поддержки снизу выжить не может. Участь многих левых администраций доказала это, так сказать, «от обратного».

Вопрос о соотношении ответственности и оппозиционной принципиальности в 1990-е годы остро вставал перед левыми всякий раз, когда они, вырвавшись из политического гетто, сталкивались с проблемами управления. К счастью, правильное решение часто подсказывается противниками движения.

Если бы социальная политика Кардозо была хоть немного более гибкой, разногласия внутри ПТ были бы еще сильнее, Точно так же немецкая ПДС по отношению к социал-демократии, по выражению одного из критиков партии, разрывалась «между коалицией и оппозицией».[309] К счастью для левых, самодовольная неуступчивость, примитивный антикоммунизм, типичный для западных «зеленых» и социал-демократов, сделали такой союз невозможным, сохранив ПДС в качестве оппозиционной партии.

Там, где ситуация не столь ясна, левые постоянно балансировали на грани внутреннего кризиса. Поразительно схожие ситуации возникали в самых разных странах. Причем речь идет не только о выборе тактики по отношению к «внешним» партнерам, но порой и о взаимоотношениях внутри самого левого движения. Его неизбежная неоднородность превращает лозунг «единства левых сил» в постоянную задачу, которую то и дело приходится решать заново, одновременно выбирая оптимальную политику по отношению к власти и ответственности. Проблема не только в разногласиях по тактике, но и в разной политической культуре. Каждая группировка имеет собственную политику союзов, которая, в конечном счете, может работать против консолидации левых сил. Даже внутри одной партии обнаруживаются острые разногласия по вопросу о партнерах. Соблазн коалиции естествен, ибо серьезная партия не может просто говорить «нет» обществу, она должна реально работать на свою социальную базу здесь и сейчас, а это значит, что она не может в определенных случаях избежать «конструктивного взаимодействия» с истеблишментом. Другой вопрос, на какой основе и ради какой цели. Например, в Индии, несмотря на почти двадцать лет дискуссии о единстве левых, реальные результаты к середине 1990-х были невелики. Причина не только в сектантстве, догматизме и амбициях лидеров: «Единство левых не может быть поставлено в зависимость от обязательств, которые каждый из партнеров имеют перед буржуазными партиями», — заявил Нагушан Патнаик, председатель Коммунистической Партии Освобождения, приветствуя съезд «официальной» коммунистической партии.[310] Однако что это означает на практике? Подобный подход требует существенного пересмотра тактики и стратегии в каждой из стремящихся к объединению организаций.

В индийских штатах Керала и Западная Бенгалия коммунистические администрации оказались способны удерживаться у власти по многу лет, пользуясь неизменной поддержкой населения. Однако искусство управления требовало не только постоянного общения с массами, но и способности учитывать интересы местного бизнеса, стимулировать инвестиции и жить по законам капитализма. Консервативный американский «Newsweek» с одобрением пишет про то, как лидер Коммунистической партии Индии (марксистской) в Западной Бенгалии Баддахадэб Баттачарджи (Buddahadeb Bhattacharjee) усваивает логику рынка: «Седой человек с мягкими манерами, он носит, как и большинство бенгальских интеллектуалов, большие очки и спокойно относится к „капитализму“, при условии, конечно, что будут защищены интересы рабочих и бедных. В любом случае, он продвигает реформы на рынке труда, чтобы по-больше компаний перенесли производство в Западную Бенгалию. Он говорит, что рабочие и менеджеры должны „разделять общую заботу“ о повышении производительности».[311] Профсоюзные деятели оказались не слишком восприимчивы к подобной пропаганде, организовав забастовку, которая парализовала столицу Западной Бенгалии Калькутту.

Удержание муниципальной власти, управление регионом сами по себе не могут быть для левых самоцелью. Хорошо управлять в условиях капитализма в конце концов, могут и правые администрации. Если у них это часто не получается, то лишь потому, что правящие классы и их политическая обслуга на рубеже XX и XXI веков, как правило, оказываются неспособны обеспечить обществу даже тот минимальный уровень эффективности и порядочности, который должен быть само собой разумеющимся правилом буржуазной демократии. Но задача левых состоит в преобразовании общества, в демократическом экспериментировании и в развитии общественного сектора. Если эти условия не выполняются, левая администрация на практике не отличается от правой.

Выбор между «оппозиционностью» и «конструктивностью» всегда будет блужданием впотьмах до тех пор, пока у левых нет четких критериев успеха, которых, в свою очередь, не может быть, пока цели остаются размытыми. Неоднородность левого движения не отменяет необходимости в объединяющей идеологии. Более того, именно различия между силами, составляющими опору левых, делают такую идеологию жизненно необходимой. Один из участников программной дискуссии ПДС, Иоахим Хемпель высказался по этому поводу достаточно категорично: «Без социалистических мотивов, практических интересов и соответствующего нового сознания демократическое большинство просто не будет завоевано, а невыносимая социальная ситуация, антисоциальные отношения и разрушение системы социальной защиты сами по себе к стихийному сопротивлению не ведут».[312]

22 октября 2001 года Партия демократического социализма одержала триумфальную победу на местных выборах в Берлине. Общий счет в 22,6 % голосов на деле состоял из 47,6 %, полученных на Востоке, и внушительных 6,9 % в западной части города. Социал-демократы несколько опередили левых, получив около 30 %, но было совершенно ясно, что управлять Восточным Берлином без ПДС теперь просто невозможно.

До того берлинский Сенат находился в руках большой коалиции ХДС и СДПГ, которая отметилась серией коррупционных скандалов, вопиющей неэффективностью и разбазариванием огромных средств. Город был фактическим банкротом.

По итогам выборов была сформирована коалиция социал-демократов и ПДС. Лидеры и идеологи демократических социалистов не скрывали, что берлинский эксперимент имеет федеральное (а может быть, и общеевропейское) значение. «Участие во власти, — писал близкий к ПДС исследователь Рольф Райссиг, — в условиях Федеративной Республики Германии является практически, политически и даже концептуально-теоретически чем-то вроде открытия новой земли (Neuland), уникальным общественным „тестом“ для самой партии, для демократических левых, для общественной жизни и политической культуры страны».[313] Политика ПДС должна была, по словам ее лидеров, подорвать «консервативную гегемонию» и, приведя партию в систему власти в качестве «части общественного протеста», заложить основы «нового общественного объединения» (neues gesellschaftliches Buendnis).[314] Не больше не меньше.

ПДС получила возможность участвовать не только в управлении Берлином. Она вошла и в земельное правительство Мекленбурга-Померании. В Тюрингии демократические социалисты, потеряв часть своего электората, оставались силой, без которой невозможно было принять ни одного решения. На этом фоне берлинский эксперимент приобретал огромное значение. Для руководящего круга партии успех в германской столице сулил перспективу участия в правительственных коалициях на федеральном уровне. Если социал-демократы не смогут управлять востоком страны без левых, значит, последних так или иначе придется привлечь и к управлению всей Германией. Увы, тест, оказался не слишком удачным. Если с точки зрения инвесторов и федеральных чиновников ПДС, возможно, и выдержала экзамен на политическую зрелость, то с точки зрения значительной части своих собственных избирателей она его провалила. Левые сенаторы не смогли радикально изменить проводившийся в столице экономический курс. Скандальные приватизационные сделки, заключенные предыдущей администрацией, пересмотрены не были. Профсоюзы жаловались, что ничего не было предпринято для создания рабочих мест и оживления экономики. Конфликт по вопросам образования привел к забастовке студентов. Грегор Гизи, поработав некоторое время в городском управлении, ушел в отставку. Популярность партии в Берлине неуклонно падала — с почти 24 % в декабре 2001 года до исторически низкого уровня в 10 % к концу 2002 года.[315] В оправдание ПДС можно сказать, что, во-первых, она правила не самостоятельно, а в качестве младшего партнера в коалиции с социал-демократами. Во-вторых, к моменту формирования нового правительства столица Германии фактически была банкротом. Огромное долговое бремя связывало руки городской администрации.

Долги Берлина, унаследованные новой администрацией, действительно были феноменальными — при бюджете порядка 20 миллиардов евро задолженность города к 2004 году достигла 58 миллиардов! Для выплаты процентов и возвращения кредитов приходилось брать новые займы. Город, в отличие от федерального правительства, не может решать проблему за счет инфляции или снижения курса национальной валюты. Нет шансов объявить дефолт и просто отказаться платить. Однако даже на этом фоне у левой администрации есть определенный выбор. Городские власти не предприняли ничего, чтобы переложить хотя бы часть финансового бремени на бизнес-элиты. Они не сделали никаких шагов в сторону партисипативного бюджета (как поступили представители ПТ в Порту-Алегри, получив город в аналогичной ситуации). Не было предпринято и заметных шагов по развитию муниципальных предприятий.

Возникает вопрос: если нет возможности ничего сделать, зачем вступать в коалицию? Зачем

принимать на себя ответственность, не имея шансов выполнить собственную программу? Беда в том, что и программы как таковой не было.

Лозунги, с которыми ПДС шла на выборы, были лишь благими пожеланиями. А вот некоторые конкретные предложения, сделанные во время избирательной кампании, выполнены не были.

Прежде всего, речь шла об аэропорте в Шенефельде, против реконструкции которого резко выступала партия. Эта позиция завоевала ей массовую поддержку жителей округа, явно не хотевших, чтобы над их головами каждые несколько минут проносились реактивные самолеты.

Однако, войдя в коалицию, представители ПДС тут же согласились на реконструкцию аэропорта. К их чести надо признать, что в течение некоторого времени они предпринимали попытки бюрократического затягивания дела, но эта малодушная методика ничего не дала: проект продвигался.

В конечном счете, самый тяжелый ущерб партии нанесло не отступление от идейных принципов, а беспринципность в мелких, но конкретных вопросах, подразумевавшая не абстрактный отказ от левой идеологии, а предательство интересов совершенно конкретных людей, избирателей. Подобное отступничество невозможно было объяснить ни состоянием городского бюджета, ни соображениями высокой политики. Вернее, объяснить было можно, и эти объяснения партийными деятелями произносились на каждом шагу, но люди их не принимали.

Анализируя итоги берлинского эксперимента, идеологи ПДС сделали ряд совершенно правильных выводов. Для того чтобы восстановить доверие к заседающим в Сенате лидерам, необходимо наладить «диалог с различными социальными движениями и профсоюзами».[316] Для того чтобы сохранить собственное лицо, партии недопустимо слишком сближаться с социал-демократией: «Некритическое сближение ведет к потере идентичности, доверия и избирателей».[317]

Последнее было сказано уже после того, как массовое дезертирство не только избирателей, но и активистов партии стало свершившимся фактом. Федеральные выборы 2002 года обернулись для ПДС катастрофой. Если в начале лета опросы предрекали ей почти 7 % голосов, то к осени ее популярность начала стремительно падать. Единственным ее козырем оставались антивоенные лозунги. Назревала агрессия Соединенных Штатов против Ирака, президент Джордж Буш произносил милитаристские речи, а европейские пацифисты почти ежедневно выходили на марши протеста. Неожиданно для левых социал-демократы тоже выступили против войны. Канцлер Шредер, вспомнив свою радикальную молодость, обрушился на президента США с яростной критикой.

Социал-демократы выиграли выборы. ПДС набрала всего 4 % голосов, не сумев преодолеть барьера, необходимого для участия в Бундестаге. В отличие от прошлых лет, не смогла она завоевать и три прямых мандата. Она оказалась представлена в парламенте лишь двумя депутатами, прошедшими по территориальным округам. Голоса были потеряны и на Востоке, и на Западе, но большая часть потерь пришлось именно на восточные земли. Если на Западе партия потеряла всего 0,1 % голосов, то на Востоке ее популярность сократилась на 4,7 %. Самые ощутимые потери партия понесла в Берлине.

Это поражение произошло на фоне весьма завышенных ожиданий партийного руководства. Ведь еще за полгода до выборов (до того, как-дало о себе знать разочарование работой ПДС в Сенате Берлина), за нее собиралось голосовать до 6,9 % избирателей.[318]

Берлинская катастрофа ПДС была заранее запрограммирована. По большому счету, проблема состояла не в том, насколько большими оказались уступки, на которые пришлось идти ради сотрудничества с социал-демократами, а в том, что сама по себе социал-демократия превратилась из умеренно левой, пусть даже оппортунистической, силы в правую, неолиберальную силу, с которой надо было не сотрудничать, а непримиримо бороться. Любое — независимо от конкретных условий — сотрудничество с партией Шредера могло означать только одно: участие левых в проведении неолиберальной, антисоциальной политики. Именно неспособность (или нежелание) понять этот достаточно простой факт предопределило череду неудач, с которыми столкнулось руководство демократических социалистов.

После выборов руководство ПДС оказалось в состоянии шока. Среди лидеров началась ожесточенная борьба за власть. Однако результатом «шоковой терапии» 2002 года стал новый поворот влево. Не только радикальные критики прежнего курса, но и его сторонники сошлись на том, что социалистам, чтобы вернуться в федеральную политику, надо проявить характер, занять жесткие позиции и противопоставить себя правому курсу социал-демократов. Показательно, что Левая партия Швеции и Социалистическая левая партия Норвегии, идеологически близкие к ПДС, сделали аналогичные выводы.

На съезде в Гере, прошедшем 12–13 октября 2002 года, лидер ПДС Габи Циммер, пообещавшая проводить более левый курс и, в частности, пересмотреть условия сотрудничества с СДПГ, была переизбрана подавляющим большинством голосов. Правая пресса восприняла произошедшее как начало кризиса и превращения ПДС в «секту». Среди сторонников и членов партии это, напротив, воспринималось как первый шаг к преодолению кризиса.

Поскольку съезд в Гере примирить враждующие группировки не смог, Габи Циммер уступила место Лотару Биски, который вернулся на пост лидера с твердой решимостью вновь сплотить партию, примирить различные течения и наладить работу. Добросовестный политический работник, никогда не отличавшийся чрезмерными амбициями, Биски взял на себя неблагодарный труд по спасению тонущего корабля. В значительной мере ему это удалось, рейтинг партии стабилизировался. Даже в Берлине число ее сторонников начало мало-помалу расти. Но теперь ПДС приходилось, по сути, заново искать свое место в политической жизни страны. Многое из того, что было с таким трудом достигнуто в 1990-е годы, казалось потерянным.

Однако история предоставила восточногерманским социалистам еще один шанс. Неолиберальная политика Шредера привела к расколу социал-демократии и тем самым открыла перспективу для формирования новой левой партии в Германии.

Гром грянул весной 2005 года. Сначала избиратели земли с Северный Рейн — Вестфалия отправили в отставку местное социал-демократическое правительство. Выборы обернулись беспрецедентной катастрофой для СДПГ. Мало того, что с поражением в Вестфалии правительство Шредера окончательно теряло влияние в верхней палате германского парламента — Бундесрате, превращаясь в заложника христианско-демократической оппозиции. Психологический шок был не менее значимым. Северный Рейн — Вестфалия для немецкой социал-демократии является примерно тем же, что Бавария — для консерваторов. СДПГ правила и побеждала здесь всегда, начиная с первых свободных выборов после Второй мировой войны. Но именно традиционный социал-демократический избиратель теперь резко отвернулся от партии Шредера, отказав ей в доверии. И не

столько консерваторы победили — они сами были растеряны, не зная, что делать со своим успехом, сколько правящая партия проиграла.

Массовое дезертирство избирателей совпало с уходом активистов. На протяжении многих лет люди терпели и сохраняли партийную лояльность — во имя исторических традиций социал-демократии или в надежде, что, поддерживая «свою» партию, они останавливают правых. Но отныне социал-демократы не могли даже представить себя «меньшим злом». Терпение лопнуло.

Сначала из партии стали выходить профсоюзные деятели, Потом начали открыто говорить о своем несогласии и некоторые политики которые до того молчали или, критикуя партийное руководство, не решались открыто бросить ему вызов выступлениями политиков. Лидером недовольных стал бывший министр финансов Оскар Лафонтен. «Когда возглавляемое социал-демократами правительство навязывает народу антисоциальные рыночные реформы, долг всякого настоящего социал-демократа бороться с этим правительством», — заявил он.[319] Проведя 39 лет в социал-демократической партии, теперь он готов был выйти из нее, во имя все тех же принципов, которые некогда заставили его в эту партию вступить.

Выборы в земельный парламент состоялись 22 мая в самый разгар подготовки к референдуму по проекту Европейской Конституции, проводившемуся во Франции и Голландии. Не прошло и месяца, как французы и голландцы отвергли конституционный проект, за который дружно агитировали политики всех ведущих партий. Затем саммит Европейского Союза не сумел принять бюджет. Интеграционный проект оказался в кризисе.

Это выглядело странным на фоне оптимистических прогнозов, которые годами обрушивали на обывателя средства массовой информации и аналитические центры. Политическая авария произошла на фоне многочисленных экономических и социальных проблем, которые лидеры Союза много лет тщательно и любовно создавали. Правда, создавали они проблемы не для себя, а для своих граждан, старательно угождая банкирам, транснациональным корпорациям и бюрократии, расплотившейся до таких масштабов, что кошмары Франца Кафки кажутся милой детской сказочкой.

Со времен Маастрихтского договора 1992 года каждый новый шаг в сторону интеграции сопровождался возрастающим сопротивлением жителей континента, но всякий раз правящим классам удавалось это сопротивление сломить. Теперь, однако, недовольство достигло критического порога. Переступить его оказывалось невозможно без прямого и открытого отказа от институтов буржуазной демократии.

Комментаторы, выражающие точку зрения правящего класса, после некоторого замешательства все же придумали удобное для власти имущих объяснение. Народ во Франции и Голландии проголосовал против «польского сантехника» и его восточноевропейских коллег, которые «понаехали тут» после расширения Евросоюза. А заодно — против присоединения Турции к единой Европе. Испугались за свои рабочие места, поддались расистским предрассудкам. В общем, население глупое, отсталое, эгоистичное, насквозь зараженное ксенофобией. А элиты — просвещенные и гуманные.

Самое печальное, что подобные рассуждения можно услышать от крайних левых не реже, чем от либеральных правых. Когда, критикуя Шредера, Оскар Лафонтен упомянул, что немецкие рабочие теряют свои места из-за социального демпинга, связанного с ввозом дешевой рабочей силы, это вызвало бурю протестов на левом фланге.[320] Дискуссия свелась к чисто филологическому

вопросу: имел ли политик право употреблять слово *Fremdarbeiter*, которое использовалось в нацистской Германии для обозначения людей, привезенных в рейх для подневольного труда. На Лафонтена обрушился поток обвинений, причем с поразительным единодушием, против него выступили и либеральные «зеленые» из «*Tageszeitung*», различные троцкистские секты и даже берлинская русскоязычная «Еврейская газета».[321] Если не считать прессы, близкой к ПДС, защищала политика из Саара только газета «*Junge Welt*», обычно не щадившая демократических социалистов. В данном случае, однако, «*Junge Welt*» вновь пошла против течения, напомнив, что в основе левой идеологии лежит все же не либеральная политкорректность, а интернационализм трудящихся. Левые должны решить, кто они: борцы против системы или лоббисты, отстаивающие культурные права этнических меньшинств? Политкорректные левые «в мелочах правы», но забывают главное — «интересы рабочего класса».[322] Поощрение иммиграции (и раздувание возникающих на этой почве конфликтов) является инструментом социального демпинга со стороны буржуазии. Защита прав меньшинств необходима, но точно так же необходима и защита права на труд. А поощрение иммиграции само по себе в условиях неолиберального капитализма выгодно лишь тем, кто хочет заменить высокооплачиваемых и организованных в профсоюзы немецких рабочих бесправными и социально менее опасными иностранцами.

По сути, термин *Fremdarbeiter*, пожалуй, вполне точно отражает статус польских и других восточноевропейских рабочих, которых в соответствии с новыми правилами Евросоюза можно теперь импортировать на Запад, не обеспечивая им ни условий труда, ни уровня заработной платы, соответствующих местным законам. По решению брюссельских бюрократов, восточноевропейские фирмы могут привозить своих сотрудников как бы на основе экстерриториальности. Им выплачивается зарплата по нормам Восточной Европы (в 5—10 раз меньше минимальной зарплаты, установленной законом для Запада), налоги начисляются (или не начисляются) в своей стране, то же относится к требованиям техники безопасности, социального страхования и т. д. Люди становятся в буквальном смысле товаром, находятся фактически на казарменном положении. Так ли это отличается от положения *Fremdarbeiter*'ов во времена нацизма? Разница лишь в том, что при Гитлере дешевую рабочую силу привозили, чтобы занять опустевшие из-за войны рабочие места, а сейчас — для того, чтобы подорвать позиции европейского рабочего класса, дезорганизовать профсоюзы, снизить зарплату.

Вскоре после французского референдума журнал «*Newsweek*» выступил с программной статьей, где объяснялись преимущества, связанные с расширением единой Европы. Выходцы из Восточной Европы необходимы на Западе, чтобы «удовлетворить на ближайшее время потребность в дешевой рабочей силе».[323] После того, как восточноевропейские ресурсы иссякнут, их заменят еще более дешевые турки.

Мигранты могут, объясняли нам, делать «работу, которая является грязной, опасной или трудной».[324] Но не только. В качестве примера обоюдовыгодной интеграции журнал приводил рынок медицинских услуг в Великобритании. Здесь не хватает около 600 тысяч сотрудников. Большая часть этих рабочих мест будет занята выходцами из Польши, Литвы и других стран, недавно вступивших в Европейский Союз. Точно так же на Западе активно ждут высококвалифицированных и хорошо обученных специалистов в целом ряде других отраслей. В то время как публиковались эти оптимистические прогнозы, литовская и польская пресса

сообщала о катастрофической ситуации, возникшей в медицинской системе из-за массового оттока кадров. Вне всякого сомнения, уезжали лучшие, наиболее подготовленные специалисты, причем для того, чтобы Занять на Западе самые дешевые, невыгодные рабочие места. Сотрудник аппарата Европейского парламента Стив Мак-Гиффен в исследовании, посвященном итогам континентальной интеграции, отмечает, что одной из важнейших проблем, с которыми сталкиваются посткоммунистические страны, вступившие в ЕС, становится утечка мозгов. Обещанная Западом материальная помощь новым членам сообщества оказалась многократно ниже, чем те надеялись. В конечном счете, вступление в Евросоюз «привело не к ожидавшемуся росту благосостояния, а напротив, к затяжному экономическому упадку, который обрекал постоянно растущую часть населения на бедность и маргинализацию».[325] Одновременно, впрочем, усилилось социальное расслоение в самих восточных странах, увеличился разрыв между меньшинством, которое в европейские структуры «вписывается», и большинством, у которого нет на это никаких шансов. Социальное размежевание усугублялось и в Западной Европе.

На практике, впрочем, вопрос не сводится к перемещению рабочей силы из одной части Европы в другую. Резкая нехватка медицинского персонала в Великобритании была связана не с тем, что англичане и шотландцы вдруг потеряли желание работать докторами и медсестрами, а с многолетним недофинансированием отрасли, с ухудшением условий труда и снижением реальной заработной платы. Иными словами, иммигранты из «новых стран» Евросоюза были необходимы правительствам и буржуазии «старых» стран, чтобы удерживать заработную плату на минимальном уровне, а по возможности — еще и понизить ее. Поощрение иммиграции являлось совершенно четкой стратегией правящего класса, направленной против жизненных интересов массы трудящихся — как на Западе, так и на Востоке.

Расширение Евросоюза на Восток является частью общей неолиберальной стратегии правящих классов. Не выдерживает никакой критики и привычное сравнение ситуации начала XXI века с тем, что происходило в конце 1970-х годов, когда Евросоюз пополнился группой средиземноморских стран. Дело не только в том, что разрыв в уровне жизни и размерах заработной платы между средиземноморскими странами и Северной Европой был куда меньшим, нежели аналогичный разрыв между «старой» и «новой» Европой в 2000-е годы. В 1970-е годы Западная Европа еще не сталкивалась с феноменом массовой хронической безработицы, а привлечение мигрантов из Испании, Греции и Португалии действительно было связано с нехваткой рабочих рук. Напротив, в начале XXI века в западных странах образовалась огромная «резервная армия труда». Иными словами, проблема состояла не в том, что западные европейцы не хотели или не могли работать на тех или иных местах, а в том, что предприниматели не желали платить. Все возрастающее число рабочих мест было обеспечено зарплатой столь нищенской, что она оказывалась ниже пособия по безработице и даже прожиточного минимума.

Либеральная пресса постоянно призывала левых в союзники по вопросу о вступлении Турции в Евросоюз, апеллируя к их политической корректности. Парадоксальным образом ультраправые здесь смыкаются с либеральными правыми. Интеллектуалы, радостно прыгнувшие в подготовленную ловушку, не удосуживались даже задуматься о том, почему жесткие и отнюдь не склонные в других вопросах к политкорректности неолибералы с таким напором защищают присоединение к Евросоюзу новых членов. Большинство западных левых (причем не только входящих в истеблишмент, но и

стоящих на революционных позициях), упорно убеждало себя в том, что возражать против расширения Евросоюза могут только расисты, плохо относящиеся к румынам или туркам. То, что для самих турок, румын и поляков присоединение к единой Европе явится исключительным счастьем, не вызывало ни малейшего сомнения. Не производилось никакого социального или политического анализа, не задавался вопрос, кто выигрывает от проводимой политики, не учитывался даже мрачный опыт, накопленный после вступления в Евросоюз Польши, Венгрии и Балтийских стран.

Между тем среди жителей Восточной и Центральной Европы нарастало горькое разочарование. Английский журналист Джонатан Стил (Jonathan Steele) отмечает, что успех консерваторов на польских выборах 2005 года был связан с тем, что правые, в отличие от либеральных левых, не стеснялись выражать «серьезное недовольство Европейским Союзом».[326] В свою очередь, правящая «левая» партия была наказана за свой евроэнтузиазм.

Подавляющее большинство рабочих и служащих Западной Европы, выступающих против присоединения Турции, является, с точки зрения таких левых, просто отсталыми людьми, потенциальными расистами (которых, видимо, надо отдать ультраправым из Национального Фронта и других подобных организаций). А турки, которые относятся к Евросоюзу с подозрениями, просто не понимают своего счастья либо находятся под влиянием исламистской пропаганды. То, что западные элиты нуждаются в Турции как резервуаре дешевой рабочей силы, было совершенно не интересно политкорректным левым. То, что для самой Турции интеграция в европейские структуры будет означать прощание с остатками экономической независимости, массовую потерю квалифицированных кадров и резкое торможение промышленного развития (что уже было продемонстрировано Восточной Европой), отнюдь не волновало идеологов, занятых исключительно культурно-символическими вопросами. Неудивительно, что такие «левые», независимо от радикализма лозунгов, не могут найти общего языка с рабочим классом, включая самих рабочих-мигрантов. Такой квазиинтернационализм, оторванный от реальных проблем и конкретных классовых интересов, является лишь разновидностью буржуазной политической корректности, приукрашенной антикапиталистической риторикой. Эта риторика, однако, лишена всякого содержания, всякой связи с действительной борьбой трудящихся.

Интернационалистская позиция, напротив, требует жесткой борьбы против неокOLONиализма, против системы, построенной на эксплуатации рабочих-мигрантов. А политически корректные идеологи, проливая слезы по поводу дискриминации мигрантов, одновременно высказываются за развитие системы, на которой сверхэксплуатация строится! Если левые по соображениям политкорректности отказываются говорить о подобных вещах, они проявляют безответственность не только по отношению к западным рабочим, но и по отношению к восточно-европейским трудящимся.

Показательно, что политкорректные левые, постоянно рассуждающие о правах меньшинств, всегда мало интересовались практическими, бытовыми проблемами рабочих-мигрантов. Разговоры о тяжелой судьбе переселенцев из «третьего мира» превращались в любимое и безобидное времяпрепровождение гуманных белых интеллектуалов. На их публичных встречах много говорилось о правах национальных меньшинств, о борьбе с расизмом, но организаторы диспутов не могли привлечь в зал ни одного турка, ни одного иностранного рабочего. Собственное мнение представителей меньшинств никого не заботило. За них говорили образованные арийские радикалы.

Уилл Хаттон называет политику, проводимую Европейским Союзом, «негативной интеграцией», которая направлена на объединение континента ценой разрушения его традиций, институтов и социальных достижений. С точки зрения такого подхода, чтобы успешно соревноваться с Америкой в условиях глобальной конкуренции, Европа должна отказаться от своих позитивных особенностей. «Ее разнообразные социально-экономические модели с их обременительными правилами, защищающими профсоюзы и оберегающими компании от захвата извне, нужно демонтировать, тем самым воспроизведя в Европе Америку. Налоги и социальные расходы, снижающие награду за риск и подрывающие так называемую культуру предпринимательства, следует снизить; и так далее и тому подобное — к настоящему моменту читатель уже знаком с этим скучным перечислением. Тем самым будет получен максимальный выигрыш: одновременное обеспечение экономического динамизма и продвижение интеграции. Правда, тогда институты ЕС могут превратиться в силу, враждебную по отношению к основным европейским ценностям, и будут постепенно терять легитимность и поддержку».[327]

Разумеется, Хаттон выступает категорически против такого подхода, доказывая, что европейская модель, в конечном счете, не только гуманнее, но и эффективнее, нежели американская. Ему вторит американский социолог Амитаи Этциони, терпеливо разъясняющий, «что некоторое сдерживание рынка нужно считать не отклонением от западного пути, а неотъемлемой частью глобальной модели современного общества».[328] Впрочем, автор тут же испуганно оговаривается, что европейская модель, конечно, «нуждается в корректировке, некотором снижении стоимости рабочей силы (что уже сделано в Великобритании) и упорядочении социальных расходов».[329]

Увы, реальное соотношение рынка и социального регулирования, как и стоимость рабочей силы, зависят не от того, сумеют ли специалисты найти некий оптимальный «баланс», а от соотношения сил в ходе классового конфликта. Дело вовсе не в том, что под влиянием занесенной из Америки консервативной идеологии среди лидеров Европейского Союза распространились идеи «негативной интеграции». Корпоративная элита, возглавляющая западноевропейскую буржуазию, сделала осмысленный и решительный выбор в пользу неолиберализма, поскольку именно такая политика позволяет ей взять назад уступки, вырванные у нее рабочим классом на протяжении XX века. Лозунг глобальной конкуренции абсолютно соответствует задачам развернувшейся социальной реакции. Ведь речь идет о том, что логика капитала должна восторжествовать надо всякой другой логикой. Конституция единой Европы должна была превратить неолиберализм из экономической политики (которую можно, как и любую политику, пересматривать) в незыблемый общий закон, нарушение которого каралось бы санкциями для целых народов. Любая социальная политика, противоречащая неолиберальным принципам, становилась — в любой стране Европы — незаконной и антиконституционной. Власть никем не выбранных чиновников в Брюсселе должна была укрепляться, демократические институты на всех уровнях становились все слабее.

Социальная реакция породила парадоксальный расклад, при котором именно левые и организованное рабочее движение оказались силой, отстаивающей традиционные европейские ценности в том виде, в каком они сложились на протяжении XX века, а ведь культурный консенсус является важнейшим фактором стабильности! Парадоксальным образом корпоративные элиты вынуждены проводить курс, который неизбежно ведет к дестабилизации европейских обществ, причем эту борьбу им приходится вести в нарастающей культурной изоляции, которую не могут

компенсировать даже контроль над масс-медиа и многомиллионные вложения в пропаганду. Правящий класс нанес смертельный удар по им же сформированной системе культурной гегемонии, отдав столь мощное оружие в руки своих противников. Столь безрассудное поведение может быть объяснено только полной деморализацией и политическим банкротством мировых левых сил в конце XX века — в результате чего буржуазными верхами овладело ложное чувство безопасности. История, однако, сыграла с капиталистическими элитами злую шутку: в тот самый момент, когда казалось, что существующей системе ничто не угрожает, они своими руками создали условия для нового массового подъема антикапиталистического движения.

Отказ французов и голландцев поддержать Европейскую Конституцию не имел ничего общего со страхом перед турецкими иммигрантами и «польскими сантехниками». Документ, представленный населению западных стран, представлял собой своего рода кодекс, в котором были записаны основные тезисы всех неолиберальных договоров, заключенных в рамках Европейского Союза на протяжении предыдущих полутора десятилетий. Теперь эти договоры приобретали статус конституционного права и делались — на юридическом уровне — необратимыми. Особые разделы конституции регулировали процедуру ее изменения таким образом, что на практике пересмотр ее положений оказывался невозможен.

Официальная пропаганда в пользу конституции — поддержанная всеми основными партиями, от консерваторов до социалистов — представляла собой пышную риторику на тему «европейских ценностей» и «единства народов». Всякий, кто осмеливался критиковать проект, объявлялся человеком, выступающим не больше не меньше как «против Европы». Однако эта пропаганда не могла повлиять на избирателей, которые довольно быстро сообразили, что к числу «противников Европы» может быть отнесено подавляющее большинство ее населения.[330] Не помогло и участие в пропагандистской компании некоторые модных радикалов, например — автора «Империи» Тони Негри, разъезжавшего по Франции и произносившего пламенные речи в поддержку неолиберальной политики.

Чем дальше продолжалась дискуссия, чем больше население вникало в суть вопроса, чем больше французских и голландских граждан прочитывало текст документа, тем больше у него было противников. Люди поняли, писал МакГиффен, «что, голосуя за „да“, они проголосуют за продолжение в еще больших масштабах политики, проводившейся со времен Маастрихтского договора: приватизацию, дерегулирование, либерализацию, и все это во имя загадочной „конкурентоспособности“, которая требует отказаться от всего, чего европейцы достигли за последние 60 лет».[331]

Впрочем, Европейская Конституция посягала не только на социальные завоевания. С точки зрения строителей единой Европы демократия есть некий рудимент, наивная старомодная традиция, снижающая эффективность управления, но, в сущности, безобидная. Что-то вроде кавалерийских разъездов у Букингемского дворца. Приходится соблюдать разного рода формальности и процедуры, из-за чего вступление, в силу согласованных решений замедляется. Когда датчане или ирландцы на референдумах отказывались поддержать очередной договор, их заставляли голосовать снова и снова, пока обессиленное электоральной пыткой население не сдавалось.

На сей раз все пошло по-другому. Политики почувствовали, что население не уступит. В Дании и Британии референдумы срочно отменили, заранее зная, чем они кончатся. Голоса в пользу

повторного проведения голосования быстро стихли: было ясно, что результатом станет еще более массовое «нет».

Лидеры Европейского Союза стали жертвой собственной демагогии. Поскольку доверие к его институтам оказалось на крайне низкой точке, у правящих кругов не остается другого спасения, кроме как опираться на институты национального государства. Надо что-то делать, чтобы сохранить хотя бы минимальный авторитет среди все менее надежного населения. В таких условиях, как на тонущем корабле, каждый за себя. Приходится жертвовать европейскими институтами ради собственного спасения.

Разногласия, выплеснувшиеся на саммите Евросоюза, суть не что иное, как классический «кризис верхов», описанный у Ленина. Низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут управлять по-старому. И, что самое досадное, обе стороны прекрасно сознают это. От истории не спрячешься. Согласно теории Ленина, «кризис верхов» является одним из признаков революционной ситуации. Про революцию в Западной Европе, разумеется, говорить не приходится. Но большие и неприятные для элит перемены еще только начинаются.

Успех оппозиции на французском референдуме превзошел даже ожидания многих левых активистов. Граждане республики не только отвергли Европейскую Конституцию, но это произошло на фоне высокой активности избирателей (69,74 %). За «нет» проголосовало 84 французских департамента из 100, а разрыв составил более 3 миллионов голосов — 54,87 % против 45,13 %. И это несмотря на практически полное единство «политического класса» и большой прессы, дружно поддерживавших Конституцию. Не помогло ни привлечение международных знаменитостей и популярных артистов, ни даже участие Тони Негри. Классовый разрыв в обществе продемонстрировал себя во всей красе: за «нет» голосовало 80 % рабочих и 70 % служащих. Против конституции, которую объявили документом будущего, высказалось и подавляющее большинство молодежи. Против руководства своей партии выступило и большинство социалистов. В преддверии голосования партийное руководство провело внутривнутрипартийный референдум, в ходе которого сумело с огромным трудом протащить решение в поддержку Европейской Конституции. Однако это не успокоило недовольных, которые прекрасно сознавали, что, несмотря на уловки партийной бюрократии подавляющее большинство как активистов партии, так и избирателей-социалистов категорически выступает против одобренного лидерами проекта. Решение Социалистической партии поддержать проект Конституции вызвало среди ее активистов и сторонников бурю возмущения. Нечто подобное уже происходило в начале 1980-х годов, когда правительство Франсуа Миттерана совершило резкий поворот вправо, отбросив ранее провозглашенную программу национализации. Однако если в те времена левые социалисты, не имевшие ни собственной организации, ни четкой идеологической перспективы, были легко подавлены партийным аппаратом, то на сей раз они могли опереться на готовые структуры «альтермондиалистского» («антиглобалистского») движения.

Лоран Фабиус, возглавивший бунт, отнюдь не являлся представителем радикального крыла партии. Он всегда относился к числу правых социал-демократов. Даже в разгар кампании против Европейской Конституции он продолжал настаивать, что основной задачей левых является «борьба за восстановление равновесия между трудом и капиталом».[332] Однако даже для него было совершенно ясно, что социал-демократические партии ушли недопустимо далеко вправо, открыто перейдя на сторону буржуазии.

Коммунистическая партия преодолела многолетнюю политическую апатию и активно вступила в борьбу. И рядовые коммунисты, и руководство прекрасно понимали, что участие в референдуме является для партии последним шансом — если она не окажется сейчас в первых рядах, то потеряет последние остатки авторитета и исчезнет с политической сцены. С того момента, как партийная газета «L'Humanite» стала ведущим информационным инструментом кампании, ее тираж начал бурно расти, перевалив за миллион.

«Референдум драматическим образом продемонстрировал противоречие европейской политики, — писал английский журналист Джим Уольфрейс, — миллионы людей отвергают неолиберальный консенсус, который столь же единодушно разделяют все основные партии, как левые, так и правые. Голосование за „нет“ стало самым мощным ударом, до сей поры нанесенным по этому консенсусу».[333]

Французская пресса писала о «гражданском» восстании, однако речь шла не просто о том, что масса жителей страны вдруг решила воспользоваться своими правами, чтобы сказать «нет» власти. Известный марксистский публицист Жорж Лабика писал про мобилизацию «реальной страны», выступившей против якобы представляющих ее институтов. А ветеран социалистического движения Жан-Пьер Шевенман заметил, что референдум создал условия для «реорганизации левых сил» (*refondation de la gauche*).[334]

Первая реакция правящих элит соответствовала бессмертной формуле Бертольта Брехта: поскольку народ не оправдал доверия правительства, правительству следует народ распустить и выбрать себе новый. Руководство Социалистической партии принялось наказывать своих активистов, проголосовавших за «нет». То, что против Европейской Конституции выступило явное большинство сторонников социалистов, лишь подлило масла в огонь.

В условиях массовой апатии подобные методы работали. Но время апатии кончилось.

Антидемократические поползновения элиты не просто фиксируются пробудившимся общественным мнением, но и вызывают растущее негодование, мобилизуя людей на еще более радикальный протест.

Некоторые представители брюссельской бюрократии готовы были признать, что Евросоюз «был проектом политических элит и нуждается в радикальных изменениях, чтобы стать демократическим».[335] Но они оказались в меньшинстве. Еще до исхода голосования во Франции и Голландии деловая пресса, была полна статьями выдающихся идеологов и аналитиков, объяснявших, что по-настоящему серьезные и важные вопросы нельзя доверять народу. Результаты голосования лишь укрепили ведущих аналитиков в этом убеждении. «Financial Times» была наиболее откровенна, но и другие издания развивали ту же тему. Например, «International Herald Tribune» в октябре 2005 года писал: «Во всех европейских странах есть вопросы слишком острые, чтобы их оставлять на усмотрение избирателей». В качестве примера приводилась смертная казнь (большинство населения по доброй воле ее бы никогда бы не отменило) и вступление Турции в Евросоюз. «В обоих случаях существует негласный консенсус между политическими партиями, сознающими, что если спросить избирателей, то они примут неверное решение».[336] Верным решением, естественно, является то, которое одобрено элитами.

Элита десятилетиями навязывала народам неолиберальный проект и старательно демонтировала социальное государство под предлогом континентальной интеграции. Людям говорили: нравится вам

или нет, но ради объединения Европы от всего этого надо отказаться. Наконец, терпение граждан лопнуло: если интеграция означает отказ от всего лучшего, что достигнуто на нашем континенте за последние сто лет, то спасибо, не надо. Обе стороны теперь прекрасно понимали, что провал конституционного проекта означает не конец дискуссии, а лишь начало нового этапа борьбы, куда более, острого, чем прежние. «Этот Европейский Союз, — писал МакГиффен, — представляет собой неолиберальный и антидемократический проект, безразлично — с новой конституцией или без нее. Снова и снова мы видим реформы, проводимые во имя экономической интеграции, подрывающие политическую демократию».[337] Эта политика будет продолжаться до тех пор, пока массовое антисистемное движение не добьется решающего перелома в развитии континента.

Дальнейшие события в Европе показали, что подобные надежды являлись вполне обоснованными. Для привыкших к строгому распорядку немцев досрочные выборы — явление экстраординарное. Однако главной сенсацией выборов 2005 года стало не нарушение привычного политического расписания и даже не поражение социал-демократов, которые сами эти досрочные выборы затеяли. Еще до того, как выборы состоялись, пресса бурно обсуждала появление на политической сцене новой силы — Левой партии. Либеральный еженедельник «Die Zeit» писал про «возвращение левых».[338] Как заметил близкий к ПДС политолог Дитмар Виттих, «левые стали важной темой в Германии. Хотя не столько их политические идеи и концепции, сколько их способность к совместной работе, их кадры».[339] Избиратели переходили к левым не только от социал-демократов, но и от «зеленых», даже от христианских демократов. За Левую партию, как отмечал журналист Матиас Греффрат, оказались готовы голосовать миллионы людей, которые, как выяснилось, «до сих пор не имели никакого парламентского представительства».[340] Ему вторил политолог Геро Нейгебауер, констатировавший, что речь идет о людях, «которым стали отвратительны все партии, о классических голосах протеста».[341]

Кризис социал-демократии оказался настолько глубоким, что она уже не воспринималась значительной частью общества как сила, способная предлагать собственные политические и экономические решения. Как заметил один из лидеров правых, на Востоке Германии реальная борьба шла «между новой Левой партией и христианскими демократами».[342]

Еще весной 2005 года, несмотря на возобновившиеся успехи ПДС в «новых федеральных землях», никто не мог твердо поручиться, что в масштабах всей страны она получит достаточно голосов, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в Бундестаг. Но уже к лету пресса предсказывала, что возникшая на ее основе Левая партия имеет шансы стать третьей по размерам политической силой в стране, а на Востоке Германии — первой (обойдя не только стремительно теряющих влияние социал-демократов, но и потенциальных победителей — христианских демократов).

Рывок Левой партии отражал перемены, давно назревавшие в немецкой политике. Они накапливались подспудно, но теперь, как сказали бы Гегель и Маркс, количество перешло в качество.

Стратегия Тони Блэра и Герхарда Шредера состояла в том, чтобы, сохранив от старой социал-демократии название и избирателей, принять политическую и экономическую программу правых, сделавшись ещё одной неолиберальной партией. С точки зрения элит, такая партия имела даже определенное преимущество по сравнению с классическими консерваторами. Ведь она давала

возможность уничтожить социальное государство руками как раз тех, кто «по должности» обязан был его защищать.

Это вызвало возмущение традиционного избирателя левых, но лидеры парламентских партий не слишком горевали. Все равно эти люди никуда не денутся. Не станут же они голосовать за правых! А профсоюзы оставались под жестким контролем партийной бюрократии.

«Левые правительства» оказались во многих странах правее консерваторов. Во Франции именно социалисты развернули массовую приватизацию. В Германии именно социал-демократы предприняли систематическую атаку на основы социального государства.

Голосование против Европейской Конституции во Франции и выборы в германской земле Северный Рейн — Вестфалия оказались историческим рубежом. Начался массовый уход активистов из партии Шредера. Ропот недовольства перерос в открытый бунт. Уходили не только представители левого крыла, но просто люди, для которых слова «социал-демократия» хоть что-то значат. Уходили профсоюзные функционеры, оскорбленные антирабочей политикой «своего» кабинета.

Массовое дезертирство из социал-демократических партий имело место и раньше. Но на сей раз недовольным было куда идти. Бунтовщики создали движение с труднопроизносимым названием «Избирательная альтернатива за труд и социальную справедливость» (Die Wahlalternative fuer Arbeit und soziale Gerechtigkeit — WASG). После некоторых колебаний его решил возглавить Оскар Лафонтен. На выборах в земле Северный Рейн — Вестфалия «Избирательная альтернатива» набрала чуть более 2 % голосов, что нельзя было считать большим успехом. Зато рейтинг «официальной» социал-демократической партии просто рухнул.

В этих условиях Герхард Шредер решил пойти ва-банк, добившись досрочных выборов. Расчет был на то, что WASG не успеет за оставшиеся два-три месяца организовать себя, что выходцы из западных земель, составляющие ее ядро, никогда не договорятся с восточными немцами из посткоммунистической ПДС.

Расчет оказался не просто ошибочным, а самоубийственным. Обе группировки левых в спешном порядке объединились. ПДС переименовалась в Левую партию (Linkspartei) и открыла свои списки для кандидатов WASG. Слабостью ПДС всегда было именно то, что одновременно являлось ее главной силой: прочная связь партии с традициями, интересами и культурой восточных земель объединенной Германии. Численность WASG гораздо меньше, чем у ПДС, однако теперь у левой политики появилось новое измерение. Странники WASG были зачастую куда активнее, а главное, являлись носителями другой политической культуры и повестки дня, сформировавшейся на Западе. «Восточная» и «западная» культура встретились. Результатом стал бурный рост поддержки в обеих частях страны.

По признанию либерального еженедельника «Focus», соотношение политических сил в 2005 году свидетельствовало, что Германия остается «расколотой нацией».[343] Превращаясь на деле, а не только на бумаге, в общегерманскую партию, ПДС не отказывалась от защиты специфических интересов Востока, поскольку решение проблем этой «внутренней периферии» невозможно на основе неолиберальных методов. Как отмечала газета «Neues Deutschland», результатом политики свободного рынка на востоке стала «блокировка развития» (Entwicklungsblokade).[344] Чтобы положение дел на Востоке кардинально изменилось, в масштабах всей Германии нужна была принципиально иная экономическая политика, направленная на поощрение регионального развития,

рост общественного сектора и создание рабочих мест. И не просто на увеличение занятости любой ценой, а на организацию новых предприятий, эффективных и общественно необходимых. Такую политику, по вполне понятным идеологическим причинам, могли предложить только социалисты. Этим, впрочем, значение немецкойлевой партии не исчерпывается. Массовый уход профсоюзных активистов и функционеров от Шредера знаменует исторический разрыв между перешедшей на позиции неолиберализма социал-демократией и организованным рабочим движением. В такой ситуации проект Блэра-Шредера теряет смысл.

Хотя успехлевой партии в подобных условиях был гарантирован, что отнюдь не означало, что были разрешены проблемы и противоречия, приведшие в начале 2000-х годов к кризису ПДС. Участие в земельных правительствах Восточной Германии по-прежнему не имело никакой стратегической перспективы, скорее деморализуя активистов, нежели создавая политические плацдармы. Различные группировки несколько смягчили свою полемику, но были весьма далеки от примирения.

Конкретная программа социалистических преобразований заменялась набором красивых лозунгов и общих тезисов, дополнявшихся прагматическими предложениями по конкретным вопросам. Партия получала поддержку масс, когда говорила истеблишменту «нет», но чем больше была ее массовая поддержка, тем сильнее становился соблазн «конструктивного сотрудничества». И все же избиратель готов был все простить левым, лишь бы наказать социал-демократов. Обновленная партия вызывала новые надежды. Даже многие из тех, кто в 2002–2004 годах вышел из ПДС, возвращались.

Для политических радикалов появление новой партии оказалось неожиданным и болезненным вызовом. Представители многочисленных ультралевых сект очень убедительно рассуждали об оппортунизме ПДС, но их собственная безгрешность гарантировалась добровольным отказом от любой практической деятельности.

За прошедшие полтора десятилетия левые привыкли к поражениям. Они боятся победить, боятся ответственности. И каждый раз, когда политики из ПДС демонстрируют соглашательство по отношению к правящему классу, радикалы испытывают нечто вроде интеллектуального оргазма. Ведь соглашательство реформистов становится безупречным моральным алиби для ничегонеделания самопровозглашенных революционеров. Можно продолжать свое комфортное существование на обочине системы, удовлетворяя себя приятными идейными дискуссиями и ритуальным участием в демонстрациях, которые ничего не меняют.

Ультралевые в очередной раз показали свою неадекватность. Точно так же, как для представителей «нового реализма» 1990-х годов электоральный «успех» сделался самоцелью, для их сектантских антиподов любое стремление к успеху становилось равнозначно греху, оппортунизму, предательству. Неудача становилась для наших героев критерием революционной принципиальности.

Они боятся выйти из гетто, боятся участвовать в массовой политике, боятся иметь дело не с отдельными идеологически перевоспитанными рабочими, а с реальным рабочим классом (со всеми его недостатками и предрассудками). Боятся трудных и конкретных вопросов, ответы на которые никогда не найдешь в готовом виде, полистав биографию революционеров прошлого столетия. Взаимоотношения между германской социал-демократией и ее избирателями напоминают семью с периодически загуливающим мужем. Всякий раз, возвращаясь домой после пьянки, муж извиняется, клянется, что подобное больше не повторится, и получает прощение. Затем все повторяется снова и

снова.

Находясь у власти, правительство Герхарда Шредера проводило жесткую правую политику. Социальное государство, основания которого были заложены еще во времена Бисмарка, систематически демонтировалось, права трудящихся отменялись. Ни одно правое правительство не решалось осуществлять неолиберальный курс столь последовательно и бескомпромиссно, как социал-демократ Шредер в Германии и его коллега Блэр в Британии. Однако когда доходило до выборов, социал-демократы внезапно обрушивали на обескураженного избирателя ушаты левой риторики. Сердца граждан смягчались, и они возвращали канцлеру свое доверие.

Впрочем, бесконечно так продолжаться не может. Госпожа Германия — дама верная, но строгая. На сей раз Шредер оказался в ситуации мужа, которого из дома не выгнали, но и в постель не пустили — оставили ночевать в прихожей.

Христианские демократы и социал-демократы получили почти равное количество голосов — 35,2 и 34,3 % соответственно. Частичным утешением для лидера ХДС Ангелы Меркель могло служить то, что их партнеры свободные демократы (либералы) — набрали 9,8 %, обойдя блокирующихся со Шредером «зеленых» (8,1 %). Однако для формирования стабильной коалиции этого недостаточно. Правоцентристский блок получил 225 + 61 мандат, а левоцентристский — 222 + 51. Разницы в 13 мандатов не хватало для устойчивого правительственного большинства.

Беспорным победителем выглядела Левая партия. Она набрала 8,7 % голосов и 54 мандата. В то время как все другие представленные в парламенте партии, кроме свободных демократов, теряли голоса, левые резко увеличили число сторонников (на 4,7 % по сравнению с ПДС), обойдя в этом отношении все политические силы страны.

Но успех левых тоже был относителен. Мало того, что им не удалось удержать поддержку 10–12 % избирателей, которая была у них в начале кампании, не смогли они и стать первой по величине партией на Востоке. Хуже того, Левая партия пропустила вперед свободных демократов, заняв лишь 4-е место в общем зачете.

То, что левые не смогли завоевать лидерство на Востоке, выпустив его буквально из рук, нанесло партии не только психологический урон. Партия лишилась примерно дюжины прямых мандатов в территориальных округах, которые отошли к социал-демократам. Правда, потеря депутатских мест левыми на Востоке связана не только с тем, что их избиратели в последний момент все же вернулись к партии Шредера, но и с тем, что большое число людей, собиравшихся голосовать за христианских демократов, передумало, отдав предпочтение социал-демократам, и тем изменило общее соотношение сил. Левая риторика СДПГ принесла плоды.

Злые языки говорили, что руководство Левой партии было удовлетворено именно таким результатом — оно боялось получить слишком много голосов, слишком большую, радикальную и неуправляемую фракцию в Бундестаге, слишком большой политический вес, с которым связаны и большие ожидания людей, серьезная политическая ответственность. Быть оппозицией по-своему комфортно. Во всяком случае, многие отмечали, что в избирательной кампании левых отсутствовала энергия, а местами и профессионализм, что совершенно не похоже на «прежнюю» ПДС. Так что свободные демократы могли считать себя единственными «настоящими» победителями. Но эта партия настолько лишена самостоятельного значения, что ее победы никто не заметил.

Журналисты и политологи немного поспорили о формуле будущей коалиции, предлагая различные

варианты, включая экзотический вариант «ямайской коалиции» консерваторов с либералами и «зелеными» (цвета соответствующих партий совпадали с цветами государственного флага Ямайки). В техническом плане формирование любой комбинации из партий в Бундестаге не являлось проблемой. Созданию такой коалиции ничто не мешало. Даже профессиональные аналитики, читая программы, обнаруживали лишь мелкие различия. «Зеленые» и либералы отличались от ведущих партий главным образом стилем поведения и риторикой. Между социал-демократами и правыми тоже давно не было серьезных различий. Но с точки зрения политической перспективы «Большая коалиция» грозила стать окончательной катастрофой для партии, выросшей из рабочего движения. На нее падала ответственность за проводимую антисоциальную политику, а роль ведущей оппозиционной силы отходила к Левой партии. Потому левое крыло СДПГ до последней минуты не хотело верить, что будет сформирована «Большая коалиция».

Единственной силой, которая действительно имела программу, отличающуюся от остальных (да и то не слишком радикально), являлись левые. Потому любая коалиционная формула их исключала. Показательно, что в 1990-е годы отказ «западных» партий от сотрудничества с ПДС мотивировался тем, что «юридически» она являлась наследницей старой «тоталитарной» государственной партии Восточной Германии — СЕПГ. Но на сей раз в Бундестаге оказалась представлена новая Левая партия, состоящая наполовину из западных немцев, опирающаяся на группу Оскара Лафонтена, ветерана западного социал-демократического движения. А на Востоке социал-демократы спокойно создавали земельные коалиции с ПДС. Невозможность сотрудничества с левыми была вызвана не их прошлым, а их сегодняшней позицией, реальными программными разногласиями, существовавшими между новой партией и политическим истеблишментом. И это, пожалуй, единственное, что лидеры Левой партии после провальной кампании все же смогли записать в свой актив: несмотря ни на что, германские правящие круги продолжали видеть в них людей, намеренных сопротивляться неолиберальному курсу. Это серьезный комплимент.

Что касается партий истеблишмента, то единственная проблема при формировании коалиции состояла в личном соперничестве лидеров. После некоторых колебаний и препирательств социал-демократы согласились с кандидатурой Меркель в обмен на ряд ключевых постов. Им были обещаны министерства иностранных дел, финансов, юстиции, труда, по делам окружающей среды, сотрудничества, здравоохранения и транспорта. Шредер объявил, что уходит из политики в бизнес. Для последних представителей левого крыла, все еще оставшихся в социал-демократической партии, это было тяжелым ударом. Связанные с партией профсоюзные лидеры после подсчета голосов продолжали напоминать партийным боссам, что «большинство немцев — левее центра».[345] Действительно, 54 % избирателей отдали свои голоса партиям, номинально считающимся «левыми» и «левоцентристскими». Однако лидеры «зеленых» и социал-демократов собирались проводить правую политику, и никакого другого курса даже вообразить себе не могли.

Формально «большая коалиция» располагала теперь огромным, подавляющим парламентским большинством, а сходство программ давало ей возможность эффективно работать, не тратя много времени на согласование партийных позиций. Но у нее была одна фундаментальная проблема, которая значит куда больше, нежели любые арифметические расклады в Бундестаге. Поддержки большинства народа у этой программы не было!

В то время как политики оказались едины относительно необходимости неолиберального курса,

большинство немцев — даже голосующих за консерваторов — идти этим курсом не хочет.

В отличие от Англии и Франции, где современное государство и нация сложились в XVII–XVIII веках во время первых буржуазных революций, Германия превратилась в единую нацию в процессе индустриализации. Именно это, кстати, сделало Германию столь мощной военной силой и столь опасным конкурентом для старых империй. Все элементы государственной машины были подогнаны друг к другу как детали единого механизма. Они не складывались исторически, наслаиваясь друг на друга, а сознательно конструировались. Точно так же создавалась единая армия, транспорт, система образования. Индустриальная культура стала, в итоге, важнейшей основой немецкой «идентичности».

Эффективная промышленность требует государственного регулирования, вложений в «человеческий капитал», образование. Современный европейский капитализм, однако, делает ставку не на промышленное развитие, а на финансы, торговлю, на международные спекуляции, на сильное евро, которое нужно банкирам, но не обывателям, жалующимся на дороговизну. Короче, проводимая политика находится в противоречие не только с идеологией левых и интересами наемных работников, но и со всей культурной и государственной традицией немцев.

В таких условиях Левая партия как единственная политическая сила, выступающая против неолиберализма, получила серьезный шанс. С появлением WASG начался исторический разрыв между неолиберальной социал-демократией и организованным рабочим движением. Этот разрыв неизбежно обречен усиливаться в результате антисоциальной политики, проводимой министрами «социалистами».

Вопрос лишь в том, решатся ли возглавляющие левых политики этим шансом воспользоваться?

Гизи, Лафонтен и другие лидерыевой партии образца 2005 года являются «персонажами переходного периода», писал в газете «Freitag» Геро Нейгебауер. Партии нужна новая политическая культура, а не механическое сочетание идей двух объединяющихся групп.[346] Официально объявляя о начавшемся процессе слияния ПДС и WASG, представители обеих организаций подчеркивали, что создание единой партии — «не самоцель».[347] Тем не менее, программная и политическая дискуссия так и осталась на втором плане: главные вопросы, обсуждавшиеся в ходе слияния были организационными. И, разумеется, кадровыми — создание единой партии подразумевало формирование общего аппарата и избрание единого руководства на всех уровнях. Программные тезисы туманно предусматривали «социальные, демократические и миролюбивые реформы, направленные на преодоление капитализма», а членов партии призывали бороться за «другой мир».[348] Однако слабость программных установок сама по себе еще не является главной проблемой. История знает партии с сильными и хорошо разработанными программами, которые так и оставались на бумаге. Точно так же, как были в истории и движения, начинавшие с весьма расплывчатых лозунгов, консолидировавшиеся и развивавшиеся в ходе борьбы. Вопрос в том, есть ли воля к борьбе? Реальной задачей является создание такой новой политической силы, в которой действительно могли бы найти себе место все те, кто готов бороться за изменение общества. В то время как бунт социал-демократических масс становился все более очевидным, лидеры парламентских левых отнюдь не были настроены на то, чтобы действовать радикально, подчиняясь логике парламентской системы, они стремились закрепить успех, завоеванный благодаря радикальной риторике, идя на компромиссы с истеблишментом и проводя все более умеренную,

«ответственную» политику. Однако это было совершенно не то, чего хотели их собственные избиратели, не то, ради чего их послали в Бундестаг. В очередной раз мы видели типичный для моментов подъема левого движения конфликт между радикализирующимися массами и умеренным руководством, которое колеблется между страхом потерять поддержку собственных сторонников и еще большим страхом перед гневом правящих элит.[349] Внутри немецкойлевой партии и вокруг нее разворачивается борьба за формирование политического курса.

Пресса возмущалась, что сторонники WASG продолжают верить в государственный сектор экономики и предлагают обществу «рецепты позавчерашнего дня».[350] Любопытно, что в точно таких же выражениях были написаны и статьи некоторых левых авторов, которые видели в ПДС более современную силу. А восставших профсоюзных деятелей укоряли за то, что те повторяют «идеи вчерашнего дня».[351] Однако один из авторов либеральной «Die Zeit» Матиас Греффрат заметил, что успех левых обеспечен именно их возвращением к базовым ценностям, которые сохраняют свое значение «даже в эпоху глобализации».[352] Именно эти идеи, объявленные давно умершими, получили массовую поддержку населения, мобилизовали социальные слои, чувствовавшие себя преданными. Вдруг обнаружилось, что идеологическая гегемония неолиберализма рушится, что она является фикцией, которую удавалось поддерживать лишь благодаря сообщничеству самих «левых» идеологов и политиков. До определенного момента другие голоса и мнения просто не были слышны. Но теперь ситуация изменилась. В голливудском фильме «Матрица» герой неожиданно обнаруживает, что реальный мир устроен совершенно иначе, чем кажется ему и всем окружающим, что его мелкобуржуазное благополучие является всего лишь сознательно поддерживаемой иллюзией. В Западной Европе середины 2000-х годов наблюдался своего рода «эффект Матрицы». Обнаружилось, что в обществе все обстоит совершенно иначе, чем кажется.

Разумеется, Левая партия отнюдь не представляла собой радикальную альтернативу капитализму. Но она, как отмечала газета «Junge Welt», предложила то, чего в Германии уже много лет не видели: «Серьезную социал-демократическую программу для разрешения социальных конфликтов».[353] Выборы 2005 года показали, с одной стороны, проблемы и противоречия Левой партии, а с другой, ее необходимость. Германские социалисты вновь оказались на развилке. Чем станет новая организация? Очередным медиа-проектом, направленным на продвижение во власть политических «звезд» — Лафонтена и Гизи? Или массовой демократической силой?

Будущее немецких левых теперь зависело не от партийных лидеров, заседающих в Бундестаге. Эти лидеры сделали все что могли и хорошо продемонстрировали, чего они не могут или не хотят сделать. Но массы людей, поддержавших левых, либо отдавших — скорее всего в последний раз — свои голоса социал-демократам, были заинтересованы в другой политике, и сделать эту политику могли только сами, своими силами. Левая партия нуждалась в собственной, внутренней революции, в обновлении, которого могут добиться только рядовые активисты, уставшие от пошлой умеренности и бюрократической благопристойности. Для того чтобы победила революция в обществе, левое движение должно совершить революцию внутри самого себя.

Подводя итоги 2005 года, британская газета «Socialist Worker», писала, что будущее немецких левых зависит «прежде всего от способности возглавить неизбежные выступления против правительства». Если этого не сделают левые, в выигрыше останутся крайне правые. «Этот вызов, ответить на

который можно, лишь извлеки уроки из неудач 1920-х и 1960-х годов, стоит не только перед Левой партией в Германии. Он стоит перед левыми всей Европы».[354]

Вызов, который бросила политическому истеблишменту Левая партия, связан с серьезным моральным риском. Альтернатива, предложенная Лафонтеном и его коллегами из ПДС, безусловно, является реформистской, и она, несомненно, может потерпеть поражение. В том числе из-за умеренности, непоследовательности и слабости собственных политических вождей. Но появление Левой партии и ее успех радикально изменили обстановку в Германии и Европе: подорвана монополия неолибералов на парламентскую политику, впервые со времени русской революции мы видим массовый организованный выход активистов и функционеров из социал-демократической партии, их переход в более левую организацию. Это создает новую общественную динамику. Возникает новое массовое движение, причем оформленное политически. Да, оно не революционно. Но миллионы трудящихся — тем более в Западной Европе — не могут в одночасье стать революционерами. Левой партии еще предстоят серьезные испытания. Но она уже стала частью политического пейзажа современной Германии, Европы и мира.

Глава VII. Поколение Сизтла

1990-е годы начинались как эпоха безраздельного и, как многим казалось, окончательного торжества неолиберального капитализма. Заканчивалось это десятилетие повсеместным бунтом против установившегося порядка, уличными столкновениями в американском Сизтле, масштабными забастовками в Западной Европе и массовыми восстаниями в Латинской Америке.

Пока социалистические политики рассуждали о границах возможного, о конформизме и постиндустриализме, стихийное сопротивление капиталистической эксплуатации начало принимать новые формы. Выступление индейцев в 1994 году в мексиканской провинции Чьяпас неожиданно опрокинуло представления идеологов «серьезной левой» относительно возможного и невозможного в современной политике. Спустя еще год Париж был потрясен забастовкой государственных служащих и многотысячными демонстрациями. Это была первая победа над неолиберализмом. Французское правительство вынуждено было отказаться от запланированной «реформы», ограничивавшей права работников общественного сектора. Но главные события начались в конце 90-х годов, когда различные формы борьбы и протеста, опирающиеся на схожие, но далеко не однородные социальные и классовые интересы, начали сливаться воедино, давая жизнь новой антибуржуазной коалиции в глобальном масштабе.

Выступления протеста получили в консервативной прессе название «антиглобалистских», хотя сами участники демонстраций данный термин никогда не употребляли, называя себя антикорпоративным или антикапиталистическим движением, иногда — движением за глобальную демократизацию. Надо сказать, что в западной прессе термин «антиглобалисты» после 2001 года употреблялся все реже — представители протестующих так или иначе имеют возможность высказаться, а потому приписывать им чуждое название и выдуманные лозунги все труднее. Лишь в России термин «антиглобализм» приобрел удивительно широкое хождение, отчасти из-за того, что собственного «антиглобалистского» движения пресса под боком не обнаружила и могла его благополучно придумывать.[355]

«Как нам следует называть это новое движение? — писал британский марксист Алекс Каллиникос. — Ярлык, обычно на него навешиваемый, — движение антиглобализма — представляет

собой совершенно абсурдное название для движения, которое подчеркивает как раз свой международный характер и которое весьма эффективно может мобилизовать людей всех пяти континентов, преодолевая национальные границы. Ведущие фигуры движения благоразумно дистанцировались от такого названия».[356]

В левой прессе предпочитают говорить об «альтернативном глобализме» («альтерглобализме» или, на французский лад, об «альтермондиализме»), об антикорпоративных выступлениях, а Каллиникос употребляет термин «антикапитализм». Разумеется, остается открытым вопрос о том, до какой степени участники протестов, потрясших власти в Сиэтле и Праге, осознанно ставили перед собой именно антикапиталистические задачи. Значительная часть людей, выходявших на демонстрации, придерживались более умеренных взглядов, причем это относится не только к рядовым участникам событий, но и к лидерам. Каллиникос признает это, но настаивает на том, что общая логика движения — антикапиталистическая. Даже если выдвигаются вполне реформистские требования, их практическая реализация подрывает глобальное господство капитала и создаст новую общественную ситуацию. «Иными словами, хотя эти требования не обязательно открыто озвучивают антикапиталистические доводы, в них присутствует антикапиталистическая динамика. Они представляют собой то, что Троцкий назвал переходными требованиями, реформы, которые возникают из реалий существующей борьбы, но осуществление которых в нынешнем контексте поставило бы под вопрос капиталистические экономические отношения».[357]

В российской прессе и отчасти даже среди обществоведов появление нового массового движения на Западе было воспринято с откровенным недоумением. «Прежние политические лекала тут едва приложимы, — писал Евгений Григорьев на страницах „Независимой газеты“. — У движения нет привычной разветвленной по миру организации, четких структур. При подготовке акций их заменяет такой неотъемлемый инструментарий глобализации, как Интернет, и другие новейшие средства коммуникаций, что делает само движение ее побочным детищем. Политические и социальные устремления и приоритеты „антиглобалистов“ сплошь и рядом не стыкуются. По составу это напоминает коктейль из бесконечного множества неоднородных ингредиентов: сапатистов, разноязыких „зеленых“, американских борцов против детского труда, европейских левых, бескорыстных юных приверженцев чистой справедливости, французских крестьян, немецких профсоюзников и т. д.»[358]

Либеральные и правые обозреватели подчеркивали, что движение крайне неоднородно, а сами демонстранты толком не знают, чего хотят. «Они занимаются сразу всем. На одном из их сайтов сообщалось, что они выступают против „корпоративной глобализации, милитаризма, бедности, голода, политической коррупции, дискриминации женщин, гомосексуалистов и транссексуалов, криминализации молодежи разрушения окружающей среды, передачи тюрем частному бизнесу, геноцида“. Почему не против пробок на дорогах и коммерческой рекламы, которая забивает наши почтовые ящики?» — возмущалась Флора Льюис, обозреватель «International Herald Tribune». По ее мнению, это было совершенно не похоже на движение 1960-х годов, имевшее четкую политическую цель (прекращение войны во Вьетнаме) и способное «соединить много голосов в единый призыв (clear message)».[359] Как ни парадоксально, схожая критика движения раздавалась и слева.

На самом деле даже из перечисления групп и лозунгов легко заметить, что все они как раз прекрасно стыкуются, более того, все упомянутые движения изначально растут из одного корня — европейской

левой XIX–XX веков. Действительно, во время массовых демонстраций были выдвинуты самые разнообразные лозунги — от экологии до долгов «третьего мира», от проблемы бедности до прав человека. Протестующие представляют собой коалицию. Но это далеко не случайное собрание людей. Начнем с того, что экологисты, пацифисты и радикальные социалисты, защитники гражданских прав и профсоюзники, составляющие основу этой коалиции, исторически всегда имели много общего. На протяжении истории они уже не первый раз оказываются в одних рядах. Но до недавнего времени они, нередко сотрудничая, пытались добиваться своих целей самостоятельно. В свою очередь, по мнению активистов, элиты всегда действовали по принципу «разделяй и властвуй», игнорируя разрозненные протесты. Тем самым объединение разнообразных отдельных кампаний (single issue campaigns) и групп является важнейшим фактором, предопределившим стремительный и бурный подъем движения.

Было бы неправдой утверждать, будто международное движение протеста застало транснациональную административную и финансовую элиту врасплох. Само по себе введение в оборот термина «глобализация» было пропагандистским ответом элит на протесты против неолиберализма. После того, как термин «неолиберализм» стал в большинстве стран мира почти ругательным, нужно было новое идеологическое обоснование власти транснациональных корпораций. С середины 1990-х вместо термина «неолиберализм» начинает употребляться термин «глобализация».

Терминологическая подмена, которую осуществляет часть «большой прессы», атакуя критиков глобализации, заставляет вспомнить об истории СССР, где господство обкомов партии называли «советской властью», а противников партократии — «антисоветчиками». Как всегда бывает в таких обстоятельствах, господствующие силы могут навязать обществу свою терминологию, но не могут с той же эффективностью защитить свои идеологические позиции по существу. Точно так же, как за партийным правлением в СССР закрепилось название «советская власть», так и неолиберализм с конца 1990-х годов стал называться «глобализацией», но сам термин «глобализация» стал звучать не слишком позитивно.

Этот термин имеет, однако, целый ряд преимуществ. В отличие от понятия «неолиберализм» он, вроде бы, характеризует не определенную политику или идеологическую доктрину, а некий «нейтральный» и объективный процесс. То, что в обоих случаях речь идет об одном и том же, ускользает от внимания обывателя. Противники «естественной», «единственно возможной» политики выглядят не идеологическими оппонентами власти, не борцами против элиты, а личностями, пытающимися выступить против «нормального» хода экономической жизни. К тому же их немедленно начинают называть «антиглобалистами». У неискушенной публики складывается представление о них как о людях, выступающих против свободного международного движения товаров и информации, хотя на самом деле речь идет о борьбе против авторитарной международной бюрократии. Кстати, одно из требований «антиглобалистов» — соблюдение Декларации прав человека, требующей свободного передвижения людей, в то время как западные правительства, отстаивающие «глобализацию», возводят все новые барьеры на пути мигрантов из бедных стран. Причины этой кажущейся непоследовательности понятны. Дешевая рабочая сила должна быть сосредоточена в странах «периферии» (будь то Россия, Китай или Бразилия) и только косвенно давить на рынок труда в странах Западной Европы.

Английский географ и публицист Дорен Мэсси отмечает, что «антиглобализм» не может иметь ничего общего с «локализмом», культом местных интересов и националистически понимаемой самобытности. Такая форма оппозиции была бы заведомо тупиковой. «Нашим политическим принципом должен быть интернационализм: наш интернационализм уважает местные различия и необходимость действовать непосредственно на местах, но он категорически против местничества, против герметично закрытых обществ или культур».[360] Иными словами, новый интернационализм выступает в качестве альтернативы как против униформной культуры глобализации/американизации, так и против консервативного национализма. Он исходит из единого и разнообразного человечества, одновременно выступая против стандартизации всех людей под общие западные образцы. Демократия требует равного уважения к правам всех — в том числе всех наций и культур. Она требует и уважения к мнению большинства человечества, проживающего отнюдь не на Западе.

Оппоненты транснациональных организаций требуют не прекращения международной торговли, а того, чтобы «процесс глобализации был открыт для демократического влияния».[361] Как заявил один из идеологов движения Кевин Данахер, речь идет о завоевании «глобальной, демократии» и не только «в традиционном узком политическом смысле (избрания богатых господ, которые якобы будут представлять нас в правительстве)». Речь идет о «гражданском суверенитете», о праве людей «управлять собственной жизнью во всех сферах (политической, экономической, культурной)».[362] Чашу терпения гражданского общества переполнил проект Многостороннего соглашения по инвестициям (Multilateral Agreement on Investments — MAI), подготовленный в рамках ВТО. Согласно этому проекту, частные корпорации получали право отменять решения национальных правительств и даже действующие в стране законы, если считали их «препятствующими бизнесу». Непосредственно эту работу должно было осуществлять либо специальное ведомство, либо Всемирная Торговая Организация, фактически получавшая статус всемирного конституционного суда, но сама не подчиняющаяся никаким законам, кроме собственного устава, никем не избранная и никому не подотчетная.

Волна протестов против MAI вынудила западные правительства отступить. Первым сдалось руководство Франции. Дольше всех держались американцы. Наконец, проект MAI был похоронен. Но спустя некоторое время в рамках ВТО решено было возобновить подготовку соглашения, только сменив название. Сделать это решили на встрече в Сиэтле.

Ответом на политику глобальных элит стали глобально скоординированные акции сопротивления. Первая из них произошла в Сиэтле в ноябре 1999 года, когда вместе с профсоюзными активистами на улицы вышли молодые сторонники более 60 различных общественных групп, объединенных «Сетью прямого действия» — Direct Action Network. Демонстрации были названы «фестивалем сопротивления» и «антикапиталистическим карнавалом». Делегаты для участия в митингах протеста прибыли со всего мира, причем более богатые организации стран Севера помогли решить финансовые проблемы своим товарищам с Юга. Солидарность выразилась в единых действиях, хотя между западными активистами и представителями «третьего мира» постоянно вспыхивали острые споры. Журналисты определили общую тенденцию движения как сочетание «активизма и прагматизма».[363] Это движение не имело четкой стратегии, но было крайне динамичным. На самом деле единство действий вовсе не исключало серьезных разногласий между участниками

коалиций. Как отмечает южноафриканский политолог Дот Кит, различия обнаруживались не только, а порой и не столько между представителями различных идеологических традиций, сколько между активистами с Севера и с Юга. Некоторые «северные» группы в движении за отмену долгов «Юбилей 2000» даже были обвинены в «неоколониальных» методах работы со своими филиалами в странах Юга.[364] Однако наличие подобных проблем, по мнению Кит, не является препятствием для развития движения, если они обсуждаются и решаются демократически: «Формирование подобных глобальных коалиций требует политической компетентности и стратегического мышления с обеих сторон».[365]

Со времени Сиэтла массовые протесты некоторое время сопровождали все крупные международные мероприятия, знаменуя появление на политической сцене нового поколения радикальных активистов. Теоретик радикального крыла американских профсоюзов Ким Муди назвал это «союзом „зеленых“ и „синих воротничков“»[366], а Кевин Данахер, один из организаторов акции в Сиэтле, говорил про «коалицию коалиций», объединившую профсоюзы, социалистов, анархистов, «зеленых» и т. д.[367] Когда в 1999 году 60-тысячная толпа сорвала встречу Всемирной Торговой Организации (ВТО), это оказалось полной неожиданностью даже для лидеров и организаторов демонстраций. «Выступления в Сиэтле были самым большим массовым протестом, который наша страна видела со времен Вьетнамской войны», — писал левый американский журнал.[368]

Накануне встречи многотысячная профсоюзная демонстрация прошла по улицам города. По словам английского журналиста, это было «самое замечательное и важное событие — 40 тысяч американских рабочих (водители грузовиков, металлурги и т. д.) объединились в Сиэтле с протестующими и в лучших традициях интернационализма протянули руку помощи своим братьям и сестрам в бедных странах».[369] Единство рабочих и представителей новых социальных движений было зафиксировано знаменитым лозунгом «Teamsters and turtles together at last».[370] Этот труднопереводимый на русский язык каламбур может быть несколько коряво передан словами: «Водители грузовиков наконец-то объединились с защитниками черепах». Спустя несколько дней этот лозунг, написанный на профсоюзном плакате в Сиэтле, повторяли тысячи людей по всему миру, превратив его в своего рода поговорку.

Впрочем, само по себе участие рабочих в выступлениях протеста отнюдь не свидетельствует о том, что мы имеем дело с классовым движением, как его понимали марксисты начала XX века.

«Ключевой вопрос движения в том, как оно построит свои отношения с рабочим классом, — писал английский социалистический журнал. — Дух движения явно антикапиталистический, но понимание стратегической, центральной роли рабочего класса отсутствует. Участие рабочего класса в движении рассматривается как один из элементов общей картины, полезный и важный элемент, но это не более чем один из участников широкой коалиции, направленной против общего врага».[371]

Применительно к происходящему скорее можно применить разработанное Грамши понятие «исторического блока». Такой исторический блок несводим к интересам какого-то одного класса, но в нем разворачивается борьба за идейную и организационную гегемонию — от исхода этой внутренней борьбы, в конечном счете, зависит, к чему приведет движение.

Утром в день открытия встречи, отели, где разместились ее делегаты, были блокированы протестующими, а все центральные улицы заняты многотысячными толпами демонстрантов. Участники встречи так и не смогли собраться. Для разгона протестов были брошены отряды

полиции, применявшие слезоточивый газ, использовавшие бронетранспортеры. Демонстрантов жестоко избивали, но на протяжении всего дня полиция не смогла восстановить контроль над центром города.

В апреле 2000 года для того, чтобы обеспечить работу Международного Валютного Фонда и Мирового Банка в Вашингтоне, властям пришлось на несколько дней ввести нечто вроде осадного положения, а полиция прибегала к превентивным арестам.

«И в Сиэтле, и в Вашингтоне организация блокад была децентрализованной, когда участники событий делились на самостоятельные группы, принимавшие решения на месте, — отмечает один из участников событий. — Эти группы посылали своих представителей в координационный совет, который принимал решения более общего характера. Одни занимались тактикой, другие — коммуникациями, общими силами выработывался базовый сценарий, каждая группа брала на себя определенную „зону ответственности“, а „летучие отряды“ появлялись всегда там, где нужна была помощь.

Это выглядело хаотично, но было хорошо организовано и, главное, великолепно работало. У нас были тысячи обученных активистов на улицах, и каждый сам знал, что надо делать, они прекрасно ориентировались в ситуации и при необходимости сами меняли планы.

С точки зрения полиции это была полная катастрофа. Полиция выглядела одновременно жестокой и беспомощной. Жители Сиэтла были возмущены...»[372]

Не случайно центром волнений оказались именно США, переживавшие в конце 1990-х экономический подъем. Но, как и в 1960-е годы, среди молодого поколения начала распространяться уверенность в том, что этот подъем не только оплачен усилением эксплуатации стран «третьего мира», но и не помогает разрешить социальные противоречия, от которых страдает само американское общество.

В российской прессе неоднократно высказывалось мнение, будто люди, протестовавшие против корпоративной глобализации, являлись «неудачниками» рыночной экономики, «луддитами». Между тем подавляющая часть активистов принадлежала к молодежи, выросшей уже в период неолиберализма и обученной именно для успешной работы на новом рынке. Выступления протеста координировались через Интернет, а в Сиэтле немалую роль сыграло то, что одним из крупнейших работодателей в городе была корпорация «Microsoft» — символ «новой экономики». Полиция Сиэтла жаловалась, что протестующая молодежь превосходила ее по техническому оснащению, используя мобильную связь, портативные компьютеры с выходом в Интернет. Таким образом, движение объединило именно те массовые слои, которые либеральная политическая элита ранее механически записывала в свой актив, объявляя их «самыми лучшими и самыми умными».[373]

Именно это обстоятельство предопределило и неожиданную эффективность движения, и полную растерянность и деморализацию его противников на первом этапе борьбы. Неолиберальная элита, проявлявшая полное равнодушие к протестам шахтеров или металлургов, оказалась совсем не подготовленной к массовым выступлениям компьютерных специалистов, студентов привилегированных колледжей. Тем более шоком для элит оказалось то, что эти два потока слились в один: молодые представители «новой экономики» выступили единым строем с «традиционным» рабочим классом, осознав общность интересов — и те и другие протестовали против всевластия корпоративного капитала.

Правящие круги еще не сталкивались с подобными горизонтально скоординированными выступлениями и не знали, как с ними бороться. Это движение, замечает Бернар Кассен, один из его идеологов, «представляет собой нечетко оформленную коалицию организаций, сетей, а порой просто интернет-сайтов, порой действующих локально, а порой глобально, зачастую без формальных структур, возникающих каждый раз заново для планирования конкретной акции».[374] Создается ощущение, что движение внезапно кристаллизуется для решения той или иной задачи, привлекает к себе внимание, возникая как будто ниоткуда, а потом так же исчезает.

Не только для истеблишмента, но и для самих участников протеста в Сиэтле его размах и эффективность оказались неожиданностью. «Большая часть людей, — отмечает левый английский журнал, — представители различных групп и активистских кампаний, просто хотели выразить свое несогласие с ВТО. Массовость выступления удивила всех. Жестокость полиции потрясла. А единство между рабочим и новыми движениями вызвало общий энтузиазм».[375]

Буржуазная пресса, разумеется, уделила больше внимания двум-трем десяткам анархистов, разбившим витрины шикарных бутиков в центре города, чем массовым демонстрациям. Разгромы дорогих бутиков и ресторанов «Макдоналдс» приписывались «Черному блоку», к которому пресса по инерции относилась всех анархистов. Между тем, как отмечает английский исследователь Амори Старр (Amory Starr), «Черный блок» — это «тактика, а не организация».[376] Под знамена «Черного блока» собирались те, кто был настроен на силовую конфронтацию с полицией. Умеренные деятели от таких выступлений отреклись. Но в известном смысле эти выходки шли на пользу движению. До того, как «Черный блок» начал громить бутики, произошло многое. Однако ни забастовка портовых рабочих Сиэтла, протестовавших против встречи ВТО, ни многотысячные мирные демонстрации не удостоивались внимания прессы. Стоило разбиться первому стеклу, как вся Америка, а за ней и весь мир с изумлением обнаружили появление новой политической силы. «Тот факт, что все эти кампании децентрализованы, вовсе не свидетельствует об их несостоятельности или разобщенности, — писала Наоми Кляйн, один из наиболее популярных идеологов движения. — Напротив, речь идет о преодолении разобщенности, об объединении в движение многочисленных прогрессивных тенденций, которые ранее были разобщены, о формировании на этой основе единой, широкой культуры».[377]

За волнениями в Сиэтле последовали протесты в Вашингтоне в апреле 2000 года во время совещания Мирового банка, а затем — массовые демонстрации, сопровождавшие предвыборную конференцию Демократической партии США в Лос-Анджелесе в августе 2000 года. Впервые с 70-х годов радикальные выступления стали темой дискуссии в «большой прессе», появились на экранах телевидения в США. Флора Льюис, обозреватель «International Herald Tribune», негативно настроенная к движению, отмечает: «После своего неожиданного успеха в Сиэтле на встрече Всемирной торговой организации, после того как выступления протеста стали частью весеннего совещания Мирового банка в Вашингтоне, организаторы демонстраций достигли подлинного профессионализма, научились организовывать и использовать имеющиеся силы с максимальным эффектом».[378]

Как отмечал идеолог антикорпоративного сопротивления Уолден Белло, провал встречи ВТО в Сиэтле был не только результатом массовых выступлений, но скорее итогом «магической комбинации» — когда уличные протесты наложились на разногласия между представителями

ведущих стран Запада.[379] По мнению многих левых, события в Сиэтле стали «поворотным моментом в истории».[380] Австралийский «Green Left Weekly» назвал произошедшее в Сиэтле и Вашингтоне «важным шагом на пути к общей цели — новому, демократическому и социалистическому миру, где господствуют интересы людей, а не прибыли корпораций».[381] «Антиглобалистов» пресса восприняла как движение совершенно новое, молодежное непривычное, порожденное совершенно новыми условиями. Однако на деле многие из его лидеров и участников имели длительную политическую историю. Большинство основных компонентов этой коалиции существовали задолго до появления Всемирной торговой организации — экологи, профсоюзы, радикальные марксистские группы, все они прошли немалый путь самостоятельно, чтобы встретиться в Сиэтле. А крестьянское движение и вовсе можно считать самым древним из социальных движений в истории человечества. Не было еще ни глобализации, ни даже капитализма, а крестьяне уже боролись за свою землю и свои права.

Земледельцам из Латинской Америки, Европы и Азии легко удавалось найти между собой общий язык. Ключевую роль здесь сыграли бразильское Движение безземельных крестьян (MST) и транснациональная коалиция *Via campesina*. А французское крестьянское движение выдвинуло одного из самых популярных лидеров, чье имя стало символом нового сопротивления: Жозе Бове. Впрочем, Бове отнюдь не являлся типичным французским фермером. Он родился в 1953 году в семье ученого-биолога, который подолгу работал в США, Мексике и других странах. Молодой Жозе был представителем космополитичной интеллигенции, легко ориентирующейся в мире, свободно владеющей иностранными языками, — полная противоположность образу консервативного французского крестьянина, вцепившегося в свою полоску земли. Его юность пришлось на бурный период конца 1960-х и начала 1970-х годов. Вместе с другими активистами революционных групп, которыми тогда были наводнены французские университеты, он обсуждал перспективы переустройства общества, спорил о марксизме и участвовал в акциях протеста. Однако к концу 1970-х движение пошло на спад. Когда президентом стал социалист Франсуа Миттеран, в политическом смысле это было кульминацией многолетнего наступления левых, но скоро последовало глубокое разочарование. Социалистическая партия отказалась от собственных лозунгов и обещаний. Политическое сальто-мортале социалистов потрясло даже людей, привычных к беспринципности и цинизму французской политики. Начав с программы «поэтапного разрыва с капитализмом», социалисты закончили утверждением принципов рыночной экономики и частного предпринимательства. Во Франции, как и во всем мире, настала эпоха реакции. Национализированные предприятия приватизировались, права, предоставленные рабочим, отнимались, дискуссии в средствах массовой информации сменились тотальным единомыслием (*pensée unique*).

Радикальная интеллигенция была деморализована. Многие занялись академической и журналистской деятельностью, некоторые спивались или убивали себя наркотиками. Изрядное число бывших революционеров принялось делать карьеру, добившись зримых успехов: вчерашние ниспровергатели основ превратились в сытых начальников, модных либеральных писателей или в высокопоставленных бюрократов. Они рьяно пропагандировали атлантическую интеграцию, защищали ведущую роль Америки как морального ориентира для всего мира, отстаивали ценности свободного рынка. Все это они делали с ревностью новообращенных. Традиционным правым было

до них далеко. Если у старомодных консерваторов сохранялись какие-то понятия об интеллектуальной честности, то ренегаты левого лагеря смотрели на таких людей как на динозавров. В подобной обстановке Жозе Бове сделал собственный нетривиальный выбор. Он переселился в деревню и стал разводить овец. Однако он не просто переждал трудные времена. Среди фермеров хорошо образованный, политически мыслящий и динамичный коллега быстро завоевал авторитет. Спустя несколько лет интеллектуал возродился в образе крестьянского лидера, а затем и в качестве политической фигуры национального масштаба.

Организованные им акции протеста не раз заканчивались арестом, после чего популярность Бове только возрастала. Самым красочным актом действительно было разрушение закусочной «Макдоналдс» в 2003 году. «Макдоналдс» стал излюбленной мишенью левых, поскольку эта компания не допускает создания на своих предприятиях профсоюзов, постоянно обвиняется в экологически недобросовестной практике, поддерживает связи с правоконсервативными политиками. Облюбованный Бове ресторан еще не был введен в строй, его готовили к открытию, когда Жозе с товарищами пригнал на место стройки сельскохозяйственную технику и демонтировал здание. После этого он провел за решеткой полгода. Но в тюрьму он отправился на собственном тракторе, сопровождаемый толпами восторженных сторонников. Противник генетически модифицированных продуктов, Бове также отличился уничтожением кукурузных и рисовых полей, где выводили генетически модифицированные сорта. Для крестьян опасность подобных новаций состоит в том, что самостоятельно эти сорта не могут воспроизводиться. Если в старые добрые времена крестьянин, однажды закупив семена, мог собирать урожай в течение многих лет за счет запаса из собственных амбаров, то теперь ему каждый год приходится покупать семена заново: генетическая модификация семян превращает земледельцев в рабов компании-поставщика. К началу 2000-х годов Бове стал знаменитостью мирового масштаба.

Политические партии оказались во многом позади массового движения, которое в конце 1990-х начало стихийно вырабатывать новые формы организации и действия, зачастую заменяя инертные партийные структуры. «Работу», с которой не справлялись политические партии, в значительной мере стали делать общественные коалиции, возникшие в конце 1990-х годов. Одной из первых была международная коалиция «Юбилей-2000», выступившая за отмену долгов развивающихся стран. Во Франции движение за регулирование транснациональных финансовых потоков получило название АТТАК (Attac) — в 1999–2000 годах эта организация создала филиалы почти по всей Европе, включая и Россию. Рост этих движений был бурным и резко контрастировал со стагнацией многих политических партий.

В свою очередь, отношение левых партий к АТТАК и другим подобным движениям оказалось двойственным. Во Франции многие депутаты от компартии и соцпартии вступили в АТТАК. Лидеры компартии приветствовали его деятельность, а также заявили о солидарности с Жозе Бове, французским крестьянским лидером, попавшим в тюрьму за то, что вместе со своими единомышленниками демонтировал здание ресторана «Макдоналдс».

«Окажись здесь „Макдоналдс“, мы бы вместе с Жозе его демонтировали», — заявил лидер компартии Робер Ю на празднике газеты «L'Humanité».[382] Однако по какой-то счастливой случайности «Макдоналдса» рядом не оказалось, и в тюрьму пошел Жозе Бове, а товарищ Ю вернулся к своим парламентским обязанностям. Пока на праздниках произносились эти грозные

речи, компартия вместе с соцпартией оставалась в составе правительства, проводившего политику, против которой как раз и выступали активисты массовых движений. Все это усугубляло кризис в партии, фактически разделившейся на группы, действовавшие автономно друг от друга.

В скандинавских странах партии, находившиеся слева от социал-демократии, активно поддерживали международные протесты, их активисты участвовали в демонстрациях в Праге в 2000 году и особенно энергично — в Гетеборге в 2001 году. В Финляндии к АТТАК присоединились представители левого крыла социал-демократии. Однако и в Скандинавии с началом массовых протестов резко обострились противоречия между левым и правым крылом в политических партиях.

В условиях, когда левые политические партии демонстрировали явную недееспособность и выходящий за рамки любых приличий оппортунизм, на борьбу против «глобализации» поднялось, по выражению немецкого философа Эльмара Альтфатера, «глобальное гражданское общество».[383]

Решающую роль в развертывании движения сыграли неправительственные организации (НПО), возникшие в конце 80-х годов XX века. Само по себе бурное развитие НПО в 1980-е и начале 1990-х годов является следствием глубочайшего кризиса левых на Западе и в «третьем мире». Если в 1960-е и 1970-е годы можно было наблюдать подъем массовых организаций и движений («новые левые», «зеленые» и т. д.) то к середине 1980-х большая часть из них находилась в упадке. Причиной был не крах СССР, наступивший значительно позднее, а неспособность самих левых противостоять наступлению неолиберализма и распаду социального государства на Западе. Большая часть активистов, смирившись с поражением, перешла к тактике «малых дел» в рамках всевозможных НПО. Упадок политических партий сопровождался уходом масс из политики, а движения были заменены организациями профессионалов типа «Greenpeace». Эти организации были технически хорошо подготовлены, но, как правило, недемократичны, авторитарны и изолированы от общества. Одна из отличительных черт «новых социальных движений», поднявшихся в конце 1980-х годов, состояла в том, что многие из них отнюдь не являлись «социальными» (в смысле представительства сколько-нибудь широкого социального слоя). Более того, многие из них не являлись и движениями. Место массовых организаций понемногу занимают специализированные группы, сеть неправительственных организаций. Так, массовое экологическое движение середины 1970-х сменилось профессиональными и дорогостоящими акциями «Greenpeace» или «Друзей земли», антивоенное движение перешло от организации народных маршей к проведению симпозиумов и лоббированию высокопоставленных чиновников. Вопрос не в том, хороши или плохи цели этих организаций. Деятельность подобных структур может быть общественно полезной, а может сводиться к выбиванию средств на поддержание собственного аппарата. Но в любом случае именно аппарат становится центральным элементом новой политики.

Такая профессионализация оказалась привлекательной перспективой для радикальных активистов, постаревших, уставших от бедности и самопожертвования. Дмитрий Петров — в середине 1990-х годов — лидер левой группы «Студенческая защита» — опубликовал настоящий панегирик НПО на страницах «Независимой газеты»: «Их ресурсы велики, их политика транснациональна, их стратегии долгосрочны. Налоговые, таможенные и другие льготы помогают привлекать изрядные средства в виде пожертвований. Жертвуют и живущие на зарплату американцы и европейцы, и крупные корпорации, суперзвезды шоу-бизнеса устраивают фестивали в пользу детей Африки...»

Неправительственные организации сочетают гуманизм и «новые рекламные возможности», они

«становятся последней надеждой рассерженных студентов, разъяренных рабочих, доведенных до отчаяния безденежьем, одиноких стариков, больных, бездомных, беспризорных детей, меньшинств, ущемленных в правах. Именно они становятся инициаторами возрождения цивилизационных ценностей, прогрессивных традиций общинности, коллективного лидерства и взаимной поддержки. Они дают бессильным силу».[384]

На деле многие неправительственные организации не могли бы существовать без тесной связи с государством, которое фактически передает им часть своих функций и одновременно снимает с себя ответственность за результаты этой деятельности.[385] С одной стороны, лоббирование, корпоративизм и патернализм становятся неотделимы от новых социальных движений. С другой стороны, происходит частичная приватизация гражданской жизни и даже социальной сферы. Это, пожалуй, гораздо опаснее для демократии и гражданского участия, нежели традиционный корпоративизм, не претендовавший на то, чтобы быть высшим выражением демократии. Коррупция является естественным продолжением такой политики. Неслучайно именно коррумпированный режим «социалиста» Беттино Кракси в Италии был тесно связан с НПО — обычной практикой был обмен политической поддержки правительству со стороны левых и экологических НПО на финансовую помощь. «Прикармливая» прогрессивные неправительственные организации, правительство одновременно поощряло их в качестве альтернативы «старой левой».

«Новые социальные движения» и НПО начали со справедливой критики централизма, авторитаризма и бюрократизма «старого» рабочего движения, его партий, профсоюзов и массовых ассоциаций. К середине 1990-х многие НПО сами превратились в узкие группы профессионалов, полностью закрытые для контроля со стороны населения и зависимые от внешних источников финансирования. Значительная часть НПО оказалась закрыта даже для тех привычных форм демократического контроля, которые (пусть и в ограниченном виде) существовали в традиционных массовых партиях. В итоге новые социальные движения и НПО нередко были интегрированы в систему, которой формально противостояли. Признавая кризис новых социальных движений, некоторые авторы даже в этом видят их сильную сторону. Так, Андре Гундер Франк и Марта Фуентес пишут, что «сам по себе жизненный цикл социальных движений, которые через некоторое время либо исчезают, либо институционализируются, свидетельствует не об их слабости или самоуничтожении, а об их жизненной силе и растущем значении в качестве фактора будущих преобразований».[386]

Показательно, однако, что кризис этих движений наступает не от того, что их программы хотя бы частично выполнены (как было с «классическим» либерализмом или социал-демократией), от того, что они оказываются неспособны реализовать свои обещания, теряют связь с собственной социальной базой.

Эволюция экологического движения в бывшем Советском Союзе может быть великолепным примером. В годы перестройки экологические выступления были важнейшей частью новых гражданских и социальных инициатив. Теоретики движения гордо заявляли, что эти выступления превращают «население» в граждан. Протестуя против загрязнения окружающей среды, они «осознают свои обязанности в качестве граждан».[387]

Спустя три года представители Социально-экологического союза России констатировали упадок движения. Хотя состояние окружающей среды заметно ухудшилось, люди, угнетенные заботой о выживании в условиях «дикого» капитализма, больше не склонны были ни протестовать, ни

вступать в экологические организации. Идеологи признавали: наступил «серьезный кризис». Лидеры экологов испытывали «колебания между позициями союзника и оппонента системы», была подорвана основа «солидарных действий». Реальность середины 1990-х — это «бюрократизация, социальная дифференциация и иерархизация, растущий разрыв между ядром движения и его периферией, сосредоточение в руках лидеров ресурсораспределяющих функций и независимость их действий по отношению к рядовым активистам».[388]

Не только в России, но и на Западе новые социальные движения повторили за полтора десятилетия ту же траекторию бюрократизации и упадка, на которую старому рабочему движению потребовалось полтора столетия. Отсутствие четкой классовой базы способствовало ускоренному разложению «радикальных» политических элит. В России лидеры экологического движения сумели избежать многих соблазнов, связанных с участием во власти и коррупцией. Ускоренное разложение русского экологизма было связано не только с его собственными внутренними проблемами, но и с общей неудачей гражданского общества, которое погибло, не успев возникнуть. Экологизм был выражением гражданской активности и пришел в упадок вместе с ней. Без мощного социального импульса эта гражданская активность не может ни возродиться снизу, ни быть насаждена «сверху». Не имея возможности мобилизовать массовую социальную базу, экологические организации сделали ставку на работу профессионалов. В условиях России это было равнозначно ориентации на западную финансовую помощь: «Структуры движения стали меняться потому, что приоритеты зависели от западных экспертов и организаций». Радикальные идеи и настроения уступили место прагматизму, отмечает известный исследователь Олег Яницкий, усиливая реформистский характер движения. Разложение движения в таких условиях неизбежно. Если та или иная группа получает грант на определенный проект, который должен быть реализован в течение определенного времени, ничем другим она уже заниматься не в состоянии. «Подобный сценарий подрывает солидарность между группами, усиливает конкуренцию между ними».[389]

К концу 1990-х годов кризис неправительственных организаций и новых социальных движений становится очевидным. Но это не означает их ухода со сцены. В 1999–2000 годах происходит очередной перелом. На Западе в политику приходит новое поколение, не затронутое ни «холодной войной», ни крахом коммунизма, ни комплексом постоянного поражения, сформировавшегося у западных левых на протяжении 80-х годов XX века. Они не хотят работать в традиционных парламентских партиях или относятся к ним с подозрением, но и самоизоляция НПО 1980-х годов их не устраивает. Отныне НПО открыто раскалываются на две группы: тех, кто представляет собой непрозрачные самодостаточные структуры, нацеленные исключительно на симуляцию деятельности и проедание грантов, и тех, кто поставил себя на службу массовому движению, превратился в его специализированные подразделения, подчинившись его задачам и его демократии, кто готов выступать в качестве экспертного сообщества, технического аппарата, не пытаясь больше заменять собой организации масс.

После волнений в Сиэтле и Вашингтоне настал черед массовых выступлений в Европе. В сентябре 2000 года 10 тысяч демонстрантов, съехавшихся со всего континента, сорвали встречу Международного Валютного Фонда и Мирового Банка в Праге. Столица Чехии была избрана для этой встречи не случайно. Ее организаторы не скрывали, что в городе, где еще помнят тоталитарную пропаганду советской эпохи, антикапиталистические идеи движения «будет трудно

распространять».[390] Это в значительной мере соответствовало действительности, но демонстрации показали, что, несмотря на скептицизм старшего поколения, среди молодежи левые идеи пользуются возрастающей популярностью.

В Праге полиция ожидала, что демонстранты постараются повторить «американский сценарий», блокируя отели. Вместо этого протестующие дали участникам встречи собраться в Конгресс-центре и заблокировали выходы. В течение двух часов представители мирового банковского сообщества не могли вернуться в свои отели. В конечном счете им пришлось добираться в гостиницы на общественном транспорте, что, по признанию самих делегатов, было для них настоящим шоком. Встреча была прекращена.

Массовые протесты прошли в Ницце в декабре 2000 года во время совещания руководящих органов Европейского Союза, а затем — в Швейцарии во время Всемирного экономического форума в Давосе. Для предотвращения демонстраций полиция практически блокировала район Давоса, что привело к дезорганизации транспорта по всей маленькой Швейцарии и вызвало возмущение добропорядочных бюргеров. Демонстрантов поливали холодной водой на морозе. Для «защиты» Давоса использовались воинские подразделения с бронетранспортерами (бронетехника активно, но неэффективно использовалась уже в Праге, где один бронетранспортер был подожжен анархистами). Несмотря на то, что в отличие от Праги, демонстранты не смогли помешать проведению Мирового Экономического Форума, назвать Форум успешным было затруднительно. «Давос-2001 знаменует резкое изменение настроения и психологии представителей мировой бизнес-элиты, — писал „Green Left Weekly“. — Они, конечно, пока еще не выпрыгивают из окон, но они стали мрачными, они постоянно оправдываются и почти не употребляют слова „глобализация“, „технология“, „прибыль“, которые раньше вставляли в любую фразу».[391]

Надо отметить, что перенос основного места действия из США в Европу и Канаду способствовал усилению и более четкому артикулированию антикапиталистической направленности движения. Активисты традиционных левых партий, а также сторонники многочисленных революционно-марксистских групп играли в европейском и канадском движении значительно большую роль, нежели в США. Что еще важнее, они оказались своего рода культурными посредниками, через которых традиции рабочего и социалистического движения, исторический опыт «старой» левой были переданы новому движению.

Более активное участие сторонников «традиционной» левой в антикапиталистических выступлениях способствовало и выдвижению на передний план позитивной программы.[392] Лозунги стали более конкретными и социально заостренными. Вместо того чтобы упрекать корпорации в различных безобразиях, активисты теперь боролись за ликвидацию самих международных институтов, посредством которых корпоративная диктатура реализуется на практике. Уличные восстания начала 2000-х годов подготовили французское и голландское «Нет!» на референдуме по Евроконституции и предопределили глубокий кризис легитимности, охвативший институты западноевропейского сообщества.

Прямым следствием массовых выступлений в Сиэтле стала президентская кампания Ральфа Нэйдера в США в 2000 году. До сих пор радикальные критики системы в Америке перед каждыми выборами оказывались в состоянии морального кризиса. Теория «меньшего зла» заставляла их поддерживать демократов, а собственный жизненный опыт свидетельствовал, что чем больше демократы

пользовались бескорыстной поддержкой левых, тем дальше сдвигались вправо. Когда в 1992 году после 12 лет правления консервативных республиканцев в Вашингтоне воцарился Билл Клинтон, многие надеялись если не на поворот влево, то хотя бы на то, что неолиберальный экономический курс во внутренней политике и агрессивная империалистическая линия во внешней сменятся чем-то более умеренным. На практике все вышло наоборот. Администрация Билла Клинтона оказалась одной из самых правых за всю послевоенную историю США. По своей внешнеполитической агрессивности демократы заткнули за пояс даже республиканцев, организовав подряд несколько вооруженных интервенций на Балканах, активно поддержав действия МВФ в странах «третьего мира», поддержав государственный переворот, организованный в 1993 году российским президентом Ельциным. В середине 2000-х годов радикальный американский журнал констатировал: «Сегодня демократы стоят по всем ключевым социальным вопросам правее, чем были республиканцы в 1970-е годы».[393]

Настал момент, когда никакая «теория меньшего зла» не могла оправдать сотрудничество с демократической партией. Активисты, пережившие «битву в Сиэтле», увидевшие собственными глазами, что происходит в Европе и в соседней Мексике, где разворачивалось восстание сапатистов, не желали превращаться в заложников истеблишмента. Выходом для них стала президентская кампания независимого кандидата Ральфа Нэйдера, получившего известность в качестве адвоката, защищавшего права потребителей.

Хотя Нэyder, выступавший от имени Зеленой Партии, набрал меньше голосов, нежели ожидалось (около 3 %), он был первым за два десятилетия радикальным кандидатом, который привлек к себе внимание прессы и общества. Уличные митинги в поддержку Нэйдера в Нью-Йорке и Калифорнии были крупнее, чем аналогичные мероприятия республиканцев и демократов. А «зеленые» укрепили свои позиции в качестве электоральной альтернативы господствующим партиям. Большая часть радикальных левых групп — в том числе и весьма далеких от экологической проблематики — активно работала на Нэйдера. В рядах его сторонников были и троцкисты, и борцы за гражданские права, и даже некоторые группы, имевшие репутацию «анархистских».[394]

Обе официальные партии общими усилиями добились недопущения Нэйдера к предвыборным теледебатам. «Если бы Нэyder смог принять участие в дебатах, — пишет журнал „New Politics“, — он бы, скорее всего, удвоил или утроил количество полученных голосов. Но еще важнее было бы образовательное и пропагандистское значение такого по-настоящему демократического столкновения взглядов. И все же, даже не имея доступа к средствам массовой информации, Нэyder изменил сознание миллионов людей, включая тех, кто за него не голосовал: он показал, что система прогнила насквозь, но сами мы не бессильны».[395]

Выборы 2000 года закончились поражением демократов и появлением в Белом Доме Джорджа Буша-младшего, который уже на этапе предвыборной кампании подавал надежды на то, что станет самым реакционным президентом в истории США. Непрерывный марш демократов вправо создал ситуацию своеобразной конкуренции между основными партиями, стремившимися перешеголять друг друга в реакционности. Правда, в последний момент демократы вспомнили про привычную социальную риторику — и почти отыграли выборы. Все решило голосование в штате Флорида, где под присмотром губернатора-республиканца из того же семейства Бушей голоса распределились весьма странным образом. Однако демократы, пошумев немного для виду, фактически сорвали борьбу

против избирательных фальсификаций.

Представители «умеренных» в левом лагере тут же попытались возложить ответственность за поражение демократов на Нэйдера. Но даже самый простой анализ хода выборов показывает, что это не так. Как известно, американская избирательная система является двухступенчатой. Нэyder набрал большую часть голосов в штатах, которые и так отошли к демократам. Во Флориде его участие в выборах не меняло общего расклада. Ни одного выборщика демократы по вине Нэйдера не потеряли. В то же время Нэйдера критиковали и слева — за недостаток внимания к положению этнических меньшинств, за то, что он не предпринял серьезных усилий для привлечения на свою сторону профсоюзов. Сделав некоторые символические шаги в этом направлении, он ими и ограничился. Подобная критика отражала реальные проблемы и противоречия движения. Однако необходимо отметить несколько принципиально важных моментов, о которых мало писали как левые, так и правые комментаторы. Во-первых, «антиглобалистское» движение возникло на рубеже веков — в условиях, когда сами социальные структуры и даже структура рабочей силы в мировом масштабе были крайне сложными и неоднородными. Новый глобальный трудовой класс, пролетариат эпохи позднего капитализма, сам находится в процессе становления, а потому неоднородность сил сопротивления лишь отражает социальные противоречия и различия в среде трудящихся. Во-вторых, движение возникло на фоне беспрецедентного упадка и деморализации «классических» левых, деградации социалистической и марксистской политической культуры. Тем самым новые радикалы вместо того, чтобы строить свою идеологию, культуру и политику на основе достижений прежних поколений левых, вынуждены были фактически создавать все с нуля, зачастую заново открывая старые истины. В-третьих, существенно, что новое движение родилось именно в США.

Отсутствие «старой левой» и фактически полное исчезновение с политической сцены «новой левой» образца 1960-х годов расчистило в Америке пространство для появления нового радикального движения, «третьей левой», глобального радикализма и т. д. Деградация традиционной левой не могла здесь быть препятствием для роста движения именно потому, что традиционные социалистические и коммунистические партии в США начиная с конца 1930-х годов не являлись важным политическим фактором. Сначала одни были интегрированы в «Новый курс» Демократической партии Ф.Д. Рузвельта, а затем «вычищены» из политической жизни во время «холодной войны» и инициированных сенатором Маккарти репрессивных антикоммунистических кампаний. Причем именно кооптация левых в официальные структуры демократов способствовала их полному крушению в 1940-е годы, когда, потеряв доступ к официальной политике, они обнаружили, что собственные организации строить уже поздно.

Левые интеллектуалы нашли убежище в университетах, где к 1960-м годам вызрело движение «новых левых». Но и это движение, не имевшее связи с рабочим классом и основной массой «необразованного» населения, к середине 1970-х годов угасло. Интеллектуалы вернулись на университетские кафедры (пополнившиеся вчерашними активистами).

Отсутствие левой традиции среди масс наложило свой отпечаток и на идеологию, и на лозунги, и даже на эстетику движения в США. Оно в значительной мере воспроизводило методы «новых левых». Но оно пыталось учиться на уроках прошлого. Сотрудничество с профсоюзами рассматривалось активистами как способ выйти из академического «гетто». А изменение социальной структуры американского общества, в котором рос процент работников, получивших высшее

образование, создавало Для университетских радикалов новую, куда более широкую аудиторию. Тем не менее, несмотря на резкий подъем левых настроений в Америке, движение оставалось здесь гораздо более «сырым» и политически неустойчивым, нежели в Европе. Это не преминуло сказаться в 2001 году, когда левые столкнулись с контрнаступлением истеблишмента.

Кульминацией выступлений 2000–2001 годов в Европе стали события в Генуе. Сюда, на саммит «большой восьмерки» лидеров крупнейших индустриальных стран, прибыло, по разным данным, от 200 до 300 тысяч демонстрантов. Масштабы мобилизации оказались столь впечатляющими в силу сочетания ряда факторов. С одной стороны, активисты движения изначально планировали демонстрацию в Генуе как кульминацию длительной кампании. С другой стороны, в самой Италии победа правых во главе с Сильвио Берлускони создала новую политическую ситуацию.

Левоцентристские силы, объединявшиеся вокруг блока «Оливкового дерева» и партии Левых демократов, были деморализованы, а значительная часть их сторонников в профсоюзах и других массовых организациях радикализировалась. В период, пока левый центр был у власти, существовало опасение, будто массовые протесты могут «раскачать лодку», способствуя приходу к власти правых. Поскольку правые все равно пришли к власти, это негласное самоограничение отпало, и профсоюзные активисты, даже близкие к левому центру, почувствовали себя свободными в своих действиях. Наконец, жестокость полиции во время демонстраций в Зальцбурге и Гетеборге вызвала возмущение радикальной молодежи, желание ответить «ударом на удар». В Гетеборге полицией впервые было применено огнестрельное оружие против демонстрантов, три человека были ранены. Реакцией движения была лишь еще большая радикализация.

Большинство молодых людей, приехавших в Геную, были итальянцами, но из Франции, Греции, Великобритании, Испании и Германии также прибыли многотысячные подкрепления. Были представлены также радикальные группы из Восточной Европы, в том числе из России. Фактически из России прибыло два контингента. Один — в виде «официальной» российской колонны, организованной активистами «альтернативных» профсоюзов и Движением за рабочую партию.[396] Ядром этой группы была группа «Социалистическое сопротивление». Второй был организован активистами из Петербурга совместно с русскоязычными левыми из балтийских республик.

Саммит в Генуе обернулся беспрецедентным по европейским меркам насилием. После Генуи в течение двух недель Италия не могла прийти в себя. Насилие сопровождало все встречи международной элиты уже на протяжении двух лет, но это было нечто иное. В Праге участники событий говорили про «карнавальное насилие». Сражения с полицией как-то естественно перемешивались с театрализованным представлением, карнавалом, где розовые воздушные шары взмывали над облаками слезоточивого газа. В Квебеке весной 2001 года катапульты стреляли в полицию плюшевыми мишками, а на повязках, которыми прикрывала лица молодежь, штурмующая полицейские заграждения, были нарисованы улыбки. Местная пресса помещала изображения щитов, противогазов и мотоциклетных касок в разделе моды.

В Генуе ситуация была качественно иной. 20 июля 2001 года на площади Кеннеди карабинерами был застрелен восемнадцатилетний демонстрант Карло Джулиани. Ожесточение нарастало с обеих сторон. Бронемшины таранили толпу. Молодежь громила витрины, поджигала автомобили, строила баррикады. Здесь, в отличие от Праги, не было безопасных зон, весь город превратился в огромное поле боя. Не только полиция жестоко избивала демонстрантов, но и сами молодые люди с яростью

набрасывались на карабинеров, оставших от строя, били их ногами и палками. В ночь с 21 на 22 июля полиция ворвалась в помещение, где размещался Генуэзский Социальный Форум, избивала и арестовала десятки людей. Число раненых исчислялось сотнями. Итальянский парламент был вынужден начать расследование действий полиции. Площадь Кеннеди, где погиб молодой человек, была стихийно переименована в «площадь Карло Джулиани».

Скандал, разгоревшийся в итальянском парламенте из-за зверства карабинеров, выявил, насколько лидеры левого центра были замешаны в подготовку репрессий. Когда оппозиционные депутаты потребовали от правительства Берлускони отчета, тот сослался на инструкции, которые подготовило для полицейских служб предыдущее правительство Романо Проди. Придя к власти, правые ничего не изменили, они даже не имели времени на то, чтобы вмешаться в подготовку саммита. Реакционеры лишь выполняли планы «прогрессистов».

Гибель молодого итальянца стала рубежом, за которым начинается совершенно новый этап противостояния. Карло Джулиани, застреленный карабинером, стал мучеником движения, а на итальянские власти обрушился шквал критики не только со стороны радикалов и профсоюзов, но и со стороны прессы. «Большая восьмерка» не получила того, ради чего ехала на саммит. Все внимание было приковано не к ней, а к побоищам на улицах. Однако движение протеста тоже не могло считать себя победителем. Дело не в том, что на сей раз (в отличие от Праги или Сиэтла) технически саммит сорвать не удалось. Важнее другое: битва в Генуе показала границы уличного протеста.

Чем больше были масштабы движения в 1999–2001 годах, тем более мощные полицейские силы мобилизовались против него, тем серьезнее становилась эскалация насилия. Шон Хили (Sean Healy) писал на страницах «Green Left Weekly», что государственная власть применила против протестующих «классическую антиповстанческую стратегию».[397] С одной стороны, предпринимались попытки политически расколоть движение, противопоставив радикалов умеренным и выделив на первый план вопрос о насилии. Надо сказать, что этот вопрос действительно вызывал серьезные проблемы в движении, где многие оценивали деятельность склонных к насилию анархистов из «Черного блока» как откровенно провокационную.[398]

С другой стороны, противодействие демонстрантам все больше превращалось в военно-полицейскую операцию, не скованную нормами формального права, регулирующего действия полицейских сил в условиях мирного времени. Примерами этого могут быть выдача огнестрельного оружия полиции в Гетеборге и Генуе еще задолго до начала столкновений и фактическое объявление чрезвычайного положения на территории городов, где происходили события (в Праге и Квебеке, частично, в Гетеборге и Генуе по всему городу). Показательно, что «красные зоны» чрезвычайного положения были объявлены властями заранее, до начала столкновений. Собственно, провозглашение полицией подобных «красных зон» и становилось главным поводом для конфронтации, поскольку демонстранты считали подобные решения незаконными и противоречащими конституционным нормам граждан (свободе передвижения, свободе демонстраций и т. д.).

Сьюзан Джордж отмечает, что в Генуе и Гетеборге «прямые репрессии» и использование методов электронной слежки за активистами сочетались с «идеологической контратакой».[399] Активисты движения протеста представлялись правой прессой в качестве безответственных бунтовщиков, которые сами не знают, чего хотят. При этом чем больше насилия следовало за действиями полиции,

тем больше появлялось возможностей обвинить в насилии демонстрантов.

В Генуе «антиповстанческая стратегия» не сработала, поскольку жестокость полиции обернулась против нее же самой. Итальянская пресса в целом осудила действия полицейских сил, а парламентское расследование выявило, что репрессивные меры были спланированы заранее.

Отчасти этому способствовал сам Сильвио Берлускони. Оправдываясь перед депутатами, он «сдал» своих предшественников из ушедшего в отставку левоцентристского правительства, показав, что планы полицейской операции готовились еще ими. Тем самым Генуя в очередной раз подтвердила, что принципиальной разницы между правыми и «левыми» неоллибералами не существует.

События в Генуе также показали, что по мере того, как борьба вокруг глобализации выходит на передний план политической жизни, обнаруживается и ограниченность возможностей уличного протеста. Радикальная молодежь способна овладеть улицами, но она не может таким способом поколебать власть. Стала необходимой серьезная стратегическая и идеологическая дискуссия, уточнение ориентиров, выработка политических приоритетов.

Любой протест представляет собой сочетание активных действий со своего рода стратегической пассивностью. Протест оборонителен. Цель протестующих состоит в том, чтобы заставить элиты, власть отказаться от своих планов либо скорректировать их. Для того чтобы добиться реализации своей позитивной программы, движению нужен уже не протест, а нечто большее. Один из наиболее популярных идеологов движения — Уолден Белло — писал, что события в Сиэтле и в Праге спровоцировали «кризис легитимности» институтов мирового господствующего класса.[400] После массовых выступлений в Сиэтле, Праге и Квебеке, по мнению Белло, международные финансовые институты столкнулись с открытым проявлением массового недовольства, которое усугублялось нарастающими трудностями в мировой экономике. Мало того, что низы не признавали более авторитет международных неоллиберальных институтов, но и верхи начали сомневаться в их эффективности. «Азиатский кризис 1997–1998 годов был Сталинградом МВФ».[401] Согласно Белло, отныне должна была радикально измениться вся тактика левых. В 1991–1997 годах казалось, что сделать ничего нельзя, и, в конечном счете, сопротивление системе сводилось к попыткам ограничить худшие эксцессы неоллиберализма, поискам компромисса с элитами, лоббированию международных организаций в надежде, что в соответствующих межгосударственных соглашениях будут введены параграфы, призывающие к социальной ответственности. После 1998—99 годов сложилось новое соотношение сил. Надо переходить к наступательной тактике, добиваясь структурных реформ и, в конечном счете, изменения системы в целом. Применять прежнюю тактику означает то же, что «придерживаться оборонительной стратегии, типичной для периода до Сталинградской битвы, уже после победы в Сталинграде».[402]

Белло призывал отказаться от внесения различных «социальных» и «экологических» разделов в соглашения, готовящиеся в рамках ВТО, планируемой Американской зоны свободной торговли или под эгидой МВФ. Эти разделы не только не будут выполнены, но и послужат легитимизации соответствующих соглашений, основанных на неоллиберальной экономической философии. Необходимо, по мнению Белло, полностью блокировать подготовку подобных соглашений и добиваться нового экономического порядка, основанного на децентрализации, контроле снизу и приоритете местных рынков, обеспечивающих занятость и производящих продукцию для местного населения.

Надо отметить, что позиция Белло вызвала острую критику со стороны части профсоюзных лидеров и представителей «традиционной левой» старшего поколения. Белло даже обвиняли в нежелании использовать международные соглашения для того, чтобы ограничить эксплуатацию рабочих в «третьем мире».[403] Обвинения совершенно необоснованные, но свидетельствующие о том, насколько острой и болезненной оказалась дискуссия.

Общий процесс радикализации не мог не затронуть и профсоюзное движение, особенно после событий в Квебеке, где профсоюзная демонстрация разделилась на меньшинство, сомкнувшееся с молодежью, которая штурмовала «стену позора», возведенную полицией, и большинство, последовавшее за своими лидерами в противоположную сторону. Волна критики, обрушившаяся на профсоюзных лидеров, «предавших» молодежь, привела к серьезному сдвигу в общественном мнении внутри профсоюзов. После Квебека профсоюзные верхи вынуждены были не только продемонстрировать солидарность с целями радикальной молодежи, но и поддержать ее методы, во всяком случае — той ее части, которая избегала применения насилия. Еще больше ситуация обострилась после убийства Карло Джулиани.

После событий в Гетеборге и в Генуе для значительной части активистов движения стало очевидно, что господство финансовой олигархии и транснациональных корпораций сохраняется и его не поколебать демонстрациями. В то же время антикорпоративные лозунги, типичные для Сиэтла, все больше уступали место антикапиталистическим. В Генуе участники демонстраций заявляли: «Капитализм невозможно сделать более гуманным, его нужно свергнуть». Соответственно, движение радикализировалось, провозгласив, что «вновь наступили времена революций».[404] Участники выступлений говорили о том, чтобы сменить господство Централизованной корпоративной элиты экономикой демократического участия. Но сделать это невозможно, не включаясь в полномасштабную политическую борьбу. Хотя действующие политические партии казались молодым радикалам коррумпированными, выборы — циничным соревнованием денежных мешков, это не снимало вопроса об участии в политической борьбе. Становилось ясно, что левым неизбежно придется заново создавать политические организации и вступать в избирательное соревнование с денежными мешками. Насколько новые организации окажутся лучше прежних? Это зависит от того, насколько левые XXI века смогут извлечь уроки из неудач своих предшественников. Местом, где новое левое движение могло организовать свои дискуссии и выработать позитивные предложения, стали социальные форумы. Первоначально подобные форумы проводились параллельно с выступлениями протеста, являясь своего рода «контрсаммитами», альтернативными дискуссионными площадками, противостоявшими встречам представителей элит. В 2001 году впервые решили, что Всемирному экономическому форуму в Давосе надо Противопоставить Всемирный социальный форум (ВСФ). Давос исторически стал местом, где вырабатывалась неолиберальная стратегия (именно отсюда началась пресловутая «консервативная революция», точнее — контрреволюция). Социальный форум в Порту-Алегри должен был символизировать решимость масс противостоять мировому порядку, установленному банкирами и коррумпированными политиками.

Первый форум собрал, 10 тысяч участников. Его делегатами стали представители профсоюзов, новых социальных движений, политических партий и неправительственных организаций. По словам одного из организаторов форума, мэра Порту-Алегри Тасса Генро, задача состояла в том, чтобы

«соединить движения протеста и институциональную политику».[405] Выбор бразильского Порту-Алегри в качестве места проведения форума был не случаен. Здесь много лет у власти находится радикальное крыло Партии трудящихся, гордившееся своими экспериментами в области «демократии участия». Наряду с выступлениями «официальных» делегаций в ходе форума было организовано множество семинаров и дискуссий для приезжих и местных активистов. Обсуждались проблемы долга, налогообложения и международной торговли. При этом обнаружилось, что многие представители стран «третьего мира», включая Партию трудящихся Бразилии, выступают не за полное списывание долгов, а за изменение правил международного кредита. Особое внимание уделялось «налогу Тобина», уже введенному в Канаде. Это налог на международные финансовые спекуляции, достигающие сотен миллиардов долларов ежедневно. «Налог Тобина» в масштабе 0,1 % от суммы перемещаемого капитала в случае применения в большинстве стран мог бы дать доход до 150–300 миллиардов долларов в год, которые должны были бы аккумулироваться и направляться на проекты развития в бедных странах. По существу, «налог Тобина» представляет собой первую попытку перенести регулирование и налоговое перераспределение на глобальный уровень и тем самым преодолеть разрыв между традиционными кейнсианскими рецептами, применявшимися национальным государством, и новыми масштабами глобального рынка.

Форум в Порту-Алегри сопровождался многотысячными демонстрациями под лозунгами «Наш мир не продается!» и «Мы можем построить новый мир!». Общая формула ВСФ звучала довольно расплывчато: «Другой мир возможен!». Русское ухо это словосочетание воспринимает с трудом, поскольку сразу возникают ассоциации с потусторонним миром.

Неудивительно, что организаторы форума в Порту-Алегри выслушали резкую критику со стороны более радикальных групп. Если реформистское крыло движения говорило о преобразовании глобальных институтов через парламентскую борьбу, то более левые течения обвиняли их в «недооценке массовой борьбы».[406]

Критики форума поднимали и другой вопрос, быть может, более болезненный. В Хартии принципов ВСФ было торжественно провозглашено, что форум «открыт для плюрализма и разнообразия», но «представители ни партий, ни военных организаций не должны участвовать в форуме». Зато правительственным чиновникам это разрешалось «в личном качестве».[407] Легко догадаться, что соответствующий раздел Хартии не только дискриминировал политических активистов, предоставляя преимущества чиновникам, но и заведомо был невыполним. Позднее аналогичный вопрос вызывал острые дебаты на Европейском Социальном форуме. На практике партии играли значительную роль в формировании повестки дня ВСФ, особенно бразильская ПТ, заключившая негласный блок с французскими социалистами (разумеется, представлявшими левое крыло партии). «Антипартийный» раздел Хартии ВСФ в действительности был направлен против более мелких марксистских организаций, не имевших опыта политических комбинаций и интриг, а потому выступавших со своими лозунгами и идеями в открытую. Но и они быстро усвоили правила игры и научились представлять свои интересы посредством всевозможных front organizations (привязанных к партии широких организаций). Одной из наиболее успешных структур такого рода является английская коалиция Globalise Resistance, представляющая Социалистическую рабочую партию (SWP).

Несмотря на атмосферу спонтанности и импровизации, царившую на мероприятиях ВСФ, за

кулисами шла интенсивная бюрократическая работа, плелись политические интриги и лоббировались противоречивы интересы. Отсутствие четких организационных правил, выборного и подотчетного руководства превращали форумы в место, где всегда были возможны негласные манипуляции. Другое дело, что сопротивление рядовых активистов зачастую сводило на нет закулисные комбинации, а демократическая, митинговая стихия диктовала общую динамику форумов, которые неуклонно сдвигались влево.

Форум в Порту-Алегри выявил как силу движения, так и его противоречия. Надо отметить, что волна недовольства итогами форума прокатилась по всем радикальным изданиям и интернет-сайтам. В то же время невозможно было недооценивать значение форума с точки зрения массового сознания.

Декларации ВСФ и последующие документы Европейского социального форума стали своего рода политическими ориентирами, позволявшими провести разграничение между обновляющимся левым движением и перешедшей на неолиберальные позиции социал-демократией. Точно так же в Восточной Европе документы форумов служили водоразделом между левой и националистической оппозицией либерализму.

Форум в Порту-Алегри показал, что движение протеста способно обсуждать и выработать альтернативы и не может уже рассматриваться просто как коалиция недовольных. Точно так же, как итогом Сиэтла стало повторение протестных выступлений на совещаниях международной элиты, итогом Порту-Алегри стала готовность движения к организации альтернативных встреч и форумов повсеместно — параллельно со встречами глобальной элиты и уличными акциями. Таким образом, возникла новая форма действия, когда протест сопровождается демократическим обсуждением альтернатив.

Для Форума в Порту-Алегри принципиально важно было привлечь внимание к уже существующим формам альтернативной экономической организации и экономики. К таковым относятся и «партиципативный бюджет» (механизм прямого участия населения в выработке бюджетной политики) в Порту-Алегри, и предприятия «справедливой торговли» — fair trade — возникшие в США. В этом плане очень важна деятельность американской организации Global Exchange во главе с Кевином Данахером. Global Exchange участвует в массовых акциях протеста, одновременно поддерживает альтернативную коммерческой системе кредита, помогающую кооперативам в Латинской Америке, формирует инфраструктуру торгового обмена, противостоящую корпоративному рынку. Принципиально важно, что активисты Global Exchange вовсе не считают, будто подобные кооперативы сами по себе смогут постепенно вытеснить корпорации или изменить общество. Активисты Global Exchange не верят в постепенную эволюцию. По их мнению, эксперименты альтернативной экономики должны лишь помочь выработке практических механизмов управления и организации, которые могут быть массово применены в новом, небуржуазном обществе, а также подготовить кадры, которые смогут принимать решения не по правилам корпоративной культуры, а на основе принципов экономической демократии. В этом принципиальное отличие экспериментов альтернативной экономики от кооперативно-самоуправленческих проектов, распространявшихся в США в 1980—1990-е годы.[408]

Стремление к выработке конкретных позитивных программ и предложений делало Всемирный социальный форум неизбежно реформистским. Однако он оказался местом встречи разных течений. Критика умеренного руководства движения разворачивалась именно на форумах, и в значительной

мере — благодаря им. В конце концов, совершенно естественно, что новое антикапиталистическое движение разделилось на умеренное и радикальное крыло. Так происходит со всеми революционными движениями, начиная от гуситов в средневековой Чехии, заканчивая большевиками и меньшевиками в России 1917 года.

Террористические акты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне резко изменили политическую обстановку в мире, и в первую очередь в США. Показательно, что нападение террористов на нью-йоркский Всемирный торговый центр произошло за три недели до предполагаемого открытия в Вашингтоне совместного заседания Международного Валютного Фонда и Мирового Банка. К этому мероприятию активно готовились и представители радикальных движений, планировавшие провести демонстрацию, которая, даже по признанию враждебной движению прессы, «превзошла бы все до сих пор виденное» в США.[409]

После террористического акта в Нью-Йорке и Вашингтоне встреча была отменена, как и демонстрация протеста. Но, разумеется, последствия террористического акта несводимы к отмене той или иной акции, даже очень крупной. Качественно изменилась политическая обстановка в Соединенных Штатах. Общественное мнение резко сдвинулось вправо, и радикальные движения почувствовали себя изолированными. К числу наиболее серьезных проблем можно отнести то, что левые в США утратили столь трудно налаживавшуюся связь с профсоюзами.

В мировой истории начался новый этап. Администрация Дж. Буша немедленно рассказала всему человечеству про зловещую террористическую сеть «Аль-Каиду», возглавляемую загадочным миллионером Осамой Бен Ладеном (бывшим сотрудником американского Центрального разведывательного управления). Неважно, что вся история «Аль-Каиды» была явно скопирована с образов голливудского кино, начиная с гротескных фильмов о Джеймсе Бонде, неважно, что в официальной версии концы с концами не сходились и ни один из ее тезисов не был официально доказан в судебном порядке. Хозяева Белого Дома получили свободу рук для операции возмездия. Чем меньше было ясно относительно «Аль-Каиды», чем более расплывчатым был образ этой организации, тем большей была свобода действий для руководства Соединенных Штатов. Первый удар был нанесен по Афганистану, второй — по Ираку. Как отмечала «Financial Times», сторонники торговой либерализации, свободного рынка и западного либерализма сплотили свои ряды во имя отпора врагам Америки. По их мнению, капитализм больше «не надо объяснять, его надо защищать». Со своей стороны, продолжает газета, радикальное движение должно «создавать себя заново» (reinvent itself).[410] Часть правой прессы, наряду с призывами жестоко наказать предполагаемых виновников террористических актов, радостно сообщала о смерти «антиглобализма».

Между тем движение против корпоративной глобализации не только не умерло после 11 сентября, но приобрело новые черты. Оно стало основой антивоенных выступлений, которые оказались весьма значительными уже поздней осенью 2001 года. Когда Соединенные Штаты и Великобритания подвергли бомбардировкам Афганистан, на улицы западных городов вышли многотысячные демонстрации. Левые издания отмечали, что эти демонстрации были не только пацифистскими, но и антиимпериалистическими. Они в значительной мере оказались продолжением летних «антиглобалистских» выступлений того же года.[411] Речь идет, по выражению Хиллари Уэйнрайт, о «гибридном движении», объединяющем разные вопросы — война, расизм, гражданские права.[412] Идеолог французских левых Игнасио Рамоне отмечал, что по существу антивоенное движение

является формой защиты «наших принципиальных свобод», которые пытаются ограничить под предлогом борьбы с терроризмом.[413]

События осени 2001 года вызвали не только переоформление лозунгов движения, но и несколько изменили его географию. Если в США радикальные течения столкнулись с безусловным кризисом, то в Европе и странах «третьего мира» сколько-нибудь серьезного кризиса не ощущалось, напротив, движение получило новый импульс. Тем самым европейская и «термондистская» части глобального движения вновь укрепили свои позиции. В целом это означало усиление общей радикальной и антикапиталистической направленности, а также более активную роль в движении групп, связанных с традициями социалистической идеологии XX века.

Война в Афганистане и подготовка войны в Ираке сопровождалась нарастающими массовыми протестами, охватившими сначала Западную Европу, затем Латинскую Америку и, наконец, США. В то же время события 2001 года изменили форму протеста. Организаторы уличных выступлений теперь всячески старались избегать насилия, поскольку это могло бы дать повод властям объявить о связи между «антиглобалистами» и мировым терроризмом. Такие попытки предпринимались правой прессой (особенно в России) сразу же после 11 сентября 2001 года, но не удались. Антивоенные марши отличались теперь крайней организованностью и миролюбивым характером.

Всемирные социальные форумы стали в изменившихся условиях оптимальной формой глобальной самоорганизации. В 2002 году Всемирный экономический форум был перенесен из Давоса в Нью-Йорк — акт «классовой солидарности» мировых элит, выражавших таким образом поддержку политике Дж. Буша. Несмотря на беспрецедентные полицейские меры, протесты в деловой столице Америки все же состоялись. Однако более важен был успех проходившего в те же дни II Всемирного социального форума в Порту-Алегри. Он собрал существенно больше людей и организаций, привлек широкое внимание прессы и завершился впечатляющей массовой демонстрацией.

Форумы 2002 и 2003 годов показали, что после трагедии 11 сентября движение не только не пошло на убыль, но, напротив, приобрело качественно новый масштаб. Если первый форум собрал 12 тысяч участников, то в третьем форуме участвовало уже 80 тысяч человек. Первый Европейский социальный форум во Флоренции в ноябре 2002 года принял 60 тысяч делегатов. С этого момента социальные форумы становились все более локальными. Форумы проводились теперь и на национальном уровне, организовывались региональные встречи. Модель открытой многосторонней дискуссии прижилась. Движение стало частью международного политического пейзажа. Вопреки ожиданиям правящих классов, оно не пошло на спад, не утратило своего радикализма. Критика системы, звучавшая на социальных форумах, начала находить отзвуки в заявлениях государственных мужей и дискуссиях официальных экспертов. Однако все успехи форумов не играли бы значительной роли и не влияли бы на мировую ситуацию, если бы не набирали силу иные выступления, куда более массовые, вовлекающие в свою орбиту уже не тысячи, а сотни тысяч и миллионы людей. Антикапиталистический протест вновь, как и несколько десятилетий назад, становился фактором борьбы за власть. И если в Западной Европе социальное недовольство периодически вырывалось наружу в виде массового противостояния граждан с правительствами, а на востоке континента население испытывало периодически повторяющиеся приступы беспричинного отвращения к государству, то в Латинской Америке вопрос и о власти был явственно поставлен в повестку дня.

Глава VIII. Пылающий континент

В начале 1970-х воображение миллионов зрителей в Советском Союзе поразил документальный фильм Романа Кармена «Пылающий континент». Это было время мощного подъема революционного движения в Латинской Америке. Но главное, образы латиноамериканских героев так явно контрастировали с обликом советской номенклатуры. А их борьба — с застойной жизнью Советского Союза времен Леонида Брежнева.

Прошло два десятилетия, и Латинская Америка вновь вошла в моду среди российской интеллигенции, на этот раз в качестве примера либеральных реформ. Революционные движения были разгромлены, герои истреблены, а образы классовой борьбы сменились повестями о «преуспевающем среднем классе», открывающем для себя преимущества западного потребления. Но прошло совсем немного времени, и континент снова запылал. Латинская Америка восстала против неолиберализма.

Один из очевидцев заметил, что восстание сапатистов в Чьяпасе «покончило с „концом истории“».[414] Повстанцы начали широкомасштабную вооруженную борьбу 1 января 1994 года, заняв город Сан-Кристобаль. В этот самый день представители мирового истеблишмента съехались в столицу Мексики, чтобы отметить вступление в силу соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Но внимание прессы оказалось приковано не к их сборищу, а к глухому провинциальному штату Чьяпас.

Восставшие назвали себя Сапатистской армией национального освобождения (EZLN) в честь героя мексиканской революции генерала Салаты (а возможно, и в память «Армии Национального Освобождения», которой назвал свой отряд Че в Боливии). Правительство ответило массированными военными операциями, бомбардировками с воздуха и пропагандистской войной. Но повстанцы все равно добились успеха — не военного, а прежде всего политического.

На освобожденных территориях повстанцы построили амфитеатры, некое подобие греческой агоры, названные *aguascalientes* в честь места, где происходило собрание народных представителей во время мексиканской революции 1914 года. Европейская и индейская традиции, история и современность встретились в Чьяпасе.

Власти бросили на подавление восстания войска, разрушили некоторые *aguascalientes*, но не все. Население подвергалось репрессиям, повстанцы скрывались в горах. На весь мир стала известна база *La Realidad* в Лакандонской сельве. Рядом с этой деревушкой располагались «Генеральные казармы» повстанцев, здесь они обычно принимали посетителей.

Карательные меры правительства вызвали такое возмущение в Мексике и за ее пределами, что президент Эрнесто Седильо был вынужден прекратить боевые действия и начать с сапатистами переговоры, несмотря на очевидное стремление уничтожить их.

Идеология сапатистов — декларированный отказ от «авангардизма»: «Наша форма борьбы — не единственная; для многих она, быть может, даже неприемлемая. Другие формы борьбы существуют и заслуживают уважения. Наша организация не только не считает себя единственной революционной силой, но даже не претендует на роль самой передовой силы. Есть другие честные, прогрессивные и независимые организации. Сапатистская армия национального освобождения никогда не претендовала на исключительную роль. Но это единственная организация, которая возможна для нас. Мы поддерживаем все формы борьбы, которые могут привести нас к свободе демократии и

справедливости».[415] Позднее, уже в столице страны, выступая на одной из центральных площадей перед многотысячной толпой, субкоманданте Маркос, идеолог движения, выразился еще более поэтично. Обращаясь к Мексике, он говорил, что сапатисты «пришли не для того, чтобы говорить, что тебе делать, не для того, чтобы вести тебя куда-либо за собой, мы пришли, чтобы скромно и с уважением попросить тебя о помощи».[416] Свою борьбу сапатисты рассматривали как часть широкого движения, разворачивающегося не только далеко за пределами Чьяпаса, по всей Мексике, но и в масштабах всего мира.

Отсюда вытекала и необходимость комплексной, многоуровневой и многоплановой стратегии. «Мы считаем, что революционные преобразования в Мексике зависят не только от вооруженной борьбы и не только от мирных выступлений. Они станут результатом действий, осуществляемых на разных фронтах и разными средствами. Речь идет о разных социальных формах организации, о разной степени участия, риска и самопожертвования. И результатом всего этого будет не победа какой-то партии, организации или альянса партий, предлагающих конкретные социальные программы, а создание нового демократического пространства, где будут совмещены различные социальные инициативы и политические требования».[417]

Субкоманданте Маркос подчеркивал, вполне в духе Розы Люксембург, преимущества спонтанности. Когда-то он вместе с несколькими другими молодыми революционерами направился на юг Мексики, чтобы — в соответствии с идеями Че — создать там партизанский очаг. Однако жизнь в Чьяпаса среди индейцев многому научила революционных интеллектуалов: «Приучаешься к спонтанности, когда живешь здесь на грани войны, хотя обнаруживается, что совсем без планирования тоже не обойтись».[418] Революционное «слово» становится не прологом «дела», а его частью, рефлексией революционного действия. Именно эта новая форма политической речи поразила и привлекла людей с самым разным уровнем образования, политическим и жизненным опытом. Она оказалась эффективна против изоциренных форм современной государственной и коммерческой пропаганды, телевизионной лжи, рекламы и постмодернистских дискурсов.

На весь мир было объявлено, что социализм мертв, пишет Маркос. «Но далеко не все прислушиваются к голосу отчаяния и слабости. Не каждый бросился в объятия безнадежности. Большинство продолжает борьбу, люди не могут согласиться с логикой победителей, ибо видят нищету и горе побежденных. Они слышат другой голос, идущий не „сверху“, а „снизу“, из глубины сознания индейского народа в горах, голос, зовущий бороться за справедливость и свободу, голос, продолжающий говорить про социализм, про надежду... единственную надежду на этой земле».[419] Восстание сапатистов оказалось «первым вооруженным выступлением против неолиберализма», первым «восстанием против глобализации».[420] Уже потому оно сразу получило огромный резонанс по всему миру. Летом 1996 года сапатисты провели в «Первую межконтинентальную встречу в защиту человечества и против неолиберализма». Журналисты оценили это как «одну из самых странных международных конференций в истории». Меньше всего Маркос и его сторонники стремились создать какой-то новый Интернационал. Они больше слушали и наблюдали. Публика была крайне разношерстной — от революционных активистов до кинозвезд и интеллектуалов, давно забывших про убеждения молодости. Тем не менее представители сапатистов видели в этом первый шаг для того, чтобы создать «сеть, координирующую различные формы борьбы и сопротивления».[421] В любом случае им удалось привлечь к себе внимание мира. Это не только

защищало их от репрессий. Сапатизм стал политической модой, у него появились последователи в Европе. А главное, события в Чьяпасе дали толчок для антисистемных выступлений в самых разных точках планеты. Люди, которые раньше были недовольны поодиночке, чувствовавшие себя изолированными аутсайдерами, внезапно обнаружили, что составляют массу, могут — если будут бороться — стать реальной политической силой.

Встреча в Чьяпасе показала, что сапатистское движение, зародившееся вдали от центров западной «цивилизации», вовсе не является провинциальным или отсталым в идеологическом и культурном смысле. Сапатизм выглядел весьма убедительным подтверждением распространившихся среди западных левых в середине 1990-х идей коммунитаризма. «Показательно, что именно некоторые формы коммунитарности, сохранившиеся с древних времен, но все еще существующие среди индейцев юго-востока Мексики, стали важным элементом восстания в конце XX века, восстания, направленного против глобального неолиберализма, в защиту человеческого достоинства», — пишет мексиканский социолог Адольфо Гильи.[422]

В то же время события в Чьяпасе, как и другие кризисы 1990-х годов показали, что коммунитаризм не может заменить радикальной программы. Показательно, что идеи коммунитаризма объединяют как левых, так и правых мыслителей, отстаивающих моральные ценности сообщества под натиском обезличивающей и атомизирующей людей практики неолиберального капитализма. В таких условиях идеология и культура левых, естественно, становится коммунитаристской. Однако не коммунитаризм, а именно марксизм исторически оказался наиболее приспособлен для того, чтобы стать основой для выработки конкретных программ структурных экономических реформ. А без конкретной программы преобразований призывы к общности и солидарности могут остаться пустыми декларациями. Таким образом, коммунитаризм оказывается способен дополнить современный социализм, но не может заменить его.

Проблема сапатистского движения в том, что, став великолепным выразителем настроений и чаяний, распространенных среди населения индейского Юга, оно не могло достичь своих целей, не получив поддержку индустриального севера страны. В сущности, чем более полно выражало оно интересы угнетенных масс Чьяпаса, тем труднее ему было распространять свое влияние на другие штаты. С другой стороны, идеология сапатизма предполагала решение моральных задач политическими средствами. Вопрос о «достоинстве», о «признании индейских прав и культуры»[423] был для сторонников движения не менее важен, чем вопросы экономической и социальной политики. Более того, они были неразрывны.

На практике, однако, разные стороны и задачи борьбы увязываются не так легко, как в поэтической риторике Маркоса. Только широкая демократическая и социальная программа позволяет в перспективе разрешить возникающие противоречия.

Неоднородность мексиканского общества, в сущности, повторяет неоднородность современного глобализированного капитализма. Для сапатистов, однако, это вопрос не социологической теории, а практической политики. Необходимо превратить набор конкретных требований в «реалистическую программу формирующегося социального блока».[424] Объединить, скоординировать выступления городских индустриальных рабочих, специалистов постиндустриального производства, мигрантов, маргиналов, представителей неформального сектора и традиционные индейские общины — задача, без решения которой сапатизм не мог иметь политического будущего. Но помощь левым в данном

случае оказывает сам современный капитализм, который в ходе своего развития естественным образом формирует у всех этих групп схожие интересы.

Сапатизм выступает от имени своих сторонников, в качестве объединяющего «этического принципа». Готовность действовать во имя справедливости, не считаясь с «объективными ограничениями» и требованиями «реальной политики», превращает сапатизм в «нормативную идею, позволяющую различать добро и зло, справедливость и несправедливость, гуманное и антигуманное».[425] Мораль и долг в принципе не могут быть основаны на критериях успеха.

Торжествующее зло не становится добром, а отказ от выполнения своего долга не перестает быть предательством даже в том случае, если нарушить долг проще и выгоднее, чем его выполнить.

Общество, объявляющее успех высшей ценностью, вообще не может быть морально, ибо мораль оценивает не результат, а путь его достижения. Противопоставив свой «наивный» идеализм прагматизму «официальных левых», сапатизм не только совершил грандиозный моральный переворот, но и вернул смысл существования левому движению как таковому.

Сапатизм смог поразительным образом соединить в себе традиционализм и новаторство. Он не был ни повторением латиноамериканской герильи 1960-х годов, ни тем более новым изданием революционного авангарда. «Сапатистская армия — это уже не (или еще не) герилья в привычном смысле, хотя началось все за десять лет до восстания именно с попытки создать „революционный очаг“, „вооруженный авангард“. Но сапатизм стал движением вооруженной самозащиты десятков тысяч угнетенных людей — среди трех миллионов жителей Чьяпаса индейцы составляют миллион».[426]

Будучи явным вызовом принципам формальной демократии, сапатизм стал одновременно образцом глубоко демократического движения. Вызов государству, вооруженное действие были вынужденным ответом на полное отсутствие интереса власти к собственным гражданам, откровенное игнорирование правительством элементарных демократических процедур, систематическую фальсификацию результатов выборов. Слабость институтов или декоративность формальной демократии в странах периферии и полупериферии привела к тому, что в обществе изменилось отношение к политическому насилию.

Выборы 1988 года в Мексике, когда кандидат левой Партии демократической революции Куатемок Карденас получил большинство, а президентом вместо него стал правительственный кандидат Карлос Салинас де Готари, подготовили почву для восстания в Чьяпасае. Украденная у оппозиции победа изменила моральный климат в обществе. Для наиболее угнетенной части населения стало очевидно, что от государства и официального общества ждать нечего. Для радикальной части левых также стало ясно, что путь к демократии и социальной справедливости не будет лежать через свободные выборы, или, во всяком случае, за эти свободные выборы еще предстоит бороться.

«Победа, основанная на фальсификации, делегитимизировала избирательные процедуры, в которые люди на какой-то момент поверили, и восстание было возмездием за несправедливость по отношению к народу — гнев понемногу копился, а потом вырвался наружу», — пишет Адольфо Гильи.[427]

Партия демократической революции (ПРД) Карденаса, объединившая большую часть левых в Мексике, выглядела в середине 1990-х годов принципиальной, но неэффективной оппозицией. Задним числом напрашивается подозрение, что ПРД всегда была своеобразным клапаном для

выпускания пара народного недовольства, однако значительная часть левых активистов в крупных городах примкнула к ней, распустив собственные организации — это была реальная перспектива для легальной борьбы против власти. Эволюция ПРД не сильно отличается от того, что происходило с бразильской Партией трудящихся. Организационно укрепляясь, доказывая свое право на власть, партия одновременно неуклонно сдвигалась вправо. В отношении сапатизма лидеры ПРД вели себя не лучше, чем правые, если, конечно, не ставить знака равенства между партийной демагогией и практикой. Как это обычно случается с политиками, переходящими на позиции «нового реализма», деятели ПРД отличались крайним цинизмом, превосходя в этом отношении правых.

Чем более очевидным становилась бессилие ПРД перед лицом государственного аппарата, действовавшего в тесном взаимодействии с местными и иностранными монополиями и «большим братом» из Соединенных Штатов, тем больше были колебания лидеров. Очевидным фактом стала эрозия массовой поддержки карденизма, деморализация активистов и стремление парламентских лидеров договориться о компромиссе с властью, опирающейся на коррупцию, фальсификацию выборов, запугивание населения и манипуляции общественным мнением. Общая деморализация левых, наступившая после 1989 года, не могла не сказаться и на мексиканской оппозиции. К середине 1990-х она находилась в явном стратегическом тупике. В то же время правящие круги, опираясь на якобы полученный от народа мандат доверия, начали политику неолиберальных реформ, получившую в Мексике название «салинастройки» (по аналогии с горбачевской перестройкой и схожими социальными результатами для большинства населения).

В конце 1990-х годов ПРД удалось отчасти взять реванш за украденную победу, когда Карденас был избран мэром столицы страны — Мехико. Левая администрация в крупнейшем городе Латинской Америки и одном из крупнейших городов мира оказалась вполне эффективной, подтверждением этого стал повторный успех левых на муниципальных выборах 2000 года. Однако политика демократических уступок по отношению к оппозиции, приведшая к приходу ПРД к власти в столичном муниципалитете, сочеталась с подавлением индейской культуры и репрессиями против противников режима в отдаленных штатах.

Сапатизм воплощает народное разочарование в парламентаризме, которое оборачивается твердым пониманием того, что рассчитывать можно только на собственную волю и силы. Отвергая политических посредников, сапатизм возвращает массам веру в себя, а вместе с этим и надежду. Но выступая с оружием в руках, сапатисты не были враждебны ни парламентским институтам как таковым, ни парламентским левым. На первых порах Маркос и его единомышленники оценивали ПРД скорее положительно. «Карденизм и сапатизм в разной форме представляют стремление угнетенных и бедных слоев общества отстаивать свое достоинство, — писал близкий к сапатистам журнал „Viento del Sur“. — И все же ни карденизм, ни сапатизм сами по себе не могут считать себя единственной оппозицией против режима со стороны мексиканского народа. Эта оппозиция выражается во множестве различных форм. Объединить разные формы сопротивления на основе взаимного уважения и терпимости необходимо, чтобы мы могли успешно вести свою борьбу — как трудящиеся, как граждане, просто как люди, защищающие свое достоинство».[428]

К сожалению, парламентские левые, по крайней мере на публичном уровне, проявили гораздо меньше симпатии к сапатистам, чем те — парламентским левым. Объясняется это не только страхом потерять роль единственного представителя оппозиционных масс, но и моральными проблемами,

которые и создает подобное движение для деятелей, работающих в рамках институтов и подчиняющихся их логике. Но именно такое давление придает работе в институтах какой-то реальный политический смысл, не дает ей превратиться в простую симуляцию.

Карденас попытался предложить сапатистам назначить свою партию их официальным представителем, но получил закономерный отказ: движение в Чьяпасе возникло именно потому, что люди, наконец, захотели говорить от собственного имени, действовать как самостоятельная политическая сила, не позволяющая собой манипулировать. В свою очередь, когда представители ПРД оказывались избранными на посты губернаторов и другие официальные должности, они продолжали бороться против сапатистов теми же грязными методами, что и функционеры правящей Институционно-революционной партии (ПРИ). Немало жертв оказалось и на счету «эскадронов смерти», подкармливавшихся «прогрессивными» губернаторами.

Вполне понятно, что к концу 1990-х годов ПРД, несмотря на общий рост демократических ожиданий в обществе, утратила роль лидера демократической оппозиции. Ведущей оппозиционной партией стала праволиберальная Партия национального действия (ПАН). В 2000 году ее кандидат Висенте Фокс (Vicente Fox) впервые в истории Мексики одержал победу над кандидатом правившей на протяжении десятилетий ПРИ. Одним из политических козырей Фокса было обещание возобновить переговоры и достичь прочного мира в Чьяпасе на основе соглашения с сапатистами. В истории Мексики началась новая эпоха. Без выступления сапатистов в 1994 году ликвидация системы однопартийной власти, фактически существовавшей в стране, вряд ли была бы возможна. Но, пообещав демократические преобразования, ПАН одновременно решительно подчеркивала приверженность неолиберальному курсу, обострившему проблемы нищеты и социального угнетения в Мексике. Борьба сапатистов должна была продолжаться, но уже в новых формах.

На пресс-конференции, проведенной в Лакандонской сельве, Маркос обратился к новой власти с жестким предупреждением. «У вас не должно быть сомнений — мы ваши противники.

Единственное, что под вопросом, — это каким образом будет развиваться наше противостояние: путем гражданским и мирным или же мы должны оставаться с оружием в руках и со скрытыми лицами, чтобы добиться того, к чему стремимся, что является, сеньор Фокс, не чем иным, как демократией, свободой и справедливостью для всех мексиканцев... За эти почти семь лет войны мы пережили двух глав государства (самопровозгласившихся „президентами“), двух секретарей министерства обороны, шесть государственных секретарей, пять уполномоченных „по мирному урегулированию“, пять губернаторов Чьяпаса и множество чиновников рангом ниже... В течение этих почти семи лет мы все время настаивали на диалоге. Мы делали так потому, что это наша обязанность перед гражданским обществом, потребовавшим от нас заставить замолчать оружие и искать мирного решения... Если вы выберете путь честного, серьезного и уважительного диалога, то есть докажете на деле вашу готовность, не сомневайтесь, что со стороны сапатистов ответ будет положительным. Так сможет возобновиться и начнет строиться настоящий мирный процесс...»[429]

Делегация сапатистов прибыла в Мехико, выступала в Конгресе (сам Маркос в здание парламента не пошел, предпочитая общаться с народом на площади и в здании Антропологического университета). Власти обещали изменить политику в отношении Чьяпаса, индейцев и вообще энергично взяться за решение проблем, оставшихся от прежнего режима. Но ничего не было сделано. Маркос с товарищами вернулись в Лакандонскую сельву, Чьяпас продолжал балансировать на неустойчивой

границы между войной и миром, а неолиберальная политика продолжала собирать урожай жертв. В условиях, когда национальное государство все более становится инструментом транснационального капитала и бюрократии, а традиционная левая оппозиция, играя по правилам, демонстрирует полное бессилие, а зачастую — беспринципность и продажность, все более привлекательными становятся группы и лидеры, готовые эти правила нарушить. В 1970-е годы левые радикалы были одержимы романтическим культом вооруженной борьбы, в то время как большинство трудящихся все более возлагали надежды на институциональные реформы в рамках демократии. Напротив, в 1990-е годы бывшие радикалы дружно отрешиваются от «терроризма», в то время как значительная часть общества, разочаровавшись в возможностях представительных органов и парламентской политики, испытывает все большую симпатию к людям, прибегающим к оружию. Речь не идет о террористах или «герильерос» традиционного типа, пытающихся захватить территорию, дезорганизовать власть, создать партизанский очаг и двинуться на столицу либо просто вымещающих на конкретных представителях власти свою ненависть к системе. Такая форма вооруженной борьбы представлена в Латинской Америке начала XXI века в основном повстанческими силами в Колумбии.

Речь не идет о «слепом» терроризме, зародившемся в середине 1980-х годов, когда сторонники военизированных групп готовы были обратить свое оружие на ни в чем не повинных, случайных людей. Подобный «слепой» терроризм является детищем отчаяния, неслучайно первыми его носителями были палестинцы из движения «Черный сентябрь», подавленные не только невозможностью сражаться на равных с мощной израильской военной машиной, но и систематическим предательством других арабов. Позднее на той же почве среди палестинцев возникает движение подрывников-самоубийц (почему-то называемых в российской прессе «шахидами»), а в ходе второй Чеченской войны с подобными явлениями сталкивается и Россия. В Латинской Америке убийства безоружных людей и захват заложников практиковались боевиками из движения «Сендеро Луминосо» (Sendero Luminoso).

«Слепой» терроризм не только не является эффективной формой борьбы против реального врага. Будучи «слепым» при выборе жертвы, он «слеп» и в политическом отношении, ибо за спиной плачей-самоубийц то и дело обнаруживаются манипуляторы из спецслужб и заказчики из политического истеблишмента.

Сапатизм предложил совершенно иной подход к вооруженной борьбе. Действия сапатистских отрядов не направлены непосредственно на захват власти. Субкоманданте Маркос подчеркивает: чтобы добиться реальных перемен в обществе, рядом с «вооруженным сапатизмом» должен возникнуть «гражданский сапатизм». Это не имеет ничего общего с прежними стратегиями создания широкого фронта вокруг «авангардной» военно-политической организации. «Гражданский сапатизм» должен обрести «собственную автономную, органическую жизнь». Он должен стать равноправным партнером «вооруженного сапатизма».[430]

Ясно, что движение, запертое в «очаге», не может победить, не расширяя сферы своего влияния. И здесь мы видим принципиальное различие между сапатизмом и предшествующими восстаниями. Если прежде повстанцы стремились в первую очередь расширить зону своего контроля и распространить боевые действия на максимальную территорию, то сапатисты стремятся к расширению своего политического влияния. Им не обязательно захватывать города за пределами

Чьяпаса, им необходимо добиться, чтобы их требования оказались в центре общенациональной политической дискуссии, они стремятся наладить сотрудничество с другими политическими организациями и движениями, координировать усилия легальной оппозиции и повстанцев, индейцев в отдаленных горных районах и рабочих современных городов. Они проводят в 1996 году в Чьяпасе международную встречу против неолиберализма, обращаются к людям по всей Мексике и Латинской Америке, но призывают не братья за оружие, а защищать свои права так, как представляется эффективным в каждом конкретном случае.

Че Гевара, безусловно, был предшественником Маркоса не только потому, что они оба боролись с оружием в руках, но и потому, что Маркос понял, в чем состояла истинная победа Че. Потерпев поражение в Боливии, команданте Че Гевара все равно одержал победу, распространив свои идеи среди миллионов людей. Но нужно ли было для этого погибнуть? Берясь за оружие, сапатисты отнюдь не собираются идти на верную гибель, а тем более приносить в жертву те многочисленные индейские общины Чьяпаса, которые их поддерживают.

Героический риск не равнозначен самоубийству. Сапатистское движение изначально ставило перед собой пропагандистские и моральные цели. Это моральная пропаганда — посредством оружия. Насилие оказалось методом воздействия на общественное мнение, дезорганизации пропагандистской машины правящего класса и пробуждения гражданского общества. Его цель — унизив власть, изменить логику политического поведения в обществе, показать, что «абсолютно невозможное» становится вполне достижимым.

В конце 1980-х «старые» повстанческие движения в Латинской Америке, возникшие во времена всеобщего увлечения идеями Че Гевары, выходили из сельвы и стремились стать политическими партиями, часто — весьма умеренного толка. Напротив, сапатисты, по словам Маркоса, не торопились превращаться в «политическую организацию традиционного типа» или стать «военно-политической силой».[431] Это неслучайно. Как отмечают исследователи, большинство течений «исторической герильи» к середине 1990-х «были полностью интегрированы в господствующую политическую систему». В результате «ни по своим программам, ни по стратегии они не отличаются ничем или почти ничем от других течений реформистской левой».[432] Напротив, сапатисты представляют «новую политическую культуру».[433] Используя политические и военные средства, они, прежде всего, остаются движением. Их сила в том, что они занимают промежуточное (или переходное?) положение между реформизмом и революционным действием, политической организацией и контркультурной инициативой, повстанческой армией и массовым демократическим объединением. В то время как власти делали все возможное, чтобы движение оставалось изолированным и геттоизированным в Чьяпасе, Маркос делал все возможное, чтоб сделать опыт сапатизма доступным левым всего мира, тем самым оказывая решающее влияние на политическую жизнь, не только в Латинской Америке, но далеко за ее пределами. Маркос не так уж преувеличивал, когда говорил о «международном сапатизме».[434]

В эпоху телевидения и компьютеров борьба ведется не только в реальном, но и в виртуальном пространстве. Именно здесь традиционные левые оказались совершенно беспомощны. Напротив, повстанцы из Чьяпаса сумели переломить ход событий. Вооруженные акции создавали совершенно новую информационную ситуацию. Стало невозможно просто замалчивать события.

Информационное пространство хорошо освоено капитализмом. Рынок постоянно требует новой и

разнообразной информации. Ложь становится политически безнаказанной: даже если через несколько недель и даже дней она будет опровергнута, это уже не имеет значения, поскольку общественное сознание будет занято другими, более свежими сюжетами. Память телезрителя постоянно промывается, внимание рассеивается, прошлое утрачивает всякий смысл. Правда, этот же эффект забывания снижает и эффективность пропаганды. Вбить готовые стереотипы в голову телезрителя начала XXI века труднее, чем в сознание радиослушателя века XX. Мелькание брэндов и рекламных слоганов так замусоривает сознание, что идеологические формулы начинают смешиваться с информацией о достоинствах нового шампуня.

Тактика Маркоса состояла в том, чтобы перенести борьбу на поле противника, подрвать господство правящих кругов в виртуальном пространстве. Своими действиями в реальном мире сапатисты парализовали машину виртуальной пропаганды. Их действия были не только вооруженной агитацией. События развивались таким образом, что врать по телевидению стало невыгодно и даже невозможно. Любая ложь опровергалась дальнейшим ходом событий не через несколько дней и недель, а через несколько часов, пока про нее не успевали забыть. Кроме того, передавать правду стало выгодно. Правда была зрелищна и значительна, а ложь — уныла и бессмысленна.

Краткосрочный коммерческий интерес телевидения Вступил в противоречие с социальным заказом. Информационный фронт власти был прорван.

В то время как левые по всему миру жаловались на враждебность средств массовой информации, сапатисты стремились заставить прессу и телевидение работать на себя даже вопреки господствовавшей там идеологии. Вождь повстанцев стал популярен по всему миру. «Герильеро или суперзвезда? — вопрошал известный французский публицист Режи Дебре. — Ни то, ни другое. Творческий активист». Для Маркоса «публичный успех не цель, а средство. Для него медиа-борьба это то же, что и любая другая борьба, в соответствии с принципом Клаузевица (только теперь применяемым по отношению к газетам) — политика, осуществляемая другими средствами».[435] Сапатизм успешно достиг своих «промежуточных» целей, когда однопартийный режим в Мексике, не без участия повстанцев, сменился многопартийной демократией в президентство Висенте Фокса. Но изменение политической системы не означало пересмотра социальной и экономической политики мексиканского правительства. Сапатизм оказался перед необходимостью не просто продолжить борьбу, а находить тактические и стратегические решения в постоянно меняющейся и усложняющейся обстановке. Это был новый, «объективный» вызов, к которому движение далеко не в полной мере было готово.

Неолиберальный курс Висенте Фокса закономерно подрывал популярность его администрации. ПРД вновь вышла на передний план в качестве ведущей оппозиционной силы. «Звездой» мексиканской политики стал Лопес Обрадор, лидер ПРД, которому его сторонники прочили роль «мексиканского Лулы». Учитывая то, что к середине 2000-х годов консервативный смысл политики Лулы был достаточно очевиден, это не могло вызвать энтузиазма среди радикальных левых.

Сапатизм является лишь одним из новых радикальных движений, поднявшихся в Латинской Америке во второй половине 1990-х годов. В 1997 году известный политолог Джеймс Петрас заметил на страницах «New Left Review», что «левые силы в Латинской Америке возвращаются на политическую сцену». Однако это происходит не через развитие политических партий, а через «возникновение новых социально-политических движений».[436] Причем, по мнению Петраса, не

случайно, что эти движения являются по преимуществу крестьянскими. Наряду с сапатистами огромную роль в политической жизни континента играет Движение безземельных крестьян (MST) в Бразилии, осуществляющее захват пустующих земель, принадлежащих латифундистам, а также крестьянское движение в Боливии. В течение большей части XX века сельское население постоянно мигрировало в города в поисках работы и лучших условий жизни. В итоге деревня теряла наиболее активных и образованных молодых людей. Неолиберальная политика привела к упадку промышленности, ориентированной на внутренний рынок, и создала массовую безработицу среди традиционных отрядов рабочего класса. В результате, впервые за столетие началась миграция горожан в деревню, поскольку в странах со слабым развитием систем социальной защиты только таким образом люди могли гарантировать свое физическое выживание. Эта масса бывших рабочих принесла в деревню «пролетарские» формы борьбы и организации, равно как и марксистскую идеологию. Таким образом, марксистский социализм, потерпевший поражение в городах, неожиданно возродился в качестве идеологии многомиллионной крестьянской массы. По мере того, как Партия трудящихся сдвигалась вправо, MST превращалась в ведущую антикапиталистическую силу Бразилии. Логика борьбы развела активистов MST и Лулу по разные стороны баррикады. Крестьянские активисты захватывали земли латифундистов и создавали на них кооперативы, а правительство защищало «законные интересы» собственников. Лидеры MST объявили, что они «с болью в сердце» вынуждены отказаться от сотрудничества с властью и возобновить борьбу.[437]

Массовые крестьянские выступления под леворадикальными лозунгами изменили политический климат в Боливии и Эквадоре. Если активисты MST основные силы бросали на борьбу за землю, то в Эквадоре, как и в Боливии, крестьянские движения активно вмешались в борьбу за власть, выдвигая общенациональные политические требования (отставка президента, национализация газовой промышленности и т. д.). Под их ударами падали правительства но недостаточно было научиться свергать власть. Необходимо было научиться брать ее. И взяв, распорядиться в интересах трудящихся классов, не отдавая победу в руки бюрократических карьеристов из «левого» лагеря. Торжество «нового реализма» среди «официальной левой» вызвало определенный кризис стратегий как у сапатистов, так и у MST. Одно дело — быть радикальным крылом широкого движения, рядом с которым находятся и менее умеренные силы, а другое дело — когда никаких умеренных сил, никаких реформистов нет, а есть только беспринципные политиканы и предатели, представляющие интересы правящего класса.

Это новое понимание ситуации отразилось в «Шестой декларации Лакандонской сельвы», обнародованной Маркосом от имени Сапатистской армии национального освобождения. Декларация не оставляла никаких иллюзий относительно возможности примирения с ПРД или «критической поддержки» ее кандидата. Напротив, сапатисты жестко и однозначно заявляли, что опорой неолиберального проекта являются «все сейчас существующие политические партии, безо всякого исключения».[438] В другом месте Маркос иронично заметил, что ПРД — это «левая рука правых».[439] Сапатисты не сумели за 12 лет установить подлинно демократический режим в Мексике. Но они оказались в состоянии создать органы самоуправления в своих общинах. В этих сообществах выросло новое поколение, обладающее «технической и культурной подготовкой, которой у нас не было, когда мы начинали сапатистское движение. Эта молодежь не только

пополняет наши отряды, но и занимает лидирующие позиции в нашей организации».[440] «Шестая декларация Лакандонской сельвы» не предлагала сколько-нибудь ясного стратегического проекта, если не считать призывов продолжать борьбу по возможности мирными средствами и вести разъяснительную работу среди мексиканцев, поднимая их на выступления против системы. САНО выражал солидарность с бразильским MST, с крестьянскими движениями в Боливии и Эквадоре, с аргентинскими *riqueteros*, намекая на возможность формирования чего-то вроде континентального интернационала социальных движений.

Особое внимание декларация уделяла анализу современного состояния общества. Ее текст не оставлял никакой двусмысленности: источником бед Мексики является не только неолиберальная модель, но и капиталистическая система как таковая. А потому и борьба левых сил должна быть направлена не только на изменение правительственного курса, но и против системы. По существу, Маркос обращался к своим сторонникам на хорошо знакомом марксистском языке, на языке классовой борьбы.

Логичным выводом из декларации стало объявленное в скором времени решение о роспуске Сапатистского фронта национального освобождения (СФНО), взамен которого должна была создаваться массовая политическая организация, действующая на общенациональном уровне и способная принимать участие в президентских выборах 2006 года, составив конкуренцию трем официально зарегистрированным партиям. Сапатистское движение просто не могло устраниваться от электоральной борьбы, оставив это поле оппортунистам и представителям неолиберальной «левой». Сапатизм должен был завоевать поддержку в больших городах, среди самых разных групп населения, в том числе среди индустриальных рабочих.

Поворот сапатистов был решительным и четким ответом тем левым идеологам Запада, кто пытался представить их опыт в качестве доказательства тезиса о возможности совершить революцию без борьбы за власть. Новая политическая культура в лице самых ярких своих представителей возвращалась к революционным традициям рабочего движения.

К середине 2000-х годов весь Латиноамериканский континент находился в состоянии бунта. Неолиберальная политика не просто обанкротилась: массовое сопротивление перешло ту историческую черту, за которой становится невозможно продолжение подобного проекта. Массовые выступления потрясли Аргентину, Уругвай, Боливию и Эквадор. Правительства падали одно за другим. Правящие круги по всей Латинской Америке находились в кризисе и сознавали это. Известный российский исследователь Кива Майданик отмечает, что пропорционально развитию процессов глобализации в Латинской Америке нарастала «безответственность элит и их прогрессирующий отрыв от национального ствола».[441] Подобные тенденции являются совершенно объективными, закономерными и неизбежными. Корпорации вовсе не заинтересованы в создании единого глобального рынка труда с единой в мировом масштабе шкалой заработной платы — в этом случае капитал потерял бы возможность использовать в своих интересах различия между регионами. Напротив, правящие классы различных стран, вовлеченные в управление международным движением капитала, все больше сближаются, формируя (по крайней мере, на уровне культуры, образа жизни и потребления) единую транснациональную элиту. Поэтому чем больше интегрируются между собой правящие круги, тем больше их отрыв от массы населения в каждой отдельной стране, включая даже государства капиталистического «центра».

Однако в Латинской Америке разрыв между правящими классами и обществом достиг такой остроты, что делал невозможным эффективное проведение какой бы то ни было политики вообще. Национальное государство утрачивало всякое доверие населения, а межнациональные структуры, подобные Европейскому Союзу, явно не готовы были перенять его функции (хотя их скорейшее создание всячески подталкивалось Соединенными Штатами).

Главным козырем неолиберальной политики на континенте была финансовая стабилизация. Несмотря на резкое падение уровня жизни в низах общества, несмотря на серьезный ущерб, нанесенный системам образования и здравоохранения, кризис инфраструктуры (в Аргентине, например, многие населенные пункты остались без железнодорожного сообщения), одно достижение казалось бесспорным. У людей в карманах появились «настоящие деньги». Это выглядело особенно впечатляюще на фоне гиперинфляции начала 1990-х годов (другой вопрос, что эта гиперинфляция, как и в России, была спровоцирована первой фазой неолиберальных реформ).

Ситуация резко изменилась после краха российского рубля в 1998 году. Все началось с кризиса в странах Юго-Восточной Азии, который, в свою очередь, дестабилизировал финансовые рынки Восточной Европы. Глобализация показала себя во всей красе. После того, как рухнул рубль, финансовые спекулянты ринулись в Латинскую Америку. Бразильский реал и другие местные валюты пошатнулись, но правительство Кардозо, в отличие от российских властей, не пыталось удерживать курс национальной валюты любой ценой. Реал был своевременно девальвирован и тем спасен от краха. Однако девальвация реала усилила давление на другие латиноамериканские валюты, прежде всего на аргентинское песо.

В конце 1990-х годов песо было привязано к доллару по явно завышенному курсу один к одному. Это было предметом гордости местных правителей. Ценой, которую страна платила за это сомнительное достижение, была затяжная экономическая депрессия, спад производства, стремительный рост безработицы, систематические невыплаты зарплаты. В аргентинской провинции, как и в российской, пошли в ход всевозможные денежные суррогаты, которыми местные власти пользовались, чтобы хоть как-то расплатиться с работниками общественного сектора (по-русски — «бюджетниками»).

В декабре 2001 года стало ясно, что все эти усилия и жертвы были напрасны. Как и рубль за три года до того, песо рухнул. Закрылись банки, пропали сбережения «среднего класса». Сотни тысяч возмущенных людей вышли на улицу, гремя пустыми кастрюлями. Рабочие остановившихся предприятий перекрывали дороги — это движение получило название «*riqueteros*» (от слова «пикет»).

Бунт 20 декабря 2001 года в Буэнос-Айресе вошел в историю как «*Cacerolazo*» (кастрюльный бунт). Несмотря на столь невинное (для европейского слуха) название, он сопровождался разгромом банков и магазинов, столкновениями с полицией и перерос в настоящее народное восстание. Здание парламента было захвачено и разгромлено, президент Фернандо де ла Руа спасся бегством из «Розового Дома» на вертолете.

Восстание выявило всю глубину общественного раскола. Политики всех официальных партий, чиновники всех оттенков и любые представители истеблишмента вызывали равное отвращение масс. Люди вышли на улицы под лозунгом «*Que se vayan todos!*» — пусть они все уходят!

После финансового краха в Аргентине стал неизбежен кризис в Уругвае. Начался резкий спад

производства. В июле 2002 года золотовалютные резервы уменьшились на 76 %, и власти решили ввести плавающий валютный курс. Кризис развивался по аргентинскому сценарию. Падение курса национальной валюты заставило граждан снимать банковские вклады, и закрытие банков оказалось единственным способом спасти финансовые институты. Начались массовые волнения. Иностранные журналисты писали, что «уругвайцы теперь большую часть времени проводят на улицах».[442]

В Эквадоре массовые крестьянские волнения дестабилизировали систему власти настолько, что правительства менялись одно за другим. Перманентный политический кризис дестабилизировал Боливию. В апреле 2000 года приватизация воды вызвала настоящее восстание в городе Кочабамба. Были вызваны войска, стрелявшие в толпу. Имелись убитые и раненые. Правительство уже продало местную воду американской корпорации «Bechtel», но массовое сопротивление вынудило власти отступить. Последующие массовые выступления оказались еще более успешными. Полиция присоединялась к бастующим и применяла слезоточивый газ против вызванных властями армейских подразделений. Население требовало национализации газовой промышленности, превратившейся в главный источник средств для страны. Другим вопросом, вызвавшим резкое противостояние власти и индейского большинства, стал вопрос о производстве коки. Индейцы выращивали ее на протяжении столетий в качестве медицинского препарата, но начатая по инициативе США борьба против наркотиков вынудила правительство прибегнуть к репрессиям против фермеров. В высокогорной Боливии массовое потребление листьев коки было частью местного образа жизни.[443] Индейцы категорически отказывались подчиниться политике властей, которые к тому же не предлагали никакой экономически осмысленной альтернативы.

В 2002 году кандидат левых сил, лидер партии «Движение к социализму» (MAS) Эво Моралес уступил всего 2 % представителю правых, но уже через несколько месяцев стало ясно, за кем стоит реальное большинство населения. Два президента подряд пали в результате массовых народных протестов, и на декабрь 2005 года были назначены досрочные президентские выборы, которые Моралес с триумфом выиграл.

В Мексике пал режим ПРИ (Институционно-революционная партия), но сменившая его либеральная Партия национального действия (ПАН) быстро теряла популярность. В Венесуэле разворачивалась самая настоящая революция. По всему региону сложились условия для прихода к власти левых или левоцентристских сил. Начиналась новая эпоха, полная не только возможностей, но и опасностей. После нескольких месяцев правительственного кризиса президентом Аргентины был избран Нестор Киршнер, представлявший левое крыло перонистской партии. Аргентинский перонизм всегда был загадочным явлением, сочетавшим в себе элементы правого и левого популизма. С того самого момента, как генерал Хуан Перон и его харизматическая супруга Эвита пришли к власти в середине 1940-х годов, левые не могли определить своего отношения к их популистскому курсу, а среди самих перонистов сосуществовали разнообразные течения — от ультралевых до крайне правых. В 1990-е годы, на фоне общего поворота континента к неолиберализму традиционные популистские партии — такие, как перонисты в Аргентине или ПРИ в Мексике, — стали проводниками антисоциальных рыночных реформ. Однако с приходом в «Розовый дом» Киршнера, которого характеризовали как «бывшего последователя Че Гевары», [444] казалось, внутри перонизма брали реванш сторонники социального популизма. Новый президент сразу занял жесткую позицию по отношению к Международному валютному фонду, начал принимать меры для возрождения промышленности и

создания рабочих мест.

Кризис неолиберализма дал новый шанс и Партии трудящихся в Бразилии. Теперь уже не только левые и профсоюзные активисты, но и бизнесмены открыто ругали политику предшествующих лет, требуя перемен. Осенью 2002 года Лула был триумфально избран президентом, получив 61 % голосов. Избирательную кампанию ПТ вела энергично и довольно радикально, с одной стороны, разъяря правящим кругам, что Лула это «кандидат, который наиболее подходит, чтобы править страной», а с другой стороны, обещая радикальным массам, что ПТ идет к власти, чтобы «изменить историю страны».[445]

Теперь ему предстояло удовлетворить ожидания своей разнородной социальной базы, доказывая рабочим, что он способен провести серьезные и радикальные реформы, и в то же время успокаивая местную и транснациональную буржуазию.

Почти одновременно с Бразилией выбрал себе нового президента и Эквадор, где не прекращались крестьянские выступления. Кандидат левого центра популист Лусио Гутьеррес одержал победу во втором раунде, набрав 54,79 % голосов. Однако не прошло и нескольких месяцев, как активисты социальных движений оказались в конфликте с новым президентом.

Затем настала очередь Уругвая. Здесь Широкий Фронт (коалиция ведущих левых партий) уже длительное время управлял столицей — Монтевидео. Для такой маленькой и урбанизированной страны, как Уругвай, успех в главном городе был залогом общенациональной победы. Так и случилось. В ноябре 2004 года кандидат Широкого Фронта Табаре Васкес, набрав большинство в первом же туре голосования, стал президентом страны.

Победы левых, однако, отражали не только подъем народного движения, но и сдвиг в настроениях местной буржуазии. Именно благодаря переменам, происходившим в среде элит, переход власти в руки левых сил давался столь легко. А сами левые политики увлеченно искали «новый национальный консенсус», налаживая отношения с предпринимателями и демонстрируя свою умеренность.

Кризис неолиберального курса был столь очевиден, что спровоцировал раскол в латиноамериканских элитах. Одна часть, стиснув зубы, готова была, во что бы то ни стало продолжать неолиберальный курс, презрительно игнорируя явное возмущение народа. Другая часть, напротив, искала пути компромисса с собственным обществом, надеясь тем самым сохранить основные «достижения» неолиберальной эпохи.

Сдвиги, произошедшие в рядах латиноамериканской буржуазии, хорошо сформулировал аргентинский экономист Клаудио Кац: «Бизнесмены и банкиры, выигравшие от дерегулирования, теперь резко изменили свои взгляды и стали выступать за государственное вмешательство.

Представителей тех секторов экономики, которые особенно пострадали от катастрофической политики 1990-х годов, в первую очередь требовали государственных субсидий и ограничения иностранной конкуренции». Впрочем, продолжает он, этот новый блок финансистов, промышленников и магнатов агроэкспорта отнюдь не тождествен прежней национальной буржуазии 1960-х годов. «Они укрепили свои связи с международными финансовыми рынками (как получатели кредитов, государственных субсидий), они получали больше дохода от экспорта, чем от работы на внутренний рынок, они инвестировали крупные капиталы за рубежом. Однако подобная транснационализация не оторвала их от местных корней. Правящие классы по-прежнему имели

серьезные деловые интересы внутри родного региона, конкурируя с иностранными корпорациями. Именно они оказали решающую поддержку новым правительствам, и именно они систематически толкали их вправо».[446]

Эта тенденция была заметна не только в Аргентине и Бразилии, где левые правительства всячески демонстрировали свою умеренность и лояльность по отношению к капитализму, но и даже в Венесуэле на фоне острого конфликта президента Уго Чавеса с Соединенными Штатами и транснациональными корпорациями. Пресса отмечала, что многие местные предприниматели также «поддерживают протекционистские меры».[447]

Левые правительства, пришедшие к власти в Аргентине, Бразилии и Уругвае, отнюдь не обещали изменить экономическую систему, ввести социализм или совершить революцию. Они шли к власти под реформистскими лозунгами. Но даже реформистская программа требует определенной решимости и последовательности. Если Киршнер, пользуясь ситуацией финансового краха Аргентины, сумел покончить с диктатом Международного валютного фонда, то Лула, придя к власти, первым делом отправился в Давос на встречу с представителями мирового неолиберального истеблишмента — объяснять им, что бояться нечего.

Во внешней политике Бразилия несколько дистанцировалась от Соединенных Штатов, сближаясь с Европейским Союзом, Китаем и Индией. Администрация Лулы демонстрировала заинтересованность в развитии латиноамериканской интеграции, находя в этом поддержку у соседей — Киршнера и Чавеса. Главным успехом латиноамериканских левых правительств можно считать срыв в ноябре 2005 года попытки Вашингтона навязать континенту соглашение об Американской зоне свободной торговли (ALCA). На встрече глав государств Америки против соглашения единодушно выступили лидеры Бразилии, Уругвая, Аргентины и Венесуэлы. Однако их антиимпериалистические позиции получили поддержку значительной части местного предпринимательского класса, опасавшегося конкуренции и поглощения со стороны североамериканских транснациональных корпораций.

Напротив, надежды тех, кто ожидал, что приход к власти ПТ приведет к переменам во внутренней политике Бразилии, быстро рухнули. Обещанная аграрная реформа почти не продвигалась. Движение безземельных крестьян (MST), связанное с партией Лулы, предпринимало еще до прихода к власти левых захваты пустующих помещичьих земель. Крестьяне надеялись, что победа левого президента приведет к тому, что созданные на этих землях кооперативы будут легализованы и получат поддержку. Однако новая власть, оставалась так же равнодушна к ним, как и прежняя. Широко разрекламированная президентом программа борьбы против голода (Fome Zero) в значительной мере осталась на бумаге, поскольку правительство не выделило на ее проведение достаточных ресурсов. При этом администрация Лулы делала все возможное, чтобы блокировать рост заработной платы, который мог, в соответствии с догмами неолиберальных теоретиков, помешать наметившемуся подъему экономики. Особые старания новая власть прилагала для проведения пенсионной реформы, направленной против «привилегий» государственных служащих. Как и в западных странах, лозунг борьбы с «привилегиями» скрывал политику, направленную на то, чтобы, отняв часть с большим трудом завоеванных прав у трудящихся общественного сектора, ослабить позиции профсоюзов, опустить общий уровень социальных гарантий и тем самым оказать давление на рынок труда. Другая задача этой реформы состояла в том, чтобы стратегически ослабить

государственный сектор как таковой, подорвать его возможность привлекать квалифицированных специалистов и понизить его конкурентоспособность по отношению к частным корпорациям. Как и всюду, подобные меры вызвали дружное сопротивление профсоюзов, причем, вопреки расчетам власти, трудящиеся частного сектора прекрасно поняли, что скрывается за борьбой против «привилегий», выступив единым фронтом с коллегами из государственных структур.

Рядовые члены партии и активисты профсоюзов сопротивлялись политике «своего» президента. Лула и его окружение отвечали массовыми чистками в партии, исключая всех тех, кто выступал против их линии. ПТ, гордившаяся своей внутренней демократией, в считанные месяцы превратилась во вполне управляемую авторитарную структуру. Многие выходили из партии добровольно. Среди разочарованных активистов сокращение ПТ теперь расшифровывалось не как Partido dos Trabalhadores (Партия трудящихся), а как Partido dos Traidores (партия предателей).

После разгрома внутривластной оппозиции основные усилия правящей группы были перенесены на борьбу внутри профсоюзов. Используя бюрократические механизмы, администрация президента сумела поставить лояльных людей на ключевые посты и удалить недовольных. «Администрация Лулы уничтожила ПТ и теперь уничтожает CUT», — грустно констатировал уругвайский журнал «Agenda Radical».[448] Ирония истории состояла в том, что и партия, и профцентр исторически были многим обязаны Луле. Будучи харизматическим лидером, он сумел сплотить вокруг себя людей, укрепить их веру в собственные силы, в возможность добиться перемен. Теперь его харизма служила противоположной цели. Доверие к лидеру подрывало способность движения к самостоятельным действиям, его годами накопленный авторитет использовался для того, чтобы демобилизовать массы, парализовать их способность к действию.

Муниципальные выборы 2004 года оказались сравнительно успешными для Лулы, но одновременно и продемонстрировали масштабы возмущения среди его прежних сторонников. ПТ в качестве Новой «партии власти» усилила свои позиции в регионах, являвшихся традиционными цитаделями правых, зато проиграла в провинциях, ранее поддерживавших левых. Муниципалитет Порту-Алегри впервые за много лет перешел в руки противников ПТ.

Затем начались коррупционные скандалы. Левый актив был деморализован и дезориентирован, разделившись на тех, кто все еще пытался вести борьбу за «обновление» и «возрождение» ПТ, и тех, кто, покинув ряды партии, начинал создавать новые организации. Идеи «нового реализма» торжествовали.

Несмотря на разочарование своих сторонников, Лула сумел сохранить популярность в стране, и был повторно избран президентом в октябре 2006 года. В конечном счете, его администрация была не лучше, но и не хуже предыдущих буржуазных администраций. Партия трудящихся пережила раскол. Порвавшее с Лулой левое крыло во главе с сенатором Элоизой Эленой (Heloísa Helena) сформировало Партию социализма и свободы (Partido Socialismo e Liberdade — P-SOL) в июне 2004 года. Приход к власти Лулы сопровождался постепенным поворотом к более консервативному курсу администрации Киршнера в Аргентине. В Уругвае не дошло до столь резкого конфликта между левыми и новой властью, как в Бразилии, но разочарование среди сторонников Широкого Фронта быстро нарастало. Левые обвиняли президента Васкеса в некомпетентности, писали про «прогрессизм без прогресса» и «континуизм».[449] Последнее трудно переводимое на русский язык слово появилось в латиноамериканском политическом жаргоне, чтобы обозначить политику левых

правительств, которая во всем продолжает политику их правых предшественников — «продолжительность». В свою очередь, лидеры Широкого Фронта оправдывались, как отмечает Клаудио Кац, тем, что «маленькая страна ничего не может сделать в одиночку». По их логике, иронизирует Кац, следует, что «прогрессивная политика возможна только в больших странах».[450] В другой маленькой стране — Эквадоре — конфликт между Лусио Гутьерресом и первоначально поддерживавшими его социальными движениями привел к краху президента. Попытка ввести чрезвычайное положение в стране не удалась. В результате народных выступлений Гутьеррес вынужден был покинуть свой пост, его сменил Альфредо Паласио, пообещавший, под давлением социальных движений, пересмотреть Конституцию, вынести на референдум вопрос о закрытии американской военной базы и т. д. Однако заявления президента были преимущественно риторическими, тем более что реальной власти у него было немного. На практике реализация неолиберального курса была парализована сопротивлением низов.

Было бы несправедливо обвинять Лулу и его соратников (а тем более Гутьерреса) в «реформизме» и «оппортунизме». Скорее это можно было бы считать для них лестными эпитетами. Они не обещали революции и социализма и в этом отношении никого не обманывали. Проблема не в том, что Лула и его коллеги по власти выступили в качестве реформистов, а в том, что и реформистами они не являются.

Как и в случае со Шредером и Блэром, правительственная практика Лулы находится просто уже за гранью левой политики, принадлежит к сфере буржуазного, неолиберального администрирования. Другое дело, что подобное управление для определенных кругов правящего класса оказывалось — по крайней мере на какое-то время — удобнее, чем господство либеральной партии. Лула сумел сделать то, чего ни один правый политик в Бразилии сделать не сумел, — дезорганизовать, деморализовать и, по существу, разгромить левое движение в стране.

«Новый реализм» торжествовал во всей своей красе. Напрашивался вопрос о том, возможен ли вообще левый политический эксперимент в реальных условиях Латинской Америки начала XXI века? Существует ли перспектива общественных перемен, или любая попытка взять власть заканчивается лишь коррумпированием тех, кто оказался на вершине государственной пирамиды? К счастью, ответ на этот вопрос можно искать не только в опыте бразильской «партии предателей», но и в событиях, разворачивавшихся в то же самое время в соседней Венесуэле.

Как отмечал аргентинский марксист Атилио Борон, боливарианская революция в Венесуэле представляет собой «очень важный и сложный политический эксперимент» (*laboratorio político*), явно выходящий за рамки того, с чем приходилось иметь дело прежде.[451] Левые политические партии не только не сыграли решающей роли в происходящих переменах, но зачастую и создавали для них препятствия. Они отстраненно критиковали Чавеса за недостаток радикализма, предпочитая оставаться в стороне от реальных событий. Различные группировки вели ожесточенную сектантскую борьбу между собой, а некоторые представители левых даже оказались в лагере буржуазной оппозиции. Точно так же массовые социальные движения, на которые радикальными теоретиками возлагались столь большие надежды, оказались неспособны изменить общество там, где не было организованной политической воли.

Сравнение опыта Бразилии и Венесуэлы показывает, насколько не соответствующими действительности оказались идеологические стереотипы левых. В Бразилии все развивалось в

строгом соответствии с господствующими теоретическими шаблонами: здесь была мощная Партия трудящихся, опирающаяся на рабочий класс и провозглашающая социалистическую программу, причем в ней действовало влиятельное марксистское крыло. Здесь же наблюдался впечатляющий рост социальных движений, находящихся в сложных, как принято было говорить, «диалектических» отношениях с партией. Бразильские левые поддерживали тесный контакт с международным «антиглобалистским движением», с другими революционными партиями Латинской Америки. Тем не менее после прихода к власти Партии трудящихся в 2002 году новая администрация предложила обществу не что иное, как латиноамериканскую версию «третьего пути» Блэра и Шредера. Причем массовые социальные движения, в свою очередь, не только не смогли добиться изменения курса, но и сами оказались в кризисе. Знаменитый левый муниципалитет в Порту-Алегри, прославившийся своими радикальными экспериментами в области демократии участия, потерпел поражение на выборах именно после того, как ПТ укрепила свои позиции в качестве партии власти на национальном уровне. Как отмечает тот же Борон, потерпел крушение тезис о том, что «слабость партии» может быть компенсирована «силой активизма снизу». В конечном итоге, продолжает он, получилось как раз наоборот: «Партийная организация продемонстрировала свою организационную силу на фоне слабости или отсутствия социальных импульсов снизу».[452]

Между тем в Венесуэле все развивалось прямо противоположным образом. Полковник Уго Чавес неизбежно вызывал у левых подозрения — он не был ни выходцем из рабочего движения, ни представителем марксистской интеллигенции. Будучи популистом, он говорил о наследии Симона Боливара вместо того, чтобы цитировать Ленина, Кастро или Троцкого (сближение Чавеса с Кастро происходило уже в процессе революции, а Троцкого он прочитал лишь в 2004 году, в самолете, возвращаясь после официального визита в Москву). Левые всегда относились к популистам с недоверием, видя в них представителей буржуазного реформизма, эксплуатирующих прогрессивную риторику и отвлекающих массы от классовой борьбы с помощью социальных программ. Причем в отличие от практики социал-демократии, популистские социальные реформы проводятся сверху, представляя в массовом сознании не результатом борьбы организованных рабочих за свои права, а «даром» народолюбивого правителя.

На первый взгляд (и на первых порах) все это могло относиться и к Чавесу. После победы харизматического полковника на выборах массовому движению в революционной боливарианской Венесуэле отводилась важная, но не самостоятельная роль силы, поддерживающей и защищающей президента. Левые политические партии в процессе революции распались.[453] Массовые социальные движения, напротив, получили развитие, но инициатива исходила не от них.

Тем не менее развитие революционного процесса в Венесуэле привело к переменам, далеко выходящим за рамки обычных популистских реформ, а участие масс в принятии решений неуклонно возрастало. И дело здесь не только в уникальной личности Уго Чавеса, не вписывающейся в привычные представления о латиноамериканском популистском лидере, но и в общей политической динамике эпохи глобализации. В отличие от 1940—1960-х годов, когда можно было провести достаточно серьезные социальные реформы, не вступая в жесткую конфронтацию с капитализмом, реальность 1990-х и 2000-х годов такого шанса не оставляет. Любая сколько-нибудь последовательная политика, направленная на перераспределение ресурсов и власти в пользу трудящихся, приводит к немедленной конфронтации со всей системой глобальных неолиберальных

институтов, причем подавляющая часть буржуазного класса, включая его «прогрессивные» слои, немедленно консолидируется на самых реакционных позициях. Именно поэтому, осознавая масштабы реальной угрозы и серьезность политических проблем, резко «подают назад» реформистские политики типа Игнасио Лулы да Сильвы и его коллег из бразильской Партии трудящихся. В такой ситуации очень много зависит от воли к действию и от искусства политической тактики, позволяющего даже в крайне неблагоприятной обстановке находить приемлемые решения. Чавес показал себя крайне слабым политическим тактиком, зато воля к переменам у него была. Парадоксальным образом именно сочетание этих двух факторов — наряду с общим настроением венесуэльского и латиноамериканского общества на решительный разрыв с неолиберализмом — привело к нарастающей радикализации революционного процесса. Слабость Чавеса как политика сделала из него революционера. Как и положено офицеру-десантнику, сталкиваясь с препятствием, Чавес не прибегал к сложным тактическим маневрам (которые могли бы прийти в голову более изощренному политику ленинской школы), а решительно шел на прорыв. Политический риск резко увеличивался, но вместе с ним росла и массовая поддержка.

Организирующим элементом революции в Венесуэле выступили (по крайней мере, на первых порах) не политические организации, а среднее и нижнее звено армии. Как отмечал сам Чавес, по мере того, как развертывалась борьба, происходила и радикализация младшего офицерства, причем этот процесс «не только охватывал все большее число людей, но и становился все интенсивнее».[454]

Политику Чавеса часто называют нефтяным популизмом. На этом настаивают как либеральные критики революции, так и часть ультралевых, предпочитающих стоять в стороне от реального революционного процесса. Оппозиционная газета «El Nacional» писала про «безумные фантазии и бред величия», порожденные успехами нефтяной промышленности Венесуэлы.[455]

Идеология боливарианской революции на практике оказалась, по словам одного из ее участников, «синтезом целого ряда идеологий — критического марксизма, теологии освобождения, национально-освободительного движения черного населения, индейских движений, революционной традиции Боливара, социальных протестов и т. д.»[456]

Политический кризис в Венесуэле начался в 1989 году, когда население столицы ответило на повышение транспортных цен массовыми бунтами. Эти выступления были жестоко подавлены, но среди военных, которые были возмущены использованием армии против народа, зародился заговор. В 1992 году Чавес предпринял неудачную попытку переворота и был брошен в тюрьму. Это сделало его народным героем. Сразу же после освобождения в 1994 году он создал политическую организацию MR 200. В декабре 1998 года Чавес был избран президентом республики, набрав 56,24 % голосов.

На первых порах курс новой власти был достаточно умеренным, но даже относительно скромные шаги, направленные на удовлетворение требований масс, вызвали яростное сопротивление олигархии.

Венесуэла, страна, обладающая богатыми нефтяными запасами, вполне могла позволить себе серьезные социальные программы. Администрация Чавеса начала борьбу с неграмотностью и нищетой, предприняла меры для создания новых рабочих мест, ввела бесплатные завтраки для детей в школах. Однако для того, чтобы финансировать подобные меры, требовалось навести порядок в нефтяном секторе.

Венесуэльская нефть находилась в руках компании PDVSA, которая формально принадлежала государству. На практике компания находилась в руках коррумпированного менеджмента, тесно связанного с местной олигархией и транснациональными корпорациями. Средства PDVSA безжалостно разворовывались и уводились на сторону через посреднические фирмы и «деловых партнеров», которые получали щедрые контракты, оплаченные столь же щедрыми «откатами». Когда Чавес попытался добиться прозрачности в управлении компании и восстановить над ней государственный контроль, менеджмент вместе с карманными профсоюзами ответил систематическим саботажем. Пиком противостояния стала попытка государственного переворота в 2002 году. Чавес был схвачен и вывезен из президентского дворца, но переворот был сорван массовыми народными выступлениями и позицией низших чинов армии, поддержавших законного президента. Чавес с триумфом вернулся в Каракас.

Попытка переворота привела лишь к радикализации революционного процесса. Борьба вокруг PDVSA завершилась поражением менеджмента. Компания была реорганизована. В качестве альтернативы правой Конфедерации трудящихся Венесуэлы (CTV) были созданы новые профсоюзы — Национальный союз трудящихся (UNT). Началась аграрная реформа. На конфискованных помещичьих землях создавались кооперативы. Реформирована была и система образования — она стала гораздо более открытой для выходцев из низов общества.

Расширялся и общественный сектор. Правительство Чавеса не проводило повальной национализации, но к государству отходили предприятия, хозяева которых сворачивали производство. К государству отошел целый ряд предприятий пищевой промышленности, что позволило не только создать рабочие места, но и обеспечить производство дешевых продуктов, резко улучшив рацион населения. Небольшие фабрики, перейдя в общественный сектор, оказывались под непосредственным контролем местных общин: основным принципом должна быть «скорее солидарность, чем потребление».[457] Правительство подчеркивало, что прежним владельцам предоставлялось право на компенсацию и все экспроприации проводились в рамках существующего законодательства.

В результате проводимых мер уровень жизни населения рос. Число людей, находившихся за чертой бедности, составляло 18 % в 2004 году, а в 2005 году сократилось до 10,1 %. Безработица снизилась за тот же период с 14 % до 11,5 %.[458] Разумеется, эта положительная динамика стала возможна благодаря общемировому росту цен на нефть, который, в свою очередь, стимулировал подъем экономики Венесуэлы. Однако в других нефтяных странах столь заметного сдвига не было — в России, например, на фоне не менее впечатляющего роста особых социальных достижений не наблюдалось. Напротив, правительство разворачивало наступление на систему здравоохранения и остатки социальных гарантий. Как отмечал австралийский еженедельник «Green Left Weekly», социальный прогресс, достигнутый Венесуэлой, был результатом «сочетания 17 % экономического роста в 2004 году с экономической политикой, проводимой правительством».[459]

«В Венесуэле нет ни массовых казней, ни концентрационных лагерей, — признавался противник Чавеса Хавьер Корралес. — Гражданское общество здесь не исчезло, как это случилось на Кубе после революции 1959 года. Здесь нет систематического государственного террора, как в Аргентине и Чили в 1970-х. Здесь начисто отсутствует репрессивная бюрократическая машина, которая активно вмешивалась в жизнь граждан в странах Варшавского Договора. Действительно, в Венесуэле все еще

существуют активная и громко заявляющая о себе оппозиция, выборы, дерзкая пресса, а также энергичное и организованное гражданское общество». И тем не менее, неожиданно заключает автор, это диктатура — только «нового типа».[460] Ее опасность именно в том и состоит, что вместо того, чтобы ограничивать права граждан, она дает большинству населения возможность участвовать в политике. Это как раз и есть порочная, антидемократичная практика: вместо того, чтобы опираться на либеральную элиту и средние слои, власть опирается на массы бедняков! Неудивительно, что, пользуясь поддержкой этой огромной массы людей, Чавес может оставаться у власти, никак не ограничивая политическую свободу.

Венесуэла получила новую «боливарианскую» конституцию, провозглашавшую демократию участия в качестве основного принципа государственной жизни. На практике большая часть ключевых решений принималась лично президентом и его ближайшим окружением. Однако демократические свободы в стране соблюдались неукоснительно. Не было ни одного политического заключенного. Оппозиционные партии действовали открыто — характерно, что главным инструментом олигархии в борьбе против Чавеса выступала партия Демократическое действие (Acción Democrática), формально считавшаяся социал-демократической. Выступили против боливарианской власти и некоторые ультралевые секты, обвинившие Чавеса в недостатке революционности и на этом основании присоединившиеся к правой оппозиции. Эфир был полон передачами частных телевизионных каналов, настроенных резко враждебно по отношению к президенту, а либеральная пресса ежедневно выбрасывала на читателя очередные потоки антиправительственной пропаганды. Все это, однако, не возымело ни малейшего действия. Больше того, именно полная терпимость (а зачастую и безразличие) к критике делали режим Чавеса практически неуязвимым. Несмотря на постоянные попытки госдепартамента США и идеологов оппозиции, предъявить ему что-либо серьезное в плане нарушения прав человека не удавалось. Этим «боливарианская» Венесуэла резко отличалась не только от Кубы Фиделя Кастро, но и от Никарагуа времен сандинистской революции (сандинисты, находясь у власти, отличались крайней непоследовательностью в вопросах свободы печати: цензуру то вводили, то вновь отменяли).

С другой стороны, в отличие от президента Альенде в Чили 1970–1973 годов, который действовал исключительно в рамках традиционных политических институтов, администрация Чавеса трансформировала государство, создавала новые структуры. А поддержка нижних чинов армии сыграла решающую роль в срыве государственного переворота 2002 года. Можно сказать, что венесуэльская революция сумела извлечь уроки из трагического опыта Чили.

В 2004 году оппозиция инициировала — в соответствии с нормами новой боливарианской конституции — референдум об отзыве президента, но потерпела сокрушительное поражение. Самым неприятным итогом для противников режима было то, что они не смогли обвинить власти в подтасовке итогов голосования — западные наблюдатели единодушно отмечали, что венесуэльский механизм подсчета голосов практически исключает возможность фальсификации. Чавес закрепил успех в августе 2005 года, выиграв муниципальные выборы. Сторонники президента, объединенные в «Движение за V республику» (El Movimiento V República) набрали 58 % голосов. При поддержке других левых групп они взяли под контроль большую часть провинциальных и городских администраций. Особенно ценным трофеем был муниципалитет Каракаса, который раньше находился в руках оппозиции. «Демократическое действие» получило 18 %.[461] В декабре 2006

года Чавес был с триумфом переизбран на пост президента республики. Он набрал 61 % голосов. Кандидат оппозиции Мануэль Росалес получил почти 39 %. Вопреки ожиданиям администрации США, венесуэльская оппозиция признала подсчет голосов честным и смирилась со своим поражением.

На волне успеха Чавес обратился к своим сторонникам с призывом создать Объединенную социалистическую партию. Политический процесс в республике должен опираться не только на волю и решимость лидера, но и на общественные институты, на демократические организации масс. Революционная власть в Венесуэле, пишет в своем репортаже из Каракаса украинский журналист Андрей Манчук, «действует медленно, но наверняка, подчас вызывая восхищение своих противников». Она избегает непродуманного радикализма, но не останавливается перед препятствиями. «Эта власть сумела подавить яростное сопротивление буржуазии, не прибегнув к кровопролитию и не дав, таким образом, повода к вооруженной агрессии против страны и ее международной изоляции. Но при этом и не сдала своих позиций — в отличие от сандинистов...»[462]

Радикализация революционного процесса, начавшаяся после 2002 года, не могла не повлиять на его идеологию. Боливарианские популистские лозунги стали сменяться традиционной левой лексикой. Противостояние с Вашингтоном и местной олигархией привело Чавеса к выводу, что «единственный способ преодолеть бедность — это социализм».[463] Официальной идеологией революционного процесса теперь провозглашались не только идеи Симона Боливара, но и «социализм XXI века». В правительственных документах содержались недвусмысленные обещания «формировать собственную модель развития, новую модель перехода от капитализма к социализму».[464]

Экономическая политика становилась более радикальной, продолжались национализации, которые затронули теперь целый ряд секторов, включая электрические сети и телекоммуникации.

Социальные программы обеспечивали доступ большинства населения к образованию и здравоохранению, к дешевой пище и достойным условиям жизни. «Однако, — писал „Green Left Weekly“, — революция в Венесуэле не только решает экономические и социальные вопросы. Создаются структуры, через которые становится возможным участие народа в принятии решений, в том числе это и структуры объединенной социалистической партии. Их задача обеспечить переход реальной власти из рук элиты к рабочему классу и беднякам».[465] На предприятиях укреплялись позиции профсоюзов, которые требовали участия в принятии решений. Государственный алюминиевый завод Alcasa превратился, по словам английского журналиста, «в одну из основных лабораторий, где отрабатывается участие в управлении».[466]

Показательно, что правительство не имело готовой модели участия рабочих в управлении производством, не пыталось внедрить ее сверху. На разных предприятиях складывалась разная ситуация, в значительной мере отражающая локальное соотношение сил. «Рабочий контроль невозможно ввести декретом», объяснял профсоюзный лидер Освальдо Леон. «Он должен быть организован снизу, и развиваться будет постепенно».[467]

Среди европейских левых, как замечал радикальный немецкий журнал «Wildcat», возникла «мода на Венесуэлу» (der Hure um Venezuela).[468] Андрей Манчук видит в Чавесе «неожиданную надежду учения Маркса и Ленина».[469] Австралийский журнал «Links» писал, что в Венесуэле мы видим «зарождающееся рабоче-крестьянское государство» (an embryonic workers and peasants state).[470]

На практике, однако, восторги западных левых оказывались порой так же преувеличены, как и их первоначальный скептицизм. Если на первых порах значение боливарианского процесса в Венесуэле недооценивали, то теперь его склонны были преувеличивать. Главной проблемой революции оставался старый бюрократический аппарат, который не имел ничего общего не только с «рабоче-крестьянским государством», но даже с европейскими представлениями о касте добросовестных и эффективных чиновников. Несмотря на борьбу с коррупцией, бюрократия оставалась привилегированным сословием, неэффективным, основывавшимся на личных связях, абсолютно безразличным, а порой и враждебным по отношению к революционному процессу и вовлеченным в него массам. Социальные программы новой власти осуществлялись этим аппаратом в духе традиционного патернализма, а разговоры о «демократии участия» теряли всякий смысл в лабиринтах государственной машины.

В конечном счете, перспективы боливарианского режима неотделимы от перспектив развития левых сил в Латинской Америке и в мире. Это прекрасно понял Чавес, начавший после 2002 года прилагать немалые усилия для поддержки радикальных движений по всему континенту. Если революционная Венесуэла останется изолированной, то поражение или бюрократическое вырождение революции неизбежно. Лучшее, на что можно надеяться при подобном развитии событий, это «реформистское отступление» революционного режима, которое позволит закрепить некоторые его социальные завоевания. Однако положение дел в Латинской Америке дает основания надеяться на иной ход событий. Моральное банкротство официальных «левых» в Бразилии и других странах не привело к параличу массовых движений. Протест против предательства политических лидеров может стать новой мобилизующей силой. Солидарность с Венесуэлой и Чавесом стала мощным стимулом для развития радикальных движений в Аргентине, Бразилии, Уругвае и других странах.

Венесуэла была не единственной страной континента, где всерьез развернулась борьба за власть. Очередным ударом по старому порядку оказались выборы в Боливии. 18 декабря 2005 года Эво Моралес стал первым в истории Латинской Америки индейцем, избранным главой государства. Программа Моралеса предусматривала национализацию газовой отрасли, легализацию производства коки и тесное сотрудничество с Венесуэлой.

Начиная с 1993 года, Боливия, как и другие латиноамериканские страны, была полигоном неолиберальных экспериментов. Приватизация горнорудной промышленности, составлявшей основу экономики, привела к массовому закрытию шахт, катастрофической безработице и возвращению в деревню тысяч горняков, которые просто не могли прокормить себя в городах. Вместе с шахтерами в сельскую местность пришли и традиции классовой борьбы, соединившиеся с формировавшейся на протяжении столетий индейской культурой сопротивления.

В 2000 году решение правительство о приватизации воды привело к настоящему народному восстанию. Центром сопротивления стал городок Кочабамба. Так что в историю страны эти события вошли как «водяная война Кочабамбы».

Население блокировало дороги и отказывалось повиноваться представителям властей.

Правительство использовало войска и полицию, которые не колеблясь применяли оружие. 6 человек были убиты, 175 ранены. Подавить сопротивление не удалось, 10 апреля 2001 года водные ресурсы республики были деприватизированы. Транснациональная компания Bechtel Corporation пыталась получить компенсацию за утраченную собственность, но после многочисленных протестов по всему

миру вынуждена была уступить.

С этого момента Боливия жила в условиях перманентного политического кризиса. Массовые демонстрации сменялись забастовками, стачки перемежались с уличными протестами. Бастовала даже полиция, а военных, направленных на подавление стачки, травили слезоточивым газом. Президенты теряли власть один за другим.

Еще в 1995 году профсоюзный лидер Эво Моралес создал в Боливии Движение к социализму (MAS) по образцу аналогичных партий, которые уже существовали в Венесуэле и Аргентине. По мере углубления политического кризиса усиливались и позиции Моралеса. MAS превратилась в крупнейшую парламентскую партию, выразителя требований народного движения. Моралеса постоянно критиковали за умеренность, склонность к компромиссам и непоследовательность. По мнению радикальных левых, Моралес был политиком «с антиимпериалистической риторикой», но не имевшим программы, которая могла бы «покончить с колониальными капиталистическими отношениями, с угнетением и подавлением народа».[471]

Однако, находясь под постоянным давлением снизу, он маневрировал, менял позиции сдвигаясь влево. Массовые движения требовали более радикальных мер в духе венесуэльской революции, буржуазия требовала не допустить социалистических экспериментов, а собственные сторонники настаивали на продолжении левого курса при одновременном поддержании политической стабильности.

Победа Моралеса привела к национализации газовой промышленности. По иронии судьбы, основным противником, с которым пришлось бороться, была бразильская государственная корпорация Petrobras. Центром оппозиции по отношению к новой власти стала богатая ресурсами провинция Санта Крус, где олигархия могла опереться на поддержку части населения, опасавшегося, что его жизненный уровень пострадает из-за перераспределения ресурсов в пользу более бедных регионов страны. Несмотря на неустойчивость и непоследовательность своего курса, администрация Моралеса сохраняла поддержку масс, неуверенно, но все же продвигаясь вперед. В январе 2007 года в стране началась аграрная реформа, вызвавшая яростное сопротивление олигархии. И хотя над страной нависла угроза гражданской войны, под давлением масс правительство Моралеса продолжало политику перераспределения земли. Сам Моралес сохранял спокойствие истинного индейского вождя. Как сам он выразился о себе в третьем лице, «этого маленького индейца не так-то легко будет отодвинуть от власти».[472]

Облегчением для боливийской революцией стала смена власти в соседнем Эквадоре. Новый президент Рафаэль Корреа Дельгадо, вступая в должность, пообещал поддержать курс Чавеса на «социализм XXI века» и объявил о начале «гражданской революции», которая «изменит приоритеты развития, выдвинет на первый план экологические и социальные вопросы, покончит с „извращенной системой“, из-за которой 60 % из 13 миллионов эквадорцев живут в бедности, а более трех миллионов вынуждены были эмигрировать в поисках работы».[473]

Политический кризис разразился в 2006 году и в Мексике, где кандидат умеренных левых Лопес Обрадор заявил о победе на выборах. Официальным победителем был объявлен Фелипе Кальдерон, представлявший правящую ПАН. Партия революционной демократии не смирилась с результатами. Требуя пересчета голосов, она вывела сотни тысяч людей на улицы. Но на сей раз правящий класс проявил жесткость. Пересчет голосов был проведен лишь частично, чтобы подтвердить победу

Кальдерона. А власть оказалась достаточно тверда.

Возглавляемая Обрадором ПРД явно не горела желанием проводить радикальную политику, ориентируясь скорее на опыт Лулы и Киршнера, нежели на Чавеса и Моралеса. Партия Обрадора находилась в остром конфликте с сапатистами и не скрывала намерения сохранить «преемственность» по отношению к экономической политике прежних режимов. Однако мексиканские элиты и стоящая за ними администрация США, предпочитали не рисковать. Ставки были слишком высоки. А политический кризис в стране не дошел еще до той стадии, когда власть падает сама собой.

Опыт Венесуэлы и Боливии (а «от обратного» — также и Мексики) показывает, что в современных условиях нет и не может быть иной перспективы для честной реформистской политики, кроме перерастания в революционную борьбу. В этом смысле тезисы «Переходной программы» Троцкого оказались пророческими. Проблемой является не реформизм, а его отсутствие. Вернее, отсутствие среди левых классовой политики, на основе которой реформистски настроенные массы могут, вступив в борьбу с правящими классами, превратиться в мощную революционную силу.

В ноябре 2006 года «красный пояс» Латинской Америки в очередной раз увеличился. После кризиса в Мексике казалось, что Соединенные Штаты и региональные элиты, напуганные развитием событий в Венесуэле и Боливии, сделают все, чтобы не допустить «левого поворота» больше ни в одной стране, — слишком рискованным становится эксперимент. Однако президентом Никарагуа на очередных выборах избран Даниэль Ортега — лидер Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО), набравший 38,07 % голосов.[474] В качестве одного из руководителей революции Ортега уже был у власти в Никарагуа. Сандинистский режим 1980-х годов не имел единоличного лидера, и этим не только радикально отличался от соседней Кубы, где все замкнулось на харизматической личности Фиделя Кастро, но и вообще выделялся на фоне политической культуры континента с ее неизбежным каудильлизмом — культом вождя, присущим в равной мере авторитарным и демократическим движениям. Однако именно Ортега стал в ходе революции наиболее заметной политической фигурой, возглавив партию после того, как она потеряла власть. Сандинистская революция оказалась последним социально-политическим конфликтом времен «холодной войны». Во многом ее траектория напоминала то, что несколькими десятилетиями ранее произошло на Кубе. Диктаторский режим семейства Сомоса, существовавший в маленькой стране с середины 1930-х годов, не пользовался особой популярностью в США. Вашингтон, разумеется, предпочел бы передачу власти либеральной оппозиции, но неуступчивость и упорство очередного представителя семейного клана — Анастасио Сомосы Дебайле — сделало такой сценарий невозможным. Умеренная оппозиция, объединявшаяся вокруг другого олигархического семейства — Чаморро, — была полностью разгромлена и деморализована. Власть захватили сандинисты, избравшие путь вооруженной борьбы.

Сандинисты, как ранее и сторонники Фиделя Кастро на Кубе, не были коммунистической организацией. Не были они и поклонниками советской модели, не учились в советских партийных школах. Официальная коммунистическая партия (как и на Кубе в 1950-е годы) вела «легальную работу» под покровительством диктатора и осуждала «экстремистов», скрывающихся в джунглях.[475]

Большинство лидеров сандинизма вышли из традиционной никарагуанской элиты (в этом тоже

сходство с кубинской революцией: ведь семья Кастро занимала не последнее место на острове), Собственно, в нищей и дикой стране, какой была и до известной степени остается Никарагуа, иначе и быть не могло.

Молодые люди из аристократических семейств, получив приличное образование (по большей части за рубежом), испытывали стыд, глядя на отчаянное состояние своей родины. Они становились оппозиционерами, а диктаторский режим не оставлял им выбора: чем больше они втягивались в политическую борьбу, тем более радикальными делались их взгляды.

Для левых политиков конца 1970-х годов в Латинской Америке существовало две революционных модели: Куба и Чили. Революция на Кубе выжила и вроде бы победила. Но успех был достигнут за счет отказа от демократических свобод. В основу экономики легла советская модель централизованной бюрократии, а зависимость от США сменилась не менее жесткой зависимостью от СССР.

Этого пыталась избежать чилийская революция, которая действовала исключительно в рамках демократических институтов, соблюдая каждую букву конституции, приглашая экономических советников из Западной Европы.[476] Однако «мягкий подход» в Чили натолкнулся на жесткий ответ местной олигархии и Вашингтона. Итогом стал государственный переворот 1973 года. Если Кастро благополучно дожил до старости, то чилийский президент Сальвадор Альенде погиб, обороняя свой дворец от путчистов.

Сандинистам многое не нравилось на Кубе, но и повторять судьбу Альенде они не собирались. Соединенные Штаты развернули против республики настоящую войну, финансируя, обучая и вооружая правых повстанцев — контрас. Экономика страдала от потери традиционных рынков на севере. А попытки наладить отношения с Европейским Союзом давали не слишком ощутимые результаты. Европейские страны относились к Никарагуа гораздо более позитивно, чем США, но активной помощи от них не было.

В итоге никарагуанская революция избрала своеобразный «третий путь», на практике колеблясь между демократическими преобразованиями и авторитарными методами. Оппозиционные партии притеснялись, но запрещены не были. Правая газета «La Prensa» то выходила, то закрывалась, то опять выходила. Цензура спорадически то усиливалась, то ослаблялась.

Официоз сандинистов «Barricada», полная речами лидеров и победными реляциями с мест, не сильно отличалась от кубинского официоза «Granma» или советской «Правды». Но в то же время власти позволили выходить независимой левой газете «El Nuevo Diario», которая, поддерживая революцию в целом, регулярно критиковала действия правительства (один из парадоксов никарагуанской политики состоял в том, что решающую роль во всех трех газетах играли представители одного и того же семейства — Чаморро).

Чем более жесткую позицию занимали Соединенные Штаты, тем большей была зависимость от Советского Союза. Последствия этого сотрудничества, как и на Кубе, были двойственными. Помощь из СССР была совершенно реальна. Многие никарагуанцы получили советское образование. И совершенно не очевидно, что вернулись из Москвы или Ленинграда они такими уж поклонниками советской модели. Во всяком случае, не больше, чем Егор Гайдар, который в те самые годы начинал свою карьеру в качестве специалиста по Латинской Америке.

В области образования и здравоохранения были реальные успехи. Да и построенные по советскому

образцу государственные предприятия не так уж плохо работали. Но тем не менее вирус бюрократической неэффективности и коррупции поразил никарагуанское общество.

Революционная элита, органически выросшая из все той же старой либеральной элиты, господствовавшей в Никарагуа еще до времен героического генерала Сандино и его убийцы Анастасио Сомосы Гарсиа, все больше проникалась номенклатурным духом. Особняки «слуг народа» блистали своей роскошью в условиях, когда населению не хватало буквально всего. Постоянный дефицит товаров официальная пропаганда объясняла вражеской блокадой, а контрреволюционная пропаганда приписывала неэффективности сандинистам и их советским покровителям. На практике имело место и то и другое.

Зигзаги политического курса оборачивались растущими разногласиями внутри правящего фронта. Одни лидеры представляли «жесткую линию», выступавшую за повторение кубинского опыта, другие настаивали на самобытности Сандинистской революции, третьи колебались между первыми и вторыми. Тем временем сам Советский Союз вступал в период агонии, готовясь оставить на произвол судьбы не только далекую Никарагуа, но и старого партнера Кубу.

В 1990 году сандинистская власть в Никарагуа провела свободные выборы — проиграла.

Проведенные после голосования опросы показали, что изрядная часть избирателей поддержала кандидата либеральной оппозиции Виолетту Чаморро назло, чтобы проучить правящую партию. Никто не верил, что сандинисты просто так отдадут власть. И тем более не верили, что перевес Чаморро (очередной представительницы все той же достойной фамилии) окажется столь весомым. Но сандинисты признали свое поражение.

Буквально на следующий день в Никарагуа обнаружилось тысячи «раскаявшихся», публично объяснявших всем и каждому: знай они заранее, что выборы всерьез, а власть может смениться, они бы ни за что не голосовали за оппозицию. Однако дело было сделано: революцию отменили по итогам голосования.

Готовность сандинистов признать итоги выборов 1990 года доказывает их верность изначальным демократическим принципам, от которых они — вопреки утверждению своих врагов — никогда не отказывались (в этом плане опыт сандинизма стал позднее важным моральным аргументом для Уго Чавеса в Венесуэле). Однако в 1990 году имели место и другие причины, менее идеалистические. Революция выдохлась и потеряла перспективу. Сандинистская элита чувствовала, что рассчитывать на помощь СССР больше не приходится, поддержка масс слабела, а между тем давление США усиливалось. Выборы оказались красивым и эффектным способом добровольной капитуляции. Как отмечает никарагуанский журналист Моника Бальтодано, для лидеров фронта поражение 1990 года знаменовало «конец утопии», необходимость «приспособиться к реальности».[477] Сандинисты первыми в Латинской Америке стали проводниками «нового реализма».[478]

Последующие 16 лет сандинистское руководство провело, перестраивая свои виллы и выступая с оппозиционных скамей в парламенте. Тем временем положение в стране ухудшалось. Буржуазные администрации по всем этим показателям оказались не лучше, а многократно хуже сандинистов. К середине 2000-х годов сотни тысяч детей вообще не ходили в школы. Безработица и «частичная занятость» достигли 50 %. Никарагуа оставалась одной из самых бедных стран Латинской Америки, уступая по этому показателю только Гаити. 80 % населения (4,2 млн. из 5,7-миллионного населения) жило менее чем на 2 доллара в день, а 47 % (2,2 млн.) имело менее 1 доллара в день, Кампания по

ликвидации неграмотности, проводившаяся сандинистами, была прекращена, и теперь в стране каждый пятый житель не умел ни читать, ни писать. Резко вырос разрыв между богатыми и бедными. Республика накопила огромный внутренний и внешний долг. Часть его была списана иностранными кредиторами как безнадежная.

С каждым годом ностальгия народа по революционному режиму усиливалась, а готовность сандинистских лидеров повторить революционный эксперимент уменьшалась. Каждая новая избирательная кампания фронта оказывалась все более умеренной, а призывы к переменам сменились покаянными рассказами о том, как лидеры революции стыдятся своего прошлого. Покаяние многим людям идет на пользу. Тем более что никарагуанским политикам есть за что извиняться перед своим народом. Только, как часто бывает, все перепуталось. Больше всего Ортега сожалел теперь не о коррупции и неэффективности своей прошлой администрации, а о недостаточном внимании к семейным ценностям и католической церкви, обещает не проявлять радикализма и не трогать собственность олигархии. На пост вице-президента он выдвинул Хайме Моралеса, банкира и бывшего контрабандиста.

«Официальные лидеры СФНО, — пишет Моника Бальтодано, — ничего не сделали, чтобы остановить ограбление народа, у которого отняли результаты революции, отняли достоинство и надежду на будущее. Хуже того, они сами участвовали в этом ограблении — через государственные посты, которые они сохраняли, через бизнес-структуры находившиеся под их контролем».[479] Разбуженные победой сандинистов ожидания масс неизбежно натолкнулись на пугливый прагматизм повзрослевших экс-революционеров. Однако на фоне всеобщего политического оживления даже самые умеренные левые Латинской Америки должны были что-то предложить массам. Спасительной идеей становилась экономическая интеграция. Под этим лозунгом можно было демонстрировать дружбу со все более популярным на континенте Чавесом, произносить антиамериканские речи, одновременно ничего не предпринимая для изменения жизни в собственной стране.

Идея латиноамериканского единства не нова. Симон Боливар, завоеывая независимость для латиноамериканских республик, верил, что на месте испанских колоний появится не множество разрозненных и часто враждующих между собой государств, а единая семья братских народов, строящих свою судьбу самостоятельно, но совместно. Уже в 1826 году по инициативе Боливара в Панаме собрался континентальный конгресс (Congreso Anfritrionico), где обсуждалась перспектива создания конфедерации иберо-американских народов. Этот конгресс, как отмечает венесуэльский историк Ольмедо Белуче, «был одновременно кульминацией успехов Боливара и началом его поражения».[480] Мечтам Освободителя не суждено было воплотиться в жизнь, хотя, казалось бы, все предпосылки для этого были. Латинскую Америку объединяет испанский язык (за исключением португалоязычной Бразилии), католическая религия, общие исторические корни и сходная культура, в том числе политическая. Все страны региона на протяжении большей части своей истории находились под внешним влиянием — сначала это была европейская метрополия — Испания или Португалия, потом неформальное господство США, экономическое, а порой и политическое. Попытки объединить континент тоже предпринимались неоднократно. Возникновение Европейского Союза во второй половине XX века оживило мечту об интеграции по тому же образцу Латинской Америки. Практические шаги тоже предпринимались. Наиболее важным из них было создание на

юге континента сообщества Mercosur, общего рынка, объединяющего наиболее развитые страны региона — Бразилию, Аргентину, Уругвай и Чили.

Идею интеграции в своей версии предлагают и Соединенные Штаты. В середине 1990-х появилась на свет североамериканская зона свободной торговли NAFTA, а в начале правления Дж. Буша в Вашингтоне были серьезно увлечены идеей создать такую же зону свободной торговли в масштабах всей Америки, Северной и Южной. Правда, в Латинской Америке сразу почувствовали подвох. В конечном счете, идея американской зоны свободной торговли является современной версией пресловутой доктрины Монро, предполагавшей, что страны Западного полушария тесно интегрируются между собой, одновременно противопоставляя себя Старому Свету. На практике это означало монопольное господство североамериканских компаний на рынках менее развитых стран. Сегодня идея латиноамериканской интеграции возвращается, под именем Боливарианской альтернативы, становясь одним из краеугольных камней стратегии венесуэльского президента Уго Чавеса.

В основе подхода Чавеса лежит трезвое понимание того, что «социализм в одной отдельно взятой стране» заведомо обречен, а революция должна выйти за пределы одного государства, превращаясь в фактор глобального общественного развития, иначе ей грозит вырождение. Президент Венесуэлы не зря, возвращаясь в 2004 году из Москвы, читал «Преданную революцию» Льва Троцкого (книгу, подаренную ему во время тура по Европе кем-то из западных активистов). Идеи Троцкого ложились на его собственную боливарианскую традицию и уроки революций недавнего прошлого — кубинской, чилийской, никарагуанской. Если Венесуэла всерьез собирается двигаться в сторону социализма, надо сделать что-то такое, что гарантирует от повторения советского опыта. Ответ видится в демократической интеграции континента.

Идея интеграции оказалась популярна как в верхах, так и в низах. Североамериканская концепция свободной торговли была отвергнута, но дискуссия вокруг нее спровоцировала интерес к объединительным процессам, поставила их на повестку дня. Никарагуа, Боливия, Эквадор получили руководство, с энтузиазмом поддерживающее идеи Чавеса, по крайней мере — в той части, когда речь идет о создании общих структур во имя экономического и социального развития. К тому же венесуэльская нефть была слишком важна для соседних стран. В условиях высоких энергетических цен она казалась тем экономическим фундаментом, на котором все может быть построено. В дополнение к единой энергетической системе (что, безусловно, выгодно) обсуждалось создание единой валюты, общего банка и совместных программ развития. Уже начала функционировать телекомпания Telesur, создается аналогичное континентальное радио.

Либеральные эксперты тут же заявили, что «создать единую валюту в Латинской Америке нереально: уровень экономического развития у 33 стран региона слишком разный».[481] Однако проблема интеграционного проекта не только в различном уровне экономического развития.

Практические условия региона далеко не так просты, как кажется на первый взгляд. Историческое сходство между странами Латинской Америки дополняется не менее разительными различиями, которые часто ускользают от внимания даже самих местных жителей, но обнаруживаются в полном масштабе каждый раз, когда объединение континента встает на повестке дня.

Креольская культура белой элиты, представителем которой был Боливар, на деле всегда охватывала лишь меньшинство населения. Именно поэтому формально республиканские правительства на

континенте то и дело сменялись авторитарными режимами, а когда эти режимы уступали место конституционным правительствам, сформированным в полном соответствии с европейскими нормами, реальная власть все равно оставалась в руках у олигархий. Политика Чавеса и других левых лидеров состоит как раз в том, чтобы вырвать власть у традиционных элит и перераспределить ее в пользу более широких слоев общества. Но чем более широкие слои вовлечены в политику, тем слабее традиционная боливарианская культура. Дело не только в том, что индейцы Боливии не слишком похожи на мулатов Карибского побережья Венесуэлы. Дело в том, что традиции и методы общественной самоорганизации в разных культурах разные.

К началу XXI века боливарианская альтернатива была всерьез поддержана лишь относительно бедными и отсталыми странами региона, для которых Венесуэла реально являлась лидером не только благодаря своей нефти, но и благодаря своим экономическим достижениям. Напротив, с момента прихода к власти в Боливии президента Моралеса осложнились отношения этой страны с соседней Бразилией. Ведь иностранный капитал, от господства которого Моралес и его товарищи стремятся освободить страну, не только и не столько североамериканский, сколько бразильский. В XIX веке различия интересов между различными частями континента сорвали осуществление идей Боливара. В XXI веке возникает реальная угроза того, что сообщество, формирующееся вокруг Венесуэлы, окажется не прообразом единой Латинской Америки, а узким экономическим и политическим блоком, замкнутым на государство-гегемон и противостоящим не только США, но и другим странам того же континента — Бразилии, Аргентине, Чили, составляющим основу альянса Mercosur. В итоге мы увидим не более тесную интеграцию, а, напротив, более жесткое разделение Латинской Америки на соперничающие группировки.

На континенте, буквально пропитанном национализмом, традиции вражды между соседями ничуть не менее заметны, чем традиции антиколониальной или антиимпериалистической солидарности. Если противостояние политических принципов сведется к противостоянию претендующих на региональное влияние государств, шансы на прогрессивное развитие в любом из них будут сведены к минимуму.

В конце концов, и сталинская теория «социализма в одной отдельно взятой стране» не исключала создания стран-сателлитов, которые затем были провозглашены «мировой социалистической системой». Население этих стран тяготилось кремлевской опекой настолько, что позднее оказалось готово ради освобождения от нее пожертвовать даже бесплатным образованием, дешевым жильем, хорошей медициной и другими реальными достижениями советского периода.

Главная привлекательность революции, происходящей в Венесуэле сегодня, не в том, что она может привести к созданию единой валюты для трех или четырех бедных южноамериканских стран, не в том, что финансисты из нескольких национальных банков смогут выбрать из своего числа самого мудрого и авторитетного, чтобы руководить объединенным межгосударственным банком. Сила революции в том, что она, соблюдая все права и свободы, не прибегая к террору и репрессиям, смогла резко перераспределить власть и благосостояние в обществе, что благодаря ей в политическую жизнь были вовлечены миллионы людей, ранее из этой жизни исключенные, что они наконец начали уважать себя, обрели чувство собственного достоинства и веру в свои силы.

Это и есть главный политический капитал Чавеса и его сторонников, не зависящий от колебаний мировой цены на нефть. Если этот капитал будет сохранен и приумножен, вырастет влияние

Венесуэлы в мире и на континенте, в том числе и в странах Южного конуса, пока не затронутых революционным вирусом. Если же этот капитал разменяют на мелкую монету геополитики, надежды на новую жизнь для Латинской Америки обернутся очередными иллюзиями...

Глава IX. Еще не музыка, уже не шум

Массовое антикапиталистическое движение в Европе начала XXI века, оказавшееся в резонансе с революционными выступлениями в Латинской Америке, разительным образом отличалось от деморализованных левых организаций начала 1990-х годов. За какие-нибудь десять лет ситуация изменилась радикально. Никто уже не говорил о смерти социалистической идеологии или о «конце истории». Радикализм молодежи принял политические формы. Капитализм подвергался повсеместной критике, теряя популярность даже в Восточной Европе. Что касается европейского Запада, то здесь антикапиталистические настроения стали воистину массовыми. По данным опросов, опубликованных в 2006 году парижской «Liberation», «61 % французов относятся к капитализму отрицательно».[482] Положительное отношение к социализму выразил 51 % опрошенных.[483] Однако широкомасштабное и стремительное возвращение левой идеологии отнюдь не было равнозначно политическому успеху. Превращение идей в политические программы, а целей в стратегию — вот задача, вставшая перед левыми.

В середине 2000-х годов левое движение по всему миру могло гордиться серьезными успехами. Если за десять лет до того антикапиталистические организации казались изолированными и умирающими группами, рискующими окончательно превратиться в бесполезные секты, то теперь прогресс был заметен повсеместно. Повестка дня социальных форумов стала влиять если не на решения, то, по крайней мере, на риторику правительств. Многотысячные демонстрации и мощные забастовки стали частью общественной жизни в большинстве европейских стран.

И тем не менее, движение опять оказалось в кризисе. Общественный подъем, начавшийся после 1999 года в большинстве стран, поставил перед левыми новые вопросы. Теперь им недостаточно было бороться за политическое существование или добиваться того, чтобы их выслушали. Требовалось от оборонительных боев перейти к наступательным, от сопротивления к социальному преобразованию, от критики неолиберализма к борьбе за собственную программу. Движение было не готово к новому, наступательному этапу борьбы.

Оно нуждалось в новых формах координации и организации. Сетевые коалиции, которые идеально работали в конце 1990-х годов, оказывались недостаточными; идеи, вдохновлявшие на борьбу, не давали ответа на вопросы о новых методах действия. Короче, нужны были перемены в самом движении, которое начинало буксовать.

Принцип классовой политики дается с трудом, особенно в эпоху, когда сама социальная структура проходит трансформацию. Одной из особенностей социальных процессов в эпоху глобализации является как раз крайняя подвижность, неустойчивость структур общества. В то же время совершенно очевидно, что классовый подход не заменяет политики широких союзов. Общество разделено не только на «два класса», как думали популяризаторы большевизма. Но «классовое» объединение — первый шаг, исходное условие, без которого немислим успех «широкого» союза. И именно политика левых, формулирующих общие для разных социальных слоев требования, идеи и воззрения, способствует превращению атомизированных масс и корпоративных социальных групп в класс, обладающий сознанием своей роли и миссии в обществе.

XXI век еще не наступил, а социологи уже характеризовали его как время «сетевых структур».[484] На первый взгляд, это действительно так: «вертикальные» модели управления и организации все чаще дают осечку. Но отсюда вовсе не следует, будто отпадает потребность в партиях и профсоюзах. Просто они должны измениться. Из иерархических организаций, стремящихся к «монолитности», они должны превратиться в гибкие структуры, координирующие и связывающие различные направления борьбы. Ключевой задачей партии оказывается именно обеспечение гегемонии. Партия вносит в движение элемент сознания, целенаправленности, согласованности, превращает случайные стихийные выступления в единый натиск.

Глобализация экономической жизни не означает конца политических партий, она лишь расширяет их задачи. Лозунг «действуй локально, думай глобально» имеет смысл лишь постольку, поскольку местные действия скоординированы на региональном, национальном и глобальном уровне. Без этого никакое «глобальное» мышление не поможет. Именно координация действий становится главной задачей политических организаций. Связь между действиями и мышлением не осуществляется сама собой, это политическая задача, ради решения которой собственно партии и организации создаются. Левые «новой волны» постоянно сталкиваются с этой проблемой, причем не имеет значения, где разворачиваются события — на улицах Парижа, в сельве Чьяпаса или в немецких муниципалитетах. Близкая к Партии демократического социализма газета «Neues Deutschland» писала, что восстание сапатистов стало примером того, как можно связать «местное сопротивление с глобальным развитием».[485] Сама ПДС пыталась, пусть и не всегда успешно, связать протест, зарождающийся на Западе, с сопротивлением на Востоке, парламентскую работу в столице — с муниципальной работой на «задворках» объединенной Германии. Но пока нет стратегии, соединяющей «локальное» с глобальным, все эти частичные успехи грозят обернуться топтанием на месте. Принципиальным вопросом политики является создание «моста» между «локальным» и «глобальным», между пресловутой «программой-минимум», которая сама по себе мало что дает, и «программой-максимум», превращающейся в пустую утопию, интеллектуальное алиби оппортунизма.

Координация борьбы на международном уровне была слаба и неэффективна именно потому, что не была нацелена на стратегическую перспективу. Различные формы организованной солидарности на межпартийном и международном уровне к середине 1990-х годов оставались в зачаточном состоянии. Наряду с Социалистическим Интернационалом, который все более превращался в бессмысленное объединение популистских, либеральных, социал-демократических и радикальных партий, серьезной координирующей структурой стал Форум Сан-Паулу, созданный латиноамериканскими левыми. Плюрализм Форума Сан-Паулу, включившего в себя коммунистов, левых социал-демократов, радикальных реформистов и революционеров, отражал естественную неоднородность левых сил континента. Но, доказав способность левых к объединению, Форум Сан-Паулу так и не стал по-настоящему координирующей структурой. Сотрудничество левых партий в масштабах Европы не достигло даже латиноамериканского уровня, несмотря на периодически проводившиеся встречи лидеров и красивые лозунги о борьбе «за новую Европу, за Европу новой цивилизации труда».[486] Не помогло даже существование Европейского парламента, вокруг которого теоретически могла быть налажена совместная работа. Возникший в конце 1990-х годов Новый европейский левый форум (NELF) оказался формальной организацией, не имеющей постоянно действующих структур и ограничивающейся проведением теоретических конференций.

Создание Европейской левой партии в мае 2004 года многими было воспринято как очередной сдвиг вправо, ведь организовав ее, западные левые приспосабливались к институтам Европейского Союза. Для партий и движений, оставшихся за пределами ЕС, путь в общеевропейскую партию оказался закрыт, а скандинавские левые социалисты принципиально отказались входить в подобное конъюнктурное объединение.

Многие радикальные левые, как в Западной Европе, так и в Северной Америке, заговорили о создании международной организации (или коалиции) на базе новых «антиглобалистских» движений. Этот подход, с одной стороны, открывает новые возможности, но с другой стороны, ставит в сложное положение партии «традиционного типа». Хотя активисты Левой партии Швеции, Левой партии Германии, Rifondazione в Италии и других парламентских партий активно участвовали в массовых выступлениях 1999–2001 годов, решающую роль в этих событиях сыграли внепарламентские радикальные группы, часто троцкистского или анархо-экологического направления. Тем самым широкое объединение предполагает отказ от привычной «табели о рангах», когда удельный вес той или иной политической организации определяется ее парламентским представительством.

В январе 2006 во время социального форума, проходившего в Мали, группа интеллектуалов, объединившаяся вокруг Самира Амина, приняла «Обращение Бамако», в котором призвала создать некое подобие нового Интернационала.[487] За основу предлагалось взять структуры социальных форумов, нуждавшиеся, по мнению авторов, в радикальной политизации. Однако поддержки эта инициатива не получила. Не потому, что движению не нужна политика, а потому, что форумы — неподходящая основа для такого процесса.

Суть проблемы, видимо, в том, что, с одной стороны, эпоха глобализации требует гораздо более плотного и интенсивного сотрудничества на уровне конкретных действий, а с другой стороны, культурная неоднородность «третьей левой» и естественная идиосинкразия к централизованной бюрократии прошлого препятствуют созданию единых руководящих структур.

Политической деятельностью должны заниматься политические организации. Они не могут и не должны пытаться заменить или подчинить себе широкое движение, но они не должны и растворяться в нем. Их задача состоит в том, чтобы стать не только инструментом политического действия, но и внести элемент политического сознания в массовые движения, участвуя в их работе. Только политические организации могут вырабатывать и реализовывать стратегию, однако воплотить в жизнь эти стратегии без участия массовых движений они не смогут.

Поворот к радикальной политике, наметившийся на рубеже 1990-х и 2000-х годов, требует одновременно социальной переориентации левых партий и своеобразной моральной революции в них. Большинство организаций «новой волны» образца 1990-х годов к этому двойному перевороту оказались неспособны. Но это значит лишь то, что рано или поздно те же исторические задачи будут поставлены другими политическими силами.

Можно без преувеличения сказать, что рамках нового движения миллионы людей получили возможность думать и спорить, публично высказывая свое мнение, отличающееся не только от господствующих идеологических позиций, но и от взглядов, доминирующих среди официальных левых лидеров. В этом плане «антиглобализм» радикально отличался от прежних левых движений с их жесткой идеологической дисциплиной, реализовал свободу слова в беспрецедентных масштабах,

по крайней мере, со времен выступлений «новых левых» конца 1960-х годов.

«Специфика возврата к массовым политическим дискуссиям состоит в том, что они в основном формируются вне мира политических партий, — пишет один из идеологов движения Кристоф Агитон. — В последнее десятилетие развиваются две противоположные тенденции: социальные, движения в целом радикализировались, в то время как политические партии, в том числе и некоторые радикальные силы (бразильская Партия трудящихся, партии, образованные из латиноамериканских партизанских отрядов и т. д.) сдвинулись вправо или стали более умеренными».[488]

Как уже отмечалось выше, «антиглобалистское» движение в действительности стоило бы назвать антикапиталистическим. Именно так определяют его характер многие из наиболее популярных среди радикальной молодежи идеологов — Алекс Каллиникос, Кевин Данахер, с известными оговорками — Сьюзан Джордж.[489] Точно так же можно было бы говорить про глобальное демократическое движение, ибо по своим целям оно мало отличается от традиционных демократических движений, начиная с американской революции XVIII века. Тогда в Бостоне колонисты возмутились, что их законы и налоги устанавливает лондонский парламент, который они не выбирали. Суммируя требования нового протестного движения, можно сказать, что оно всего-навсего добивается, чтобы любые решения принимались только избранными народом органами и в соответствии с признаваемыми самим народом законами. Другое дело, что это требование, если его применять последовательно, означает фактический пересмотр всей глобальной экономической политики последних 20 лет, ибо она практически нигде и никогда не была одобрена населением в полном объеме. Больше того, требование демократизации экономики, если к нему относиться серьезно, несовместимо с капитализмом. Ведь власть капитала не подотчетна и неподконтрольна демократическим процедурам, собственники не обязаны ни перед кем отчитываться. Принцип собственности и принцип демократии противоположны.

Антивоенное и антикорпоративное движение после 2001 года неизбежно становится антиимпериалистическим. Речь не идет о защите принципа национального суверенитета как такового. Суверенитет имеет смысл и ценность лишь в том смысле и в той мере, в какой он основан на демократической воле граждан.

Люди не хотят быть просто «трудовыми ресурсами» или «человеческим материалом». Они не хотят, чтобы лидеры «цивилизованного» мира навязывали свою волю большинству человечества. Такое положение дел вызывает все большее возмущение именно на Западе, где понимают, что демократия неделима, а отрицание чужого суверенитета влечет за собой ущемление свободы в собственной стране. Опыт Ирака и практика «антитеррористической» коалиции 2000-х годов говорили сами за себя: США и Западная Европа пережили беспрецедентное наступление на гражданские права.

Необходимость повсеместной массовой мобилизации для борьбы с перешедшей в контрнаступление реакцией была очевидна. Всемирный социальный форум в Порту-Алегри не мог уже выполнять эту роль: требовалось вовлечь в процесс гораздо большее число людей в самых разных странах.

Социальные форумы начинают распространяться по планете. В то время как Европа, а за ней другие части света решают проводить собственные континентальные форумы, сам ВСФ начинает странствовать с места на место.

В 2004 году Всемирный социальный форум проводили в Индии. Когда в Порту-Алегри приняли

решение о переносе мероприятия в Азию, многие предсказывали, что ничего хорошего из этого не получится: слишком большим будет культурный шок. И в самом деле, Мумбай, переименованный в азарте борьбы с колониальным прошлым из Бомбея, оказался не самым простым местом для подобных встреч. Не только европейцы, но даже латиноамериканцы и африканцы были потрясены нищетой. Беспредельной, не вмещающейся в сознание. Это миллионы людей, живущих в трущобах, и еще миллионы, для которых даже в трущобах не находится места — им приходится спать на улице. Здесь целая иерархия бедности. Одни живут в ветхих обшарпанных домах, другие — в лачугах из фанеры, шифера и картона. Некоторые просто ставят четыре палки и натягивают сверху брезент. Есть здесь, как выразился один из журналистов, и трущобы бизнес-класса. Нормальных стен, конечно, нет, но каким-то чудом проведено электричество. Можно смотреть телевизор. Далеко не каждый человек может позволить себе даже фанерную хижину на обочине дороги — все «хорошие» места уже заняты, и для строительства самой жалкой лачуги нужны деньги.

Как обычно, российские средства массовой информации обошли вниманием Всемирный социальный форум, сосредоточившись в репортажах со Всемирного экономического форума в Давосе. Между тем Всемирный социальный форум в Индии заслуживал внимания хотя бы потому, что его перенесли из Латинской Америки в Азию. Это имело символическое и политическое значение. Надо было показать, что форум массовых движений, в противоположность форуму элит, не может быть привязан к одному месту. Для азиатских организаций форум, проходивший в далекой Латинской Америке, был недоступен. Массовую делегацию через Атлантику не пошлешь. К тому же форум критиковали за недостаток демократизма, за то, что организационный комитет, где преобладали бразильцы и французы, принимает односторонние решения. Наконец, разочарование в политике Лулы и в деятельности Партии трудящихся Бразилии затрудняло проведение ВСФ в Порту-Алегри. Форум оказался перед дилеммой: либо стать ареной критики новой бразильской администрации, либо оказаться под ее влиянием.

В Индии латиноамериканская тематика оказалась на заднем плане. Азия заявляла о себе красочными толпами делегатов, которые превратили работу форума в яркое представление. Если в Порту-Алегри семинары и дискуссии были окружены карнавалом, то на сей раз они были, по мнению многих, не более чем вкраплением в народный праздник. Характер форума изменился радикально. Речь уже не шла о том, чтобы выработать общую стратегию движения. Скорее это был смотр сил мировой левой, место встречи, где люди из разных стран могли найти друг друга, обменяться информацией и договориться о совместных действиях. В 2003 году, когда оргкомитет обсуждал перенос форума, далеко не все были уверены, что индийские хозяева справятся. Опасения оказались необоснованными. Как всегда, было много неразберихи, толкотни и путаницы, но в целом все работало успешно.

В 2005 году Всемирный социальный форум вновь состоялся в Порту-Алегри, а в 2006 году его решили рассредоточить: было избрано три города, представляющие три континента — Каракас в Венесуэле, Бамако в Мали и Карачи в Пакистане.

Вслед за Всемирным и Европейским социальными форумами движение распространилось на отдельные страны. «Это ярмарки в хорошем смысле слова, ярмарки идей, предложений, опыта; это места встреч и обмена мнениями, где могут высказаться все, — писал Агитон. — Общие правила способствуют установлению доверительных отношений между участниками: каждый знает, что он

не попадет в ловушку что любой может взять слово, что в совместных инициативах принимают участие только желающие».[490]

Российский социальный форум прошел в Москве в апреле 2005 года, собрав более тысячи делегатов. В этом отношении он даже превзошел Германский социальный форум в Эрфурте, проведенный несколько месяцев спустя. Встреча протестующей молодежи совпала с избирательной кампанией, в которой впервые выступила Левая партия. Как отмечала газета «Junge Welt», большинство делегатов форума «наверняка испытывали к Лево́й партии большую симпатию». Однако это отнюдь не означало некритической поддержки: деятельность партии должна подвергаться «критической корректировке со стороны социальных движений».[491]

Европейские социальные форумы прошли в Париже, Лондоне и Афинах. В отличие от ВСФ, где все вопросы решает закрытая от посторонних организационная группа, в Европе была выработана весьма демократичная процедура «подготовительных ассамблей», которые сами по себе стали чем-то вроде регулярно собирающихся мини-форумов. Здесь в повестку дня ставятся не только вопросы подготовки ЕСФ, но и координация различных общественных кампаний. На афинском форуме ключевым лозунгом стало «расширение» (enlargement), прежде всего — расширение участия восточноевропейцев. Активисты из России уже достаточно активно были представлены на ЕСФ, а в Афинах их было около 200 человек (немалое достижение, если учесть финансовые и организационные трудности). Однако вопрос о «расширении» несводим к численности участников. Восточноевропейские делегаций жаловались, что предлагаемые ими темы почти никогда не попадают в повестку дне. Содержательно и концептуально доминировали западноевропейцы, смотревшие на товарищей с Востока в лучшем случае как на учеников. Между тем дискуссии становились все более однообразными и беспредметными. Сьюзан Джордж открыто критиковала подобные встречи, превращающиеся в пустую говорильню. Продолжать такие дискуссии бессмысленно, протестовала она, «мы должны сосредоточиться на чем-то определенном и совместными усилиями сделать это».[492] Однако подобные призывы не влияли на ход форумов, в которых уже выработалась собственная традиция и инерция. В 2007 году Сьюзан Джордж, которая долго грозила перестать тратить время на подобные мероприятия, привела свою угрозу в исполнение и не поехала на форум в Найроби.

Всемирный социальный форум 2007 года не случайно прошел в Найроби. О том, что проводить подобные встречи надо именно в Африке, говорилось давно. Но не было подходящих условий. Хроническая нищета, которую можно здесь наблюдать, сама по себе еще не создает хороших предпосылок для успешной организации крупномасштабных мероприятий, даже если эти мероприятия — антикапиталистические.

Помимо материальных условий (требуется более или менее развитая инфраструктура, позволяющая принять многотысячный поток делегатов со всего мира), нужны и соответствующие политические условия. В условиях авторитарного режима можно провести большой молодежный фестиваль или съезд солидарности, но вряд ли удастся организовать свободную дискуссию.

Местом встречи избрали столицу Кении Найроби. Условия созрели. Здесь, как и во многих других африканских странах, прошла своя перестройка — многопартийная система сменила однопартийную, а оппозиция сумела победить правительство в недавнем референдуме по поводу расширения президентских полномочий (событие редкое даже в странах с более богатыми

демократическим традициями).

Серьезной проблемой для форума стала преступность. Изрядное число приезжих были обворованы, причем пострадали люди не только из западных стран. Если европейцы или американцы довольно быстро разбирались с утерянными кредитными карточками, то обворованные индусы и африканцы оказывались без средств к существованию. Число украденных паспортов перевалило за десяток на третий день форума. Несколько делегатов стали жертвами разбойного нападения.

Большое число европейцев — итальянцев, французов, немцев и англичан — дополнялось многочисленными делегациями из Южной Африки и других соседних стран. В отличие от прежних форумов было заметно меньше представителей Латинской Америки и Азии. Что, впрочем, вполне естественно: они преобладали на предыдущих встречах — в Порту-Алегри, Каракасе и Бомбее. Кенийские активисты жаловались, что им не по карману оказывалась плата за регистрацию. Те, кто не смог попасть на официальные мероприятия, организовали собственный альтернативный форум. Подобное уже имело место в Бомбее, но там альтернативный форум был затеян ультралевыми группировками, осуждавшими реформизм официального ВСФ. На сей раз политические разногласия не играли особой роли, дело было в деньгах. Скандал разразился 21 января, когда делегацию жителей трущоб не пустили на форум, поскольку они не могли заплатить. Цена регистрации была равна недельному заработку кенийского бедняка. Позднее, правда, контроль свели к минимуму, и все желающие могли проникнуть на стадион безо всякой регистрации, но ущерб делу был уже нанесен. Несколько местных активистов были арестованы при попытке бесплатно попасть на заседания форума. В предпоследний день толпа местных жителей и южноафриканцев разгромила на территории стадиона ресторан, принадлежавший министру внутренней безопасности Кении. «Это мероприятие больше всего напоминало ярмарку, — подвел итоги кенийский журналист Фирозе Манджи (Firoze Manji). — Те, у кого больше денег, получали лучшие места и больше семинаров, больше возможности пропагандировать свои идеи. Короче, их было лучше слышно. В итоге международные НПО с большими бюджетами доминировали, оттеснив местные организации. Не потому, что у них были интересные идеи, а просто потому что на ВСФ господствовали те, у кого было больше финансовых средств».[493]

Для многих радикальных активистов социальные форумы стали скучным местом, где собираются многочисленные ораторы реформистского толка, плетутся интриги и бессмысленно тратится время. Другие восторженно отзывались о них как о смотрах сил сопротивления. На деле, вероятно, и те, и другие были правы. Как и всякое масштабное явление, форумы были противоречивы, выявляя и воспроизводя все проблемы движения (что, в конечном счете, шло на пользу противникам неолиберальной глобализации). Они менялись и развивались вместе с движением, переживая вместе с ним спады и подъемы.

Глобальное сопротивление бросило вызов не только буржуазным элитам, но в не меньшей мере и политическим бюрократиям — как социал-демократическим, так и «радикальным». Тем самым они вынудили политические партии приспособляться к новой ситуации. Однако, изменив соотношение политических сил, движение само по себе не могло достигнуть своих стратегических целей без участия партий. Другой вопрос, насколько левые политические партии были готовы к тому, чтобы стать инструментом массовой антикапиталистической борьбы.

Говоря словами Грамши, начиналось формирование нового «исторического блока».[494] Активисты

новых движений просто обречены были вступить на ту же политическую арену, на которой действовала традиционная левая, но действовать на этой арене необходимо по-новому. Первыми шагами в этом направлении были кампания Нэйдера в США, создание «Социалистического Альянса» в Англии и Австралии. Ни один из этих экспериментов нельзя назвать вполне удачным. Кампания Нэйдера в 2000 году не имела продолжения, не привела к организационной или идейной консолидации левых. А в 2004 году повторная попытка Нэйдера баллотироваться на пост президента уже не вызвала прежнего энтузиазма, тем более что часть левых снова склонилась к поддержке демократов под лозунгом «Anybody, but Bush» («Кто угодно, только не Буш»). Этот лозунг, будучи политически бессодержателен, обеспечивал полное, безо всяких условий, подчинение левых аппарату Демократической партии, который, в свою очередь, гарантированно проваливал выборы. Морально-политическая катастрофа американской левой на выборах 2004 года показала, что без самостоятельной организации не может быть и самостоятельной роли в общественной борьбе. Опыт левых политических организаций в Европе не внушал большого оптимизма, но его нельзя оценивать и как сугубо отрицательный. В Германии политической силой, на которую могло опереться антикапиталистическое движение, оставалась — несмотря на свои очевидные противоречия и слабости — Левая партия. Такую же роль играла и Левая партия Швеции, в которой к середине 2000-х годов тон стали задавать радикальные представители молодого поколения. Социалистическая левая партия Норвегии, в отличие от коллег из Rifondazione и немецкойевой Лево́й партии, сохранила репутацию последовательной и принципиальной силы, находясь в коалиции с социал-демократами. Еще лучше с этой точки зрения смотрелась голландская «томатная партия», избегавшая участия в коалициях.

Если в Германии и Северной Европе движение могло опереться на готовую организацию то во Франции и Великобритании ситуация к середине 2000-х годов выглядела значительно сложнее. Потребность в политических действиях была очевидна, но готовой структуры, на которую можно было опереться, не было.

Президентская кампания, начавшаяся во Франции осенью 2006 года, остро поставила вопрос об отсутствии у левых собственного кандидата.

Сеголен Руаяль, представлявшая Социалистическую партию, мало отличалась от правых либералов. По социально-экономическим вопросам во Франции социалисты то и дело оказывались справа от голлистов, а во внешней политике занимали куда более проамериканские и проатлантические позиции, чем продолжатели дела де Голля, которые по традиции подозрительно относились к США и НАТО. Единственное, в чем, по мнению левых, соцпартия в положительную сторону отличалась от правых, — это тем, что занимала сравнительно мягкие позиции по отношению к иммигрантам и их потомкам. Это различие казалось тем более важным, что кандидатом правых в 2007 году стал Николя Саркози, хамские высказывания которого и спровоцировали бунт иммигрантской молодежи в парижских предместьях. Но и здесь социалисты не предлагали ничего конкретного. Для решения проблемы нужны были не демагогические слова о «толерантности», а социальные программы, обеспечивающие создание рабочих мест, образование, интеграцию молодежи в общество и в его культуру.

Своего кандидата предложила Коммунистическая партия, выдвинув Мари-Жорж Бюффе. Партия долго колебалась, прежде чем вступить в гонку. Правое крыло предлагало поддержать социалистов.

Левые высказывались за выдвижение единого кандидата левых сил, но большинство поддержало эту идею... с условием, что кандидатом может стать только коммунист.

К началу 2007 года по опросам общественного мнения, Бюффе прочно занимала последнее место в списке левых кандидатов, уступая даже представителям небольших троцкистских групп. Кандидат Революционной коммунистической лиги (LCR) Оливье Безансоно имел почти вдвое большую поддержку избирателей. Однако он столкнулся с проблемой иного рода. По французским законам кандидата должны поддержать не менее 500 мэров городов и коммун. У LCR своих мэров не было.[495] В прежние времена кандидаты лиги получали подписи социалистов и коммунистов. Чем большее раздражение вызывала в среднем звене больших партий политика «своих» лидеров, тем с большей охотой поддерживали они радикалов из LCR. Но это все-таки был кукиш в кармане. На сей раз руководство и соцпартии, и компартии жестко запретило подобные вольности. Все хорошо помнили прошлые президентские выборы, когда кандидат социалистов провалился уже в первом туре, оставив во втором туре голлиста Ширака один на один с кандидатом крайне правых Ле Пеном. Между тем французское общество испытывало острую потребность в альтернативе. Массовые выступления предыдущих лет свидетельствовали о том, что люди недовольны, устали от проводимого курса и разочарованы правящими партиями, а лидеры социальных движений по-прежнему старались держаться в стороне от политики, боясь, по выражению Бернара Кассена, «испачкать в ней руки».[496]

В такой ситуации, после нескольких месяцев колебаний об участии в президентской гонке объявил Жозе Бове. Франция получила кандидата, готового предложить левую альтернативу, а левые силы — исходную позицию для политической и организационной консолидации.

Самостоятельную организацию антикапиталистических левых неоднократно попытались создать и в Великобритании. Политика Тони Блэра и жесткий контроль его аппарата над Лейбористской партией не оставляли никакой надежды на то, что эту партию еще можно будет когда-либо использовать в интересах рабочих. «Новый реализм» Блэра и Шредера привел к массовому уходу из социал-демократической организации рядовых активистов, причем уходили в первую очередь именно те, кто искренне считал себя социал-демократом. Однако, в отличие от Германии, где избирательное законодательство оставляло возможность для прорыва в парламент новых политических сил (что и доказала история ПДС, а затемлевой партии), британская система делала появление новой организации на парламентской арене почти невозможным. В результате недовольные либо уходили в частную жизнь, либо пополняли ряды внепарламентских массовых движений. Тем не менее, парламентское представительство становилось необходимо по мере того, как росли вес и влияние движения.

Первым подобным опытом было формирование Шотландской социалистической партии. Ее основателями стали троцкисты из группы «Militant», к которым присоединились другие марксистские и левосоциалистические течения. Лондонские руководители Комитета за Рабочий Интернационал (так теперь назывались сторонники «Militant») оценили этот успех по достоинству и исключили шотландских товарищей из своих рядов. Следующий раскол был вызван скандалом вокруг сексуальной жизни Томми Шеридана. Шотландский «прорыв» обернулся очередным разочарованием.

Радикальные и марксистские группы в Англии объединились в «Социалистический Альянс» с

диссидентами из Лейбористской партии. Их примеру последовали марксистские организации в Австралии. Однако вскоре оба проекта столкнулись с серьезными проблемами. Дело было не только в том, что жесткая избирательная система «вестминстерского» типа не оставляла шанса малым партиям (как показал последующий опыт, это не всегда так). Куда серьезнее оказались внутренние разногласия. Многочисленные троцкистские группы перенесли свое соперничество внутри «Альянса». Развернулась дискуссия о перспективах проекта. Часть сторонников «Альянса», особенно те, кто не принадлежал ни к одной из группировок, настаивали на слиянии в единую партию. Напротив, британская Социалистическая рабочая партия (SWP), которая приложила максимум усилий для создания альянса, не желала более глубокой интеграции между течениями, предпочитая сохранять собственную, с таким трудом выстроенную организацию. Комитет за Рабочий Интернационал был верен себе: вступив в «Альянс» на короткий период, он тут же покинул его, объявив оппортунистическим и реформистским. В Австралии аналогичная дискуссия развернулась между сторонниками SWP, которые здесь назывались «Интернациональной социалистической организацией» (ISO) и Демократической социалистической партией (ДСП). Лидеры ДСП, приверженные идее единства, формально даже распустили свою организацию, доказывая, что следует «объединить всех революционных социалистов в одну политическую тенденцию».[497] Однако ISO сливаться не собиралась, доказывая преимущества плюрализма. В скором времени для самих создателей «Социалистического Альянса» стало понятно, что проект зашел в тупик. Главной причиной были не противоречия между разными точками зрения, которые, в конце концов, вполне естественны в демократической организации. Проблема состояла в том, что при отсутствии массовой базы становилось непонятно, как и зачем эти разногласия примирять. Обе точки зрения на перспективы «Альянса» могут быть обоснованы собственной внутренней логикой. Конечным критерием выбора является не то, какая из двух схем теоретически «красивее», а какая из них более удобна для массового движения, какую из них поддерживают нуждающиеся в самостоятельной политической организации трудящиеся.

Неспособность «Социалистического Альянса» опереться на массовую социальную базу предопределила его кризис. Однако поиски оптимальной формы для создания левой коалиции продолжались, и в 2004 году на политической сцене Англии появилась новая организация — «Respect».

Английское слово «Respect» буквально может быть переведено как «уважение», но может трактоваться и как «достоинство». Это была коалиция низов, людей, исключенных из официальной политики, требующих уважения к себе. Сторонники SWP нашли взаимопонимание как с рядом профсоюзов, так и с лидерами исламской общины. На выборах 2005 года «Respect Coalition» добилась небывалого для британских левых успеха. Один ее кандидат — Джордж Галлоуэй — был избран в парламент, в двух других округах кандидаты «Respect Coalition» заняли второе место, уступив незначительное число голосов представителям «больших» партий.

Успех коалиции «Respect» не может быть отнесен просто на счет мобилизации «исламского фактора». Однако на голоса мусульман претендовали не только левые. И лейбористы, и особенно либеральные демократы выставляли кандидатов-мусульман и всячески демонстрировали свою заботу об этнических и религиозных меньшинствах. Напротив, наиболее успешные кандидаты «Respect Coalition» как раз мусульманами не были. «Respect» добился впечатляющих результатов

потому, что стал на парламентском уровне выразителем антивоенного движения. Голосование за кандидатов «Respect Coalition» стало показателем массового недовольства, которое раньше проявлялось только на улицах. «Respect» дал возможность «мощному антивоенному движению получить парламентский голос, дал Блэру почувствовать весь масштаб возмущения и ярости, вызванных вторжением в Ирак».[498]

Бурный рост движений, связанных с «политическим исламом», оказался естественным следствием упадка левых. В течение 1990-х годов марксистские организации в странах Ближнего Востока были в состоянии лишь критиковать систему и считать собственные потери, наблюдая, как радикальная молодежь, которая раньше собиралась под красные флаги, переходила под знамена ислама. В начале 2000-х годов, однако, ситуация изменилась. Левые вновь оказались на подъеме, в то время как среди исламистов становились все более очевидны противоречия — не только по вопросам стратегии и тактики, но и относительно самих задач и целей борьбы.

Эти противоречия исламского сопротивления были закономерным следствием классовых различий внутри самого исламского общества — как в странах Ближнего Востока, так и среди мусульман, проживающих в Европе. Испытывая солидарность в качестве угнетенной религиозно-культурной и этнической группы, мусульмане отнюдь не были однородной массой.

Перед левыми неизбежно вставал вопрос об отношении к политическому исламу. Причем позиции варьировались от сугубо дружественных до резко враждебных. «Во многих странах, — писали авторы троцкистского журнала „Critique“, — движения политического ислама заявляют о себе как о „борцах за справедливость“, ведут пропаганду среди самых бедных и угнетенных слоев общества. Тем самым они представляют собой соперника для левых сил, сторонников социализма».[499]

С таким соперником должна вестись непримиримая борьба, поскольку фундаментальные ценности левых и исламистов несовместимы. Мусульманские радикалы, продолжает «Critique», выступают против традиции европейского Просвещения, не имеют четкой классовой позиции, не признают институтов национального государства и представительной демократии, не имеют представления о правах человека, противопоставляют исламские организации трудящихся «их не-исламским аналогам».[500] Кроме того, политический ислам находится в противоречии с идеями феминизма и тесно связан с гомофобией.

Противоположной позиции придерживались представители британской Социалистической рабочей партии, которые шли по пути создания коалиции «Respect». Именно в рамках антивоенного движения сотрудничество исламских и марксистских организаций в Англии стало реальностью. В результате, как отмечал один из инициаторов и идеолог «Respect» Джон Рис, сложилось реальное единство сил, которые выступают «против войны, против приватизации, против расизма, за интересы рабочего класса, за права профсоюзов».[501]

Надо сказать; что деятельность «Respect» великолепно показала, что мусульманские организации вполне способны сотрудничать с левыми, если сами левые готовы с ними работать. Другое дело, что на «Respect» обрушилась волна критики со стороны тех, кто видел в исламистах врагов прогресса и демократии. Любопытно, что значительная часть претензий, предъявляемых к политическому исламу, может быть предъявлена (и неоднократно предъявлялась) к отдельным отрядам самого левого движения. Парадоксальным образом, то, что в Европе разделяет исламистов и левых, — это как раз то, что объединяет политкорректных левых с буржуазным истеблишментом в рамках общего

признания ценностей «западной цивилизации». К тому же «Respect» является далеко не первым примером тесного взаимодействия между марксистскими революционерами и исламскими радикалами. Во время революции 1917 года большевики добились существенных успехов именно потому, что смогли мобилизовать на свою сторону поддержку «красных мусульман». Гражданская война в регионах Поволжья и Северного Кавказа была выиграна красными в значительной мере благодаря этому союзу. Большевики имели вполне жесткие принципиальные позиции по вопросу о правах женщин, и их собственное мышление вполне встраивалось в традиции европейского просвещения, но принципиальной основой политического объединения для них была все же антибуржуазность. Исходя из этих позиций, большевистские лидеры оказались способны не только найти общий язык с мусульманскими меньшинствами, но и поднять их на борьбу против «собственных» местных элит, в том числе против консервативных представителей исламского духовенства.

Отсюда, разумеется, не следует автоматический вывод, будто принципы «политкорректности» непременно и полностью должны быть отвергнуты (кстати, некоторые из них вполне разделяемы и политическим исламом — например, неприятие любой формы расизма). И все же легко заметить, что прирученные истеблишментом политкорректные левые интеллектуалы весьма далеки не только от исламских масс, но и от подавляющего большинства «белого» трудящегося населения самих западных странах.

Социально-культурные перемены, произошедшие в странах Запада в последние десятилетия XX века, не могли не сказаться и на составе рабочего класса. Трудящиеся массы стали многообразны и многоцветны. Значительную часть социальных низов теперь составили мигранты, прибывшие из бывших колониальных или полуколониальных стран, в том числе — мусульманских (Пакистан, Алжир, Марокко, Турция и т. д.).

Культура класса, его самосознание меняются вместе с его социальным и этническим составом. На первый взгляд может показаться, что трудящиеся классы полностью размываются и превращаются в некую деклассированную массу угнетенных. На самом деле класс проходит процесс трансформации, социального и культурного реструктурирования. Значительная часть угнетенных масс действительно деклассируется. Возникает вопрос о новом классовом сознании, соответствующем новой ситуации, новому опыту, изменившемуся составу, происхождению и структуре пролетариата. Это новое классовое сознание не может быть выработано, если просто игнорировать традиционную культуру людей, из которых класс состоит, тем более — если эта традиционная культура используется самими людьми как идеология сопротивления враждебному для них социальному порядку.

Точно так же, как левые движения на ранних стадиях своего развития использовали язык христианства (и до сих пор используют его в латиноамериканской «теологии освобождения»), так, идеи ислама, неизбежно будут оказывать огромное влияние на трудящихся, сознание которых сформировано в рамках этой традиции.

Исламская традиция сама по себе в культурном отношении не более «прогрессивна», или «реакционна», нежели традиция христианская или иудейская. В рамках этой традиции исторически сложились как прогрессивные, так и реакционные течения. Но именно в этом и состоит проблема, с которой сталкиваются левые, когда имеют дело с политическим исламом. С одной стороны, в рамках общего «исламского» дискурса необходимо видеть различные, соперничающие, а порой и

противостоящие друг другу тенденции: одни из них для левых весьма близки, а другие — откровенно враждебны. Но с другой стороны, интеллектуальные традиции самих современных левых, полностью выросших в рамках европейской культуры, делают их совершенно «глухими» к подобного рода «текстам», воспринимаемым не более чем некий единообразный и малопонятный «шум». Причем представители европеизированной левой из стран «третьего мира» зачастую даже менее способны разобраться в происходящем, нежели их единомышленники из западных стран. В этой ситуации задача перевода может быть успешно выполнена лишь самими левыми представителями исламской культуры.

Можно сказать, что «третья левая» уже вышла на сцену, заявив о себе как о принципиально новом политическом факторе, который претендует на то, чтобы оказать решающее влияние на общественное развитие в первой четверти наступившего века. Насколько сильным будет это влияние, насколько радикальными и глубоким — вопрос открытый. И не в последнюю очередь ответ на него зависит от способности нового движения творчески освоить богатый опыт и уроки левого движения, накопленные на протяжении предшествующего столетия.

Главные вопросы, стоящие перед современными левыми, не могут быть разрешены теоретически, они являются вопросами практическими, и ответ на них может быть дан только политическим действием.

Поиск некой «идеальной» формы партийной организации оказался сам по себе бесперспективным и бессмысленным, ибо и социал-демократические централистские организации, и авангардная партия большевистского типа, и партия-движение, классическим примером которой является бразильская ПТ, на определенном этапе оказывались в тупике. Но точно такой же бесперспективной оказалась и попытка объявить политические организации ненужными, заменить их движениями, форумами и различными сообществами, создаваемыми под конкретную частную задачу.

Политика без политической организации невозможна точно так же, как невозможна и борьба с капитализмом без борьбы за власть. Структура современного общества предопределяет определенную структуру политических задач, нравится это нам или нет.

Бесперспективной оказалась и троцкистская традиция, объяснявшая все поражения левых «несостоятельностью руководства» (*failed leadership*). Станным образом получалось, что почти всякое руководство на определенном этапе терпело крах, причем проблема состоит не в том, что руководство плохо, а в том, что массы продолжали по инерции идти за ним. В свою очередь, сектантские группы упорно продолжают пытаться сформировать из себя некое идеальное руководство для будущей революции, воспитывая из своих активистов самодовольных генералов без армии — хорошими генералами они никогда не будут, настоящей армии под команду никогда не получают, ибо генералов можно вырастить только внутри действующей армии. И каждая конкретная армия вырашивает собственных генералов, которые подходят именно ей.

Задача левых сил сегодня состоит в комплексном понимании уроков, накопленных на протяжении ушедшего века. Важна организация, которая должна быть демократической (и в этом смысле демократический централизм ничем не хуже другого варианта строения политической партии).

Важно иметь грамотное и честное руководство, но оно никогда не добьется успеха, если не будет опираться на массу хорошо подготовленных и убежденных активистов — тех самых младших офицеров, которые и составляют основу настоящей боевой силы любой армии. Важно, наконец,

понимать роль широких общественных движений, без которых никакие партии со своими задачами не справятся. Но точно так же важно осознавать, что и без партий движения своих целей не добьются. Во всяком случае, если наша цель — преобразование общества. Именно четкое понимание цели является объединяющим и организующим фактором. Любые программы, любая тактика и стратегия имеют смысл лишь до тех пор, пока направлены на главное — на социалистическое преобразование общества, на; преодоление капитализма. Именно с этой точки зрения мы можем оценивать наши победы и неудачи. Именно соответствие поступков провозглашенным целям является главным моральным критерием, по которым о нас надо судить.

Антикапиталистическое движение, поднявшееся на рубеже XX и XXI веков, имеет огромный потенциал. Но прежде всего оно должно осознать свою историческую задачу. А задача эта состоит в преодолении существующей системы. Не больше и не меньше.

Глава X. Восточный фронт

Крушение Советского Союза было радостно воспринято правыми идеологами по всему миру как прекращение самого масштабного и самого опасного социального эксперимента в мировой истории. Для большинства жителей страны последующие события обернулись беспрецедентной в мирное время катастрофой. Однако на первых порах общество демонстрировало удивительную терпимость к неолиберальным реформам, воспринимая их со смесью ужаса и изумления, но безропотно подчиняясь им. Вернее, ропот был, но сопротивления не было.

Единичные вспышки протеста в 1992 году, наблюдавшиеся в России и на Украине, прекратились после того, как в 1993 году президент Ельцин, следуя примеру перуанского президента Альберто Фухимори, совершил «autogolpe» — государственный переворот сверху. В течение двух недель Москва являлась центром острой борьбы и самоотверженного сопротивления масс — безоружных, лишенных полноценной организации и добросовестного руководства — мощи военно-репрессивной машины государства. Московские баррикады осенью 1993 года закончились так же, как и всякое лишенное руководства восстание. Народ потерпел поражение. Активисты были деморализованы, а массы граждан вернулись к частной жизни решая свои проблемы в индивидуальном порядке. Русская провинция, не поддержавшая в 1993 году восставшую Москву, пострадала больше всего. Она была разорена, промышленность разрушена, инфраструктура лежала в руинах. Напротив, Москва, став одним из «глобальных городов», крупным финансовым и деловым центром восточноевропейского капитализма, не проявляла больше желания бунтовать.

Оппозиция 1993 года была не только народной, но и директорской. Она охватывала часть советского производственного аппарата, не видевшего для себя особых выгод в происходящем. Маленькая гражданская война в Москве показала, что власть далеко не всегда может рассчитывать на безграничный ресурс «русского терпения». Власть сделала для себя целый ряд выводов. После 1994 года радикальных рыночников оттесняют от непосредственного управления, а на самом верху правительство Виктора Черномырдина обеспечивало компромисс между либеральными элитами, организующимися на базе бывшего партийно-комсомольского аппарата вокруг новых финансовых структур, и старым директорским корпусом (бывшими советскими «хозяйственниками»).

Стремительно поменявших окрас «красных директоров» допускали до участия в приватизации. Не имеющие ни лидеров, ни организации, ни опыта самостоятельной борьбы массы на некоторое время перестали быть опасными. Правящие круги завершили раздел собственности. Все счастливы.

Параллельно с началом «антиглобалистских» выступлений на Западе, левые идеи стали входить в моду и в Восточной Европе. О них теперь принято было писать и говорить. Их обсуждали и оспаривали. На их распространение жаловались либеральные публицисты, еще совсем недавно провозглашавшие, что с левой идеологией раз и навсегда покончено (показательно, что ни один из подобных авторов не извинился перед читателем за то, что вольно или невольно вводил ее в заблуждение).

Для широкой публики сообщения о массовых протестах в Сиэтле и Праге предстали как удивительные примеры западной «экзотики». Эта информация никак не соотносилась с собственным повседневным опытом. А невежество представителей масс-медиа во всем, что касается антибуржуазной теории и практики, просто поражало.

Показателен эпизод, описанный радикальным писателем Алексеем Цветковым. В книге «Суперприсутствие» он рассказывает, как ему позвонили с телевидения от модного журналиста Леонида Парфенова и попросили рассказать про «антиглобализм». Он и рассказал: «Как и положено в отношениях с TV, я ответил первое, что пришло в голову: „Возьмите глобус, оденьте на него черную маску уличного бойца, пусть в прорези будет видна страна, про которую ваш сюжет“. На следующий день Парфенов с видом знатока демонстрировал зрителям глобус и пересказывал этот бред. Так родился новый „символ антиглобализма“».[502]

Разумеется, российское общество не могло не заметить, что наряду с экзотическими левыми радикалами, водящимися где-то на далеком Западе, совсем рядом существует и какая-то другая оппозиция, получившая в прессе устойчивый ярлык «левопатриотической». Однако Коммунистическую партию РФ, бессменно возглавляемую с 1993 года Геннадием Зюгановым, ни одна уважающая себя левая группа на Западе за единомышленников не считала, да и сами зюгановцы отвращения к европейским левым не скрывали. Почти каждая международная вылазка официальных представителей КПРФ в 1990-е заканчивалась скандалом, после чего партийная верхушка предпочла свернуть международные связи. Было ясно, что им ближе западные крайне правые — Ле Пен во Франции, Хайдер в Австрии. Настоящие державники и патриоты! В качестве духовных источников своих идей Зюганов простодушно называл консервативных православных философов Константина Леонтьева и Юрия Победоносцева (убежденных, разумеется, антикоммунистов). К числу любимых авторов относил он и модных западных мыслителей — Сэмюэла Хантингтона и Фрэнсиса Фукуяму, тоже, естественно, убежденных правых. Свои воззрения лидер партии подробно изложил в 260-страничном труде «Святая Русь и Кошеево царство», [503] где показал, как православная вера и державные традиции помогут нашей Родине преодолеть засилье инородцев и победить вольнодумные идеи, занесенные с Запада.

Официальная «левопатриотическая» (на самом деле — национал-консервативная) оппозиция заменила политическую борьбу ритуальными мероприятиями, которые заполняли бессмысленные промежутки между выборами, исключительно ради которых и существовали российские партии. Ежегодные митинги 7 ноября и 1 мая хорошо иллюстрировали положение дел в оппозиции. На протяжении 1990-х годов они собирали в основном плохо одетых пожилых людей. По большей части это были оставшиеся без работы специалисты советских оборонных исследовательских институтов или вышедшие на пенсию преподаватели и бюрократы. На этих митингах совершенно не было видно молодежи, рабочих. Не было даже молодых или безработных среднего возраста. Когда на митингах

стала появляться молодежь, организаторы и участники смотрели на нее с подозрением и раздражением. Портреты Николая II и хоругви с ликом Христа соседствовали с портретами Ленина и Сталина.

Большой популярностью среди партийной элиты пользовались антисемитские теории Третьего рейха. Когда в 2004 году группа депутатов от КПРФ вместе с представителями националистической партии «Родина» подписала коллективное письмо, требующее запретить еврейскую религию и культуру (авторы документа, надо признать, продемонстрировали хорошую теоретическую образованность, детально воспроизведя все аргументы, приводившиеся в литературе гитлеровской Германии), это вызвало протест среди лидеров коммунистической молодежной организации. Руководство партии великодушно простило молодых людей, согласившись, что в данном вопросе дискуссия допустима. Ведь КПРФ это «живая партия, и внутри нее есть разные точки зрения по принципиальным вопросам».[504]

Ностальгические восторги партийных лидеров по поводу православных ценностей и сетования об утраченном величии царской России дополнялись гротескным сочетанием оппозиционной риторики и подобострастия по отношению к власти. Так, например, в 2005 году, составив документ с изложением альтернативной экономической программы, партийные лидеры «направили 500 писем руководителям исполнительных и представительных структур всех регионов и крупнейших городов и сельских районов с изложением основных положений социально-экономической стратегии, которую наша партия предлагает обществу».[505] Таким способом партия предполагала наращивать «протестное движение».

На протяжении 1990-х и первой половины 2000-х годов КПРФ неуклонно теряла влияние, утрачивая членскую базу, избирателей, депутатов. Комическое сочетание коммунизма и антикоммунизма, «державности» и ритуального повторения революционных лозунгов, оппозиционности и лакейского оппортунизма закономерно вело к упадку даже эту мощную организацию, пользовавшуюся впечатляющими ресурсами и снисходительным покровительством власти. «Патриотизм» официальной оппозиции оборачивался ее отказом от принципиальной борьбы с властью, не говоря уже о социально-политической системе. Как писал один из авторов марксистского журнала «Против течения», дело здесь, «не в патриотизме как таковом. Дело в том, что патриотизм на сегодня — самая удобная форма отказа коммунистов от революции».[506]

Правящие круги прекрасно знали цену оппозиционности официальных «коммунистов». Ритуально повторяя в программных документах слова о государственной собственности, деятели КПРФ старательно избегали любого радикализма в практической политике (если, конечно, не принимать за политику комичный «народный референдум» 2005 года — сбор подписей граждан под петицией к власти с просьбой отменить саму себя, а заодно и существующую систему). В те самые дни, когда деятели КПРФ призывали людей ставить подписи под бланками «народного референдума», журнал «Эксперт» поощрительно сообщал, что лидеры партии становятся либеральными «и даже в какой-то мере буржуазными».[507]

Понятно, что при таких обстоятельствах рост недовольства неолиберальной политикой среди населения России никоим образом не мог способствовать укреплению влияния партии. Как раз наоборот. По мере того, как число людей, недовольных либеральным курсом, множилось, влияние КПРФ падало. Если в середине 1990-х годов партия получала 35–40 % голосов, то в начале 2000-х —

уже 12–13 %, а в середине десятилетия ее влияние упало еще ниже. После того, когда Бориса Ельцина на посту президента сменил Владимир Путин, кризис старой оппозиции стал очевиден. Разговоры о великой России ничуть не мешали власти проводить либеральную реформу образования или принимать антирабочий Трудовой Кодекс. Как заметил известный политолог Борис Славин, «с приходом Путина Зюганов оказался ненужным: кто скажет, что Путин не болеет за державу?»[508] Патриотическая риторика с легкостью перехватывалась правящим режимом — ведь консервативной бюрократии, стоящей на страже сложившегося порядка вещей, она подходила как нельзя лучше. А разговоры о державной мощи отнюдь не противоречили работе власть имущих по выжиманию соков из населения — в интересах капитала.

В середине 2000-х годов благодаря взлету мировых цен на нефть изменилась и позиция российских сырьевых корпораций. Получив в свое распоряжение изрядные ресурсы, они приступили к внешней экспансии, скупая компании в странах бывшего Советского блока, а также в Западной Европе и Африке. От государства отечественный капитал теперь требовал поддержки своих международных планов. Идеология «сильной державы» идеально этой задаче соответствовала.

Созданная администрацией президента новая партия власти — «Единая Россия» — оказалась гораздо удачнее своих прототипов 1990-х годов именно потому, что сумела вполне в духе дореволюционной царской бюрократии соединить авторитаризм и показной патриотизм с политикой, направленной на укрепление капиталистических отношений. По ироническому замечанию украинского публициста Андрея Манчука, поражения КПРФ были закономерным результатом национал-консервативной политики руководства этой партии, «собственноручно вырывшего себе глубокую электоральную яму, прикрытую общенациональным бюллетенем».[509] Проблема, однако, состояла не в постепенном отмирании КПРФ — очередной «пустой оболочки», оставшейся обществу в наследство от ушедшей эпохи, связь с которой сама партия утратила. Упадок зюгановской партии на протяжении длительного времени не компенсировался возникновением сколько-нибудь значимой новой оппозиции на левом фланге.

Ситуация на Украине внешне выглядела несколько респектабельнее, поскольку партии, официально числящиеся «левыми», в течение 1990-х годов продолжали пользоваться традиционной социалистической и коммунистической риторикой, апеллируя к счастливым и сытым временам Советского Союза под властью Леонида Брежнева.[510] Идеологическая «ниша» национализма была уже занята. С одной стороны, реальной силой становились украинские националисты, пользовавшиеся поддержкой власти, видевшей в них идеологических партнеров в формировании нового независимого государства. Если в России националистическая риторика была заимствована властью у оппозиции лишь к концу 1990-х, то правители в Киеве изначально нуждались в национальной идее для обоснования своей политики. С другой стороны, имперская ностальгия, которую начали культивировать элиты русскоязычной Восточной Украины, не могла дать объединяющие лозунги, под которыми можно было бы идти на президентские или парламентские выборы в масштабах всей республики. На региональном уровне эти идеи успешно эксплуатировались местными элитами в Крыму и Донецке. А официальные левые партии — социалисты и коммунисты — были, прежде всего, электоральными машинами. Иными словами, соперничество двух национализмов создавало условия, когда, по крайней мере, на риторическом уровне у политиков — принцесса Юлия сохранялась потребность в левой идее. Однако уже к началу

2000-х годов национализм и здесь начал замещать левую идеологию, причем социалисты тяготели к украинскому национализму, а коммунисты — к русскому.[511]

Разразившаяся осенью 2004 года «оранжевая революция» выявила всю глубину кризиса традиционных левых партий, их отрыв от масс, а главное — отсутствие у них самостоятельной стратегии. Как и в России, смена президента в независимой Украине оказывалась невозможна иначе, чем через политический кризис. Завершение конституционного срока президентства Леонида Кучмы обернулось вакуумом власти. Однако очевидный кризис верхов, раскол правящих элит не только не способствовал росту антисистемных сил в обществе, но, напротив, сопровождался очевидным упадком левого движения. Два лагеря, получившие по цветам своих агитационных плакатов прозвища «оранжевых» (Виктор Ющенко) и «голубых» (Виктор Янукович), развернули ожесточенную пропагандистскую войну, обвиняя друг друга во всех мыслимых и немыслимых грехах, а заодно выставляя на публику всю гнилость общественно-политической системы.[512] Украинские коммунисты оказались не способны ни эффективно вмешаться в события, ни даже использовать их в собственных интересах, их кандидат на президентских выборах не только не прошел во второй тур, но и уступил третье место социалисту Александру Морозу. Социалистическая партия, поддержав во втором туре оппозиционного Виктора Ющенко против официального кандидата Виктора Януковича, выторговала себе посты в будущем правительстве. К этому, в сущности, свелась вся ее стратегия.

Политическая слабость левых проявилась, прежде всего, в том, что не они, а либеральная оппозиция мобилизовала массы для уличных протестов. Важно не только то, что к власти в результате противостояния пришел кандидат либерального «оранжевого» блока — иначе в сложившейся ситуации и быть не могло, — но и то, что левое движение за месяц уличной борьбы несколько не усилилось, а напротив, ослабло, оказалось еще более деморализованным и разобщенным, чем прежде. Оно было совершенно неспособно выставить власти собственные условия, сформулировать в ходе кризиса собственную повестку дня. Социологи и политические аналитики, описывавшие толпу, собравшуюся протестовать против фальсификации выборов на киевском Майдане Незалежности, отмечали, что «движение не имеет идеологии и артикулированной адекватной цели». Больше того, оно «не имеет организации и лидера, готовых эту цель артикулировать хотя бы во внятные лозунги и возглавить его под этими лозунгами».[513] Большая часть тех, кто вышли на Майдан, не столько поддерживали Ющенко, сколько проявляли недовольство своей жизнью, сложившимися в стране порядками, коррупцией. Иными словами, чисто теоретически у левых была возможность перехватить инициативу. Однако на практике это было невозможно из-за острого кризиса, которое переживало само левое движение.

Не смогло оно стать ведущей оппозиционной силой и после смены власти. А министерские посты, отданные социалистам, оказались не отражением общего сдвига политики влево, а лишь призом, полученным партийными лидерами за удачную политическую комбинацию.

Две олигархические группировки, столкнувшись в борьбе за власть, обвиняли друг друга во всех смертных грехах. Они обзывали друг друга фашистами, уголовниками, предателями национальных интересов, однако большой разницы между ними не было. В то время как в Москве «патриотические» обозреватели бились в истерике по поводу торжества прозападной оппозиции, а либералы восторженно рассказывали о триумфе демократии, украинский марксистский журнал

резонно констатировал: «Опасность прихода Ющенко к власти в первую очередь в том, что он будет продолжать политику, которую проводил Кучма и Янукович. Эта политика без всякого фашизма ведет Украину к гибели».[514]

Вместо того чтобы попытаться сформулировать собственную позицию, левые на Украине и в России увлеченно обсуждали, какая из украинских группировок хуже. «Шутка, которую играет жизнь со сторонниками теории „меньшего зла“, — писал редактор российско-украинского сайта Коммунист.ру Виктор Шапинов, подводя итоги этой дискуссии, — заключается в том, что буржуазное общество почти всегда оставляет иллюзию выбора между группами буржуазии, буржуазными партиями, политическими лидерами и т. д. Как писал еще Декарт: даже на дереве нельзя найти двух одинаковых листочков, Что уж тут говорить о буржуазном обществе, которое все построено на иллюзии выбора. Поэтому сторонник этой теории всегда находится перед развилкой». Даже сделав выбор, он никуда не продвигается: «одно — уже выбранное — „меньшее из зол“ тут же на его глазах снова раздваивается, поляризуется внутри себя и опять ставит незадачливого левого политика перед очередным выбором. Поэтому и выбирать „меньшее зло“ можно бесконечно, никуда при этом не двигаясь, реально не меняя ровным счетом ничего, реализуя главную мечту буржуазии, которая хотела бы всегда менять все так, чтобы на деле все оставалось по-старому».[515]

Главным политическим итогом дискуссии была полная и очевидная потеря инициативы. С точки зрения формальной все приличия были соблюдены. Коммунистическая партия Украины выступила против всех, а Социалистическая партия поддержала Ющенко только во втором туре. Но реальная проблема состояла не в соблюдении идеологической чистоты, а в политической эффективности, в способности партий отстаивать классовые интересы своих сторонников.

Левые партии решали не классовые, а «корпоративные» задачи, вычисляя, какая комбинация выгоднее руководству с точки зрения получения министерских портфелей и позиций в Верховной Раде. «Вхождение в правительство позволило партии Мороза значительно пополнить партийную казну, но социалисты начали стремительно терять лицо», — заметила киевская газета «Новый понедельник». Быстрее всего процесс разложения шел в Союзе молодых социалистов, где, по словам газеты, «остались лишь функционеры на ставках помощников депутатов. Многие молодые социалисты ищут для себя новые оппозиционные молодежные организации».[516]

Между тем массовая мобилизация людей в ходе осеннего кризиса не могла пройти бесследно для украинской политики. Как писал левый еженедельник «Новая волна», массы, оказавшиеся втянутыми в политическое противостояние, «не могут не быть разочарованы его результатами. Но это не значит и того, что война оранжевых и голубых капиталистов пройдет для трудящихся бесследно. Те, кто участвовал в ней, получают хороший личный опыт, который очень пригодится им в будущем, когда придет время бороться за свои собственные интересы».[517]

Либеральная оппозиция не в состоянии была получить власть иначе, как выведя людей на улицы. В результате наружу вырвалась острая потребность общества в социальных, а не только политических переменах. Но выразителем этих настроений в первую очередь стали не левые. Эту роль взяла на себя популистский лидер Юлия Тимошенко, оказавшаяся после смены руководства страны на посту премьер-министра. Именно она провозгласила многочисленные и щедрые социальные обязательства, повысила пенсии, развернула кампанию борьбы против подорожания топлива и даже предприняла попытки национализации предприятий, захваченных близкими к предыдущей власти олигархами.

Критически относящаяся к Юлии Тимошенко киевская газета «Новый понедельник», констатировала, что в своей политике национализации глава правительства «явно зашла за красную черту», посягнув на предприятия с иностранным капиталом, включая американский. Однако, как справедливо отмечала газета, речь шла не о структурных реформах, направленных на слом или хотя бы ограничение капиталистических порядков, а о попытке решить социальные проблемы за счет повторной приватизации государственного имущества и тем самым залатать дыры в бюджете: «Другого способа наполнения „социальных стандартов“, кроме приватизации оставшегося государственного имущества, Юлия Владимировна вообще не видит... Но и подсказать ей, похоже, некому».[518]

Из всех левых организаций Украины только небольшое молодежное движение «Че Гевара» сделало попытку использовать ситуацию. Активисты движения организовали рейд за национализацию промышленных предприятий республики. В ходе рейда стало понятно, что психологическая обстановка в стране изменилась: «Год назад мы тоже агитировали здесь против первой приватизации», — вспоминали участники рейда после встречи на заводе «Криворожсталь». Но «тогда нам отвечали совсем по-другому».[519]

Что касается Социалистической партии Украины, то ее представители, работавшие в правительстве, лишь горько сетовали: «Нам нелегко в вопросах социально-экономической политики сотрудничать с либералами».[520] Трудности приходилось преодолевать, сотрудничество продолжалось. В лучшем случае, социалисты шли в фарватере премьер-министра, требовавшего национализировать незаконно приватизированное имущество, но сами — на уровне партийной политики — инициативы не проявляли, борьбы не вели. А Коммунистическая партия Украины, постепенно терявшая поддержку на востоке страны, никак не могла сформулировать свою позицию в новой обстановке и, казалось, вообще устранилась от участия в серьезной политической борьбе.

Пассивность левых выглядела тем более абсурдно, что поддержка новой власти в обществе стремительно таяла. Даже симпатизировавшая Ющенко западная пресса признавала, что «эйфория сменилась глубоким разочарованием».[521]

Утратившие инициативу и лишённые четких стратегических ориентиров левые партии не были способны воспользоваться ситуацией, поскольку прекрасно понимали, что людей за собой повести не могут. Не смогли они воспользоваться и очередным кризисом в верхах, когда противостояние между Тимошенко и Ющенко стало очевидным. Между тем, по признанию того же «Нового понедельника», попытки Тимошенко национализировать целый ряд объектов ради их последующей перепродажи давали «шанс остановить приватизацию».[522] Именно это вызвало взрыв ярости в либеральной прессе на Западе и, в конечном счете, привело к падению кабинета министров.

Официальные «левые партии» не поднялись в практических вопросах даже до уровня Тимошенко. В условиях политического кризиса нет зрелища более жалкого, чем «левые» политики, неспособные предложить сколько-нибудь серьезную программу преобразований. Они закономерно утрачивают влияние. На гребне социального протеста поднималась новая сила, вполне готовая использовать отдельные левые лозунги, но имеющая мало общего с левой идеологией.

Киевская красавица Юлия Тимошенко никогда не претендовала на связь с пролетариатом. Как и всякий популист, она не пыталась помогать самоорганизации масс, не представляла их политические интересы и даже не пыталась изображать, будто принадлежит к народным массам. Она просто

объясняла народу, что заботится о нем. Чтобы о ком-то заботиться, совершенно не надо быть на него похожим.

В общественном сознании постепенно формировался устойчивый стереотип: Тимошенко — добрая, Ющенко — злой. К тому же Юлия еще и красивая. А президент Виктор Ющенко, с лицом, изуродованным то ли попыткой отравления, то ли какой-то странной болезнью, больше напоминал монстра. Формула «красавица и чудовище» сразу же пришла в голову журналистам и аналитикам, с той, правда, оговоркой, что красавица Юлия при определенных обстоятельствах и сама могла обернуться чудовищем.

«Популист», «человек социалистических взглядов», «сторонник антирыночных методов», «олигарх с мировоззрением мелкого буржуа», «проповедник командной экономики», и даже «генерал в юбке» — такими эпитетами награждала Юлию Тимошенко украинская пресса в период ее премьерства.[523]

Популизм — явление, типичное для бедной страны со слабыми демократическими традициями и неразвитыми гражданскими институтами. Хотя примеры популистских движений мы находим и в истории США. Популизм возникает в обществе, где классовые противоречия вполне очевидны, но сами классы не до конца оформились, их культура и идеология по-настоящему не сложились, где значительная часть населения занимает «промежуточную» позицию — это в равной мере относится и к маргиналам, и к мелким буржуа. Такая ситуация характерна для периферийного типа капитализма либо для буржуазного общества, застрявшего в состоянии многолетнего структурного кризиса. Короче, людьми болезненно ощущается несправедливость, но нет достаточных условий для социальной самоорганизации. Многие идеи из арсенала левых получают распространение, но без связи с общей перспективой социалистических преобразований. А политические методы марксистских организаций не срабатывают так, как ожидают теоретики.

Популизм — явление демократическое. Нередко популистские лидеры становятся диктаторами, но свою известность и народную любовь они завоевывают вполне демократическими методами, объединяя вокруг себя массы во имя борьбы за справедливость. Приобретя доверие и любовь народа, подобный лидер некоторое время удерживает их независимо от того, что он делает. Ведь любовь слепа. А популистский тип мобилизации не связан с четким соблюдением политических процедур, формальных уставов и идеологических норм (что принципиально важно для левого движения). В итоге у лидера появляется изрядная свобода маневра. Он может совершать тактические зигзаги то влево, то вправо, подбирать себе совершенно разношерстных союзников, делать противоречивые заявления.

Разумеется, народная любовь имеет пределы. После серии измен она может превратиться в не менее устойчивую ненависть (что мы видели на примере единственного до сих пор удачливого постсоветского популиста Бориса Ельцина). А главное, рано или поздно все равно приходится выбирать: левый курс или правый.

Примерами популистского лидера могут быть Хуан Перон, Авраам Линкольн или Ф.Д. Рузвельт. Молодой Фидель Кастро был тоже отнюдь не коммунистом, а всего лишь представителем просвещенной элиты, озабоченным бедствиями народа. В начале своей политической карьеры Уго Чавес являлся блестящим примером левого популиста. Но на основе тех же популистских методов построили свои политические карьеры Адольф Гитлер и Бенито Муссолини.

Юлию Тимошенко уже начали сравнивать с Эвитой Перон (она даже внешне чем-то напоминала легендарную аргентинку). Но Эвита никогда не претендовала на формальное лидерство, управляя Аргентиной из-за спины нерешительного и непоследовательного мужа. Народ прекрасно понимал, кто в этой паре главный, отдавая свою любовь не официальному президенту, а его блистательной супруге. Неудивительно, что после смерти Эвиты у Перона все разладилось.

Похоже, Юлия Тимошенко вполне готова была — в политическом смысле — повторить тот же расклад, инстинктивно отводя Виктору Ющенко роль Перона при исполняемой ею самой роли Эвиты. Но так не получилось, и не только потому, что Ющенко явно не хотел мириться с тем, что его власть становилась все более номинальной. Главное противоречие состоит в социальной ориентации, избранной этими двумя деятелями. Ющенко — последовательный либерал, ориентированный на Запад. А Тимошенко хоть однозначного выбора и не сделала, но дрейфовать была вынуждена влево — вслед за своей социальной базой.

По прошествии 15 лет после начала капиталистической реставрации в постсоветских странах проблемы и противоречия нового порядка стали слишком очевидны, а потребность в пересмотре итогов нелиберальных реформ осознавалась или, по крайней мере, ощущалась огромным большинством населения, в том числе и не разделяющим левой идеологии. Это значит, что у Тимошенко просто не было другого пути: ей предстояло бороться за власть с президентом и по мере развития конфликта — леветь.

Правда, сама украинская красавица отнюдь не стремилась двигаться в этом направлении. Напротив, она всячески упиралась, и любой шаг влево совершала нехотя, под давлением обстоятельств.

Для украинских левых появление подобной политической фигуры вряд ли можно было назвать однозначно хорошей новостью. Ведь удачливый популистский лидер может перехватить изрядную часть их собственной социальной базы (что и произошло с перонизмом в Аргентине). Но в условиях острой политической борьбы организационный и идеологический ресурс левых сил может сыграть свою роль и в решающий момент склонить чашу весов на ту или иную сторону. Опыт показывает, что, вступая в блок с популистами, левые порой оказываются способны навязать им свою программу, но нередко также левые делаются их заложниками.

Однако очень скоро выяснилось, что «принцесса Юлия» — далеко не единственный претендент на роль народного заступника. На ту же роль претендовал и бывший министр внутренних дел Юрий Луценко. Покинув правительство и порвав с Социалистической партией, где он долго считался чем-то средним между наследным принцем и главным соперником стареющего лидера — Александра Мороза, он создал собственную организацию «Народная самооборона». В отличие от Тимошенко, он не боялся использовать в своей пропаганде откровенно левую риторику, размахивать красными флагами на митингах и взывать к социалистическим ценностям. Однако практическая политика Луценко и Тимошенко оказалась до странности похожей. Критикуя антисоциальную политику кабинета Виктора Януковича, утвердившегося в Киеве после парламентских выборов 2006 года, оба популистских лидера видели решение всех проблем не в изменении системы, не в социальных реформах, а всего навсего в замене плохих министров из Донецка на «хороших» из своего собственного окружения. Под невнятными и двусмысленными лозунгами, они в апреле 2007 года вновь вывели толпы своих сторонников на майдан.

В детских сказках мы читали про то, как чудовища становятся красавицами. В жизни бывает и

наоборот.

Потребность в левой альтернативе существует и в России, и на Украине объективно. И дело не только в том, что подавляющее большинство населения критически относится к сложившейся системе, стихийно исповедуя левые ценности (о чем неуклонно свидетельствует большинство социологических опросов, даже проводимых либеральными исследовательскими центрами). Главная проблема в том, что реставрация капитализма не смогла решить проблем, вызвавших в свое время крах советской системы. Она лишь усугубила эти проблемы и дополнила их новыми. Крушение СССР было закономерно порождено его внутренними противоречиями, а победа неолиберального курса оказалась естественным результатом сложившегося соотношения сил — на интернациональном и на местном уровне. Но итогом реставрации стали лишь новые противоречия, не менее острые. Несмотря на возобновившийся в начале XXI века экономический рост, постсоветские страны столкнулись с блокировкой развития. Подавляющая часть населения оставалась недовольна своим положением, а структурные проблемы, типичные для спада 1990-х годов, воспроизводились и на фоне роста. Новый социалистический проект объективно вставал в повестку дня.

Западные левые упорно искали единомышленников на Востоке. На различные международные форумы автобусами свозили представителей бывших коммунистических стран. Увы, представительство России и Восточной Европы в подобных мероприятиях оставалось фиктивным вплоть до начала 2000-х годов. Хуже того, участие в международных форумах для многих неправительственных организаций превращалось в самоцель, в главный, а часто и единственный, вид деятельности. Западной помощи на всех не хватало, начиналась неприличная «драка у кормушки». Слабость левых, разумеется, отражала общую слабость гражданского общества, отсутствие традиций самоорганизации. Но не только. Развитие левых на Востоке Европы в значительной мере воспроизводило слабости и проблемы западного движения, не перенимая его сильных сторон. Здесь были группы у догматиков, любующихся собственной идеологической чистотой и ведущих бумажно-интернетовскую войну против всех остальных левых. Были «умеренные» и «серьезные» левые, которым олигархическая власть отвела заранее подготовленную нишу «социальных вопросов». Иными словами, им полагается критиковать отдельные аспекты правительственной политики или местного губернатора, старательно игнорируя то, насколько эти безобразия увязаны с другими элементами системы (включая политическую власть). Были и «неправительственные организации», живущие на западные гранты, и «антиглобалистские группы», для которых главное дело — поехать поучаствовать в каком-нибудь форуме подальше от родины. Существовало в России, наконец, и антивоенное движение, вызывавшее временами озабоченность власти. Однако это движение тоже неопасно до тех пор, пока оно изолировано, пока борьба за мир и гражданские права для национальных меньшинств никак не связаны с защитой социальных прав большинства. Особенностью радикальных антикапиталистических групп в Восточной Европе была крайне слабая связь с повседневными проблемами и борьбой общества. Даже тогда, когда в Венгрии, России или на Украине начинались массовые выступления, марксисты выступали в них, главным образом, статистами и, по совместительству, комментаторами. Идеология требовала участия в акциях социального протеста. Но как участвовать? Для чего? Какова роль левых в этих выступлениях? Серьезная политическая сила в отрыве от массового движения развиваться не может. Большевизм

был порожден не кабинетными дискуссиями В.И.Ленина с Ю.И.Мартовым и Г.В.Плехановым, а практикой двух русских революций, вовлекших в свой водоворот миллионы людей. Иное дело, что марксисты, будь то Ленин, Мартов или Троцкий, не просто участвовали в событиях, а затем их комментировали в своих журналах. Они участвовали, чтобы влиять. И спорили между собой не по абстрактным вопросам, а о том, как, с какой целью, какими способами влиять на движение.

Задача левых состоит не в том, чтобы, принимая участие в народных выступлениях, попутно продавать свои газеты и разъяснять своим слушателям эксплуататорскую сущность капитализма. Необходимо проводить в рамках массового движения свою линию, направленную на консолидацию его программы, укрепление солидарности, создание четкой системы координации и единого демократического руководства. В конечном счете, превратить выступления угнетенного большинства в фактор борьбы за власть.

Если левые не будут заниматься политикой внутри массового социального движения, политику ему будут навязывать извне и сверху. Народные протесты все равно станут частью борьбы за власть, но не между низами и верхами общества, а между соперничающими группировками элит. А массы останутся, даже в своем сопротивлении, объектом манипулирования. Всеми силами выступать против этого — важнейшая задача марксистов в условиях политического кризиса. И особенно в странах, где политическая культура масс еще не сформирована опытом успешной классовой борьбы. Российские элиты могли чувствовать себя в полной безопасности, зная, что социальный протест — отдельно, а политика — отдельно. Идеология же, по большому счету, не имела отношения ни к тому, ни к другому.

Власть имущим опасно лишь соединение разных форм протеста. Перемены начинаются тогда, когда противники системы не просто объединяются, но и фокусируют свой протест на конкретных институтах власти, на ключевых элементах системы. В России, где власть становится все более авторитарной, речь идет не просто о защите демократических свобод, а о том, что социальный и антивоенный протест является единственно эффективной формой защиты гражданских прав.

Политические условия, в которых действуют российские политики, весьма специфичны. Они делают лишь то, что им позволяют. И они таковы, какова породившая их среда — полная мещанских предрассудков и бюрократических страхов. Российскую оппозицию с 1993 года парализовал страх. Расстрел парламента 4 октября 1993 года оказался впечатляющим уроком, который усвоили все. Оппозиция готова была бороться против власти лишь в той форме, какую разрешала сама власть, и лишь по тем вопросам, которые сама власть ей поручала. На протяжении почти десяти лет левые дружно критиковали Компартию РФ и ее лидера Геннадия Зюганова, напоминая, что за ее ритуальной риторикой скрывается пошлое соглашательство. Но насколько радикальнее и смелее оказывались те, кто предлагал себя на замену Зюганову? Партии и группы, выступавшие в качестве альтернативы КПРФ, повторяли недостатки зюгановской организации с той только разницей, что они были меньше, слабее. Вместо того чтобы бороться, они бегали в администрацию президента, выпрашивая у нее разрешения стать альтернативой — не власти, а все тому же Зюганову.

Однако дело не только в политиках, но и в обществе. Если политики, возглавлявшие оппозицию, показали себя оппортунистами, трусами и предателями, почему общество не отвергло их, почему не выработало новых форм самозащиты? Почему, в конце концов, знаменитый советский рабочий класс так легко дал себя подчинить капиталу?

Реставрация капитализма, произошедшая в 1990-е годы, породила два типа пророчеств. Либеральные авторы обещали, что после нескольких бурных лет наступит эпоха процветания, а главное — вырастет новое поколение свободных людей, не деформированных советским опытом. Зона риска — первые 10–15 лет, пока смена поколений еще не произошла. Если люди, психологически сформировавшиеся в СССР, и будут испытывать трудности при адаптации к новой реальности, то следующее поколение сможет сделать это без труда (что будет означать и окончательное торжество либерального проекта). Напротив, представители советского марксизма утверждали, что реставрация буржуазных отношений неизбежно вызовет активное сопротивление рабочего класса, вследствие чего начнется новый революционный подъем.

Исторически горизонт и тех и других пророчеств был ограничен 1990-ми годами — вследствие этого мы видим постоянный страх перед социальным взрывом (среди либералов), и, одновременно (на левом фланге), напряженное ожидание массового народного сопротивления.

Обе точки зрения оказались неверны. Несмотря на вспышки протеста в начале 1990-х годов, ситуация оставалась под контролем властей. Выступления 1993 года в Москве были подавлены именно потому, что не получили поддержки широких масс в масштабах страны. Но и либеральный прогноз не оправдался. Мало того, что обещанный парадиз не наступил (прогнозы оппозиции относительно мрачных экономических перспектив на системном уровне оправдались), но и новое поколение, выросшее при капитализме, не оказалось лояльным. Массовые выступления протеста начались через 12 лет после начала реформ, в январе 2005 года, то есть именно тогда, когда, по прогнозам либералов, «привыкание» народа к новым правилам жизни должно стать окончательным. Ни та, ни другая сторона не понимали специфики переходного периода. Распад советской экономики породил беспрецедентный спад производства. Опыт мировой истории свидетельствует, что рабочее движение оказывается на подъеме тогда, когда и экономика находится на подъеме. Нет смысла бастовать на предприятии, которое оказалось на грани закрытия.

Однако еще более важным фактором стала социальная дезорганизация 1990-х. Масса людей утратила старый социальный статус, не обретя нового. Люди не осознавали своих интересов просто потому, что консолидированного, определенного интереса у них объективно не было.

Как определить социальный статус рабочего, который не получает зарплату? Пролетарий? Раб? Но тот же рабочий получает «натуральную компенсацию» в виде продукции своего завода или товаров по бартеру. Эти изделия он и члены его семьи продают на рынке. Может быть, они стали коммерсантами? Мелкими буржуа? Между тем питаются они картошкой со своего огорода. Что это — новое крестьянство? Возврат к натуральному хозяйству?

«Многие наемные работники даже не могут быть признаны вполне „рабочими“, — сетовал известный экономист Андрей Колганов. — Источники существования миллионов из них — это в первую очередь не заработная плата на основном рабочем месте, а нелегальная занятость в мелком бизнесе или в качестве наемных рабочих в торговле и сфере услуг, натуральные доходы с садовых участков, плюс пенсии и пособия членов семьи».[524]

Следствием такого положения дел было и вполне закономерное отсутствие классового сознания. «Полная потеря классом исторической памяти, — констатировала леворадикальная газета „Бумбараш-2017“. — Белые, чистые листы бумаги. Рабочие скучены тысячами и десятками тысяч на просторных площадях. Их мозолистая рука лежит на заводах и фабриках и может в любой момент

остановить производство. По сути, сегодня в среднем это миллионы отдельных граждан, не идентифицирующих себя как класс. У них нет солидарности даже в борьбе за заработную плату, борьбе, которую они, в принципе, могут вести самостоятельно. Для простой экономической борьбы за лишний рубль ни марксизм, ни коммунистическая партия не нужны. Но сегодня в классе часто нет и такой борьбы. Есть страх, есть конформистские настроения, есть близкие знакомства с начальством. Есть уступчивость, разобщенность, замкнутость, конкуренция между рабочими».[525] Это тяжелое состояние рабочего класса, впрочем, было результатом не только социального кризиса 1990-х годов, но и многолетнего советского опыта, полностью отучившего людей от самоорганизации и борьбы за свои права.

В 1990-е годы оппозиционеры постоянно жаловались на «манипулирование» и даже «зомбирование» народа, осуществляемое официальными масс-медиа. Однако что делает пропаганду эффективной? Почему в одних случаях технологии манипулирования дают блестящий эффект, а в других проваливаются? Секретом успеха манипуляций 1990-х годов была именно неопределенность социального положения большей части народа, отсутствие у нее устойчивых осознанных интересов.[526]

К концу 1990-х положение дел стало меняться. Буржуазная реставрация — на системном уровне — достигла успеха. Общество реорганизовалось в соответствии с правилами капитализма. Но именно это и стало главной политической и культурной проблемой для российского либерализма. Новое поколение действительно лучше вписано в буржуазный порядок. Но, соответственно, оно лучше понимает устройство этого порядка. И потому и более способно к эффективному сопротивлению. Что же до социального конфликта, то порождают его не коммунистические агитаторы, а объективные противоречия системы.

Важным рубежом стал дефолт 1998 года. Он создал предпосылки для роста промышленности, а тем самым и для становления рабочего движения. Однако в краткосрочной перспективе главные перемены произошли не в рабочей среде, а в «среднем классе».

Неолиберальная экономическая реформа не смогла (и не могла) обеспечить благосостояние для большинства, но она оказалась в состоянии создать небольшой и хорошо обеспеченный «средний класс» в столицах и нескольких крупнейших городах. Эти социальные группы отличались крайним эгоизмом, приписывая свой успех исключительно собственным достоинствам (образование, динамичность, молодость). И напротив, бедственное положение большинства объяснялось ими как результат некомпетентности, необразованности, заскорузлости этого большинства — «совков». Следовательно, система жестока, но справедлива, поощряя лучших (сильных) и наказывая худших (слабых). Именно новые средние слои стали опорой либерализма в России.

Дефолт 1998 года ударил прежде всего по средним слоям. Они теряли сбережения, работу. В считанные часы «сильные» стали «слабыми». Поскольку люди редко склонны винить в своих бедах самих себя, оставалось только винить систему. Шок был такой силы, что радикально ситуацию не изменил даже экономический подъем, восстановивший к 2002–2003 годам благосостояние средних слоев. Несправедливость капитализма и неэффективность свободного рынка были осознаны средними слоями, более того, это осознание стало частью их культуры. Несмотря ни на что, они начали леветь. Это полевение было в большинстве случаев достаточно умеренным, но вполне достаточным для того, чтобы спровоцировать глубокий кризис либерализма в России. С самого

начала он имел весьма узкую социальную базу, а теперь потерял даже ее.

В подобных условиях технологии манипулирования вдруг повсеместно стали давать сбои, а в средних слоях недовольство стало ощущаться даже сильнее, нежели в угнетенных низах общества. Два вывода, которые из этого следуют, лежат на поверхности. С одной стороны, возникает почва для крупномасштабных социальных конфликтов. Это осознают и элиты — отсюда внезапно охвативший их страх перед революцией. Марксистский прогноз, пусть и с опозданием на десятилетие и с существенными корректировками, начинает, наконец, сбываться.

А с другой стороны, в условиях, когда традиционные методы манипулирования не срабатывают, идеология либерализма агонизирует, власть неизбежно становится все более авторитарной. Путинская стабильность закономерно должна была оказаться гораздо более жесткой, нежели ельцинский хаос. Причину авторитаризма надо искать не в личных качествах правителя и его окружения, не в его прошлом и не в опыте, накопленном им за годы работы в секретной службе (хотя все эти знания, несомненно, пригодились ему на посту президента). Причину происходящего надо искать в динамике развития самого российского капитализма.

Время политического либерализма закончилось, поскольку настал этап укрепления власти корпораций. Все условия и правила жизни обозначились с полной и недвусмысленной ясностью. Если не удастся больше поддерживать стабильность с помощью манипулирования, остается лишь путь прямого принуждения или насилия — отсюда и изменения в законодательстве и новые — национально-консервативные — лозунги власти.

Глава XI. Преимущество опоздавшего

События 2004 года на Украине вызвали в Кремле несомненную панику, другое дело, что продолжалась она недолго. Со своей стороны, оппозиционные политики начали с завистью поглядывать на своих украинских коллег, которые на первых порах тоже не отличались ни особой смелостью, ни серьезным радикализмом, но сумели же воспользоваться благоприятными обстоятельствами!

У патриотических деятелей появлялась возможность в очередной раз предложить свои услуги не только недовольной Кремлем части бизнеса, но и самому Кремлю — во имя защиты интересов Отечества от происков Запада. Парадоксальным образом, одни и те же лозунги использовались для обоснования взаимоисключающих политических выводов. А политики, делавшие подобные заявления с легкостью меняли избранные комбинации — как цветочные элементы в кубике Рубика. Власть заявляла о необходимости противостоять американскому заговору. Думская оппозиция призывала отстаивать национальные интересы и ради этого — сменить власть. Относительно тональности и содержания каждого подобного заявления оппозиционеры тщательно и подробно советовались с администрацией. Но и достигнутые соглашения не выполняли, тем более что в разных кабинетах администрации советы им давали разные...

Лидеры КПРФ бросались из крайности в крайность. Зюганов вполне в духе либеральных журналистов жаловался на «триста миллиардов долларов, ежегодно отбираемых бюрократией у буржуазии»,^[527] а затем с таким же пафосом обрушивался на «русофобов» и иностранных агентов, готовящих в России «оранжевую революцию».

Куда больше здравого смысла и последовательности проявил лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин. Он прекрасно понимал, что украинский кризис изначально представлял собой не столько

борьбу за власть, сколько борьбу внутри власти, не столкновение интересов России и Запада, а противоборство группировок внутри самой России и Украины, опиравшихся на помощь западных партнеров. Вывод, сделанный Рогозиным, был предельно прост и цинично верен: наращивая критику власти можно одновременно укреплять отношения с теми группировками внутри администрации, которым эта критика выгодна.

Конституция, требующая в 2008 году смены президента, обрекала Российскую Федерацию на запрограммированный политический кризис. Система управляемой демократии могла сохраняться только в условиях гарантированной преемственности власти, когда смена первых лиц не затрагивает механизмов управления. Бюрократия и близкие к ней деловые круги нуждались в стабильности, но обеспечить ее оказывалось невозможно в условиях, когда предстояла смена президента, а вместе с ним — и значительной части административной команды. Неудивительно, что в такой ситуации высшая бюрократия разделилась на несколько группировок, каждая из которых предлагала свой сценарий престолонаследия.

В подобных условиях оппозиционный лидер, способный проявить достаточную наглость и беспринципность, вполне мог резко увеличить свое влияние, используя связи в верхах и играя на разногласиях в среде администрации.

Как и большинство отечественных политиков второго ряда, Дмитрий Рогозин был изготовлен администрацией президента для решения чисто тактических задач. Надо было несколько подправить соотношение сил в Думе и объяснить коммунистам, что они слишком много просят за свое сотрудничество, не понимая, что, власть может обойтись и без них. Лидеры КПРФ быстро поняли суть дела и образумились, но уже в ноябре 2003 года что-то пошло не так.

Задачи, для решения которых был изготовлен Рогозин, были успешно решены, но сам Рогозин остался. И с усердием оставшегося без четкой программы андроида, он начал самостоятельно настраиваться на новую волну.

В основе избирательного блока, а потом и партии «Родина» был положен примерно тот же идеологический замес, что и в КПРФ: соединение социальной демагогии с националистической риторикой. Оно и понятно — ведь вся затея и была предпринята для того, чтобы украсть голоса у Зюганова. Однако в политике, как и в химии, нарушение пропорций и изменение качества ингредиентов может дать неожиданный результат. В администрации то ли перемудрили, то ли напутали. В общем, вместо социально-державной организации получилась национал-социалистическая партия.

Этого, очевидно, никто специально не замыслил. Даже сам Рогозин прекрасно понимал, что, оказавшись в нише ультра-правых, он рискует лишиться себя политической перспективы. Политику, претендующему на власть, надо быть принятым в уважаемом обществе. Именно потому возглавляемая им «Родина» упорно цеплялась за любую возможность изобразить «левизну». То она обращалась в Социалистический интернационал, то просилась в Европейскую левую партию. Однако объективное течение несло «Родину» в совершенно иную сторону — навстречу скинхедам, неонацистам, идейным антисемитам и доморощенным идеологам этнических чисток.[528]

На фоне очевидного краха либеральной идеологии 1990-х годов национализм оказывался единственной альтернативой распространению левых идей. Эта альтернатива была вполне приемлема для значительной части формирующегося правящего класса, ибо не предполагала ни

радикальных социальных преобразований, ни серьезной угрозы для частной собственности. Именно поэтому национализм, декларативно осуждавшийся либеральным истеблишментом и властью, одновременно получал благоприятные возможности для распространения в масс-медиа и в системе образования. И власть, и либеральная оппозиция, и лидеры КПРФ — все дружно заигрывали с различными разновидностями националистического движения, начиная от скинхедов, заканчивая национал-большевиками Эдуарда Лимонова.

История Национал-большевистской партии (НБП) начала 2000-х годов весьма поучительна. С приходом к власти Путина эта организация начала стремительно интегрироваться в либеральный истеблишмент. Представители уважаемой элиты не могли сами решиться на акции прямого действия, но им требовалось «пушечное мясо», расходный материал, который нужно было использовать для давления на власть. НБП оказалась с этой точки зрения просто идеальным материалом: не имея ни внятной программы, ни устойчивой социальной базы, ни «взрослых» политических кадров, эта организация претендовать на власть серьезно была не способна. Самостоятельной стратегической инициативы у нее тоже быть не могло. Зато были отчаянные молодые люди, готовые устраивать перед телекамерами мазохистские представления. Каждая акция НБП завершалась арестами, избиениями участников, а порой и судебными приговорами, которые подробно и ярко освещались оппозиционной либеральной прессой. Журналисты, еще недавно пугавшие своих читателей экстремизмом «нацболов», неожиданно прониклись к ним симпатией, а лидер партии Эдуард Лимонов буквально не сходил со страниц глянцевого журнала.

Между тем в России сложились куда более серьезные националистические организации. В эпоху социальной неустойчивости они начинали быстро фашизироваться, и дело тут не в настроениях их лидеров, а в объективной логике общественных процессов, сильно напоминавших то, что происходило в Европе конца 1920-х годов. С другой стороны, неизбежность политического кризиса открывала возможность повторения украинского «оранжевого» сценария. Возникла перспектива «оранжево-коричневого блока», явно выходящая за рамки первоначальных планов, сложившихся в администрации президента.

Переломом оказался «Правый марш», проведенный 4 ноября 2005 года. Праздник национального единства, задуманный идеологами «Единой России» в качестве замены «красному» дню революции 7 ноября, обернулся поводом для манифестации ультраправых. Вместо шествия в поддержку власти получился фашистский шабаш, чего даже циничные кремлевские чиновники явно не планировали заранее.

В свою очередь, партия «Родина» после краткого колебания сомкнулась с инициаторами «Правого марша». Все заняли на политической сцене свои естественные места.

Специалисты из администрации искренне хотели предложить публике модернизированный и европеизированный вариант социал-патриотизма. Не замшелый и отсталый, как у Зюганова, а новенький, красивый, динамичный. И в самом деле: русский национализм в исполнении сторонников Рогозина оказывается европеизированным и модернизированным — на германский лад. Если эстетический идеал Зюганова — отечественная «Черная сотня» образца 1909 года, то партия Рогозина оказывалась куда более продвинутой, куда более западной, стремительно приближаясь к немецкой модели года примерно 1929-го. Прогресс был налицо!

Было бы глубоко несправедливо утверждать, будто «Родину» ничего не объединяло с левыми. У

гитлеровской Национал-социалистической рабочей партии тоже был целый ряд лозунгов, заимствованных на левом фланге. И не только у коммунистов, но и у уважаемых социал-демократов. Лидеры Коминтерна не случайно говорили в 1920-е годы о сходстве программ социал-демократов и нацистов (настолько, что даже придумали термин «социал-фашизм»). Другое дело, что ошибались они в главном. Тогдашняя социал-демократия была, при всей своей умеренности, как и все левые движения, основана на классовой солидарности. Национал-социализм представлял собой нечто иное.

Регулирование экономики, полная занятость, хороший отдых для рабочих семей и гарантированное благосостояние для обывателя — разве кто-то из левых будет против? Но были и «небольшие» отличия — нацизм все эти социальные блага обещает обеспечить в рамках капитализма и не за счет социальных преобразований, а с помощью этнической чистки. Не путем расширения демократии, а через закручивание гаек. Не снизу, а сверху. Не за счет солидарности масс, а через манипуляции (как теперь сказали бы, с помощью политических технологий). Из-за этих «небольших» отличий люди шли в концлагеря и на смерть, потому что именно в них суть левой идеологии и морали.

Вызревание российского фашизма было медленным, и сами главные действующие лица отнюдь не рвались ускорить процесс. Тактически лидерам «Родины» была выгодна как раз двусмысленность: в одном случае можно предстать немного нацистами, но в другой компании предъять себя в качестве здравомыслящих и социально озабоченных уважаемых парламентских деятелей, которым не чужды левые идеи. В эпоху постмодерна все можно.

Но тут случились незапланированные события. Как назло, бунты парижских пригородов совпали с выборами в Москве. Парижские бунты спровоцировали настоящую расистскую истерику в отечественной прессе. Неважно, что жуткие картины, которые рисовали перед одуревшим обывателем, не имели ничего общего с реальностью. Под конец французские газеты стали уже перепечатывать заголовки и наиболее смачные цитаты из российских изданий, вызывая гомерический хохот своих читателей, — французы реагировали на подобные публикации примерно так же, как мы реагируем на рассказы иностранцев о развесистой клюкве и медведях, гуляющих по московским улицам.

Парижский обыватель, сидя в уютном кафе, мог неодобрительно покачивать головой, читая сообщения про то, как жители иммигрантских кварталов уничтожают собственные машины, разоряют свои (предварительно застрахованные) лавки или поджигают мечети. Он добродушно посмеивался, узнавая из русских газет об иммигрантском терроре и арабском произволе, которые якобы погрузили Париж в хаос. Однако в Москве эти рассказы были далеко не безобидны. Они понизили порог морально допустимого. Расизм был отныне разрешен и одобрен в приличном обществе. И основная ответственность за это лежит не на националистах, а на либералах. Почва была вспахана и засеяна. Рогозину с друзьями оставалось только снять урожай.

И они не удержались от соблазна. Просто не могли удержаться. Приличия и ограничения были отброшены. Слишком большой куш шел в руки. Слишком очевиден был выигрыш. А главное, предлагаемая игра слишком хорошо соответствовала их собственным настроениям и убеждениям. Да и почему один только Рогозин? Все партии вступили в отчаянную гонку на одном и том же поле. Все начали кричать про нелегальных мигрантов и чужаков, заселяющих и засоряющих родной город. Однако именно «Родина» сделала борьбу с приезжими и мнимые ужасы парижского бунта

центральными темами своей избирательной пропаганды. «Вакханалия поджогов и погромов царила на улицах Парижа и других городов Франции несколько недель, — сообщила партийная газета. — Попустительство по отношению к нелегальной миграции привело к массовым беспорядкам.

Твердость французской полиции помогла избежать крупных жертв. В России тоже 10 миллионов нелегалов. Сейчас они рассеяны среди нас. Но что будет завтра?»[529]

Эти чужаки не только «лишают москвичей рабочих мест», но и «являются виновниками почти половины совершенных в Москве преступлений», они же составляют опору мафии и криминальных группировок, «при поддержке коррумпированных чиновников монополизуют отдельные виды бизнеса, не допуская в них москвичей». За право работать на москвичей приезжие «должны платить», причем «официально, в бюджет».[530] Предлагалось легализовать и законодательно оформить всевозможные поборы и взятки, которые вымогаются столичной бюрократией и милицией у приезжих, чтобы эти деньги теперь шли на пользу всему городу.

В данном случае неважно, что криминальная статистика, на которую опирались пропагандисты партии, оказалась фальшивой, что изрядная часть «нелегальных мигрантов» является законными гражданами России и этническими русскими. Не имело значения даже то, что использование дешевой рабочей силы вело как раз к снижению цен в городе.[531]

Программные заявления были дополнены скандальными рекламными клипами: на экранах телевидения инородцев приравнивали к «мусору» и призывали очистить от них родную Москву. Реальные проблемы столицы и ее жителей были политикам явно неизвестны и неинтересны. В ходе избирательной кампании никто не удосужился предложить, что делать с транспортными пробками, как решать жилищную проблему, как остановить рост коммунальных тарифов и как спасти исторический центр столицы, планомерно уничтожавшийся в угоду спекулянтам недвижимостью и магнатам строительного бизнеса. Всех интересовали только мигранты.[532]

Поскольку в расистской вакханалии были замешаны все, кроме удовлетворенно взиравшей на это безобразия «Единой России» (которая, в свою очередь, полагалась на административный ресурс), то наиболее честным (и строго соответствующим закону) решением было бы выборы отменить, а все партии запретить. «Единую Россию» — за злоупотребление административными возможностями, а остальных — за разжигание этнической розни.

Но власти приняли иное решение: сняли с дистанции одну только «Родину». Ведь «Родина» соревнование по расистской демагогии выигрывала. Все остальные играли на чужом поле, а она — на своем. Остальные более или менее реагировали на конъюнктуру, выполняли рекомендации тупых политтехнологов, а среди «родинцев» оказалось достаточно фашистов по убеждению, говорящих искренне, всерьез мечтающих вымести с улиц человеческий «мусор». Искренность вознаграждается. «Родину» сняли с выборов по суду. Фарсовый характер судебному решению придавало то, что иск подала другая откровенно националистическая партия — «либеральные демократы» Владимира Жириновского. Они явно пытались убрать конкурентов. Правильные либералы, напротив, судебных исков против «Родины» инициировать не стали, дабы не подрывать «единый фронт» оппозиции, не ссориться с потенциальными союзниками по «оранжевому блоку».[533]

Не получив мест в столичной Думе, «Родина» все равно сумела одержать политическую победу. Выборы московских депутатов, в конце концов, были важны не сами по себе, а как разминка перед серьезной борьбой за власть, маячившей на горизонте. Политические дивиденды, которые получал

Рогозин от скандала в столице, были несравненно больше тех, которые он мог бы получить, завоевав 4–5 мест в городском парламенте. Лидер «Родины» не скрывал своего удовлетворения.

Партии Рогозина создали ореол гонимой, хотя никто ее не преследовал, ее представителей не сажали в тюрьмы (как представителей НБП и радикальных левых). Рогозина сделали на какое-то время самым заметным политиком в России после Путина.

Напуганная кремлевская администрация предприняла двойной маневр, с помощью которого, как казалось политтехнологам, удалось изящным образом решить все проблемы. С одной стороны, началась отчаянная кампания давления на Рогозина, которого, в конце концов, принудили уйти с поста руководителя «Родины». Несколько месяцев спустя остатки «Родины» слили с «Партией жизни» спикера Совета Федерации Сергея Миронова, присоединив к ним еще и Партию пенсионеров. Это политическое новообразование получило имя «Справедливая Россия» и, по замыслу кремлевских мудрецов, должна была занять пустующее место на левом фланге отечественной политики.

С другой стороны, однако, власти отнюдь не остались глухи к пропаганде ультраправых. После этнических волнений, произошедших в карельском городе Кондопоге в августе-сентябре 2006 года, официальные лица заговорили о необходимости наведения порядка на рынках. После того, как к этому хору присоединился сам Путин, была проведена в ограниченном масштабе этническая чистка. Прилавки опустели, а цены остались на прежнем уровне.

Лидеры КПРФ сделали из событий осени и зимы 2005 года собственные выводы. Уже во время избирательной кампании в столичную Думу партия Геннадия Зюганова соревновалась с «Родиной» на поприще националистической пропаганды. Причем, уступая рогозинцам в агрессивности, представители КПРФ — более старой и традиционной партии — далеко опережали их на программном уровне. В официальных партийных документах разъяснялось, что граждане России имеют недопустимо большую свободу в плане передвижения по собственной стране, выбора места жительства и работы. В случае победы КПРФ со всеми этими вольностями обещали покончить. «Крепостническая» программа 2005 года была, однако, лишь первым шагом. После того, как «Родина» были сняты с выборов, а сам Рогозин под давлением Кремля ушел в отставку, лидеры КПРФ сделали ставку на то, чтобы подхватить упавшее знамя. Если до 2005 года партия Зюганова активно сотрудничала с националистическими и монархическими организациями, то теперь ставка была сделана на гораздо более радикальных участников «Правого марша». В первую очередь на Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ).

Стремительно усилившееся на протяжении 2005 года ДПНИ представляло собой своего рода «широкий фронт», куда влились все фашистские, нацистские и расистские организации. Осколки Русского национального единства, банды скинхедов, различные общества по изучению теоретического наследия Адольфа Гитлера — все эти группы находили себе достойное место в новом объединении.

В отличие от молодых коммунистов, критиковавших политическую линию Зюганова и выступавших с собственными инициативами, молодые нацисты из ДПНИ выглядели практически идеальными партнерами для руководства КПРФ, поскольку были дисциплинированы, Зюганова не критиковали, не задавали лишних вопросов и ничего не требовали, кроме возможности вести погромную агитацию на партийных мероприятиях. Даже национал-большевики Эдуарда Лимонова в этом отношении

выглядели менее привлекательно.[534]

В марте 2006 года КПРФ впервые провела совместные мероприятия с ДПНИ, а на 1 мая представители ультраправых групп были официально приглашены принять участие в коммунистическом шествии. А летом идеолог ДПНИ Петр Милосердов был под давлением руководства партии введен в Центральный комитет Союза коммунистической молодежи. Для многих левых в СКМ это был «последний предел», за которым «мирное существование» с реакционерами из партийного аппарата становилось невозможно.[535]

За альянсом между КПРФ и ДПНИ стояло, разумеется, нечто большее, нежели просто взаимная симпатия или прагматичный расчет. Этот альянс вписывался в общую стратегию объединенной оппозиции, вырабатывавшуюся различными националистическими и либеральными группировками начиная с выборов 2003 года.

С одной стороны, оппозиционные либералы, прекрасно понимая узость своей социальной базы, готовы были идти на сотрудничество с националистами для того, чтобы, раскачав лодку, любой ценой добиться уступок от Путина. То, что конечным итогом такой политики станет не демократизация, а нечто прямо противоположное, никого не волновало: реальная борьба шла не по вопросу о политической свободе, а по вопросу о собственности, постепенно переходившей от старой ельцинской олигархии к бюрократическому бизнесу путинской команды. Поскольку же напрямую работать с откровенно расистскими и фашистскими организациями для либеральной оппозиции было опасно и неприлично, роль политического посредника выпадала окружению Зюганова.

С другой стороны, руководство КПРФ, стареющее и деморализованное, видело в стратегии объединенной оппозиции свой последний шанс — если не на приход к власти, то хотя бы на получение серьезной спонсорской помощи. Возникало противоречие. Публично оформить блок с либералами было невозможно без риска потерять последних сторонников. Но поскольку иной перспективы руководство не видело, то фактически именно эта политика проводилась, только не названная по имени.

Летом 2006 года, выступая на пленуме ЦК КПРФ, Зюганов вынужден был констатировать, что ряды партии стремительно редеют: «Под вопрос ставится само существование нашей партии как массовой политической организации», — заключил он. В 2005 году «естественная убыль в партии составила 21 тыс. человек»,[536] а новые партбилеты получили всего 9800.

Либеральная пресса постоянно сетовала на то, что оппозиция в России не хочет стать «вменяемой», представив себя «системной социал-демократической партией». Не то чтобы лидеры официальной КПРФ этого не хотели, просто у них, как жаловался журнал «Эксперт» в 2005 году, «решительно не получается».[537] Славянофильское философствование и мракобесное православное кликушество давалось им неизменно лучше, чем игра в европейскую респектабельность. Всякий раз, когда они пытались «обновиться», вдохновляющие идеи неизменно обнаруживались не в речах Тони Блэра и его европейских коллег, а в идеологическом арсенале русского фашизма.

Наиболее образованная часть российского бизнеса прекрасно сознавала, что формирующейся буржуазии нужны собственные «цивилизованные левые», без участия которых проведение правой политики становится все более затруднительным. Но подходящих кандидатур не находилось — в силу исторических и социальных условий страны. Представителям правящего класса пришлось браться за дело самим: в качестве идеолога умеренных левых выступил оказавшийся в опале у

Кремля олигарх Михаил Ходорковский.

Брошенный в тюрьму после сомнительного процесса, руководитель корпорации ЮКОС, не мог не думать о возмездии. Чтобы стать полноценным политическим заключенным, Ходорковскому нужна была политическая программа. Именно славы борца за интересы трудового народа не доставало ему, дабы считаться жертвой режима не только в глазах либеральной столичной интеллигенции, но и в глазах более широких слоев населения, у которого его несчастья ничего, кроме злорадства, не вызывали.

Ходорковский пострадал в ходе борьбы за власть внутри элиты. Здесь страсти тоже кипят нешуточные, жертвы приносятся немалые. И герои шекспировских трагедий, брошенные в темницы Тауэра, могут вызвать наше сочувствие, но они — не политзаключенные. Их политика не имеет ничего общего с политикой, затрагивающей интересы масс.

Либеральная пресса с первых же дней «дела ЮКОСа» сравнивала Ходорковского с южноафриканским героем Нельсоном Манделой. Но Мандела, хоть и был потомком королевского рода и человеком не бедным, в тюрьму угодил не из-за разногласий с правительством по вопросам бизнеса, а из-за связей с коммунистами.

Проблема Ходорковского, однако, состояла в том, что на свободе он ни малейшей симпатии к левым идеям не выказывал. Он был либералом, и, надо сказать, либералом терпимым (в отличие от других, искренне убежденных, что за малейшее отклонение от либеральной ортодоксии надо расстреливать). Даже когда хозяин ЮКОСа вкладывал деньги в КПРФ, он делал это по соображениям, весьма далеким от идеологии. Человек с левыми взглядами не дал бы КПРФ ни гроша.

«С 2002 года корпорация ЮКОС вошла в политическую фазу развития и основные усилия сосредоточила уже даже не на нефти, а на покупке власти в стране целиком, целыми регионами, — пишет редактор газеты „Stringer“ Елена Токарева в весьма поверхностной, но крайне откровенной книге „Записки рядового информационной войны“. — К этому времени ЮКОС был уже подлинный спрут, который опутывал страну. У ЮКОСа было очень много политических проектов, о которых до сих пор даже не догадывается общество».[538]

К думским выборам 2003 года представители корпорации начали активно скупать места в самых разных партийных списках, так что «объединенная фракция ЮКОСа» в случае успеха должна была бы насчитывать около 40 депутатов — не меньше, чем у добившейся успеха на выборах политической партии. Токарева ехидно сообщает, что список КПРФ «был наводнен людьми ЮКОСа, тесно связанными со спецслужбами», но потом, когда Ходорковского арестовали, лидеры партии своих спонсоров попросту «кинули». Кандидатов «не включили в избирательный список на проходные места, а деньги не вернули».[539]

Никакой идеологии здесь не было — ни с одной, ни с другой стороны. Только бизнес. Однако, оказавшись за решеткой, Михаил Ходорковский получил достаточно свободного времени и возможностей для размышления. Он принялся читать книги о русской истории. Итогом этих размышлений стала серия писем, в которых бывший олигарх объявлял о кризисе либерализма и необходимости «левого поворота» в стране.

Конечно, это вполне в духе русской культуры: попав в тюрьму, бывший магнат начинает думать о жизни, страдает от угрызений совести и, в конечном счете, становится новым человеком. Тем не менее текст, опубликованный в газете «Ведомости» под заголовком «Левый поворот», не вызвал

среди самих левых ни малейшего энтузиазма. Прошло некоторое время и появилось продолжение: «Левый поворот-2».

Второй текст был гораздо более детализирован, нежели первый, но интереса в обществе вызвал значительно меньше, ибо оказался лишён элемента сенсационности. Получилось так, что чем более подробно и внятно Ходорковский высказывался, тем меньше его обсуждали. Первая статья про «Левый поворот» была темой многочисленных комментариев. На вторую реагировали лишь дежурными заметками, как и на любую новость, которую проигнорировать нельзя, но и обсуждать не особенно интересно. Однако мысли «заключенного № 1», как прозвали опального олигарха журналисты, все же заслуживают внимания.

Прежде, всего, бросается в глаза, что статьи о «Левом повороте» Ходорковский публиковал в правых изданиях, в деловой прессе. Другой он просто не знал и в других категориях не мыслил. «Левизна» Ходорковского вообще сочетается с полным отсутствием интереса к левой мысли. Реальное левое движение в России и мире для него интереса не представляет, что производит особенно гротескное впечатление во второй статье. Автор сначала сообщает, что его спрашивают: «Существуют ли сегодня в России дееспособные, современные оппозиционные силы с левыми и леволиберальными взглядами?»[540] А затем преспокойно оставляет этот вопрос без ответа и переходит к другим темам.

Куда больше интереса у Ходорковского вызывает вопрос о том, как преодолевать структурный кризис российской экономики. Сформулированный им рецепт состоит из нескольких элементов. Во-первых, надо смелее тратить деньги стабилизационного фонда. Из этих средств можно финансировать переход от экономики «нефтегазовой трубы» к «экономике знаний». Во-вторых, надо обеспечить резкий рост населения, причем так, чтобы обойтись без мигрантов (исключительно за счет всевозможных мер по стимулированию рождаемости). В-третьих, надо ввести одноразовый налог, через который правящий класс «откупится» от народа, компенсировав общество за несправедливость приватизации. Налог должен быть примерно равен годовому обороту каждой крупной компании. Был здесь еще ряд положений, но они настолько банальны, что на них нет смысла останавливаться.

На первый взгляд, идеи Ходорковского выглядят достаточно привлекательно, хотя сразу бросается в глаза, что в них нет совершенно ничего левого. Это не более чем перечень мер, которые должно осуществить ответственное либеральное правительство для обеспечения стабильного развития отечественного капитализма. Однако при более внимательном чтении замечаешь, что, несмотря на кажущуюся серьезность, эта программа насквозь утопична. Вот как Ходорковский видит будущую хозяйственную систему: «40 % — „экономика знаний“; 40 % — нефть, газ, металл, лицензионное производство; 20 % — сельское хозяйство, включая переработку и торговлю».[541] Легко заметить, что в этой схеме вообще нет места для промышленности. Понятно, что автор опирается на модные теории относительно информационного общества, но проблема в том, что эти теории неверны. Любой серьезный государственный муж на Западе уже давно знает, что опорой «экономики знаний» является сильная промышленность. Даже если западные концерны физически переносят в страны Азии часть производства, они продолжают развивать корпоративный производственный потенциал. «Знания» бывают востребованы ровно постольку, поскольку существует нуждающаяся в них индустрия. Страна без самостоятельного промышленного потенциала будет поставлять знания за

границу по дешевке ровно таким же образом, каким сейчас поставляет сырье. В экономическом смысле сырьевая экономика без промышленности, конечно, выгоднее, чем очень дорогая и крайне уязвимая «экономика знаний» — тоже без промышленности.

Демографические планы Ходорковского не выдерживают элементарной критики. Рост уровня жизни сам по себе резкого роста рождаемости не вызывает, иначе сейчас на планете самыми массовыми народами были бы не китайцы с индусами, а шведы с финнами. В лучшем случае политика стимулирования рождаемости приведет к стабилизации населения на уровне 140–150 миллионов, остановив депопуляцию России. Кстати, нет никакой катастрофы, если население останется на этом уровне. Особенно если будет расти производительность труда; Но в любом случае надо выбирать: либо ориентироваться на нынешнюю численность населения, либо добиваться требуемой Ходорковским численности в 220–240 миллионов за счет иммиграции. В том-то и беда, что бывшего хозяина ЮКОСа волнует не жизненный уровень людей, а наличие большого количества рабочих рук для отечественного капитала. Рабочей силы должно быть много.

Что касается обещания «легитимировать» приватизацию через одноразовый налог, то здесь Ходорковский ошибается наиболее капитально. Непонятно, почему мы, как общество, должны удовлетвориться тем, что нам вернут небольшую часть награбленного. И смешно думать, будто левые перестанут требовать экспроприации после того, как капиталисты побалуют чиновников, выложив в бюджет некую кругленькую сумму. Либо необходимо пересмотреть итоги приватизации в целом, создав новую общественную систему (и заодно разогнав нынешнюю бюрократию), либо надо оставить все как есть, поскольку никаких структурных преобразований план Ходорковского все равно не предполагает.

Будучи представителем крупного бизнеса, Ходорковский должен вроде бы являться человеком практичным. Откуда же столь откровенный утопизм, сквозящий буквально в каждой строчке его текста? Быть может, это результат тюремного заключения, длительной изоляции? Вряд ли. Скорее, проблема лежит в иной плоскости. «Заключенный № 1» остался убежденным сторонником капитализма и защитником существующей системы. Именно поэтому он не в состоянии задуматься о решениях, которые лежат за пределами нынешнего экономического строя. А главное, он не отдает себе отчета в системных противоречиях периферийного капитализма российского образца. Эти противоречия порождены местом нашей страны в мировом разделении труда и кризисом самого глобального хозяйственного порядка. С помощью частичных улучшений и одноразовых мер подобные болезни не лечатся.

Автор статей о «Левом повороте» не случайно обошел стороной вопрос о движущих силах социальных преобразований. Если не верить в заведомо утопический сценарий — Путин возвращает Ходорковского из Сибири, делает его премьер-министром с диктаторскими полномочиями и отправляется на покой в Германию — становится совершенно ясно, что никто и никогда план Ходорковского реализовывать на практике не будет. Левый поворот невозможен без массового движения и без прихода к власти новых политических сил. Если подъема массового движения не будет, если такие силы не сформируются, то разговоры о любых поворотах теряют всякий смысл. Но если события развернутся иначе, если мы увидим новый подъем массовой оппозиции и возникновение на левом фланге серьезного и радикального политического движения, то такому движению Ходорковский с его планами не нужен.

«Заключенного № 1», конечно, жаль. Плохо, когда тебя лишают свободы. Но беда не только в том, что у бывшего руководителя ЮКОСа ограничено пространство для передвижения.

Интеллектуальной свободы для себя он тоже не завоевал, оставаясь рабом праволиберальной идеологии. Вот почему, как ни крутись, никуда прийти не удастся. Стоя на месте, Ходорковский совершил последовательно два поворота влево, вернувшись, как легко заметить, на исходную точку. На правом фланге.

Надо, впрочем, сказать, что роль ЮКОСа и Ходорковского в левом движении России не свелась к написанию двух не получивших серьезной поддержки статей. Собственно и статьи эти вызвали интерес именно потому, что их автор ранее был известен серьезными финансовыми вложениями в политику. Неудивительно, что после финансовой интервенции ЮКОСа в КППФ среди российских и украинских левых развернулась бурная дискуссия о допустимых и недопустимых источниках получения средств для политической деятельности.

В странах, где социалистические организации имеют многолетнюю непрерывную традицию, вопрос об источниках денег для партий и профсоюзов тоже порой стоял крайне остро, но именно в Восточной Европе левые столкнулись с вопиющим противоречием между масштабом стоящих перед ними организационно-политических задач и имеющимися у них материальными средствами.

Западноевропейские социалистические партии традиционно финансировались профсоюзами, доходы которых, в свою очередь, росли пропорционально увеличению зарплаты трудящихся и успехам стачечного движения. В наиболее демократических странах Европы под давлением рабочих организаций были приняты законы о государственном финансировании политических партий и прессы. В странах «третьего мира» революционные и левые организации получали средства из «фондов солидарности», созданных их товарищами на Западе. Не секрет, что пользовались они также поддержкой Советского Союза и маоистского Китая.

В конце 1990-х годов для левых в Восточной Европе все эти источники были либо недоступны, либо крайне ограничены. После распада СССР, средства, находившиеся в структурах мирового коммунистического движения, были разворованы. Китай, повернувшийся к капитализму, меньше всего готов был вкладывать деньги в революционную борьбу далеко на Севере. Западные европейские социал-демократические партии резко ушли вправо и совершенно не собирались тратить ресурсы на поддержку радикалов. «Антиглобалистские» «фонды солидарности» были предназначены либо для проведения международных мероприятий, либо на поддержку борьбы в странах «третьего мира». К тому же использование денежных средств как инструмента политического контроля со стороны советской и китайской бюрократии оставило по себе недобрую память. Повторять этот опыт никому не хотелось.

Между тем собственные ресурсы левых на Востоке были крайне ограничены из-за обнищания населения и малочисленности самих организаций. Прежде чем стать крупной политической силой, надо неизбежно пройти через этап «кружков» и «групп». Однако подобные группы в принципе не способны к самофинансированию, если только не превращают поиск денег в основную задачу своей деятельности. Крайним примером подобного рода усилий стало «украинское дело» 2003 года, когда группа молодых людей умудрилась записаться сразу во множество троцкистских интернационалов, требуя помощи от каждого. Помощь была ничтожной, но, учитывая большое число спонсоров, украинской группе хватало. Как ехидно писал австралийский журналист, современные

«потемкинские деревни», построенные в Киеве, «создали у целого ряда интернационалов иллюзию роста».[542] Всего пострадало 14 «интернационалов», хотя, возможно, не все признались.[543] Проблема несоответствия между политическими задачами и финансовыми возможностями стояла уже перед Лениным. Сформулированная им концепция «партии профессиональных революционеров» требовала средств, пусть и небольших, но постоянных. Участники революционной борьбы могли быть людьми скромными и аскетичными, но им все равно приходилось есть, пить и одеваться. Надо было снимать конспиративные квартиры и покупать билеты на поезда. Надо было издавать газеты и брошюры — даже для подпольных типографий необходимо покупать бумагу и краску. Надо было вести переписку — почта никогда не работала бесплатно, а партийным курьерам невозможно было без денег добраться до места.

Отчасти дефицит средств покрывался за счет помощи западной социал-демократии. Но уже во время революции 1905 года большевистские лидеры вынуждены были прибегнуть к жертвованиям со стороны прогрессивных капиталистов, наиболее известным из которых был Савва Морозов. Позднее, в 1917 году, Ленина обвиняли в получении средств от германского Генерального штаба, заинтересованного в большевиках как силе, выступавшей против участия России в мировой войне. Обвинение это окончательно доказано не было, но какая-то форма соглашения, несомненно, имела место. Иначе Ленин не смог бы добраться до России через Германию в знаменитом запломбированном вагоне. Без ведома властей такие вагоны по железной дороге не ходят.

Опыт Ленина, однако, отнюдь не свидетельствует о политической неразборчивости. Дело не в том, где вождь большевиков брал деньги, а в том, на каких условиях. Вопреки расхожему мнению о том, что музыку заказывает тот, кто платит, история большевистской партии (как и многих других организаций) свидетельствует об обратном. Никто и никогда не мог привести ни одного случая, чтобы позиции большевиков колебались в зависимости от источников финансирования. Более того, это было совершенно невозможно. Несмотря на организационную конспирацию, процесс принятия политических решений был совершенно прозрачным. Он контролировался лидерами и активистами партии изнутри, исключая любую эффективную возможность внешнего вмешательства. Ленин выступил против войны не потому, что немцы готовы были ему помочь, а напротив, германский Генштаб разрешил Ленину проехать через страну из-за того, что немцы были прекрасно информированы о принципиальной антивоенной позиции Ленина и его ближайших соратников. С другой стороны, в начале 2000-х годов вся Россия могла наблюдать трагикомедию политических инвестиций Михаила Ходорковского, вложившего огромные средства в целый спектр политических партий и брошенного ими всеми на произвол судьбы. Токарева пишет о попытке «приватизации КПРФ».[544] Однако партия — это не акционерное общество. Финансовое сотрудничество КПРФ и ЮКОСа нанесло ущерб обеим сторонам, не дав существенных выгод никому, кроме группы лиц, стоявших в главе партии — «кинув» своего спонсора, не отчитываясь перед своими товарищами по организации и не используя деньги для избирательной кампании, они смогли потратить их по собственному усмотрению.

Парадокс в том, что именно продажность и беспринципность российских политиков сделала инвестиции Ходорковского заведомо неэффективными. При первой же возможности партнеры готовы были «кинуть» своего благодетеля точно так же, как ранее они готовы были в угоду ему корректировать свою политическую линию.

Проблема, таким образом, не в том, что современные левые в России и на Украине то и дело вынуждены прибегать к «внешнему финансированию», обращаясь за деньгами к людям и организациям, от которых при прочих равных условиях следовало бы держаться подальше. Проблема в том, существует ли политическая прозрачность, демократия и четкая идеология, которая безвариантно определяет, что может быть сделано, а что нет.

Понятно желание либеральных политиков создавать единый право-левый фронт. Чем менее популярны были их собственные принципы, тем сильнее была потребность использовать в своих целях активистов, отстаивающих совершенно иные, более популярные в обществе ценности. Эта идея с маниакальной неотвязностью преследовала всякого деятеля, пытавшегося формировать либеральную альтернативу Путину. Ее выдвигал Михаил Ходорковский, ее же повторял Михаил Касьянов, когда из отставного премьер-министра превратился в непримиримого критика власти. Во имя той же цели шахматный чемпион Гарри Каспаров принялся создавать Объединенный гражданский фронт. На этой же основе была создана коалиция «Другая Россия», объединившая национал-большевиков и певца свободного рынка Андрея Илларионова.

Поскольку марксистские группы на лозунг «единой оппозиции» реагировали плохо, либералам ничего не оставалось, как вести диалог с националистами, пусть и самыми дремучими.

В основе стратегии лежала обыкновенная сделка, построенная на очевидной беспринципности всех ее участников. Либералы обладали финансовыми ресурсами и влиянием на прессу, а национал-патриоты обещали вывести массовку. Путь единой оппозиции устраивал значительную часть функционеров КПРФ. Однако у них не всегда находились аргументы, чтобы объяснить подобную политику своим сторонникам. Этот же путь предлагал и лидер НБП Эдуард Лимонов, искренне, кажется, уверовавший в свою харизму и не скрывавший надежды стать единственным кандидатом на президентских выборах 2008 года. Более серьезными были амбиции бывшего премьер-министра Михаила Касьянова, которые, по крайней мере, были подкреплены финансовыми ресурсами. Беда в том, что независимо от количества наличных денег, личного обаяния и «раскрученности» в прессе, никто не мог предложить обществу, желавшему перемен, но отнюдь не готовому возвращаться назад — ни в советские времена, ни к неурядицам 1990-х — ничего нового.

Лозунг «единой оппозиции» означал отказ от всякой внятной идеологии, и от какой бы то ни было ясной программы. Это было очевидно даже тем представителям левого лагеря, которые при определенных обстоятельствах готовы были бы сотрудничать с либералами. «Главное „конкурентное преимущество“ левых, сохранявшее их и дававшее им инструмент борьбы, — писал активист Союза коммунистической молодежи Илья Пономарев, — опора на четкое и понятное массам учение, — оказалось отвергнуто самими же лидерами оппозиции во имя заклинания: „Россия без Путина, а там разберемся“».[545] В свойственном ему стиле Пономарев, бывший менеджер нефтяной компании ЮКОС, превратившийся в радикального активиста, выразил суть проблемы. Общие слова о борьбе с «антинародным режимом» скрывали заведомую невозможность и нежелание лидеров официальной оппозиции организовать сопротивление трудящихся. В свою очередь, массы, предоставленные собственной апатии, жили по старой формуле «плетью обуха не перешибешь».

Однако на горизонте маячила и другая перспектива. Реальными болевыми точками общества были реформа образования и жилищно-коммунального хозяйства, трудовые отношения. В январе 2005 года, приняв Федеральный закон № 122 (о «монетизации» льгот) — иными словами, лишив

значительную часть населения имевшегося у нее ранее права на бесплатный проезд в общественном транспорте, власти спровоцировали самый настоящий бунт.

Когда Федеральный закон № 122 вступил в силу, власти не ожидали, что сопротивление будет столь масштабным и охватит всю страну. В свою очередь, для самих участников протеста неожиданностью оказалась легкость, с которой была достигнута победа. Уже к началу февраля власти пошли на уступки, в значительной мере восстановив права «льготников», хотя сам закон формально отменен не был.

Отступление властей в феврале 2005 года отнюдь не означало отказа правительства от провозглашенной им повестки дня. Новая волна неолиберальных реформ готовилась давно. Строго говоря, уже в первой половине 1990-х годов либеральные идеологи подчеркивали, что реформы не доведены до конца, пока сохраняются субсидии на жилье, пока не приватизированы земля и другие природные ресурсы, пока образование и здравоохранение не переведены полностью на коммерческие рельсы. Однако сделать это в 1990-е годы не представлялось возможным. Причин тому было несколько.

Захваченной и поделенной между победителями «общенародной» собственности в начале 1990-х годов было вполне достаточно. Серьезный интерес представляли крупные предприятия, нефтяные месторождения, газовая промышленность. На этом фоне жилищное хозяйство, даже леса с водоемами не выглядели особенно привлекательными. С другой стороны, несмотря на собственную пропаганду, правящие круги прекрасно понимали, что ничего хорошего реформа для большинства населения не сулит. Приватизация, открытие рынков и либерализация цен в сочетании с распадом СССР (вызвавшим распад хозяйственных связей) привели к резкому снижению жизненного уровня. На таком фоне реформы в социальной сфере могли обернуться настоящей катастрофой. Дело, разумеется, не в человеколюбии власть имущих, которые в последний момент пожалели население, а в том, что даже лидеры 1990-х годов понимали: всему есть предел. Наложение социальных реформ на экономические грозило обернуться либо широкомасштабным бунтом, либо просто массовой гибелью населения. А это отнюдь не входило в планы правительства: для того, чтобы приватизированная экономика работала, люди были нужны — пусть бедными, но живыми.

Компромисс между «красными» директорами и финансовой олигархией, достигнутый в 1994 году, предполагал и определенные уступки народу. Наступление на социальные гарантии прекращается. Возникает своего рода равновесие, вполне отвечающее стратегии и идеологии «хозяйственников» — приватизированная экономика соединяется с сохранением остатков советских социальных гарантий, что обеспечивает выживание значительной части промышленных предприятий.

В новых условиях, когда государство резко обеднело, денег на поддержание социальной сферы, конечно, не хватало. Проблему пытались решить за счет регулярных невыплат и задержек зарплаты, а также за счет почти полного прекращения инвестиций в инфраструктуру и «социалку» (денег хватало только на ее механическое поддержание). Зарплаты становятся нищенскими, что ведет к резкому снижению качества образовательных и социальных услуг. Но даже эти жесткие методы не смогли предотвратить в 1998 году дефолт и крах рубля (любопытно, что спустя два года та же ситуация повторилась и в Аргентине, которую либералы предлагали России в качестве позитивного образца).

В результате дефолта экономический рост возобновляется, поддержанный резким ростом мировых

цен на нефть. На страну хлынул поток нефтедолларов. Бюджет государства становится профицитным.

Казалось бы, у правительства, наконец, появились средства, чтобы не только поддерживать, но и поднимать социальную сферу. Однако на практике происходит прямо противоположное. Власть возвращается к планам приватизации и коммерциализации, отброшенным в 1993—94 годах.

Достигнутая при Путине политическая стабильность создала в Кремле иллюзию, будто угроз, с которыми пришлось считаться в 1993—94 годах, больше не существует. Неприятные воспоминания о бунтах 1993 и 1998 годов ушли в прошлое, власть пользовалась реальным или мнимым, но все же авторитетом. Почему бы не использовать момент?

В социальном плане ситуация тоже изменилась. Угрозы голода больше нет. Теперь, когда не только государство, но и граждане немного оправались от потрясений 1990-х годов, можно было возобновить процесс либерализации. Рост зарплат гарантировал, что люди смогут купить на рынке услуги, которые раньше должны были либо получить от государства, либо не получить вообще.

С другой стороны, лакомые куски нефтяной промышленности, газовые месторождения, металлургические комбинаты не только были уже поделены, но, как свидетельствовал конфликт вокруг ЮКОСа, начинали становиться объектом передела. Однако у приватизации появлялись новые перспективы. Недвижимость стала гораздо дороже, следовательно — ценнее. Реальную ценность начинала приобретать и сфера жилищно-коммунальных услуг. Объекты и структуры, подпадающие под приватизацию в ходе новой волны реформ, становились по-настоящему привлекательными.

К тому же Россия поставила своей целью присоединение к Всемирной торговой организации. А принципы ВТО требовали коммерциализации всего и вся, открытия всех отраслей для рыночной конкуренции и международного капитала. В частности, «монетизация» льгот и закон № 122 открывали путь для приватизации транспорта или для развития частной конкуренции в этом секторе. Политика правительства была вполне логична. «Вторая волна» реформ предполагала целый комплекс взаимосвязанных мер, начиная от коммерциализации транспорта, заканчивая превращением жилищно-коммунального хозяйства и образования в прибыльный частный бизнес. На заключающем этапе должна была настать очередь медицины (включая постепенный демонтаж системы бесплатного обслуживания населения в поликлиниках по месту жительства).

Однако полной уверенности в реализуемости этих планов даже у самого правительства не было. Оно действовало по «принципу тянитолкая»: проводится какое-то мероприятие если оно наталкивается на сильные протесты, власти дают задний ход, но затем, когда ситуация успокаивается, начинают новое наступление. Этот механизм прекрасно можно проследить не только на примере закона № 122, но и на примере реформы образования, которая, с одной стороны, вроде бы буксовала на протяжении 2004—2005 года, но с другой стороны, все же продвигалась вперед. Постепенно начались слияния университетов, сокращалось количество бесплатных мест для студентов.

Спокойное продолжение 2005 года показало, что план срабатывал. Несмотря на то, что наступление на социальные права не прекратилось, массовых протестов до конца года не было. И все же в расчете властей было слабое звено. При кажущемся спокойствии не проходило и недели без сообщения о локальном конфликте или забастовке в том или ином регионе России.

На протяжении первой половины 2000-х годов наблюдалось резкое сокращение числа трудовых конфликтов. Как показывает статистика, высшей точкой забастовочной активности был 1997 год,

когда в стачках участвовало 887 тысяч человек. В политическом плане выступления протеста достигли наибольшей остроты в следующем году, несмотря на то, что число участников стачек, согласно официальной статистике, опустилось до 531 тысячи, а в 1999 году упало до 238 тысяч. Однако в начале 2000-х годов, когда экономический рост стал реальностью, число забастовок упало еще более резко: 31 тысяча участников в 2000 году, 13 тысяч в 2001 и всего 5 тысяч в 2002 году. Опираясь на эти данные, экономист Ф.Н. Клоцвог сделал вывод, что «протестное движение трудящихся в стране по мере стабилизации экономической ситуации стало угасать».[546] Однако история рабочего движения свидетельствует, что экономический рост как раз создает благоприятные условия для забастовочной борьбы.

В октябре 2005 года в России был зафиксирован резкий рост числа стачек, в основном в сфере образования, из-за вопросов, касающихся заработной платы. Это подтверждали не только оппозиционные листки и профсоюзные сайты, но и официальные источники. Как сообщала Федеральная служба государственной статистики, в октябре в России забастовки прошли в 2565 организациях. За девять месяцев этого года в России было зафиксировано лишь 9 организаций, в которых прошли забастовки. В октябре 2004 года уже был зафиксирован всплеск забастовок, когда стачки прошли в 5907 организациях (за январь-сентябрь 2004 года — только в 11 организациях). Всего в забастовках в октябре 2005 года приняло участие 83,8 тысяч человек против 0,7 тысяч человек за январь-сентябрь 2005 года. Общие потери неотработанного рабочего времени в результате забастовок в октябре составили 83,8 тысяч человеко-дней (1,3 тысяч за январь-сентябрь 2005 года). Таким образом, рабочее движение, достигшее низшей точки в 2002–2003 годах, вновь пошло на подъем.

Разумеется, значительная часть стачек приходилась на так называемых бюджетников, работников «социальной сферы». «В октябре 2005 года забастовки прошли в 2565 организациях, 2477 (97 %) из них — организации образования, 60 (2 %) — организации, предоставляющие прочие коммунальные, социальные и персональные услуги, 27 (1 %) — организации здравоохранения, физической культуры и социального обеспечения. Основная причина забастовок — проблемы, касающиеся заработной платы», — говорится в докладе Росстата.[547] Однако трудовые отношения становились куда более напряженными и в промышленности.

Со своей стороны работодатели почувствовали угрозу. Путинский Трудовой кодекс давал предпринимателям широчайшие возможности для борьбы с профсоюзами, и хозяева предприятий не преминули этим воспользоваться. Организаторов увольняли, проведение собраний блокировали, рабочих вызывали на индивидуальные беседы с начальством, требуя выйти из профсоюза. «Идет настоящая война», — констатировал Петр Золотарев.[548] Однако на общем фоне растущей активности рабочих это наступление на права трудящихся лишь способствовало их политизации и радикализации.

Новый Трудовой кодекс, принятый Государственной Думой по инициативе администрации Путина, откровенно дискриминировал свободные профсоюзы и делал забастовки технически невозможными. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), верная традициям официальных профсоюзов, разумеется, поддержала инициативу Кремля. Андрей Исаев (бывший анархист, ставший заместителем председателя ФНПР и депутатом от «Единой России») приложил наибольшие усилия для того, чтобы протолкнуть через парламент это антипрофсоюзное и антирабочее законодательство.

Напротив, свободные профсоюзы — Всероссийская Конфедерация Труда (ВКТ), Конфедерация Труда России (КТР), «Защита труда» и «СОЦПРОФ» решительно выступили против Кодекса, однако договориться между собой оказались не в состоянии.

Разногласия между депутатом Государственной Думы Олегом Шеиным, фактически возглавлявшим «Защиту Труда», и руководством ВКТ привели к тому, что вместо единой кампании протеста велось сразу две. К тому же стороны постоянно обменивались взаимными обвинениями. Если ВКТ делало ставку на затягивание процедуры и внесение поправок в Кодекс, то Шеин настаивал на собственном альтернативном варианте, на победу которого — учитывая подавляющее большинство прокремлевских фракций в Думе — никаких шансов не было. Кампания Шеина оказалась, однако, весьма удачной с пропагандистской точки зрения. Когда стало ясно, что остановить принятие нового Кодекса нет никакой возможности, усилия команды Шеина переключились на формирование Российской Партии Труда.

Эта партия оказалась недолговечной из-за немедленно возникших в ней разногласий. Основная часть актива ВКТ была с самого начала исключена из процесса, поскольку и Шеин, и лидер «СОЦПРОФа» Сергей Храмов именно в них видели своих главных соперников. Объединить под одним флагом леворадикальных активистов «Защиты Труда» и руководителей «СОЦПРОФа», стоявшего на самом правом фланге рабочего движения, можно было только на основе совершенно размытых лозунгов. Парадоксальным образом, новая партия получилась не только деидеологизированной, но и аполитичной. Не скрепленная ни общими идеями, ни четко сформулированными совместными целями, она начала разваливаться буквально с первых же дней своего существования. Хуже того, на фоне общего полевения и радикализации профсоюзного актива она являлась скорее препятствием для развития этого процесса. После развала РПТ ее бывшие лидеры и основная часть актива эволюционировали в противоположных направлениях. «СОЦПРОФ» оказался окончательно изолирован от основной части свободных профсоюзов, а Шеин в поисках нового политического прибежища вступил в партию «Родина».

Между тем, после того как новый Кодекс вступил в силу, практические результаты оказались не совсем такими, как планировала власть.

С одной стороны, началась вынужденная политизация альтернативных профсоюзов. Столкнувшись с невозможностью работать по-старому, активисты рабочего движения становились радикальнее, осознавая, что источником их проблем является правительство и проводимый им курс. Возникла естественная почва для сотрудничества с формирующимся новым левым движением. «Страна в таком положении, что без той или иной политической ориентации работать просто невозможно, — констатировал член Совета ВКТ Леонид Гуревич. — Новый Трудовой кодекс, поддержанный ФНПР, практически запретил проведение забастовок и лишил альтернативные профсоюзы права заключать коллективные договора. Необходимость борьбы с этим законом привела к тому, что альтернативные профсоюзы стали блокироваться с левыми демократическими движениями страны, преимущественно молодежными... Это безусловно надо приветствовать».[549]

С другой стороны, низовые подразделения ФНПР — в тех случаях, когда они действительно хоть что-то пытались сделать для защиты прав своих членов, — сталкивались с прессом нового кодекса не меньше, чем «альтернативщики». Поскольку официальное руководство Федерации их в подобных случаях игнорировало либо становилось на сторону властей и хозяев, это вызвало растущее

раздражение. Там, где ФНПР вообще имело низовой актив, этот актив все больше тяготел к свободным профсоюзам.

Конец 2005 года ознаменовался двумя тенденциями. С одной стороны, правительство, после вынужденной паузы, вызванной неожиданно активным сопротивлением своих подданных, возобновило наступление на социальные и гражданские права. С другой стороны, впервые после многолетнего паралича наметился явственный подъем рабочего движения, выразившийся в росте числа стачек. Значительная часть этих выступлений была вполне успешной, а главное, они были хорошо организованы, проведены не стихийно, а под руководством профсоюзов, которые понемногу преодолевали страх перед новым Трудовым кодексом.

В военной психологии есть понятие Panzerangst — иррациональный, но вполне объяснимый страх пехоты перед танками. Лишь преодолев этот первый шок, возникающий при виде ползущей на него металлической машины, пехотинец обнаруживает, что у танка тоже есть уязвимые места, что его можно подбить, сжечь, что сидящих в нем людей тоже можно испугать.

Нечто подобное произошло и с профсоюзным движением. Новый Трудовой кодекс на некоторое время погрузил свободные профсоюзы в состояние шока. Но затем активисты рабочих организаций обнаружили, что и в условиях нового кодекса можно бороться, а главное, целый ряд его самых репрессивных статей можно без особых последствий нарушать или обходить. В итоге, мы увидели череду успешных выступлений, начиная от «незаконной» (но победоносной) стачки на «Башкирских авиалиниях», заканчивая забастовками в Петербургском порту и на заводе «Форд» в Ленинградской области. Как отмечала левая пресса, стачка на «Форде» оказалась совершенной неожиданностью для предпринимателей, которые привыкли «рассматривать рабочих бывшего СССР как неорганизованную бессловесную массу».[550] Однако ситуация изменилась, и сознание рабочих — тоже. В отличие от 1990-х годов, классовая солидарность из общего лозунга стала превращаться в реальную практику. Так, активисты профсоюза «Единство», автомобилестроители из Тольятти, помогали своим коллегам на заводе «Форд» при подготовке к стачке. Лидеров профсоюза даже направили в Бразилию для обмена опытом с латиноамериканскими товарищами. Как рассказывал позднее лидер «Единства» Петр Золотарев, международная солидарность реально изменила ситуацию на местах. «После бразильской конференции фордовские делегаты воодушевили рабочих рассказами о международном опыте. Прошли перевыборы, в профсоюз сразу вступили 50 процентов».[551] Точно так же актуальным вопросом стала солидарность между различными, порой конкурирующими профсоюзными организациями. Вслед за стачкой на «Форде» по всей автомобилестроительной отрасли началась самоорганизация рабочих. Создавались новые профсоюзы, выдвигались требования, проводились акции. В феврале 2007 года, когда на «Форде» происходила очередная стачка — уже третья по счету — за ней следила вся страна. Интервью с лидером забастовщиков Алексеем Этмановым публиковали ведущие газеты. Профсоюзы научились не только бастовать, но и привлекать к себе внимание.

Рабочие отрасли начали координировать свои выступления, даже если их профсоюзы формально принадлежали к разным федерациям. К чести левого актива надо отметить, что он сыграл немалую роль в преодолении соперничества. В 2003–2004 годах по инициативе Института проблем глобализации (ИПРОГ) прошли три форума «Будущее левых сил», на которых смогли собраться вместе не только представители различных марксистских групп, но и активисты свободных

профсоюзов, а также некоторых неправительственных организаций. Профсоюзные дискуссии третьего форума показали, что вопрос о единстве действий реально назрел.[552] Другим центром содействия рабочему движению стал Институт «Коллективное действие» (ИКД), возглавляемый Карин Клеман. Отношения между ИПРОГОм и ИКД были достаточно напряженными, но в апреле 2005 года обе структуры, преодолев свое соперничество, выступили организаторами Российского социального форума (РСФ). К нему присоединилось и возглавляемое Александром Буггалиным движение «Альтернативы», Школа трудовой демократии и другие группы.

Разумеется, социальный форум не мог сам по себе стать организационной формой для дальнейшей совместной деятельности его участников. «Заимствовав у международных социальных форумов лучшие их качества, — писал молодой марксист Илья Будрайтскис, — возможность встречи самых разных групп и инициатив, свободу дискуссии, РСФ в полной мере скопировал и их недостатки — желание закрывать глаза на реальные разногласия и стремление к бюрократизации мероприятия. Проходящие одновременно заседания по образованию и трудовым правам, гражданским свободам и молодежи, их подчеркнута узкая направленность практически не оставляли шанса на обсуждение общей, ситуации в стране, логики капиталистических реформ и стратегии сопротивления».[553]

Однако ничем иным форум и быть не мог. Будучи необходимым первым шагом к политической консолидации на основе массового движения, он не мог заменить последующих столь же необходимых и закономерных шагов. Успех социального форума дал толчок к развитию объединительных процессов, как в левой политике, так и в профсоюзном движении.

Несмотря на крайне сложные отношения между лидерами, сотрудничество между профсоюзами, принадлежащими к различным объединениям, становилось реальностью. Возобновились переговоры о слиянии ВКТ и КТР, правда, так и не давшие ожидаемого результата. Автомобилестроители начали создавать общероссийскую ассоциацию, куда решились вступить не только представители «Единства», но и активисты с «Форда», формально тогда еще числившиеся в ФНПР. Эта ассоциация превратилась летом 2006 года во всероссийский отраслевой профсоюз, вошедший в состав ВКТ. Возглавили его лидер рабочих «Форда» Алексей Этманов и Петр Золотарев из Тольятти.

Прошедший осенью 2005 года съезд ВКТ избрал новое руководство, провозгласившее профсоюзное единство одним из своих приоритетов. «Мы открыты для сотрудничества с любой профсоюзной организацией, — заявил новый председатель ВКТ Борис Кравченко. — Будь это небольшая „Защита труда“ или ФНПР, которому потребуется наша поддержка».[554]

Укрепление в России свободных профсоюзов знаменовало новый этап общественного развития, когда конфликт между трудом и капиталом не только осознается значительной частью трудящихся, но и подталкивает их к самоорганизации. Но появление независимых рабочих организаций на уровне предприятий автоматически ставило вопрос о дальнейших перспективах их развития. С одной стороны, антипрофсоюзный Трудовой кодекс толкал рабочее движение к политизации. С другой стороны, однако, возникала опасность вовлечения профсоюзных лидеров в политические игры правящих верхов, превращения их в объект манипуляции политических технологов, работающих на Кремль или на либеральную оппозицию. Неудачная попытка создания Российской партии труда в начале 2000-х годов говорила сама за себя.

В конце XIX века социал-демократические кружки, возглавляемые молодыми активистами Владимиром Лениным и Юлием Мартовым, поставили перед собой задачу соединения марксизма с

рабочим движением. Спустя более столетия российские левые как будто вернулись в исходную точку. Что, впрочем, естественно для страны, переживающей капиталистическую реставрацию. «Итак, — писал известный марксист Алексей Пригарин, — задача внесения социалистического сознания в ряды современного пролетариата, а затем и руководимого им полупролетариата, как и сто лет назад, встает перед нами практически заново». Если эта задача не будет решена, то никаких перспектив нет не только у левых, но и у демократического движения, ибо, кроме трудящихся, никакой другой массовой силы, способной опрокинуть авторитарный режим, в России нет и не будет. «Революционная энергия протеста, энергия ненависти к существующему режиму, должна быть дополнена, „оплодотворена“ современной социалистической идеологией с мощной гуманистической составляющей. Изначально базовыми ценностями коммунистической идеологии в ее марксистском понимании была свобода человека и возможность его личностного развития».[555] К сожалению, общих слов о необходимости социалистического сознания оказывалось недостаточно. Социалистическое сознание не приходит к массам независимо от участия в политике. А политическая борьба требует политической программы и организации, которой ни у левых, ни тем более у активистов свободных профсоюзов не было.

После 2005 года перед левыми открылись новые перспективы. Возникла общественная потребность в левой идеологии, без которой невозможно было политически оформить требования, выдвигавшиеся самим населением. Эта потребность была не просто «объективной», но в значительной мере и осознанной. Разрыв между обществом и официальными политическими силами (что проправительственными, что оппозиционными) неуклонно нарастал на протяжении всего постсоветского периода, но сейчас он стал уже очевидным для всех. Когда официальный праздник в день революции 7 ноября был отменен, на улицы Москвы вышло необычно много народу, среди которого оказалось немало пожилых сталинистов, но националистов практически не было.

Последние маршировали 4 ноября в день нового праздника, символизировавшего национальное единство. Митинг 7 ноября, который еще несколько лет назад был бы «красно-коричневым», стал абсолютно красным. Не было ни одного черно-бело-желтого, державного флага, ни одной иконы или портрета Николая II — того, что было «нормальным» для коммунистического митинга в 1990-х годах. Практически не было людей с антисемитскими и националистическими лозунгами, хотя раньше они составляли почти половину присутствующих. Изменился возрастной и социальный состав. Появилась молодежь. Но это были лишь первые симптомы сдвига, который еще только начинал происходить. Причем сами оппозиционные лидеры перемен не замечали, а если и замечали, то всячески им противились.

С трибун по-прежнему звучала бессмысленная патриотическая риторика, под каждым словом которой мог бы подписаться Путин. Налицо были признаки перемен, но так же очевиден был и тупик, в котором оказались думские политики. Оппозиция продолжала жить лозунгами 90-х годов. Во главе ее стояли прежние лидеры, ей были свойственны прежние способы организации. Они абсолютно не отвечали новой ситуации. Строго говоря, они не отвечали общественным потребностям уже и в 1990-е. Но тогда они были скорее симптомами общественной болезни. К середине 2000-х они не отражали даже объективное состояние умов в обществе. Старые оппозиционные силы влиять на власть были неспособны.

Для того чтобы социальное движение обрело значение политической силы, необходим был план

последовательных действий, опирающийся на собственную непротиворечивую идеологию. Эта идеология нужна не для удовлетворения амбиций интеллектуалов, а для того, чтобы дать ответ на десятки повседневных и, казалось бы, частных вопросов, встающих перед активистами социальных движений. Почему нужно объединяться с одними силами и не объединяться с другими? Почему невозможно блокироваться с фашистами, хотя они тоже могут быть против существующего режима? На какой основе можно найти компромисс между различными группами, отстаивающими специфические интересы? Должны быть ясные критерии, которые есть только у тех, у кого есть внятная идеология.

Реальное демократическое движение может сложиться как сочетание левой политической программы с общедемократическими лозунгами. Оно нарастает по мере того, как у людей, вовлеченных в социальную борьбу, усиливается конфликт с государством. Все начинается с конфликтов на местах, но очень быстро люди обнаруживают, что без победы над своими конкретными врагами, сидящими в городской администрации, администрации области, и, в конце концов, в Кремле, без политической победы, политической свободы, они не смогут добиться решения своих социальных проблем.

Жесткий разрыв как с националистами из КПРФ, так и с либералами встал в повестку дня. Это был не вопрос идеологической чистоты или тактической целесообразности. Это был вопрос о самом существовании движения.

Чтобы изменить общество, требовалась революция внутри самой оппозиции.

В условиях путинской России середины 2000-х годов формирование политических партий парламентского типа оказалось не только бесперспективным, но и бессмысленным делом.

Бесперспективным потому, что власти приняли в 2003–2005 годах целый ряд законов, однозначно направленных на то, чтобы не допустить появления и регистрации новых партий. Принятое Думой законодательство резко ограничивало свободу политической организации, навязывая стране выбор между «Единой Россией» и псевдооппозицией, заведомо неспособной предложить альтернативу сложившемуся порядку вещей. На всякий случай, по инициативе Кремля наряду с правоцентристской. «Единой Россией» была создана партия «Справедливая Россия», которой предстояло занять место на левом фланге. Однако «левизна» этого политического проекта была несколько ограничена стоящей перед ним задачей поддерживать и защищать существующий порядок вещей.

Игра по этим правилам оказывалась бессмысленным делом потому, что государственная система страны отводила даже легальным партиям заведомо второстепенную роль. Участвуя в избрании законодательных органов власти, они мало влияли на серьезные вопросы, решавшиеся почти бесконтрольно властью исполнительной. Дума при Ельцине и Путине могла влиять на президента не больше, чем при Николае II — на политику царя.

Парадоксальным образом, подобное ограничение демократии для левого движения было лишь стимулирующим фактором. Соблазн создания «парламентской организации» весьма велик в стране, где демократия эффективно функционирует. В России левые изначально избавлены от парламентских иллюзий. Любая избирательная кампания могла теперь играть лишь вспомогательную, тактическую роль, да и это оказывалось скорее исключением. Единственным путем добиться перемен становилась повседневная работа в массовом движении.

В такой ситуации принципиальное значение приобретают программа и организация социального протеста. Политическая ответственность марксистов состоит в том, чтобы помочь выработать и то и другое. В процессе этой работы сложится и собственная организационная структура, собственная идеология левых, неразрывно связанных с объединяющимися для защиты своих интересов трудящимися.

На данном этапе можно видеть несколько уровней программно-организационной интеграции движения. Прежде всего к началу 2005 года были уже очевидны общие «протестные» лозунги, которые объединяют широкие массы: «Нет реформе жилищно-коммунального хозяйства!», «Нет коммерциализации образования!», «Нет росту тарифов!» и т. д.

Сталкиваясь с массовым сопротивлением своей политике, власти неизменно бросают протестующим обвинение в «неконструктивности». Если лидеры протеста поддаются этой провокации, их дело безнадежно проиграно. Так называемые конструктивные лозунги не воспринимаются общественным сознанием и легко игнорируются властью. Конструктивность предполагает путаную дискуссию по мелочам, которую власть навязывает оппозиции, чтобы уйти от ответственности за собственные действия. Именно потому, что любая власть стремится сделать любую оппозицию неэффективной, она постоянно требует от нее конструктивности. На практике «конструктивность» — привилегия власти. В условиях общественного кризиса эффективность оппозиции обратно пропорциональна ее «конструктивности». А в реальной ситуации постсоветской России перемены возможны только через серьезный кризис.

Это, конечно, не значит, будто нет необходимости в позитивных требованиях и программах. Просто позитивная программа не имеет ничего общего с мелочным торгом «конструктивной оппозиции». Это — альтернатива. Чем более радикальная — тем лучше.

Политические требования неотделимы от политической организации. Они отражают уровень зрелости и силу движения — в противном случае любые умные программы остаются не более чем академическими текстами, интересными для десятка интеллектуалов. Организационно-политическое оформление движения является сложной и многоступенчатой задачей. Исходной точкой мобилизации всегда являются стихийно выдвигаемые массами требования. Показательно, однако, что уже на митингах в январе 2005 года и во время забастовок звучали не только призывы к отмене антисоциальных законов, повышению зарплаты. Говорили и об отставке правительства и президента и даже о необходимости национализации крупнейших корпораций. Все это вполне органично складывается в программу левой альтернативы.

Без национализации невозможно в долгосрочной перспективе найти ресурсы на развитие сектора социальных услуг. А главное, не будет структур, на основе которых можно обеспечить прогрессивное развитие социальной сферы. Это реальность, с которой столкнулось уже правительство Тимошенко на Украине. И дело тут не только в количестве государственной собственности, но и в организации общественного сектора — именно как общественного — ориентированного на решение определенных задач, не на прибыль, а на свои собственные критерии и ценности, на демократический контроль и прозрачность, невозможные в условиях частного предприятия и старой государственной бюрократии. Общественный сектор необходим как фактор противостояния рынку, и в этом смысле его развитие является принципиальным лозунгом переходной программы. Это — второй, политический уровень самосознания движения.

Надо помнить, что развитие массового движения происходит не в изоляции от других политических процессов, разворачивающихся в обществе. Периодически обостряющийся кризис верхов стал в России неизбежным спутником политической системы. Борьба за престолонаследие, соревнование кланов, пытающихся усилить свои позиции при требуемой по Конституции замене Путина на нового президента, открывала новые возможности для всех, кто стремился к переменам. Но опыт 2004 года на Украине свидетельствовал, что эти возможности легко могут быть упущены. «Мы обязаны донести до общественного сознания, — писал левый публицист Дмитрий Галкин, — что левые являются противниками социально-политического строя в целом, и смена одних представителей правящего класса на других сама по себе нас не устроит, независимо от степени либеральности участников этого процесса обмена. По сути дела, перед нами задача превращения противостояния внутри правящего класса в конфликт между правящим классом и обществом».[556]

Отсюда необходимость подняться на третий уровень самосознания — переход от сочетания требований к их обобщению, к формированию консолидированной позиции. Это невозможно без определенного единства организации. Если на первом этапе было достаточно сотрудничества, то на следующем становятся необходимы коалиции. И в конечном итоге нужна организация, отражающая широкие классовые интересы. Не только экономические и социальные, но и политические. Не монолитная, не авторитарная структура, но и не широкая обезличенная сеть. Противоречия движения носят объективный характер. Это не только пресловутые «амбиции лидеров», на которые принято ссылаться, оправдывая неспособность к объединению, но, в первую очередь, реальные различия идеологии, организационных методов, политической культуры, а главное — социальные различия в мире труда. Единственным способом преодолеть эти противоречия, не пытаясь их механически подавлять, становится работающая демократия. Не бесконечная дискуссия в поисках «консенсуса», не манипулятивные политические технологии «сетевого маркетинга», когда решения вообще неизвестно кем и где принимаются, а демократический процесс, требующий не только гласного и открытого обсуждения вопросов, но и солидарных действий.

Левые должны не только говорить красивые слова о солидарности, но и сделать культуру солидарности основой своего повседневного политического существования. Точно так же в условиях повсеместного наступления расизма левым недостаточно повторять ритуальные интернационалистские лозунги. Надо превратить интернационализм в объединяющую идею движения, сделать его основой практической работы.

Первой попыткой создания самостоятельной организации был Левый фронт. О нем говорили уже во время Российского социального форума. Для активистов оппозиции, не решавшихся порвать с КПРФ, создание фронта казалось удобным промежуточным решением. Для тех, кто видел необходимость самостоятельной политики — необходимым первым шагом вперед.

К середине 2005 года идея Левого фронта витала в воздухе и в России, и на Украине. КПРФ реагировала на это крайне болезненно, распространяя по своим сетям всевозможные циркуляры, запрещающие членам и сторонникам партии участвовать в подобных инициативах. Дошло даже до специального распоряжения, призывавшего партийные организации уничтожать тиражи газеты «Правда-info», пропагандировавшей создание фронта.

Напротив, на Украине официальная коммунистическая партия создание фронта поддержала. В интервью газете «Новый понедельник» лидер КПУ Петр Симоненко заявил, что Левый фронт

«может оказаться той политической силой, в которой граждане левых взглядов, независимо от партийной принадлежности, смогут выразить свою активную жизненную позицию по отношению к социально-экономической ситуации в стране и побороться за места в представительных органах власти всех уровней».[557]

Как на Украине, так и в России речь шла о широком движении, основанном на сочетании коллективного и индивидуального членства, объединенного общей левой программой, которая оставила бы достаточную свободу для развития различных идеологий и течений. Однако легко заметить, что Левый фронт в трактовке партийных лидеров КПУ превращался в коалицию, ориентированную прежде всего на выборы и обслуживающую потребность партии в мобилизации избирателей. Именно поэтому инициатива буксовала, несмотря на сообщения про «успешный переговорный процесс с нашими потенциальными союзниками».[558] Для становления Левого фронта нужен был не «переговорный процесс» политиков и бюрократов, а активная работа в массовом движении, работа, никак не привязанная к выборам и тактическим задачам тех или иных парламентских партий.

Парадоксальным (точнее, диалектическим) образом в России негативное отношение к Левому фронту со стороны старых оппозиционных структур не только осложняло работу по его созданию, но и способствовало тому, что процесс оказывался более глубоким и радикальным.

Инициатива создания фронта была выдвинута на Российском социальном форуме в апреле 2005 года, а в июне прошла первая конференция активистов, обсуждавших его перспективы и принципы.

Объединительный процесс поддержала часть «зеленых», ориентирующаяся на известного историка Александра Шубина, социалистическое движение «Вперед», созданное сторонниками Ильи Будрайтскиса, небольшая Российская партия коммунистов, возглавляемая Алексеем Пригариним, и социал-демократическая партия Александра Оболенского. Однако серьезным испытанием для Левого фронта было не привлечение на свою сторону тех или иных групп и партий, которые в любом случае не были массовыми, а способность сформировать собственный актив, налаживая связи с социальными движениями. Светлана Шакелина, инициировавшая создание ЛФ в Костроме, констатировала: организационная работа «предстоит скрупулезная». Для того, чтобы сформировать движение, «нужно бороться за каждого человека».[559]

В ряды фронта вступили Гейдар Джемаль и руководитель Института «Коллективное действие» Карин Клеман. Активно работали в Левом фронте и сотрудники ИПРОГа. Среди активистов СКМ происходило явное размежевание. Вопреки официальному запрету на участие во Фронте, принятому руководством, активисты СКМ в регионах не только присоединялись к нему, но и инициировали его формирование. В Тюмени к ЛФ присоединились активисты Авангарда красной молодежи.

Осенью медленно и трудно начался организационный процесс, постепенно охватывающий регион за регионом (Москва, Иваново, Петербург, Кострома, Сызрань, Краснодар, Тюмень). В сложившихся условиях не заранее готовая идеология, а «именно практическая деятельность и совместные дискуссии» являются основой для консолидации, писал Дмитрий Галкин. И тут же сетовал: надо наладить устойчивые контакты с активистами и лидерами социального движения на всех уровнях, создавать каналы для распространения левой идеологии, а «в распоряжении Левого фронта пока нет необходимых для этого инструментов».[560]

Легко понять, что альтернатива могла предстать перед обществом только как порождение его

собственной активности, как результат его собственной борьбы, собственного противостояния политике элит. Именно в ходе такого противостояния формируется и получает поддержку масс Переходная программа, открывающая путь к изменению социального строя.

Историческая «встреча» массового социального, протеста и левой идеологии так же необходима обеим сторонам в начале XXI века, как уже упоминавшееся нами знаменитое «соединение марксизма с рабочим движением», о котором говорил Ленин в конце XIX столетия. Однако с этим процессом связаны не только новые возможности, но и серьезные опасности — особенно в том случае, если сами по себе левые ничему не научатся на опыте 1990-х годов. Сотни тысяч людей, поднявшиеся против власти в начале 2005 года, руководствовались отнюдь не идеологией, а своими повседневными интересами, зачастую — очень конкретными и прагматическими. Такой протест был вполне нормальным и естественным результатом того, что общество прошло социальную «школу» капитализма — но только ее начальный уровень.

В подобной ситуации левым грозило совершить две ошибки. С одной стороны, попытка тащить движение за собой, навязывать ему готовые идеологические клише, строить его вокруг заранее сформированного политического проекта, была бы не только вредна, но и бесперспективна.

Наученные горьким опытом прошедших лет, массы уже не доверяют политикам, какие бы ярлыки и этикетки те на себя ни наклеивали. Преждевременные инициативы по политизации движения воспринимаются массами как стремление ими манипулировать. Об этом говорили многие представители и лидеры массовых организаций, особенно профсоюзных. Все еще слишком хорошо помнят, как в начале 1990-х годов либеральная элита использовала недовольство шахтеров, конфликтовавших с советским начальством, ради протаскивания рыночных реформ, обернувшихся для тех же шахтеров катастрофой. В 2005 году политическое сознание лидеров профессиональных союзов было уже иным. Борис Кравченко говорит о том, что «необходимо противостоять неолиберальному наступлению на права трудящихся»,[561] что «современные условия функционирования капиталистической системы делают чрезвычайно насущным не просто наращивание активности наемных работников, но наращивание всеобщей активности. Всеобщей — то есть классовой. Всеобщей — то есть политической».[562] Но он же одновременно подчеркивает: «нами нельзя манипулировать».[563]

С другой стороны, не менее опасна готовность многих левых активистов плестись в хвосте у общественного движения. Эта постоянная способность к идейному самоотречению во имя «работы с массами» нередко сопровождается (а отчасти по Фрейду компенсируется) яростным сектантством, как только речь заходит о внутренних дискуссиях в левой среде. Формируются как бы две политические линии: одна для «своих», другая — «для масс».

Задача состоит в том, чтобы, работая в рамках массового движения, способствовать его политизации и идеологической консолидации, опираясь на те силы и тенденции, которые вызревают непосредственно на местах. Между тем Левый фронт все более превращается в своеобразный «энтристский проект» марксистской интеллигенции, которая стремится укреплять связи с массами, ничего не меняя в собственном политическом существовании, не принимая на себя ответственности за трудные самостоятельные решения, не вступая в жесткое противостояние с националистами и либералами из официальной оппозиции.

Для успешного развития массового движения ему требуется не присутствие в его рядах некоторого

количества левых интеллектуалов, а собственное хорошо организованное политическое крыло, выразитель его требований. Легко догадаться, что подобный политический проект отнюдь не равнозначен формированию «авангардной партии», но именно он создает политическую оболочку, в рамках которой мог бы при сложившихся общественных условиях сформироваться политический авангард.

Своего рода эскизом Левого фронта в России является Молодежный левый фронт (МЛФ).

Закономерно, что именно молодые активисты, остро чувствующие перемены и менее привязанные к старым структурам, первыми выступили с инициативами объединения. По словам Ильи Пономарева, одного из инициаторов создания МЛФ, задача состоит в том, чтобы превратиться «из маргинальной, хоть и многообещающей тусовки» в политическую силу, «с которой серьезно считаются». А это равносильно тому, чтобы перейти «от герильи к фронтовым операциям».[564]

Однако МЛФ, складывавшийся как конфедерация уже готовых групп, оказался неспособен преодолеть ни противоречия между ними, ни, во многих случаях, сектантский характер их идеологии.

Практическая работа часто вырождается в сектантское соперничество между группами, хвастающимися, кто больше листовок раздал у ворот очередного бастующего завода, а молодежная организация КПРФ колеблется между необходимостью бросить вызов собственному партийному начальству и страхом перед его гневом. Налаживать работу без конфликта с руководством КПРФ невозможно, и не потому что официальная партия негативно смотрит на сотрудничество с другими коммунистами или троцкистами (функционеры КПРФ мало интересуются идеологией, если не считать борьбы с сионистским заговором), а потому, что никакая практическая работа партийному начальству вообще не нужна. Политическая деятельность на предприятиях или на улице за пределами обычной избирательной агитации воспринимается ими как дестабилизирующая, опасная, непредсказуемая и нарушающая привычный распорядок. Характерно, что созданные КПРФ структуры по координации «протестной деятельности» начали с того, что расписали себе план мероприятий на несколько лет вперед!

Противоречия между группами и лидерами привели МЛФ к острому кризису, в результате которого его федеральный оргкомитет вообще перестал функционировать. Это, однако, не остановило объединительный процесс, а быть может, даже придало ему новый импульс. Во всяком случае, уже безо всякого федерального оргкомитета активисты МЛФ провели летом 2005 большое количество молодежных лагерей.[565]

Начавшееся тем же летом формирование Левого фронта выявило те же проблемы и противоречия. На первых порах, однако, казалось что, теперь участники процесса лучше знали политический фарватер и могли избегать хотя бы некоторых подводных камней. Было решено избегать «верхушечного» объединения лидеров, не создавать формальную конфедерацию самостоятельно действующих организаций. Региональные организации, которые одна за другой стали возникать к концу осени 2005 года, делали основную ставку на индивидуальное членство. Тем самым на практике был сделан первый шаг к формированию структуры партийного типа. Однако сами инициаторы фронта к этому готовы не были. Говоря о перспективах фронта, его лидеры ограничивались предположением, что он будет расти и развиваться по мере того, как масса эксплуатируемых и угнетаемых работников начнет осознавать себя классом. Фронт либо состоится,

либо потерпит поражение вместе с массовым движением.

Между тем массовое движение в 2006 году было уже не на подъеме. Такое чередование «приливов и отливов» является естественной особенностью стихийных народных выступлений. Чем меньше структурировано движение, чем меньше в нем роль политических организаций и профсоюзов, тем более резкими оказываются такие колебания.

Проект Левого фронта, зародившийся в 2005 году в момент резкого и для многих неожиданного подъема массовых выступлений, основывался на предположении, что этот общественный подъем продолжится. Но он выдохся уже к началу 2006 года, несмотря на то, что социальные проблемы отнюдь не были решены. Напротив, профсоюзная борьба, которая начала разгораться в 2006 году, требовала гораздо более систематического и долгосрочного подхода, которого имевшийся левый актив предложить еще не мог. Работа по организационному и идейному структурированию движения требует самоотверженной активности и сознательных усилий. Нужна идеологическая и стратегическая перспектива, но она не может быть оторвана от реальности, от задач текущего дня. Если весной и даже осенью 2005 года левыми владела своеобразная политическая эйфория, вызванная долгожданным, но все равно неожиданным выходом масс на улицы, то к началу 2006 года стало ясно, что массовое движение идет на спад. Предстояла систематическая работа по созданию собственной организации, способной развиваться и расти независимо от спадов и подъемов социального движения. В подобной организации нуждалось само массовое движение. Серьезная борьба требует серьезной стратегии, требует широкого круга активистов с устоявшимися взглядами и четкими позициями. Уже к концу 2005 года стало очевидно, что проект Левого фронта зашел в тупик. Как всегда бывает в подобных случаях, кризис повседневной работы привел к обострению политических дискуссий, которые стремительно повели только что возникшую организацию к расколу.

Не успев еще состояться в качестве политической организации, Левый фронт сразу же столкнулся с кризисом выбора. Что дальше? Становится самостоятельной политической силой (что связано с немалым риском и ответственностью), или выступать в качестве рыхлого и аморфного образования, пытаясь либо пристроиться к КПРФ, либо к стихийному социальному движению. Между тем, социальное движение само нуждалось в политической поддержке, а сотрудничество с КПРФ означало неминуемое участие в проекте «объединенной оппозиции» — вместе с нацистами и в интересах правых либералов. И чем более представители Левого фронта отдавали себе отчет в том, какова действительная повестка дня «объединенной оппозиции», тем более позорным становилось любое сотрудничество с партией Зюганова.[566]

Раскол в Левом фронте окончательно стал реальностью весной 2006 года, сразу же после «коричневого Первоя», организованного КПРФ совместно с ДПНИ.[567] Единственным избранным на тот момент руководящим органом был московский региональный совет фронта, где незначительным большинством пользовались сторонники «критического сотрудничества» с партией Зюганова. Результатом стал развал фактической организации. Покинутая большей частью активистов и даже лидеров, она превратилась в небольшую столичную группу со слабо выраженным политическим лицом.[568]

И все же попытка создания Левого фронта в 2005–2006 годах оказалась отнюдь не бесполезной. Она была неудачным, но необходимым экспериментом, закономерным шагом на пути консолидации

движения. А главное, в ходе организационного строительства выявились и стали понятны большому числу активистов принципиальные политические проблемы, не решив которые невозможно вести борьбу за, социализм в России.[569] Если в начале 2005 года у многих активистов еще оставались иллюзии о возможности сотрудничества с КПРФ, то опыт нескольких месяцев Левого фронта привел к окончательному пониманию того, что единственным выходом является разрыв с националистами и правыми, строительство самостоятельной организации.

Базой для объединения не может быть декларированная идеология — общие слова о свободе, социализме и справедливости пишут на своих знаменах многие. Принципиальное единство достигается на политической основе. Именно поэтому тысячу раз был прав Ленин, называвший размежевание предпосылкой к объединению. Сознательное сотрудничество требует недвусмысленности и ясности позиций.

К тем же выводам пришли левые активисты и на Украине, где история «оранжевой революции» в очередной раз показала, что кризис системы сам по себе не ведет к радикальным переменам, и даже раскол в правящих верхах не открывает путь для социальных преобразований, если нет знаменитого «субъективного фактора» — политической организации, способной выработать собственную программу, стратегию и тактику.

В условиях «спокойного развития» капитализма, когда массы в основном инертны, а правящие круги прочно контролируют ситуацию, левым не остается ничего иного, кроме позиционной войны, медленной и утомительной работы по завоеванию тактических позиций. В такие времена революционная риторика часто оборачивается сектантской беспомощностью, а самозванные авангарды превращаются в лучшем, случае в дискуссионные клубы. Но в эпохи кризисов жизнь неожиданно предъявляет левым совершенно новые требования. В такие времена нужен политический авангард, просто потому что плестись в хвосте у событий равнозначно предательству. Между тем, строить организацию и вырабатывать ее политические основы нужно заранее. Если бы Ленин не начал свою (порой казавшуюся безнадежной ему самому) работу по созданию самостоятельной революционной организации еще в период реакции, он вряд ли смог бы рассчитывать на успех в 1917 году.

Вопрос в том, каковы перспективы российского и международного капитализма. Опыт первого десятилетия XXI века свидетельствует о том, что впереди у нас не спокойное, плавное развитие, а череда кризисов. Следовательно, уроки великих революций XX века по-прежнему актуальны. Левое движение России и Украины пережило серию тяжелых неудач, но многому научилось. И главный урок предельно прост. Без самостоятельной организации не будет самостоятельной политики.

Весной 2006 года на Украине состоялись парламентские выборы, которые призваны были подвести окончательную черту в процессе политического преобразования, начавшегося с «оранжевой революцией». Однако итоги выборов лишь углубили политический кризис. Старая система власти была в значительной мере поколеблена, а новая правящая группа не в состоянии была совладать с управлением. Единственным выходом становилась консолидация «новой» и «старой» элиты («оранжевых» и «синих»). Но как осуществить это в условиях, когда одни только что свергли других?

После того, как долго считали голоса; а результаты то и дело колебались, окончательные данные

способны были лишь внушить уныние всем участникам гонки. Партия регионов Виктора Януковича набрала 32,12 %, заняв первое место. Но голосов Янукович, на сей раз, получил существенно меньше, чем во время президентских выборов, когда проиграл «оранжевой коалиции» Виктора Ющенко. Все союзники Партий регионов провалились. Ее успех был обеспечен за счет краха прочих представителей «партии власти» образца 2004 года.

О победе «оранжевого» лагеря тоже говорить не приходилось. Да к мартовским выборам никакого «оранжевого блока» уже и не существовало. Он раскололся на противоборствующие группировки, отстаивающие несовместимые программы. Юлия Тимошенко могла считать своим достижением то, что набрала больше голосов, нежели сторонники президента Ющенко. У нее было 22,27 %, а «Наша Украина» Ющенко набрала всего 13,94 %. Но число голосов, полученных Януковичем, оказалось унизительно большим, а отставание Тимошенко слишком заметным.

Социалистическая партия обошла коммунистов, набрав 5,67 %, а КПУ вообще прошла в парламент, как говорится, «на бровях». 3,66 % — позорно мало для партии, которая еще недавно считалась ведущей силой оппозиции. С другой стороны, голосов, отданных социалистам, оказалось явно недостаточно, чтобы они могли стать самостоятельной политической силой, тем более, что ни стратегии, ни твердых принципов у них давно не было. Получив хорошие результаты, партия Мороза тут же приступила к торгу, желая выгодно обменять свой «электоральный ресурс» на удобные позиции во власти. Предлагая свои услуги поочередно то Ющенко, то Януковичу, Александр Мороз, в конце концов, взобрался на место парламентского спикера, по дороге развалив несколько спроектированных коалиций.

В Верховной Раде сложилась патовая ситуация. Правительство «синих» оставалось невозможно арифметически, а «оранжевых» — политически.

Кратковременное премьерство Юлии Тимошенко показало, что начинается полоса нестабильности, когда на передний план выходит столкновение либерально-консервативной и популистской политики. Другое дело, что это не было еще до конца осознанно самими участниками событий.

Президент Ющенко понял смысл происходящего одним из первых, взяв курс не на «оранжевую коалицию», а на «национальное примирение». Ему вторил главный спонсор «синих» Ринат Ахметов, повторявший, что «синие» и «оранжевые» должны заключить «брак по расчету». В конечном счете, президенту Ющенко предложили коалицию, возглавляемую Виктором Януковичем, в которой Партия регионов объединялась с коммунистами и социалистами. Таким образом, обе «левые» партии выгодно обменяли свои идеологические принципы на министерские портфели в правом правительстве.

Сосуществование «оранжевого» президента с «синим» премьером оказывалось наиболее удобной для украинских элит формулой «национального примирения». Основой «брака по расчету» стало единство классовых интересов потребность в консолидации украинской буржуазии, стремящейся восстановить контроль и управляемость в государстве, все более напоминавшем корабль с заблокированным рулем. До сих пор правящий класс был расколот на многочисленные кланы и группировки, защищавшие лишь свои узкие деловые интересы. После «оранжевой революции», похоже, здешняя буржуазия созрела как класс.

В 2004 году смена власти внутри правящего класса оказалась невозможной без вовлечения масс в политику. В результате процесс действительно стал сильно напоминать революцию, если не по сути,

то по форме. А это не могло не тревожить правящий класс в лице любой его фракции. Чтобы вернуть контроль над ситуацией требовалась теперь консолидация элит. И чем более радикальным и стихийным был процесс перемен, чем больше в нем было участие народа и чем яснее начинала маячить на горизонте перспектива, что за политическими переменами последуют социальные, тем острее правящими кругами осознавалась необходимость в консолидации.

Кризис верхов, разразившийся на Украине в середине 2000-х годов, вполне соответствовал традиционным представлениям о революционной ситуации (тем более, что даже внешние признаки революции были налицо). Недоставало, однако, главного: политических сил, готовых выступить с принципиальных левых позиций, и масс осознавших непримиримое противоречие своих интересов с интересами элит.

Реальную угрозу для буржуазного проекта на Украине представляли пока, увы, не в левые, а в экономический популизм Юлии Тимошенко. Именно этот страх развалил в 2005 году «оранжевое» правительство. Именно этот страх толкал недавних противников на «брак по расчету».

Блок Юлии Тимошенко оказался единственной парламентской силой, вытесненной за рамки компромисса. Оставшись в несколько неожиданной, но вполне логичной роли лидера оппозиции, киевская красавица могла теперь всласть произносить народолюбивые речи и клеймить продажных политиков, а коммунисты и социалисты получили возможность прибиться к правительству, четко настроенному на проведение очередной порции неолиберальных реформ. Как цинично признался один из представителей партии Ющенко: «Регионы ничего хорошего не получили, то, что должна была нести „Наша Украина“ — это несчастье — это сейчас будут нести они».[570]

Только нести это несчастье правительство Януковича предпочитало не в одиночку, а при поддержке коммунистической и социалистической партий.

Казалось бы, повестка дня, сформулированная правящим классом Украины, требовала его консолидации. Жилищно-коммунальная реформа, ликвидация последних остатков социальных гарантий для населения — такую политику может успешно проводить лишь сильная власть, опирающаяся на единодушную поддержку элит. На практике же классовая зрелость украинской буржуазии оказалась явно недостаточной для того, чтобы гарантировать политическую стабильность. Созданная Виктором Януковичем коалиция призвана была консолидировать правящий класс и решить общие проблемы, стоящие перед местным капитализмом. Однако с первых же дней своего существования она вместо того, чтобы обеспечить примирение соперничающих фракций украинского капитала, стремилась к реваншу донецкого клана. Путем скупки голосов отдельных депутатов из партии «Наша Украина» и Блока Юлии Тимошенко правительство наращивало свой перевес в Верховной Раде, одновременно отказываясь от компромиссов и соглашений с лидерами этих группировок.

Эта агрессивная политика в парламенте сопровождалась не менее агрессивным проведением антисоциальных мер, затрагивавших жизнь большинства граждан Украины. Счета за газ, электричество и воду росли с такой скоростью, что российские чиновники и предприниматели могли только завидовать. Поскольку примерно половина населения страны оказалась не в состоянии платить, власти угрожали репрессиями. В Полтаве даже были разработаны роботы, способные пролезать по водопроводным и канализационным трубам и блокировать их в квартирах неплательщиков.[571] Надежды на «европейский выбор» и быстрый рост уровня жизни,

порожденные «оранжевой революцией», развеялись в прах. Официальная статистика 2007 года констатировала, что «каждый четвертый украинец живет за чертой бедности».[572]

Такая политика отвечала интересам обеих фракций украинской элиты, тем более, что «оранжевые» были лишь счастливы от того, что подобные непопулярные меры проводятся не их руками, а руками «голубых». Однако уже весной 2007 года все рухнуло, и две группировки снова противостояли друг другу созывая массовые митинги в центре Киева. Президент Ющенко подписал указ о роспуске парламента. Верховная Рада сопротивлялась, обвиняя лидера страны в неконституционных действиях, а Тимошенко с Луценко, забыв о своем соперничестве, призывали народ к новой «оранжевой революции». Надо признать, что призрак оранжевой революции своими неумелыми действиями вызвал не кто иной, как сам Янукович, не к месту произнеся зловещее заклинание «конституционное большинство». До тех пор, пока перестановки в правительстве не затрагивали полномочий президента, уличная оппозиция не имела шансов. Депутаты из «Нашей Украины» и блока Юлии Тимошенко переходили в правящую коалицию группами и поодиночке, ведомые верным классовым инстинктом: Янукович в качестве премьера с Ющенко в роли президента, проводящие одну и ту же политику, — вот формула консолидации правящего класса.

Но как только упомянуто было «конституционное большинство», стало понятно, что консолидации не будет. Не компромисса Янукович добивается, а реванша. Консолидация сменилась расколом, а оппозиционные популисты обрели политический шанс. Убедить президента в том, что в собственных его интересах разогнать парламент, покушающийся на его власть, было не слишком сложно. Как иронично писали киевские «Столичные новости», президент уже не слишком задумывался о границах своих конституционных полномочий, о политических последствиях происходящего: «страх потерять свою президентскую роль (которая уже давно стала ролью английской королевы) оказался сильнее страха опозориться перед народом».[573] Кризис в Раде позволял вернуться к уличной политике. Янукович поступил как ученик чародея в известной сказке: стоило его ненадолго оставить без присмотра, как он выпустил на волю силы, которые не способен контролировать.

Политический кризис, обрушившийся на Украину, демонстрировал не только слабость правящего класса. Несмотря на отчаянную пропаганду обеих сторон, ни «голубые», ни тем более «оранжевые» уже не могли вызвать среди своих сторонников прежнего энтузиазма. Доверие населения к обеим фракциям буржуазии явно падало. Предательство вождей коммунистической и социалистической партий было очевидно большинству их недавних сторонников. Но марксистские левые, несмотря на свои успехи, по-прежнему оставались маргинальной политической силой, неспособной изменить ход событий.

Поразительным образом, несмотря на существенное различие правил игры и общеполитической ситуации в России и на Украине, левые в обоих государствах прошли схожий путь и пришли к схожим выводам. В обоих случаях им пришлось столкнуться с соблазном «единой демократической оппозиции», что грозило потерей самостоятельного лица и утратой связи со своей социальной базой. В обоих случаях они пытались сотрудничать с парламентскими коммунистическими партиями, которые на практике продемонстрировали, что являются реакционной силой. В обоих случаях неизбежный вывод из этих перипетий состоял в том, что необходимо создавать собственную политическую организацию, левую партию.

На первый взгляд, проблемы, с которыми столкнулись российские марксисты в начале XXI века, выглядят зеркальным отражением проблем их западных единомышленников. Если на Востоке левое движение страдает от почти полного отсутствия организационных структур и устоявшихся институтов, то на Западе эти структуры и институты есть, но зачастую сами оказываются препятствием для развития борьбы. В Западной Европе предстоит радикально преобразовать сложившиеся политические институты на левом фланге, на Востоке их приходится создавать по существу с нуля. Однако является ли отсутствие готовых структур таким уж большим злом? Применительно к российским левым можно говорить о своеобразном «преимуществе опоздавшего». Отставание от Западной Европы позволило в начале XX века Ленину, Розе Люксембург и Троцкому сформулировать свои новаторские идеи — благодаря критическому анализу уже накопленного западного опыта. Другое дело, что подобный анализ оказался продуктивен именно потому, что не был академическим. Учитывать чужой опыт нужно было не только для того, чтобы не повторить чужих ошибок, но и для того, чтобы понять своеобразие собственной ситуации, выработать стратегию и тактику собственных действий.

Россия начала XXI века переживает нечто похожее. Другое дело, что наряду с западным опытом (не говоря уже об историческом опыте революционного движения в своей стране), мы должны воспринять и уроки последних лет, которые нам преподали события в «третьем мире», в Восточной Европе, в бывших советских республиках. В общем, как говорится, «вспомнить все!»

В этом плане у российских левых есть существенное преимущество и перед их украинскими товарищами. Урок «оранжевой революции» должен быть усвоен и выучен. Не для того чтобы повторять сектантские и оппортунистические подходы к демократической борьбе, великолепно проявившиеся во время украинского кризиса, а для того, чтобы выработать собственную наступательную стратегию, позволяющую переломить развитие событий. Российские элиты убеждены, что способны монопольно контролировать политический процесс, манипулируя всеми его участниками, включая протестующие массы и левых активистов. Их уверенность основана на опыте 15 постсоветских лет. Но все имеет свой конец.

Левое движение на Востоке Европы получает от местного капитализма ценный «подарок» в виде регулярно возобновляющегося системного кризиса, усугубляемого острой борьбой за власть и расколом элит.

История не простит нам, если мы упустим эти уникальные возможности. Мы несем ответственность не только за свою собственную судьбу, но и за ту часть глобальной работы, которую Вам необходимо проделать в интересах мирового левого движения. В конечном счете — в интересах всего человечества. У нас есть шанс, которым мы обязаны воспользоваться.

И для этого — все богатство международного исторического опыта левых в нашем распоряжении. Умение использовать чужие уроки — это и есть основа стратегии.

Глава XII. Другой мир возможен

Всемирный социальный форум бросил вызов буржуазному порядку, провозгласив яркий и оптимистичный лозунг «Другой мир возможен!». Но что это за другой мир, который предлагается построить на замену старому? И чем он будет отличаться от обществ, которые уже предлагали себя в качестве альтернативы капитализму на протяжении XX века? В чем состоят уроки социалистических экспериментов ушедшего столетия? И какие выводы левые сделали из этих уроков?

Обычное замечание, которое, несомненно, приходилось слышать десятки раз любому левому активисту: вы, конечно, неплохо критикуете существующую систему, но где ваша альтернатива, что вы можете предложить конкретного? В ответ, как правило, левые пускаются в общие рассуждения относительно переустройства общества на совершенно иных принципах, однако это редко убеждает собеседников.

С другой стороны, в нашем распоряжении есть замечательная демократическая увертка, основанная на совершенно правильном, в сущности, принципе свободного самоопределения. Надо только раскрыть потенциал свободы для трудящихся, дать им в руки рычаги реальной власти, а дальше народ сам решит, все само устроится. Ведь социалистическое преобразование это не замена одной элиты на другую (даже если на первом этапе борьбы подобное обычно имеет место). Речь идет о том, чтобы общество само организовывало свою жизнь в соответствии с принципами демократического участия и самоуправления.

Однако и здесь возникает проблема. Общество, конечно, должно получить в свои руки контроль над экономическими и социальными переменами, но это тоже происходит не в один момент, а созревание масс для самоуправления — длительный и болезненный процесс. Не зря же Ленин говорил, что во время революции глупостей совершается не меньше, а больше, нежели в обычное время. Миллионы людей, не имеющие опыта участия в управлении (если не считать тупого раз в два-три года опускания в урны избирательных бюллетеней) вдруг обретают доступ к реальной власти, пусть и на низовом уровне. Естественно, что в этом отношении революция представляет собой не только «праздник угнетенных», но и вакханалию некомпетентности. Представителей старых элит специально готовили, чтобы управлять нами. Нас же никто не учил управлять даже самими собой! В этой ситуации левые как минимум обязаны что-то предлагать обществу — не только новые кадры для управления (из которых по «железному закону олигархии» вот-вот готова вылупиться новая, бюрократическая элита), но и идеи. Как сможет общество «само» найти правильный путь, если этого пути никто не будет предлагать, никто не будет обсуждать его, и никто не будет анализировать и критически переосмысливать накопленный опыт (а это тоже часть программной работы).

Одна из важнейших проблем, с которыми сталкивается левая программатика, состоит в том, что действительно радикальные (и потому наиболее эффективные и исторически необходимые) меры, настолько выходят за рамки всего повседневного опыта, накопленного нами в буржуазном обществе, что порой кажутся даже нам самим нереалистическими, немислимыми и утопичными. Именно поэтому попытка «прописать» эти новые отношения подробно и детально, заранее обречена на провал. Новые общественные отношения, складывающиеся в процессе драматических-перемен, сами будут порождать новые вопросы и диктовать ответы, от которых зависит окончательный облик некапиталистического будущего, точно так же, как процесс политический борьбы, развитие социального, экономического и политического кризиса капитализма будут формировать конкретный облик социалистической альтернативы не меньше, нежели труд теоретиков и идеологов.

Проекты будущего легко превращаются в утопии, очень красивые и привлекательные, но совершенно не пригодные для реализации. Впрочем, проблема утопий не в том, что они не реализуются. Есть множество вполне прагматических проектов, которые тоже не реализуются на практике, причем многие из них в своем приземленном прагматизме не менее далеки от реальности, чем самые абстрактные утопии. Нет, главная проблема утопии в другом. Предъявляя нам картину

желаемого будущего в готовом виде, они отрывают его от противоречий и борьбы сегодняшнего дня. А именно из этих противоречий, из этих решений и из этой практики новое общество и родится. При всей своей противоположности нынешнему порядку, новый мир исторически неотделим от старого. Мы строим из тех кирпичей, которые имеем в наличии. В этом мы подобны варварам на развалинах Древнего Рима. И не исключено, что на первых порах устанавливаемые нами порядки будут настолько же примитивнее и буржуазных, насколько варварские строения были архитектурно хуже античных. Другое дело, что история оправдывает подобных горе-строителей. Разрушая величественные сооружения прошлого, они не только удовлетворяли насущные потребности своего времени, но и закладывали основы новой цивилизации, которая, достигнув расцвета, далеко превзошла своих предшественников.

С другой стороны, точно так же, как не варварские нашествия были причиной краха Рима, а напротив, разложение и распад античного порядка предопределил успех варварских вторжений, так и судьба капитализма, в конечном счете, зависит не от нас. Старый режим сам себя разрушает. Вопрос в том, что и кто придет ему на смену. И в этом плане ответственность левых — чрезвычайна. Вопреки сложившемуся за последние годы стереотипу, программная работа левых на протяжении XX века была достаточно плодотворна. Поражения, понесенные социалистическими силами в конце столетия, отнюдь не означают, что эта работа должна быть забыта, а ее «интеллектуальный продукт» выброшен за ненадобностью. Поступая так, мы обрекли бы себя на повторение заново многого из того, что уже сделано, не говоря уж о воспроизведении многочисленных ошибок (кстати, опыт 1990-х показал, что дружное осознание ошибок большевизма немедленно привело к массовому повторению менее «знаменитых» ошибок, совершавшихся в начале XX века другими течениями революционной мысли).

Считается, что Маркс и Энгельс ограничивались общими тезисами о направлении развития общества после победы труда над капиталом, оставив своим ученикам разрабатывать конкретную программу. Это связано с их неприятием утопий и различных мелкобуржуазных реформистских схем, типичных для ранних коммунистических и социалистических организаций. «Каждый шаг действительного движения важнее дюжины программ», писал Маркс.[574]

Однако в «Коммунистическом манифесте» мы находим связную программу «первых мер», которые должен предпринять пролетариат сразу же после взятия государственной власти. Эта программа является довольно умеренной (в частности, она, вопреки общей декларации того же «Манифеста», не предусматривает немедленной и полной ликвидации частной собственности на все средства производства). Речь идет о национализации средств сообщения, создании общественного сектора экономики и демократизации политической жизни. Именно эта программа стихийно исполнялась в середине XX века не только революционными, но и наиболее последовательными реформистскими левыми правительствами. Именно против нее была направлена в конце века волна неолиберальной реакции.

По сути, дела речь шла о создании плацдармов для дальнейшего движения к социалистическому порядку. Пользуясь более поздним термином Льва Троцкого, в «Манифесте» Маркс и Энгельс дали первый набросок «переходной программы».

В начале XX века, когда вдохновленные марксизмом социал-демократические партии стали реальной силой в значительной части Европы, подобного наброска было уже недостаточно. Именно

тогда Карл Каутский и другие идеологи II Интернационала берутся конкретизировать программные установки движения. Вершиной этой работы стала книга Каутского «Путь к власти», где описывались перспективы национализации, новые подходы к управлению и организации общества.[575] Эта работа оказала огромное влияние на всех марксистов того времени. Произведение Карла Каутского, оставалось практически единственным «учебником» для подготовки будущей революции — до тех пор, пока его не заменили практические рецепты советского, китайского или кубинского опыта. Даже Ленин, несмотря на политические разногласия с Каутским, не мог не воспользоваться рекомендациями данной книжки — следы этого легко обнаружить в еще одной классической работе: «Очередные задачи советской власти». Показательно, что проект, сформулированный здесь лидером Октября, выглядит гораздо умереннее того, что сами же большевики уже через год осуществляли на практике. Жизнь поломала многие схемы и вместо поэтапного осуществления социалистических принципов экономической организации поставила в порядок дня политику военного коммунизма. Именно поэтому «Очередные задачи советской власти» повлияли на дальнейшее развитие марксистской программной дискуссии куда меньше, чем написанная еще ранее (но более радикальная) работа «Государство и революция». До Ленина программный подход социал-демократии может быть определен как «парламентская демократия плюс национализация». Институты буржуазной демократии признавались незыблемыми, но они должны были дополниться демократией экономической, которая трактовалась как установление государственного контроля над крупнейшими монополиями, средствами сообщения и связи, финансовыми институтами. Поскольку государство, осуществляющее национализацию, является демократическим, уважающим все права и свободы граждан, опирающимся на их законное волеизъявление, демократический характер носит и национализация, воплощающая коллективную волю всего общества, или, по крайней мере, его большинства. Впоследствии социал-демократы критиковали Ленина с Троцким за то, что их государственный порядок не был формально-демократическим, а это ставило под вопрос и саму национализацию. Если государство не является легитимным органом власти, подчиненным народу, то и государственную собственность трудно без оговорок назвать общественной или социалистической. С этим, кстати, в общей форме соглашался и сам Ленин (именно потому никогда в теоретических работах — в отличие от публицистики — не называл советскую Россию «социалистической»). Однако он, со своей стороны, доказывал, что механическое соединение буржуазного парламентаризма с пролетарской национализацией есть утопия, а конкретные формы политической организаций могут сложиться лишь в процессе классовой борьбы (под влиянием требований и инициатив самих трудящихся). Потому буржуазному представительному парламенту противопоставлялась прямая демократия Советов.

Увы, по отношению к демократии Советов история оказалась не менее жестока, чем к умеренным концепциям социал-демократов. Гражданская война привела к постепенной замене торжественно провозглашаемой власти Советов повседневной властью партийных комитетов в центре и на местах. Точно так же не пережил Гражданскую войну и другой, чрезвычайно важный демократический эксперимент 1917 года — рабочий контроль на производстве. Предприятия выжили лишь в жестком режиме централизованного управления, под контролем классово чуждых, но профессионально компетентных «буржуазных спецов». Однако крах демократических инициатив 1917 года вовсе не означает, будто подобные идеи в принципе обречены на неудачу всегда и везде. Они повлияли на

дальнейшие теоретические поиски, они вдохновляли активистов всякий раз, когда в повестку дня вставало реальное преобразование общества — от Парижа 1968 года, до боливарианской Венесуэлы Уго Чавеса.

Конкретные условия России — отсталой страны, разоренной мировой войной и сотрясаемой войной гражданской, оказались несовместимы с идеалами рабочей демократии. В другое время и, возможно, в другом месте условия могут быть более благоприятны. Но не надо забывать и того, что кризис и крушение капитализма само по себе отнюдь не создают тепличных условий для реализации социалистической программы. Если радикальные левые оказываются где-то у власти, то это почти всегда означает, что предыдущий режим уже довел страну до ручки.

Большевицкая революция дала человечеству бесценный опыт общественных преобразований. Этот опыт достался дорогой ценой, но именно этим он и важен. В конечном счете, понимание трагических ошибок и противоречий советской истории не менее ценно для левого движения, чем признание ее заслуг и не менее очевидных успехов. Дискуссия об «уроках Октября» началась еще при жизни Ленина, в его полемике с Розой Люксембург и Карлом Каутским, а затем была продолжена Троцким и Бухариным. Однако к концу 1920-х годов дискуссия закончилась. Обсуждение социалистической программы было закончено. Его должно было заменить не критическое изучение советского опыта. Коммунистические партии по всему миру дружно прекратили программные дискуссии. Отныне коммунисты точно знали, что такое социализм. Это тот общественный порядок, который существует (и ли создается в СССР). Соответственно, если в СССР что-то есть или должно быть, это признак социализма. Если чего-то в СССР нет, то при социализме этого и быть не должно. Готовая «советская модель» давала ответы на все вопросы. Но по мере того, как левые за пределами Советского Союза узнавали правду о том, что представляла собой жизнь в стране «победившей революции», нарастало разочарование. С каждым годом все более очевидным становился разрыв между идеалом социализма и практикой советского государства. Восторженное принятие «советской модели» сменилось критикой, но, как ни странно, это не сильно продвинуло вперед программную дискуссию.

В то время как троцкисты сосредоточились на спорах о классовой природе СССР (является ли сложившееся государство социалистическим?), недовольные коммунисты принялись за поиски новой готовой «модели», которую видели в каждой новой успешной революции — в Югославии, в Китае, на Кубе. Социал-демократия, окончательно отказавшись от обсуждения стратегических перспектив социализма, ограничивалась разработкой конкретных реформ. А компартии, сохранявшие верность Москве, втайне ожидали реформ в самой советской стране, что позволило бы скорректировать и сделать более привлекательной принятую ими «модель».

В 1960-е годы все окончательно запуталось. Социал-демократы заговорили о демократическом социализме, контуры которого становились год от года все более размытыми — смешанная экономика, политическая демократия и «стремление к равенству». У коммунистов появились сомнения относительно советской модели, которые высказывались не только на Западе, но вполне открыто и на Востоке Европы. А вышедшие на политическую арену «новые левые» и вовсе объявили, что никакого социализма в СССР нет, однако свою позитивную программу так толком и не сформулировали.

Всерьез программные дискуссии возобновились на Западе лишь к концу 1960-х годов, в связи с

массовым подъемом революционного движения. Исходной точкой был отказ от советской «модели» и постепенно нараставшие сомнения в применимости китайского опыта (даже у поклонников Мао не было полной уверенности, что его методы можно повторять во Франции или Норвегии).

Ключевые выводы дискуссии конца 1960-х и 1970-х годов можно сформулировать следующим образом. Во-первых, формальная демократия, сложившаяся в рамках буржуазного общества, явно недостаточна для социализма, но провозглашаемые ею права и свободы имеют непреходящее значение. Если в годы русской революции прямая демократия Советов противопоставлялась парламентаризму, то теперь левые выступали за их соединение. Надо сказать, что такие идеи можно обнаружить и в некоторых текстах Ленина (однажды у него мелькнула даже мысль о сочетании Учредительного Собрания с Советами). Однако ситуация России 1918 года не оставляла шансов на демократическое развитие. В середине XX века трагические уроки СССР заставили радикальных левых более бережно относиться к «формальным» свободам, провозглашенным буржуазной демократией. Тем более, что на практике эти свободы были не подарены народу правящим классом, а завоеваны борьбой трудящихся.

Вторым важнейшим выводом стала необходимость самоуправления. Принцип «самоуправления» стал применяться как универсальный ответ на все вопросы. Самоуправление рабочих на национализированных предприятиях, децентрализация власти и гражданское самоуправление на местах, вот. Что должно было радикальным образом изменить общественные отношения. С точки зрения теоретиков самоуправления, капиталистическая система наемного труда не может быть преодолена до тех пор, пока работники не получают полного контроля над средствами производства. Часть идеологов видела в самоуправлении способ демократизировать государственный сектор, другие, напротив, считали необходимым передавать предприятия в полную собственность рабочих, чтобы таким образом «на деле преодолеть действительный антагонизм между трудом и капиталом».[576] С точки зрения такого подхода национализация средств производства сама по себе мало что меняет. «Только тогда, — писал идеолог Партии самоуправления трудящихся Б.Ф.Славин, — когда каждый труженик, каждый работник станет собственником средств производства и результатов своего труда, когда исчезнет разница между трудом и капиталом, между хозяином и работником, когда на деле будет преодолено вековое отчуждение человека от собственности, власти и культуры».[577]

Откуда, однако, уверенность, что в условиях подобной самоуправленческой экономики все станут собственниками, а отчуждение будет преодолено? При столкновении с жизненной конкретикой несостоятельность подобной позиции просто бросается в глаза. Начиная с того очевидного факта, что далеко не все граждане работают на производственных предприятиях, не все, следовательно, получают доступ к собственности, заканчивая тем, что ценность и капиталоемкость различных объектов принципиально различны (мастерская по ремонту обуви дает совершенно не тот же «доступ к собственности», что металлургический завод или нефтяная скважина). И не окажутся ли «народные предприятия», принадлежащие исключительно своим работникам, в ситуации острой конкуренции друг с другом, живя по законам капиталистического рынка и ежедневно воспроизводя эти законы?

Переход от рыночных отношений к новому, некоммерческому типу производственной координации не может быть решен в один присест и потребуются длительная историческая эволюция, чтобы новые

отношения в полной мере сложились и восторжествовали. Но конкуренция «народных предприятий», объединенных групповым эгоизмом, не только не способствует подобной эволюции, но, напротив, является для нее мощнейшим тормозом.

Доступ к собственности «для всех» возможна лишь в том случае, если эта собственность действительно является общей (народной, а желательно — принадлежащей всему человечеству). Но это, в свою очередь, возможно только при двух условиях: если реальным хозяином является все общество в лице своего законного представителя — государства, и если само государство действительно является демократическим, подконтрольным, подчиненным обществу. Иными словами, уже и не совсем государством в привычном для нас смысле...

Производственное самоуправление было модным лозунгом с 1960-х по 1980-е годы, но сегодня почти забытым даже среди тех, кто видел в нем единственную альтернативу бюрократии. Причина не только в том, что с приватизацией общественного сектора возможности для практического испытания самоуправленческих моделей сошли к минимуму. Накопленный на протяжении XX века опыт самоуправленческих предприятий оказался в значительной мере негативным.

Самым известным, и самым провальным экспериментом явилась коммунистическая Югославия, где развал системы рабочего самоуправления на производстве предшествовал распаду федерации. С точки зрения европейских марксистов 1970-х годов самоуправление в Югославии было извращено двумя факторами. С одной стороны, бюрократическим контролем и отсутствием политической свободы, с другой стороны господством рыночных отношений в экономике. Крушение югославской модели легко объяснить теми же причинами, которые вызвали и крах советской системы.

Бюрократический контроль и отсутствие демократии, парализовавшие инициативу трудящихся, делали невозможными создание социалистической экономики. Однако не меньшую роль сыграло и подчинение предприятий логике рынка. Рабочие коллективы, зажатые между «субъективным» давлением бюрократии и «объективным» давлением рынка, просто не могли быть хозяевами положения даже на собственном заводе.[578]

Аналогичным образом потерпели поражение и самоуправленческие эксперименты на Западе. В отличие от Югославии, где трудящимся предлагалось управлять государственной собственностью, в США и Западной Европе создавались коллективные предприятия, действовавшие в рамках капиталистической экономики. Некоторые из них оказались довольно успешными с точки зрения бизнеса. Вопрос лишь в том, смогли ли они хоть немного изменить общество или хотя бы жизнь своих собственных сотрудников?

Типичным явлением стала самоэксплуатация рабочих, ради спасения предприятий, находящихся в долговой зависимости от частных банков, конкуренция между коллективами и отсутствие солидарности по отношению к трудящимся других компаний.

Сторонники анархо-синдикалистских утопий могут ответить, что все эти несчастья происходили только потому, что капиталистические отношения оставались господствующими в обществе. Если бы вся экономика состояла из самоуправляющихся коллективов, ничего подобного бы не случилось. Однако производственное самоуправление не равноценно общественному и не заменяет демократии. Почему решения должны принимать именно работники данного предприятия, если их действия затрагивают смежников, потребителей, жителей соседних районов, пенсионеров и учителей? Будут ли они учитывать экологические проблемы и потребности общества в целом?

Под влиянием самоуправленческих идей социал-демократы в Германии, Швеции и Австрии начали проводить некоторые реформы, затрагивавшие даже частные корпорации — рабочие (через профсоюзы и производственные советы) получили возможность участвовать в управлении компаниями. Это участие было крайне ограниченным и никак не затрагивало стратегических интересов собственников, позволяя лишь немного ограничить произвол работодателя. Но, парадоксальным образом, в рамках своих ограниченных задач такая система «участие в управлении» оказалась более эффективной, чем самоуправление югославского образца. В то время, как в Югославии в 1990-х годах рабочие практически без боя отдали свои права, в западноевропейских странах рабочее движение успешно сопротивлялось попыткам собственников отнять их завоевания. Государство как структура, обеспечивающая демократическую координацию, остается необходимостью в любом социалистическом проекте, как бы серьезно мы ни относились к угрозе его бюрократического перерождения. Безусловно, в повестку дня встает демилитаризация, дебиюрократизация и децентрализация государства. В известном смысле даже его деполитизация. Однако для того, чтобы решать эти вопросы, нужно повернуться к государству лицом, а не спиной, как предлагают анархисты.

Троцкий сравнивал огосударствление с коконом, в который должна попасть гусеница, чтобы стать бабочкой. Точно так же частная собственность, чтобы стать общественной, сначала должна превратиться в государственную. Однако, как признавал сам Троцкий, множество коконов погибают, так и не став бабочками. Советское государство как раз и было таким огромным коконом, из которого ничего хорошего не вылупилось.

С точки зрения будущего социализма принципиально важно — что именно происходит в коконе. Бессмысленно и утопично сейчас, когда у левых в большинстве стран мира нет не только власти, но даже возможности к ней приблизиться, обсуждать какие будут созданы органы для демократической координации в экономике. Однако вполне возможно предсказать, какие будут стоять перед ними задачи.

Экспроприация крупной капиталистической собственности остается принципиальной целью, если только левые вообще хотят создать общество, отличающегося от буржуазного. Но национализация сама по себе не порождает социалистическое общество, она лишь создает возможность для его развития. Точно так же не исчезает в обществе и противоречие интересов. Поэтому согласование интересов остается принципиальной задачей демократии, в том числе — демократии экономической. В последние годы стало модно говорить про сетевые структуры, якобы идущие на смену старой авторитарной иерархии. Но до тех пор, пока общество разделено на классы, пока существует вопиющее неравенство в сфере собственности, все это остается не более чем демагогией. Другое дело, что в национализированной экономике общественного сектора сетевые структуры действительно могут сыграть решающую роль, став основой демократической координации — между предприятиями, отраслями экономики, регионами и странами.

Смысл сетевых структур в том, чтобы заменить рынок в качестве стихийного регулятора и координатора человеческой хозяйственной деятельности. Преодоление рынка — исторический процесс, который может занять целую историческую эпоху. По существу, это задача гораздо более масштабная, чем задача преодоления капиталистической системы, которая, в конце концов, является не более чем одной из исторически существовавших форм рыночной экономики.

К концу 1970-х годов, по мере роста экологического движения, в программных дискуссиях происходило смещение акцентов. Становилось ясно, что экологические проблемы точно так же не могут быть решены с помощью самоуправления, как они не могут быть решены на основе рыночной экономики.

В 1930-е годы советские пятилетние планы вызывали восторги не только у левых, но и у многих представителей буржуазии. Этот опыт использовался социал-демократами при разработке систем государственного регулирования, администрацией Франклина Рузвельта в ходе борьбы с Великой Депрессией в экономике США, японским министерством промышленности, южнокорейскими военными диктаторами, форсировавшими развитие страны. Однако к 1970-м годам репутация советского планового хозяйства была уже не столь высока. Обнаружились последствия катастрофической бюрократизации, неспособность централизованного планирования реагировать на потребительский спрос, отсутствие четких критериев качества продукции, возникновение «черного рынка», стихийно заполняющего вакуум там, где не справлялись плановые органы. Среди левых начались споры о перспективах «рыночного социализма» или о сочетании плана и рынка. Однако глобальный экологический кризис вновь поставил в повестку дня вопрос о планировании.

Демократическое планирование провозглашалось альтернативой как свободному рынку, так и бюрократической централизации. В отличие от советской системы, демократическое планирование должно строиться на основе участия трудящихся в управлении предприятиями, полной открытости и гласности принимаемых решений. А главное, оно должно быть тесно связано с общим развитием демократического процесса. Выборные органы различных уровней должны получить доступ к принятию решений. В частных корпорациях уже существуют свои представительные органы, во многих из них сложилось некое подобие представительной демократии. Только представлены в них не народные делегаты, не работники компании или ее потребители, а ведущие акционеры. Иными словами, голосуют не люди, а деньги. Однако механизм уже создан и отражает объективную необходимость учитывать при принятии решений разнонаправленные интересы. Первые шаги к созданию структур демократического планирования сделаны уже в буржуазном обществе. Недостаёт главного: перехода власти из рук буржуазии в руки трудящихся...

После краха СССР само слово «планирование» стало среди левых почти запретным. Однако разве можно решать долгосрочные задачи, стоящие перед человечеством, не прибегая к планированию? Киотский протокол во всей красе показал провал попыток использовать рыночные стимулы для улучшения экологической ситуации. Создание новой энергетики, экологическая переориентация производства, переход к действительной, а не воображаемой «экономике знаний», все это потребует долгосрочного планирования в исторически беспрецедентных масштабах. Причем не на уровне отдельно взятой страны, а в масштабах планеты. Социализм в отдельно взятой стране абсурден именно потому, что общественное преобразование является глобальной, а не локальной потребностью.

Однако крушение СССР и отступление левых сил по всему миру, казалось, положили конец программной дискуссии. Сторонники социализма отступили повсеместно. Вопрос о преобразовании общества уже не стоял. Максимум, о чем заботились левые, так это о том, чтобы сохранить хотя бы какие-то социальные завоевания XX века. Хорошим тоном среди левых сделалось критиковать капитализм, не предлагая никаких альтернатив. Или вовсе не говорить о капитализме, выступая

только против неолиберализма. Разоблачив пороки и преступления неолибералов, разрушивших социальное государство, отобравших у трудящихся их завоевания, достигнутые на протяжении XX века и приватизировавшие государственный сектор, левые идеологи оставляли без ответа вопрос о том, чем заменить существующий порядок. Вернуться к социальному государству 1960-х годов? Создать новую модель смешанной экономики или открыть путь для чего-то нового? А если так, то на что это «новое общество» будет похоже?

Предлагать четкие программы казалось совершенно неприлично, поскольку все это — утопия, открывающая дорогу тоталитаризму. В начале 2000-х годов программный дефицит левых стал настолько вопиющим, что это уже само по себе сделало неизбежным новую дискуссию. А стремление во что бы то ни стало отмежеваться от советского опыта, вело, парадоксальным образом, к тому, что никаких уроков из его поражения извлечено не было. Ведь для того, чтобы не повторять ошибки надо их не ругать, а анализировать.

Разумеется, в Советском Союзе никто никакого социализма не построил. Но попытка создать новое общество была предпринята. Была революция, было выступление трудящихся, был приход к власти марксистской партии. Было, наконец, крушение буржуазного порядка, которое происходило независимо от воли революционеров и предопределило, в конечном счете, их политический успех. Никто — тем более среди левых — не может гарантировать, что мы не столкнемся с новыми кризисами буржуазной системы, и не окажемся, подобно большевикам в 1917 году, в ситуации требующей немедленных и радикальных решений.

Между тем в отсутствии программной дискуссии среди левых сложилось некоторое представление о желаемом социалистическом порядке, основанное не столько на теории, сколько на ожиданиях собственных сторонников. В этом плане очень поучительно проанализировать итоги опросов общественного мнения в России. Большинство населения явно недоволено тем, как функционирует капитализм, и желало бы национализации крупных корпораций. Точно так же население желало бы сохранения демократических свобод, активной перераспределительной политики со стороны государства, бесплатного образования и здравоохранения. Напоследок те же люди, что выступают за широкую национализацию природных ресурсов и крупной промышленности, высказываются за сохранение института частной собственности и рыночных отношений.

Получается что-то вроде радикального варианта социал-демократии, прообразом которого была новая экономическая политика Ленина в 1921 году. Только, в отличие от реального нэпа, сопровождавшегося усилением политической диктатуры, новый нэп видится как демократический, с плюрализмом партий, свободными выборами и открытой дискуссией в средствах массовой информации.

Эта картина и в самом деле достаточно привлекательна, Однако не надо забывать ряда обстоятельств. Нэп закончился в 1929 году поражением и установлением сталинского режима. Это поражение было отнюдь не случайностью. И точно так же не случайностью было и усиление авторитарных тенденций в России, происходившее именно в годы нэпа. Стремление соединить общественную собственность на средства производства с демократическими институтами закономерно, в нем выражается сама сущность социализма. Если общество не имеет демократических механизмов для контроля над «своей» собственностью, то эта собственность и не является по существу общественной. И даже будучи официальным собственником, общество эту

собственность неизбежно утрачивает — сначала неформально за счет присвоения власти правящей бюрократией, а затем и формально — через осуществляемую бюрократией приватизацию. Однако значит ли это, будто парламентская демократия, созданная в условиях буржуазного общества, идеально подходит для решения новых задач? Достаточно ли левым ограничиваться рассуждениями о том, что в социалистическом обществе сохранятся все нынешние демократические «и даже больше»? Изменение общественного устройства требует радикального изменения и демократических институтов. Точно так же, как создание большого государственного сектора никоим образом не есть еще социализм.

В конце 1990-х годов модной идеей стала «демократия участия», в качестве примеров которой приводили формирование муниципального бюджета в Порту-Алегри. Однако подобное участие населения в принятии решений, как и любая модель прямой демократии не имеет будущего, если основные ресурсы подвластны частным собственникам и управляются в соответствии с законами рынка. Задача социалистической демократии состоит не только в том, чтобы создать новые каналы участия в принятии решений для граждан города и государства, но, прежде всего в том, чтобы поставить под их контроль экономические процессы.

Программные документы левых партий стремительно деградировали. Конкретные проекты экономических и социальных реформ или революционных мер сменились общими словами о справедливости, равенстве и социалистических ценностях. Не только привычные рецепты стали повсеместно оспариваться, но и сама необходимость заранее составленного плана общественных преобразований оказалась под вопросом. Стало общепринятым заявлять, что не только копирование готовых моделей ведет к удушению свободного творчества масс, но и любые конкретные проекты изменения общества могут только воспрепятствовать этому изменению. Ведь чем более четко мы понимаем, чего мы хотим, тем уже рамки нашего эксперимента! А партии и организации, пытавшиеся сформулировать конкретные программные установки, обвинялись в сталинизме и бюрократической муштре активистов. Революцию и даже реформу нельзя сделать по заранее составленному рецепту: при столкновении с жизнью оборачивается либо приземленным прагматизмом, либо несбыточной утопией.

Отрицая необходимость утопических конструкций и детализированных бюрократических планов, современные левые ударились в другую крайность. Ведь даже критика прошлого опыта имеет смысл лишь в том случае, если мы сделаем из нее практические и конкретные выводы. Если мы готовы сегодня понять причины и последствия поражения русской революции 1917 года, если мы понимаем ключевое значение демократии для антикапиталистических преобразований, отсюда вовсе не следует, будто общих слов о свободе и демократии достаточно для того, чтобы заложить на практике основы подлинного народовластия.

Описывать картины светлого будущего занятие не только бесперспективное, но и достаточно скучное — во всяком случае, по сравнению с попытками изменить мир сейчас и сегодня. Но эта сегодняшняя борьба нуждается как минимум в переходной программе, которая ясно дает понять и нам самим и нашим сторонникам, откуда и куда мы движемся.

Социализм не может быть построен в отдельно взятой стране, невозможно и бессмысленно придумывать «национальные модели» социализма, по крайней мере — постольку, поскольку речь идет о моделях законченных и самодостаточных (до тех пор, пока есть различие культур и

национальных историй, будут и различия в социальной жизни). Но движение к новому обществу в мировом масштабе состоит и будет состоять из многочисленных революционных и реформистских прорывов, совершаемых на почве национального государства. Эти ручейки и реки обречены либо засохнуть, либо слиться в единый поток. Осуществляя социальные преобразования в своей стране, мы именно этим участвуем в глобальном процессе. Нашей задачей в каждом конкретном случае является формирование конкретной переходной программы, которая может стать реальной основой для общественного преобразования **ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС**.

Да, мы не можем и не должны рисовать утопическую картину социализма и коммунизма, оставляя истории самой сделать свою работу. Но без внятной и конкретной переходной программы невозможно движение вперед, невозможна борьба за власть, невозможно даже строительство политической организации. И это относится к левым в России ничуть не меньше, чем к нашим товарищам на Западе.

Социалистическая политика враждебна частной собственности. Современные левые прекрасно отдают себе отчет в том, что далеко не всякая государственная компания принадлежит народу, и что тотальная национализация всего подряд может только замедлить переход к социалистической экономике. Но еще большей ошибкой был бы отказ от политики обобществления в тех отраслях, где она давно назрела.

В России большинство населения традиционно выступает за национализацию крупнейших олигархических корпораций. И эта национализация должна быть проведена. В собственность государства должны быть возвращены нефтяные и газовые компании, металлургические комбинаты, ведущие машиностроительные предприятия, объекты военно-промышленного комплекса, региональные телефонные компании, транспортные предприятия. Они должны быть не только сменили собственника, но реорганизованы и реструктурированы. Речь не идет об участии государства в акционерных обществах, сохраняющих свой корпоративный статус и действующих исключительно в собственных интересах. Олигархические корпорации — независимо от участия государства в их капитале — подлежат экспроприации.

В повестку дня встает и социализация финансов — создание сети принадлежащих общественному сектору банков, обеспечивающих дешевый кредит для предприятий и населения. Сосредоточение в руках демократического государства финансовых ресурсов и производственных объектов открывает возможности для осмысленной инвестиционной политики, направленной на решение задач, стоящих сегодня перед обществом в целом. Речь идет о широкомасштабном технологическом обновлении, повсеместной замене устаревшего оборудования, восстановлении инфраструктуры, создании децентрализованной системы управления, учитывающей интересы регионов, где располагается производство.

Экономика, возникающая в процессе революционных преобразований, несомненно, оказывается «смешанной» — не только потому, что в ней частные предприятия по-прежнему сосуществуют с общественным сектором, но и потому, что она сохраняет неизбежную преемственность по отношению к прошлому. Новые правила жизни не могут сложиться в одночасье, а тем более в одной отдельно взятой стране. Но такая «смешанная экономика» радикально отличается от той, что существовала в Западной Европе 1960-х годов. Меняется, говоря языком классического марксизма, классовая сущность государства, его отношения с обществом.

Либеральные экономисты утверждают, что общественный сектор, ставящий перед собой нерыночные задачи, нерентабелен, живет за счет государственных субсидий, снижает экономику эффективности в целом. Страшная тайна буржуазной экономики состоит в том, что на самом деле основным получателем всевозможных льгот, субсидий и дотаций является именно частный сектор. Задача левых состоит в том, чтобы покончить с таким положением дел. Вы хотите рынок — вы получите рынок! Необходимо жестко разделить государственный и частный сектора. Никаких дотаций, субсидий и льгот частному сектору — только общественным предприятиям. Никаких «смешанных предприятий», никаких «акционерных обществ с государственным участием», позволяющих перекачивать общественные средства в карманы частных акционеров, никакого участия частного бизнеса в освоении государственных средств. Все эти запреты должны быть жестко закреплены законодательно. Если частный сектор хочет жить по законам свободного рынка, пусть по ним и живет.

В середине 2000-х годов представители российского капитализма — от кремлевских чиновников до находящегося за решеткой олигарха Михаила Ходорковского единодушно призывали к развитию передовых технологий, напоминали про интеллектуальный потенциал России и требовали решительного прорыва на этом фронте. Однако реальные результаты оказывались не слишком утешительными, если не считать распространения мобильных телефонов и персональных компьютеров на потребительском рынке. Проблема не только в том, что для действительного прорыва требуется не только вкладывать деньги в фирмы, занимающиеся разработкой программного обеспечения и технологий, но и направлять значительные средства в фундаментальную науку (в том числе в те ее отрасли, которые напрямую с техническими разработками не связаны). Расходы на науку и образование должны быть резко увеличены, а научные и учебные учреждения получить широкую автономию, в основе которой должны лежать демократическое принятие административных решений, полная финансовая открытость, недопустимость захвата частными лицами и группами общественной собственности или приватизация общественных функций.

Однако не только финансирование науки определяет возможность технологического прорыва. Для того чтобы создать нечто революционное, надо изменить приоритеты, поставить новые цели. Если задача технологического развития сводится к решению тех же задач, которые уже решаются в центрах мирового капитализма, если государственная поддержка направлена на те же отрасли и технологические подходы, которые стимулируются и рыночной экономикой, она не имеет никакого смысла. Хуже того, как показал пример Индии и ряда других стран капиталистической «периферии», появление там большого числа компаний, занимающихся написанием программ для компьютеров и другими прикладными исследованиями по заказу глобальных корпораций, не улучшает жизни в стране, не отражается на жизни большинства населения и других отраслях экономики. По сути, речь идет об эксплуатации дешевой рабочей силы, только на сей раз — интеллектуальной.

Революционный подход к технологическому развитию состоит в смене приоритетов, в стимулировании отраслей и направлений, не востребованных и не поддерживаемых рынком, в первую очередь — в сфере экологии.

Распространение принципиально новых технологий в условиях капитализма наталкивается на экономическое препятствие: до тех пор, пока они не внедряются массово, не опробованы в достаточной мере практике и не достигли определенной зрелости, они оказываются непомерно

дорогими, сложными и в силу этого невыгодными. В свою очередь, низкая рентабельность препятствует их массовому внедрению. Возникает порочный круг. Причем с развитием техники повышается и финансовый риск для тех, кто берется за подобные дела. Требуются долгосрочные гарантии, уверенность, что работа, которая делается сегодня, будет востребована через 10–15 лет. Рынок таких гарантий дать не может.[579]

В 1960—70-е годы (когда, собственно, и были разработаны основные принципы, легшие в середине 1980-х в основу «информационной революции»), эта проблема решалась за счет государственных инвестиций и гонки вооружений. В начале XX века, в связи с прекращением «холодной войны», приватизацией и дерегулированием, ситуация изменилась. Сегодня задача социалистического проекта состоит в том, чтобы придать новый стимул прогрессу человечества, но движущим импульсом этого прогресса должны стать не имперские амбиции и военное соревнование, а интересы большинства, социальные, культурные и экологические потребности человечества. Наша задача не бесконечное наращивание потребления, а повышение качества жизни.

Несмотря на провозглашаемый повсеместно культ «инноваций», современная буржуазная экономика крайне враждебна радикальным технологическим переменам. Вместо них обществу предлагаются бесконечные усовершенствования и частичные нововведения, никак не меняющие общих технологических принципов, лежащих в основе производства и социальной организации.

Социалистическая стратегия развития должна не только обеспечить финансирование науки в значительно больших масштабах, чем ныне, но и изменить приоритеты. Речь идет об ориентации на новые экологические технологии, о решении проблем глобального потепления, о создании новых видов транспорта и т. д.

Одним из серьезнейших препятствий на пути человеческого прогресса сегодня является система «интеллектуальной собственности», сформировавшаяся в конце XX века. Хотя исторически принцип «интеллектуальной собственности» восходит к авторским правам, он основывается на совершенно иной логике. Идея «авторских прав» предполагает, что изобретатели и представители творческих профессий должны получать достойное вознаграждение за свою работу — в противном случае они просто не могли бы существовать. «Интеллектуальная собственность», напротив, защищает не права авторов, а права собственников, приобретающих эти права, управляющих ими и ограничивающих доступ населения ко всему новому.

В сфере медицины принципы «интеллектуальной собственности» уже привели к широкомасштабным катастрофам, когда миллионы людей не могли получить доступ к лечению опаснейших болезней — оплата лекарств и доступ к информации были им не по карману. Только после длительной борьбы глобальные фармацевтические компании допустили производство в Африке дешевых местных лекарств против СПИДа на основе запатентованной ими технологии. Южноафриканский исследователь Патрик Бонд совершенно справедливо пишет о том, что свободный доступ к технологическим знаниям должен быть провозглашен в качестве одного из фундаментальных принципов левой программы, поскольку речь идет о правах человека, «праве на доступ к информации и праве на информирование».[580]

Законодательство должно быть радикальным образом пересмотрено, а конвенции, ограничивающие доступ людей к интеллектуальной продукции, денонсированы. В сфере лекарственных препаратов должен быть введен режим открытого доступа к технологической информации, основанный на

принудительном выкупе прав. В перспективе необходимо обобществление компаний, занимающихся научными разработками в сфере здравоохранения и производством лекарств.

Постоянно ужесточающийся режим «интеллектуальной собственности» определяет не только ситуацию на рынке интеллектуальной продукции, но и на рынке вообще. Потребители обречены платить не только за продукцию как таковую, но и за «бренды», за название фирм изготовителей, за их репутацию. На них перекадываются расходы по ведению дорогостоящих рекламных кампаний, с помощью которых эта репутация и создается. Иными словами, покупатель сам же платит за то, что ему морочат голову. Причем платит сразу.[581]

Дорогостоящая продукция нередко производится рабочими, подвергающимися нещадной эксплуатации за нищенские деньги. Превращение «бренда» в товар призвано разорвать связь между себестоимостью продукции, ее качеством и ценой, за которую она продается на рынке. Вернее, «качество» делается символическим фактором. Оно становится неотделимо от «репутации», которую, в свою очередь, формируют не потребители, а рекламные агентства.

Положить конец подобному положению вещей можно достаточно быстро. Необходимо только законодательно закрепить принцип, согласно которому права потребителей стоят выше прав собственников. Любые претензии компаний, жалующихся на нарушение их «прав», на пиратское использование их бренда или неавторизованное использование их технологий должны, безусловно, рассматриваться. Но лишь при условии проведения экспертизы, которая должна подтвердить, что претензии владельцев «бренда» обоснованы, что по соотношению цены и качества их продукция лучше «пиратской». В противном случае держатели «брендов» сами должны жестоко штрафоваться и подвергаться наказаниям.

Любая система, основанная на обобществлении ресурсов, будет работать эффективно только в условиях широчайшей демократии, доступа общества в целом и отдельных его представителей к процессу принятия решений. Историческое значение социализма именно в том, что он выводит вопрос о демократии из сферы чистой политики, превращая его в вопрос, затрагивающий все стороны жизни. Именно поэтому Ленин был совершенно прав, когда говорил о том, что «победоносный социализм необходимо должен осуществить полную демократию».[582]

Радикальная демократизация политической системы должна быть дополнена реальными механизмами, обеспечивающими участие граждан в управлении. Западное рабочее движение накопило немалый опыт подобных преобразований. Например, субсидирование периодических изданий государством должно осуществляться на основе равноправия, пропорционально их тиражу, доступ гражданских ассоциаций к эфиру радио и телевидения должен быть закреплен законом, городские и региональные бюджеты должны обсуждаться и формироваться открыто при участии населения, которое может напрямую выдвигать своих делегатов на подобные собрания.

Местная власть, обеспеченная достаточными ресурсами, а главное, получающая возможность эти ресурсы для себя создавать, сможет обеспечить и дешевое жилье для населения, и ремонт дорог и создание социальной инфраструктуры, включая условия для досуга, образования и общения людей в «публичном пространстве».

Хотя, разумеется, образование, здравоохранение и пенсионное обеспечение не могут быть брошены целиком на плечи местной власти. Общество неоднородно. Даже при сокращении социального неравенства, сохраняется экономическое и климатическое неравенство между регионами. В одних

регионах малочисленное население находится рядом с богатыми природными ресурсами, в других регионах сосредоточены интеллектуальные и культурные центры, а третьих нет ни того, ни другого. Федеральная политика должна быть направлена на выравнивание подобных диспропорций. Точно так же, как принцип солидарности поколений необходимо восстановить применительно к пенсионной системе, солидарность регионов должна лечь в основу социальной политики.

Децентрализация политической власти является объективной потребностью России, замученной произволом бюрократии. Однако подобная децентрализация пойдет на пользу стране только в том случае, если местная власть будет реально подчинена населению, если она будет опираться на переданные ей ресурсы общественной собственности.

Точно так же, как необходимо рассредоточение власти, распределена должна быть и собственность. Гражданский контроль невозможен в условиях полной централизации. Сторонники социализма выступают против централизованно-бюрократической собственности крупных корпораций вовсе не потому, что предпочитают ей такой же централизованно-бюрократический аппарат. Напротив, именно национализация позволит перераспределить контроль над собственностью, децентрализовать управление и сделать принятие решений гласным и открытым, включающим все заинтересованные стороны — работников предприятий, местную и центральную власть, представителей потребителей и гражданского общества.

В свое время в коммунистическом движении сформировалось представление о Советах как демократических органах, которые «выше» буржуазных парламентов на том основании, что избираются не по территориальному, а по производственному признаку. Однако Советы, формирующиеся по производственному признаку в качестве органов территориальной власти, есть очевидный абсурд. Отказ от подобной системы был вызван отнюдь не деградацией рабочего государства, а ее очевидной нефункциональностью. Деградация рабочей демократии выразилась в другом: не имея кадров и опыта, трудящиеся утратили непосредственный контроль над управлением предприятиями. Производственные советы являются важнейшим элементом социалистического преобразования общества постольку, поскольку они позволяют создать структуры экономической демократии, увязать эту экономическую демократию с политической в единое целое, когда, в конечном счете, само разделение этих сфер постепенно исчезает.

Одним из самых болезненных вопросов современной России является вопрос о «силовых» структурах. С одной стороны, Россия переживает очевидную милитаризацию. Самые разные государственные ведомства формируют собственные «силовые структуры», во многом напоминающие феодальные дружины или отряды ландскнехтов в средневековой Европе. С другой стороны, федеральное правительство, оправившись после финансового кризиса 1990-х годов, старается продемонстрировать свою мощь и свой патриотизм, вкладывая деньги в дорогостоящее вооружение. Поток милитаристской пропаганды обрушивается на головы обывателя через государственное и частное телевидение. Между тем престиж военной службы в обществе остается низким, дискуссия о военной реформе буксует, а представители средних слоев общества всячески стараются избежать призыва своей молодежи в армию.

Призывная армия отвергается значительной частью населения, причем далеко не только интеллигенцией и жителями столичных городов. Однако является ли альтернативой наемная армия, за которую ратуют либералы? Разумеется, нет. Во всяком случае, не с точки зрения левых.

Наемная армия предназначена для завоевательных и колониальных походов, а также для подавления собственных граждан. Она не связана с обществом и не контролируется им. Между тем история, наряду с призывной и наемной армиями дает и примеры совершенно иной военной организации. Речь идет о территориальной системе.

Территориальные войска во многом похожи на регулярную армию, построенную по принципу призыва. Но в их основе лежит совершенно иной принцип комплектования. Если призывная армия вырывает молодых людей из привычной среды, перемещает их для несения службы в другой конец страны, а то и планеты, если на время службы они оказываются полностью подчинены правилам армейской дисциплины, заменяющим гражданские права и нормы цивилизованного общества, то территориальная служба предполагает сохранение связи между теми, кто несет службу, и обществом. Это просто граждане, взявшие в руки оружие и надевшие шинели.

Срок службы оказывается гораздо короче, зато возможно регулярное переобучение.

Территориальные войска отмобилизовываются с поразительной быстротой в случае, когда возникает реальная опасность. Зато их очень трудно отправить за тридевять земель ради непонятных целей.

Традиционно принято считать территориальные армии неэффективными. Это действительно так, если критерием военной эффективности является использование пушечного мяса для заграничных авантюр и захватнических экспедиций. В оборонительной войне территориальные войска всегда демонстрировали свои превосходные качества.

Классическим и общеизвестным примером территориальной военной системы является оборона Швейцарии, с которой столетиями никто из могущественных европейских соседей предпочитал не связываться. Однако есть и менее известные примеры. По принципу территориальных войск строится Национальная гвардия США. Показательно, что недовольство иракской войной резко выросло в Америке, как только зашла речь о возможности отправки на Ближний Восток резервистов Национальной гвардии.

Менее известен, но показателен и пример Британии. Принято считать британские вооруженные силы образцом наемной армии. Однако на протяжении столетий в Англии и Шотландии существовали в более или менее развитой форме и территориальные структуры, включая даже военно-морские. В полном масштабе они отмобилизовывались лишь тогда, когда стране действительно грозила опасность — в колониальные экспедиции отправляли профессиональных солдат. Но и эти профессиональные подразделения исторически были связаны с территориальной системой, представляя собой своего рода «кадрированные» территориальные дивизии, состоящие преимущественно из земляков, связанных не только армейской дисциплиной и чувством долга, но и соседской солидарностью, привычкой к взаимопомощи. Именно в этом секрет знаменитой стойкости британских войск в обороне: уже Наполеон обнаружил, что вцепившегося в землю английского пехотинца практически невозможно сдвинуть с места. В годы Первой мировой войны неприятным сюрпризом для германского Генерального штаба стало проведение в Великобритании всеобщей мобилизации. В Берлине были уверены, что страна, никогда не имевшая массовой призывной армии, просто не в состоянии будет это сделать. Однако все прошло гладко и быстро: в дело вступила территориальная система.

Переход к территориальной армии в России позволит сохранить часть прогрессивных военных традиций, одновременно покончив с внеуставными отношениями, произволом командного состава и

эксплуатацией солдат. Эта система отнюдь не препятствует созданию профессиональных воинских контингентов там, где это необходимо, она лишь предотвращает появление критической массы «наемничества», при которой «войско» полностью оторвано от общества.

Наконец, территориальные формирования смогут быть использованы для поддержания общественного порядка гораздо успешнее, нежели бесконтрольные и безответственные «силовые структуры» нынешней власти.

Любая программа левых в России (да и любой другой стране) может быть сегодня только переходной. И не только потому, что новый, социалистический порядок возможен лишь как результат преобразований в мировом масштабе, но и потому, что подлинно демократическая программа тем и отличается от авторитарной утопии, что дополняется, исправляется и переосмысливается самими массами.

Многочисленные вопросы остаются сегодня без ответа: ведь порой даже не имеем необходимых знаний и опыта, чтобы корректно их сформулировать. Как быть, например, с разделением труда? Маркс совершенно справедливо показывал, что именно из разделения труда вырастают классовые различия и возможность эксплуатации человека человеком. До тех пор, пока есть жесткое разделение на управляющих и управляемых, на интеллектуальную и физическую работу, на квалифицированный и неквалифицированный труд, наконец, на творческие и механические задачи — до тех пор в обществе сохраняется возможность неравенства.

Демократия ставит управляющих под контроль управляемых, открывает доступ большинству к принятию решений. Но достаточно ли этого для преодоления различий? Нет, не достаточно.

Надо отдать должное Сталину, который однажды откровенно заметил: «Страной управляют на деле не те, которые выбирают своих делегатов в парламенты при буржуазном порядке или на съезде Советов при советских порядках. Нет. Страной управляют фактически те, которые овладели на деле исполнительными аппаратами государства, которые руководят этими аппаратами».[583]

Маркс видел социализм и коммунизм как социальный порядок, при котором и отдельный человек и общество в целом сознательно и демократично определяют собственное будущее. Это и есть принцип демократического планирования. Но даже бюрократическое планирование советского типа не вполне провалилось. В значительной степени оно было воспроизведено капиталистическими корпорациями в качестве внутреннего принципа. Однако демократическое планирование при капитализме невозможно. Ибо принцип демократии находится в жесточайшем противоречии с принципом собственности. Демократическое пространство едино и неделимо, оно предполагает общий и равный доступ к информации, общие и равные права всех участников процесса. Иными словами, экономика конкурирующих собственников может, при известных условиях быть «свободным», но никогда не демократическим пространством.

Новые технологии, обеспечивающие технический доступ людей к информации, создают впечатляющие возможности для создания демократии нового типа, демократии без границ и «серых зон». Однако не более чем возможность. Практическая реализация этих возможностей зависит от развития классового конфликта. И вполне возможно, что прежде чем радикальные левые получат возможность строить новое общество на основе научных и технологических достижений XXI века, капитализм приведет нас к катаклизмам и потрясениям, которые разрушат изрядную часть этих достижений.

Сегодня мы не можем предсказать ни то, как будет складываться общественное преобразование, ни то, в каких формах и масштабах, какими темпами рыночная координация будет заменяться демократической. Одно ясно: это будет противоречивый, неравномерный и местами драматичный процесс.

Марксисты начала XX века говорили о «Переходном периоде». В глобальном историческом смысле социализм вообще есть не что иное, как переход к некапиталистическому общественному устройству. Этот переход сам по себе полон противоречий, конфликтов. Однако именно эти конфликты могут (и должны в условиях демократии) стать источником динамизма, перемен, новаций.

Перед нами стоит сложнейшая задача создания демократии нового типа, которая превосходит сегодняшнюю либеральную демократию точно так же, как эта последняя превосходит рабовладельческую демократию античных Афин или древнеримской республики. Эта новая демократия подразумевает не только формальное «равенство», но, в первую очередь, реальную «общность». Это не состязание формально равноправных рыночных субъектов в «гражданском обществе», а совместная деятельность свободных людей по реализации общих целей, по управлению общим имуществом. Это общество, в котором, пользуясь выражением Энгельса, «политическое управление людьми должно превратиться в распоряжение вещами и в руководство процессами производства».[584]

В конечном счете, именно необходимость общественного разделения труда — между управляющими и управляемыми, между носителями знаний и техническими работниками, между городом и деревней — породило разрыв между богатством и бедностью, противостояние классов и авторитарную власть государства.

Преодолеть общественное разделение труда — вот самая главная и окончательная цель социалистического преобразования. Насколько она реальна для достижения в полном объеме? Насколько она утопична? Этому мы не сможем понять, пока не попробуем на практике.

Только радикально изменившееся общество в состоянии будет ставить подобные вопросы и искать ответы на них. Это общество, в котором будут стираться границы между государствами, а разнообразие культур и традиций не будет источником конфликтов и противостояния. О таком обществе мы можем сегодня только мечтать.

Но, как известно от древних китайцев, дорога в тысячу ли начинается с первого шага. И шаг этот мы должны сделать в рамках той общественно-политической реальности, которую мы имеем сегодня. Потому преобразование нашей собственной страны — будь то Россия или Украина — является нашим вкладом в изменение миросистемы, нашей долей работы в гигантском и невероятно трудном деле, успех которого далеко не гарантирован.

Буржуазный порядок складывался в Европе столетиями, преодолевая катастрофы неудачных революций, травмы политических поражений и социальных кризисов. Итогом этой гигантской работы стал мир, который мы знаем.

Работа над социалистическим проектом еще только начинается. Первые попытки были не слишком удачны, но они дали нам бесценное богатство исторического опыта. Если мы используем его, если мы с ответственностью и добросовестностью честных тружеников выполним выпавшую на нашу долю часть дела, будущие поколения скажут нам спасибо.

Заключение

В те самые дни, когда антикапиталистические демонстрации бушевали в Праге, «International Herald Tribune» опубликовал передовую статью Уиллиама Пфаффа, говорившую о том, что первоначальный проект глобализации, провозглашенный элитами Запада, терпит крушение — не только из-за протестов радикалов, но и из-за внутренней несостоятельности. Представления о том, что приватизация и дерегулирование ведут к экономическому росту, «уйдут в историю экономики».

Бедность выросла не только в Восточной Европе и «третьем мире», но также в Англии и США. «Модель глобализации уже не является более неоспоримой ортодоксией Запада», — писал Пфафф. Возрастающая часть населения отвергает эти идеи именно в западных обществах.

«Интеллектуальный консенсус относительно глобальной экономической политики рушится».[585]

Однако если эра неолиберализма уходит в прошлое, то облик идущей ей на смену новой эпохи остается неясен. Точнее, он зависит от исхода политических баталий начала XXI века.

Если начало 1990-х годов было трагическим временем для левого движения во всех его традиционных формах — от социал-демократической до коммунистической, от радикальной до умеренной, — то конец десятилетия ознаменовался резким и неожиданным подъемом левого радикализма. Однако эта новая радикальная волна приняла неожиданные и непривычные для левых партий формы. Можно сказать, что движения начала XXI века оказались в равной мере ответом и на политику неолиберализма, и на кризис традиционной левой.

К концу XX века левые организации оказались в ситуации, когда привычные методы политической работы, идеологические доктрины и сама идентичность основных исторических течений европейского социализма оказались поставлены под сомнение. Этот кризис был многосторонним. Лишь на первый взгляд его главной причиной был крах Советского Союза. Можно сказать, что психологический эффект событий 1989–1991 годов был в большинстве стран Запада и Латинской Америки исчерпан уже к 1993–1994 годам. Об этом говорят электоральные результаты левых партий, которые к середине 90-х в основном вернулись к докризисному уровню, а в значительном числе стран и превзошли его. Но политический кризис левых оказался несводим к неудачам на выборах. Наряду с распадом СССР к концу 80-х и на протяжении 90-х годов влияние на политический процесс оказал целый ряд других факторов. Изменилось общество, характер наемного труда, структура занятости.

Индустриальный сектор в европейских странах, Канаде и США был потеснен, с одной стороны, постиндустриальным сектором в ходе информационной революции, но с другой стороны, массовое распространение вновь получил неквалифицированный, доиндустриальный по своему характеру труд в рамках «неформального сектора» (представленного в Европе и США главным образом иммигрантами). В культурно-этническом и квалификационном отношении рабочий класс стал крайне неоднородным. Эта неоднородность должна была предопределить развитие внутреннего плюрализма и культурно-идейного «многоцветия» в левом движении, но в краткосрочной перспективе она вылилась в глубочайший кризис идеологических и организационных норм. Наряду с сокращением индустриального сектора на Севере (или в странах капиталистического «центра») происходило бурное развитие индустрии и рабочего движения на Юге (в странах «периферии»). Это сопровождалось повсеместным демонтажем социального государства и формированием глобального рынка капиталов, подчиненного транснациональным корпорациям.

Механизмы социального и экологического регулирования рынка, выработанные социал-демократией в XX веке, оказались подорваны.

Сумма этих процессов, получившая название «глобализации» или «корпоративной глобализации», на первых порах требовала от левых осмысления, а затем и формирования новых структур, выработки собственных альтернатив, в конечном счете — поиска новой идентичности. На теоретическом уровне сложившаяся ситуация способствовала началу международной дискуссии, в ходе которой должны были обсуждаться заново все традиционные категории социалистического дискурса XX века — «труд», «капитал», «регулирование», «план», «государство», «демократия» и т. д. В конечном счете, это вылилось в очередную дискуссию об актуальности марксизма, совпавшую со 150-летием издания «Коммунистического манифеста». Невероятная популярность данного произведения, вновь ставшего бестселлером на западном книжном рынке конца 90-х годов, говорит сама за себя. Маркс неожиданно предстал перед читателями в качестве пророка глобализации (в этом качестве цитаты из него просочились даже в документы Мирового Банка). Однако свежие доказательства правильности Марксова диагноза относительно динамики развития капитализма сами по себе не могли заменить конкретных ответов на вопросы текущей политики. На политическом уровне вызов «корпоративной глобализации» 1990-х годов вынудил левых искать новые стратегические и идеологические подходы. Наиболее умеренная часть социал-демократии пошла по пути пассивной адаптации к новым правилам игры. Идеологически это выразилось в работах Сассуна, Гидденса и Хаттона, тогда как на политическом уровне выражением такого подхода стал «новый реализм», или «третий путь» Тони Блэра и Герхарда Шредера. В том же направлении эволюционировали и итальянские демократические левые — большинство бывшей коммунистической партии, расколовшейся после 1989 года. Хотя в рядах социал-демократии подобная политика встретила серьезное сопротивление, в целом к концу 90-х годов XX века она восторжествовала. Решающим моментом стало возвращение социал-демократии к власти в Великобритании и Германии, сопровождавшееся резким сдвигом победивших партий вправо. Политически этот сдвиг был закреплен уходом из руководства партий, а иногда и исключением из партии лидеров левого крыла — Оскара Лафонте в Германии и Кена Ливингстона, Тони Бенна в Великобритании. «Зеленые» партии в большинстве стран Европы повторили траекторию социал-демократии, причем во многих случаях оказались даже правее ее. Итогом подобной эволюции стал фактический отказ от реформизма как идеологии и методологии поэтапного преобразования общества, признание ценностей свободного рынка и конкуренции. Слева от социал-демократии ответом к «корпоративной глобализации» и неолиберализму стало формирование партий «новой волны». Особенностью этих партий стал своеобразный эклектизм, попытка соединить в общем движении различные традиции, разделенные и противостоявшие друг другу на протяжении XX века — социал-демократическую, коммунистическую, троцкистскую, социально-экологическую. Остается открытым вопрос о том, является ли этот эклектизм предпосылкой нового синтеза. Для партий «новой волны» типично стремление искать более радикальные ответы на вызовы глобализации, однако — на основе уже накопленного исторического опыта левых сил. В известном смысле партии «новой волны» начали занимать опустевшую нишу реформистской социал-демократии, во всяком случае — ее левого крыла.

Существенным достижением «новой волны» организованного левого движения можно считать

решительный разрыв с авторитарной политической культурой, типичной как для сталинистской традиции в коммунистическом движении, так, в значительной мере, и для социал-демократических партий. Подобный плюрализм имеет не только идеологические корни. Различие между историческими течениями социализма всегда коренилось в неоднородности мира труда самого по себе. К концу XX века эта неоднородность возросла, приобретая порой характер мозаичности. В то же время фрагментация мира труда, создавая в краткосрочной перспективе организационные проблемы, в долгосрочной перспективе открыла и новые возможности. На протяжении большей части XX века основные отряды рабочего движения были достаточно крупными и устойчивыми и в силу этого самодостаточными, что, наряду с идеологическим противостоянием коммунистической, социал-демократической и троцкистской «политических семей», способствовало закреплению раскола. Напротив, в конце XX века мир труда, став куда более многослойным и разнородным, одновременно стал испытывать возрастающую потребность в консолидации и новой солидарности, поскольку ни один из его отрядов, ни один из элементов структуры не имел достаточного веса, чтобы улучшить свое положение самостоятельно.

На протяжении 1990-х и начала 2000-х годов культура мирового левого движения стала куда более открытой и демократической. Свидетельством тому стали социальные форумы, собирающие вместе людей различных взглядов, объединенных общим противостоянием глобальному капитализму. Другое дело, что широкие и увлекательные дискуссии не могли заменить четких и понятных большинству общества ответов на вопросы, поставленные глобализацией. В результате критики системы зачастую оказываются неспособными сформулировать собственную политическую линию. Партии оказались в стороне или на периферии событий. Новое поколение активистов формируется не на партийных собраниях, а на уличных митингах и открытых форумах. Признанные идеологи левых сил обнаружили неспособность предвидеть новые тенденции. Мир изменился, старые организационные формы демонстрируют свою несостоятельность. Традиционные рабочие партии пытаются выжить, доказывая свою лояльность правящим элитам, но чем более они безобидны, тем менее они интересны кому бы то ни было. Началось время смены организационных форм. Утратив связь с рабочим классом, они понемногу утрачивают и свою ценность для буржуазии, которая использовала их как инструмент для смягчения классового конфликта.

Массовые протесты 1999–2001 годов на Западе оказались наиболее удачным «ответом слева» на вызов «корпоративной глобализации». Восторжествовал «сетевой» подход к решению организационных задач. Радикальные активисты стремились свести к минимуму иерархию, сочетать автономию вовлеченных в процесс групп с принципом солидарности и единства действий. Движение оказалось способно мобилизовать молодежь и новые трудовые слои, порожденные информационной революцией. Оно сумело наладить взаимодействие с традиционными профсоюзами. Гораздо более сложными оказались отношения с парламентскими партиями, поскольку именно отсталость и оппортунизм, а порой и прямое предательство партийных структур, их неспособность отреагировать на вызовы «корпоративной глобализации» подтолкнули радикальную молодежь к выходу на улицы. Избегая жестких организационных форм, предпочитая им «сетевые» структуры, «альтерглобалистское» движение оказалось эффективным в условиях информационной революции, способным привлечь на свою сторону и организовать трудящихся «новых отраслей». В странах «третьего мира» новые протестные движения смогли опереться на крестьянство (сапатисты в

Мексике, Движение безземельных крестьян в Бразилии). Таким образом, кризис партий «рабочего социализма» преодолевался за счет появления у левых новой социальной базы как в «новом», постиндустриальном, так и в «традиционном» или «неформальном», неиндустриальном, секторе. Это, однако, отнюдь не означает разрыва с традициями «рабочего социализма». Просто эти традиции переосмысливаются и интерпретируются по-новому.

После «битвы в Сиэтле», когда «антиглобализм» заявил о себе в США, он быстро распространился в Европе и Канаде. Опыт европейских выступлений 2000–2001 годов показал, что, достигнув немислимых еще за год до того масштабов, движение обнаружило и ограниченность возможностей протеста. Встал вопрос о перспективах политической, в том числе и электоральной, работы. Тем самым движение начинает вторгаться в сферу действия «традиционных» политических организаций. Разумеется, это не означает неизбежного исчезновения традиционных левых партий. Скорее, речь идет о синтезе опыта политических партий и протестных движений. Первые начинают воспринимать идеи, методы и культуру, выработанную в ходе «антиглобалистских» протестов, вторые обнаруживают значение политических организаций, выходят на арену электоральной борьбы и т. д. Обновление партий зависит, в конечном счете, от их способности вобрать в себя опыт «антиглобалистских» движений, тогда как движения все более склонны работать политически, — либо создавая собственные партии, либо идейно влияя на уже существующие. В каждой конкретной ситуации перспективы левых сил выглядят по-разному. Известный социолог Фредерик Джеймсон прогнозирует, что для левых наступает время «комбинированных» стратегий, использующих «новые формы солидарности в активной политической работе».[586]

Кризис левых политических партий, как и политического представительства вообще, вовсе не обязательно является окончательным и «необратимым». Как раз наоборот, вызовы новых массовых движений могут, в конечном счете, стать фактором преодоления кризиса — если сами эти движения смогут выработать новые формы представительства и участия масс в политике. Совершенно очевидно, что протест сам по себе, выявляя недостаточность, исчерпанность или неадекватность существующих форм представительства, еще не является им заменой. Он лишь ставит вопрос о поиске новых форм или необходимости трансформации уже существующих. Эти новые формы могут прийти как из недр движения, так и изнутри «традиционных» политических организаций, если там найдутся силы и способность к обновлению.

Проблема в том, насколько новые движения смогут освоить «старые» политические методы, не повторяя отвергаемого ими опыта «старых партий». Это относится и к избирательной борьбе, и к привычным для левых видам идеологической работы, и к общепринятым формам международной солидарности. Вопрос, однако, не сводится к тому, насколько богатым окажется воображение активистов. История свидетельствует, что подъем и упадок массовых движений определяют своего рода «жизненный цикл» политических организаций. Иными словами, «старые» партии в годы своей молодости во многом напоминали нынешние «новые движения». И не только потому, что сами эти партии в те времена еще были «новыми», но и потому, что их возникновение было результатом развития и консолидации массового движения. В этом плане неспособность «новых левых» в 60-е годы XX века сформировать жизнеспособные и устойчивые политические организации сейчас воспринимается многими ветеранами событий как главная ошибка и даже «вина» поколения 60-х, не сумевшего должным образом передать эстафету активистам 2000 года.[587] Еще хуже обстоит дело в

Восточной Европе, где начинать надо Практически с чистого листа, не имея устоявшихся институтов живых традиций. Ссылки на большевизм и 1917 год являются скорее риторическими, ибо в традиции главное — непрерывность. А традиция революционной самоорганизации и сознательной классовой борьбы в нашей стране была прервана — сначала сталинскими репрессиями 1930-х годов, а потом окончательно сведена на нет годами «застоя» при Брежневе.

Тем не менее перспективы левых на Востоке Европы выглядят далеко не безнадежными. В конце концов, если на чистом листе нельзя найти старую мудрость, на нем можно написать новую историю. При правильном подходе наши недостатки могут обернуться нашими преимуществами — другое дело, хватит ли у нас сил и умения, чтобы использовать открывающиеся перед нами возможности.

В повестку дня встает вопрос о создании коалиций, Единого фронта, политического движения, способного объединять различные течения левых сил, не подавляя их. Этот вопрос по-разному решается в России или в Англии, но стоит он почти повсюду. Разрозненные прежде потоки сливаются воедино, пытаются найти некую идеологическую и политическую равнодействующую, а возможно, и синтез. Впервые за два десятилетия главный вызов сложившейся левой политической элите и ее идеологии исходит не справа, а слева. Соответственно, будущее левых сил зависит от того, насколько институционализировавшиеся партии будут способны стать в рамках демократической системы выразителями этих новых радикальных требований. Если они не справятся с этой задачей, на их место придут новые политические организации.

Опасность новой ситуации состоит в том, что с критикой глобализации выступают не только левые, но и крайне правые. Если левые радикалы не смогут добиться реальных перемен в современном обществе, это отнюдь не означает, что либерально-корпоративный капитализм восторжествовал на глобальном уровне. Напротив, это значит, что возрастает опасность ультраправой реакции. В этом плане история первой половины XX века поучительна. Там, где во время кризиса капитализма левая или левоцентристская альтернатива терпела поражение, торжествовал фашизм.

Историческая задача современных левых состоит не только в том, чтобы одержать победу над неолиберализмом и утвердить в мировом масштабе собственные принципы солидарности, социальной и экологической ответственности, общественной собственности и регулирования. Задача состоит в том, чтобы, осуществив собственный сценарий перемен, сделать невозможной националистическую «альтернативу».

Ответом на вызов «глобализации» является не корректировка курса, не плач по утрачиваемым национальным культурам (которые на самом деле не исчезают, а трансформируются, приспособившись к нуждам корпоративного капитала). Ответом является усилие, направленное на революционное преобразование системы. Соппротивления уже недостаточно: история вновь ставит в повестку дня вопрос о социалистической стратегии. Массы должны осознать свои классовые интересы, активисты — стать политической силой. Как на глобальном, так и на местном уровне. Вопросы, поставленные в середине XIX века «Коммунистическим манифестом» Карла Маркса и Фридриха Энгельса, все еще ждут своего практического разрешения. Марксизм сделал свое дело в теории, но окончательный ответ на противоречия жизни дает практика.

У этой практики есть имя: Революция.

Примечания

1

Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 33. С. 120.

2

Huntington S. The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order. N.-Y., 1996.

3

Россия в глобальном мире. Под ред. В.Толстых. М., 1997. С. 84.

4

ИнфоБизнес. 6.06.2000. № 20. С. 27.

5

Там же.

6

Там же.

7

См.: The Future of Trade Unionism. Ed. By M. Sverke. Ashgate. Aldershot etc, 1997.

8

В качестве примера дискуссии, посвященной кризису в левом движении и попыткам преодоления этого кризиса в конце 90-х годов можно привести сборник After the Fall. 1989 and the Future of Freedom. Ed. By G. Katsiaficas. N.Y.: Routledge, 2001.

9

Le manifeste communiste, 150 ans apres. Rencontre Internationale, Paris. 13 au 16 mai 1998. Contributions. Fevrier 1998.

10

См. E. Hobsbawm u.a. Das Manifest — heute. 150 Jahre Kapitalismuskritik. VSA-Verlag, Hamburg, 1998. См. также Cuadernos del Sur (Buenos Aires). 1998, № 26.

11

Conference report: Manifestivity. In: Socialism and Democracy, 1998 v. 12. № 4 1–2 (23–24), a special issue dedicated to 150 years of the Communist Manifesto.

12

Термин «антисистемные движения» введен в обиход Самиром Амином. Под ним — применительно к XX веку — понимаются европейское рабочее движение и национально-освободительное движение в колониальных странах.

13

Обзор дискуссий между левыми по поводу глобализации см. В: Morvan F. A gauche, deux visions de la mondialisation. Utopie critique. 1999. № 15. См. также: Amin S. The New Capitalist Globalisation. Links, 1996–1997. № 7–8; 3 Freeman A. The Poverty of Nations. Links. 1996. N 7.

14

См.: Bello W. Sh. Cunningham, B. Rau. Dark Victory. United States, Structural Adjustment and Global Poverty. L. TNI/Pluto Press, 1994; Bello W. Brave New World. Strategies for Survival in the Global Economy. L. Earthscan, 1990; George S. The Lugano Report.: Pluto Press, 1999; Khor M. Rethinking Liberalisation and Reforming the WTO. Presentation at the World Economic Forum at Davos (Switzerland), 28.01.2000 (полный текст см. на сайте Third World Network: www.twn.org.sg).

15

См. Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. М.: Мысль, 2003.

16

Stiglitz J., Quis Custodiet Ipsos Custodes? (Who is to guard the guards themselves)// Challenge. 1999. Nov.-Dec. Vol. 42, № 6.

17

В качестве наиболее выразительного примера можно привести книгу: Holloway J. Change the World Without Taking Power. The Meaning of Revolution Today. L.: Pluto Press, 2005. В данном случае наиболее поучительным является даже не то, что подобная книга вообще могла быть опубликована и совершенно серьезно обсуждаться в левой среде, а то, что она предложена публике не в качестве продукта анархистского или либертарного дискурса, а как образец современного марксизма.

18

Россия в глобальной политике Т. 3. № 5, 2005. С. 196.

19

Подробнее история становления капиталистической миросистемы изложена в работах Иммануила Валлерстайна (см. Wallerstein I. The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century Academic Press, London, 1974) и Фернана Броделя (см. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. В 3 т. М. Прогресс, 1988–1992).

20

См.: Wallerstein I. Unthinking Social Science. Cambridge, 1991. P. 57; J. Petras in: Links. 1996 July-October. № 7. P. 60. Ср.: Harmann Ch. Globalisation: a critique of a new orthodoxy. International Socialism. 1996. Winter, Nr. 73. Согласно Харману, получается, что идеология глобализации играет в классовой борьбе значительно большую роль, нежели глобализация производственных связей.

21

Kiely R. Empire in the Age of Globalisation. US Hegemony and Neoliberal Disorder. L: Pluto Press, 2005. P. 34.

22

Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М., 1989. С. 205.

23

См.: Amin S. Re-Reading the Postwar Period. N.Y., 1994. P. 207; Clarke S. Keynesianism, Monetarism and the Crisis of the State. Aldershot, 1988. P. 358.

24

Если сумму программных установок неолиберализма часто называют «Вашингтонским консенсусом», то подобную критику изнутри истеблишмента южноафриканский социолог Патрик Бонд метко назвал «поствашингтонским консенсусом». Этот подход представляет собой парадоксальное сочетание уверенности в правильности избранных методов с трезвым признанием того, что на практике они не работают (см. P. Bond, Fanon's Warning: A Civil Society Reader on the New Partnership for Africa's Development Trenton: Africa World Press and Cape Town: AIDC, 2005).

25

Термин «монетаризм» используется в экономической литературе для обозначения концептуальной

основы неолиберального подхода. Согласно представлениям Милтона Фридмана, единственным источником инфляции являются государственные расходы, а важнейшей экономической задачей правительства является борьба с инфляцией. Предполагается, что чисто математическими методами может быть подсчитано некое «оптимальное» количество денег в экономике, которое должно потом поддерживаться.

26

Россия в глобальном мире. М., 1997. С. 44, 99.

27

Рабочая политика. 1996. № 6. С. 42.

28

Понятие «проект гегемонии» возникло как переосмысление идей Антонио Грамши в работах французских, а позднее и английских марксистов 1960—1970-х годов. Речь идет о том, что определённый культурный, политический или идеологический «проект» завоевывает доминирующие позиции в обществе — далеко за пределами тех социальных слоев, в интересах которых он был разработан. Лежащие в основе его идеи делаются господствующими во всем обществе, позволяя их носителям осуществлять идеологическую и политическую гегемонию, вести людей за собой, консолидировать нацию и т. д.

29

О росте «классового сознания» и даже «идеологии классовой борьбы» в рядах буржуазии см.: Wallach Bologh R. «Geezers Will Crack the Whip» as Shareholders Battle Labor for «Loot». Social Security and Capitalist Class Consciousness // The Wall Street Journal 1998–1999. A paper presented to the convention of American Sociological Association. August 2000.

30

См.: Marijnissen J. Enough! A Socialist Bites Back. Socialistische Partij, The Netherlands. S. I, 996. P. 121.

31

Keegan W. The Spectre of Capitalism: The Future of the World Economy After the Fall of Communism. Lnd.: Radius, 1992. P. 109.

32

Венгерский экономист Л. Андор и его английский коллега М. Саммерс подчеркивают, что все деятели МВФ, пропагандирующие свободный рынок, по сути, являются служащими общественного сектора, живущими на деньги налогоплательщиков из стран-кредиторов. Да и сами международные финансовые институты не могут существовать без государственных дотаций. См.: Andor L. Summers M. Market Failure. Pluto Press: London — Chicago, 1998.

33

Независимая газета. 15.05.1997.

34

International socialism. Winter 1996, № 73. P. 5.

35

Анекдотическим примером работы бюрократов из ВТО является история с производством автомобильчиков для гольф-клубов (golf-cars) в Польше. После того, как польские экспортеры наводнили ими рынок США, американские производители в соответствии с уставом ВТО начали

антидемпинговую процедуру. Согласно этой процедуре надо выбрать страну с абсолютно схожими социально-экономическими условиями и подсчитать, во сколько обойдется там соответствующее производство. Если оно окажется существенно дороже, разница оценивается, как демпинг. Нелепость этой процедуры сама по себе очевидна, но применение оказалось еще более скандальным. В качестве «аналогичной страны» была выбрана... Канада. Загвоздка в том, что в Канаде вообще нет производства golf-cars. В итоге, как и следовало ожидать, цена изготовления одной машинки оказалась немисливо высокой. Были введены впечатляющие антидемпинговые пошлины, и соответствующая промышленность в Польше просто прекратила свое существование.

36

Third World Resurgence. 1998. November. № 99. P. 29.

37

Vargas Llosa A. Liberty for Latin America. How to Undo Five Hundred Years of State Oppression. N.Y.: Farrar, Straus and Giroux, 2005. P. 55.

38

Ibidem. P. 78.

39

Именно так воспринимал их Дж. К. Гэлбрейт, ведущий авторитет в американской экономической мысли 1960-х годов. См. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. М.: Прогресс, 1969.

40

Любопытно, что Милтон Фридман, ведущий теоретик «чикагской школы» и консультант чилийского диктатора Агусто Пиночета, постоянно подчеркивал связь между рыночной и политической свободой (см. Фридман М. Капитализм и свобода. М.: Новое издательство, 2006). Эта декларативная привязанность к ценностям западной демократии не помешала ему сотрудничать с одним из самых жестоких тиранов своего времени.

41

Bond P. Looting Africa: The Economics of Exploitation. Lnd. — N.Y.: 2006. P. 15.

42

Термин «развитие слаборазвитости» введен в научный обиход Андре Гундер Франком (см. Gunder Frank A. Capitalism and Underdevelopment in Latin America. New York: Monthly Review Press, 1967).

43

Подробнее о политике Евгения Примакова в течение 8 месяцев «розового правительства» см.: Кагарлицкий Б. Управляемая демократия. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005.

44

Ведомости 5.09.2005.

45

Официально договоренности о вступлении России в ВТО были достигнуты к осени 2006 года, но процесс продолжал тормозиться из-за политических споров с Молдавией и Грузией.

46

Russia Profile, Jan.-Feb. 2007, v. IV, Nr. 1. P. 48.

47

Ведомости. 6.02.2007.

48

Russia Profile, Jan.-Feb. 2007, v. IV, Nr. 1. P. 16.

49

Ведомости. 6.02.2007.

50

Подробнее см.: Кагарлицкий Б. Периферийная империя. М: Ультра. Культура, 2003.

51

См.: Bond P. Op. cit. P. 111.

52

Shutt H. The Decline of Capitalism. Can a Self-Regulated Profits System Survive? Lnd. — N.Y.: Zed Books, 2005. P. 39.

53

Bello W. Deglobalization: Ideas for a New World Economy. Lnd. — N.Y.: Zed Books, 2004. P. 15.

54

Bond P. Op. cit. P. 23.

55

Shutt H. Op. cit. P. 39.

56

См. The Economist, 16.06.2005.

57

Бизнес, 8.02.2007. С. 4.

58

Rifkin J. The End of Work: The Decline of the Global Labor Force and the — Dawn of the Post-Market Era. N. Y., 1995. P. 292.

59

См.: A. Gorz in: After the Fall / Ed. by R. Blackburn. Lnd. — N. Y., 1992.

60

O. Negt in P. Ingrao. R. Rossanda. u.a. Verabredungen zun Jahrhundertende. S. 259.

61

PDS Pressedienst. 1995. № 28.

62

См.: New York Times, 2.3.1996, P. 1, 26.

63

Block F. Postindustrial Possibilities. Berkeley, Los Angeles & Oxford, 1989. P. 102.

64

Monthly Review. 1996. July-August. V. 48. № 3. P. 103.

65

Block F., op. cit. P. 83.

66

Подробнее см.: Кагарлицкий Б. Восстание среднего класса. М: Ультра. Культура, 2003; Кагарлицкий Б. Марксизм: не рекомендовано для обучения. М.: Алгоритм — ЭКСМО, 2006.

67

Свободная мысль. 1996. № 12. С. 91.

68

Там же. С. 92, 93. Показательно, что противоречие между потребностями капитала и творчества взрывает даже преуспевающие фирмы. Так, в 1996 году возникли кризисы, в результате которых лучшие разработчики компьютерных игр были вынуждены покинуть ими же созданные компании (см.: Hard'n'Soft. 1996. № 6 и др.)

69

«Свободная мысль». 1996. № 7. С. 128. «Альтернативы». Зима 1996/ 97, № 4. С. 99—100. Более подробно Затуливетер Ю. С. изложил свои мысли в работе «Информационная природа социальных перемен». По мнению Затуливетера, глобализация и информационная революция неминуемо породят «одно или несколько десятилетий Второй Великой или Глобальной депрессии» (Затуливетер Ю.С. Информационная природа социальных перемен. М.: СИНТЕГ, 2001. С. 19). В свою очередь, выход из депрессии невозможен без радикальных социальных преобразований, отражающих новые общественные потребности и отношения, сложившиеся в период информационной революции.

70

Hard'n'Soft. 1996, № 2. С. 93.

71

См. International Socialism, 2007, Nr. 113.

72

См.: Иноземцев В.Л. К теории постэкономической общественной формации. М., 1995. С. 222; Workers in Third World Industrialization / Ed. by Inga Brande. L. 1991. P. 2; Korea Times, Apr. 30. 1986.

73

International Socialism, 2007, Nr. 113. P. 53. Несмотря на то, что тезис Смита может оспариваться, он, безусловно, имеет под собой основание: сила класса не тождественна его численности. Ср.

Кагарлицкий Б. Марксизм: не рекомендовано для обучения. М.: Алгоритм — ЭКСМО, 2006. С. 312.

74

По мнению немецкого социолога Иоахима Бишофа (Joachim Bischoff), на рубеже XX и XXI веков речь идет не об установлении нового, «постиндустриального», порядка, а лишь о «кризисе фордизма». Борьба идет за то, какой v выход будет найден из этого кризиса (J. Bischoff in: P. Ingraio, R. Rossanda u.a. Verabredungen zun Jahrhundertende. S. 210; Bischoff J. Restoration Oder Modernisierung? Entwicklungstendenzen des globales Kapitalismus. Hamburg, 1995).

75

См.: Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи (Multitude. War and Democracy in the Age of Empire). М.: Культурная революция, 2006.

76

Подробнее о технологических сдвигах и их влиянии на расстановку классовых сил в обществе см.: Кагарлицкий Б. Восстание среднего класса. М.: Ультра. Культура, 2003.

77

Green Left Weekly. 28.05.1997.

78

Rising From the Ashes? Labor in the Age of «Global» Capitalism / Ed. By E. Meiksins Wood, P. Meiksins and M. Yates. N.Y. Monthly Review Press, 1998. P. 57.

79

The Nation, August 2000, v. 271, № 6. P. 26.

80

Green Left Weekly. 10.08.2005.

81

Newsweek. 10.10.2005. P. 48.

82

Подробная история мусульманских рабочих общин Британии дана в статье Mohamdallie H. Muslim working class struggles. International Socialism, 2007, Nr. 113.

83

Socialist Review, December 2006. P. 18.

84

International socialist review, Nov.-Dec. 2006, Nr. 50, P. 15.

85

Примером того, как левая пресса некритически повторяла измышления правых, может быть статья А. Баранова «Шестая республика будет называться Парижская Джамахирия» на сайте Forum.Msk от 6 ноября 2005 года (<http://www.forum.msk.ru/material/fpolitic/4482.html>). Показательно, что автор не только принимает на веру сказки о связи между парижскими погромами и мифическим исламистским подпольем, но и называет исламистов сторонниками «Джамахирии». Между тем термин «Джамахирия» введен в обращение сторонниками ливийской революции, возглавлявшейся полковником Каддафи. Сторонники Джамахирии (то есть режима «народных советов») находились в конфликте с исламистами.

86

Профиль. 2005, N 42. С. 30.

87

КоммерсантЪ. 7.11.2005.

88

Волнения во Франции: причины и следствия. RBC.Ru. 7 ноября 2005.

(http://top.rbc.ru/index.shtml?news/daythemes/2005/11/07/07141052_bod.shtml). Показательно, что попытки мусульманского духовенства остановить погромы никакого воздействия на молодежь не оказали. Союз исламских организаций Франции опубликовал фетву (предписание), в которой говорится, что «любому мусульманину, ищущему удовлетворения и божественной милости, запрещается участвовать в каких-либо действиях, слепо наносящих ущерб частному или общественному имуществу либо способных угрожать жизни других людей» (КоммерсантЪ. 8 ноября 2005). Бунтующие подростки проигнорировали призывы исламских авторитетов.

89

См.: Frankfurter Rundschau. Nov. 18.11.2005.

90

The Independent, 5.11.2005.

91

Le Figaro. 9.11.2005. P. 17.

92

The Independent. 5.11.2005.

93

International Herald Tribune. 3.11.2005.

94

Эта мысль была высказана большинством марксистских аналитиков во Франции, рассматривающих восстание пригородов как органическую часть общего процесса развития социальных движений. См. например: Spire A. Le mouvement ne se prouve pas en marchant. Nouvelles Fondations, 2006. Nr. 3–4. См. также дискуссии в журнале «Utopie critique».

95

Неприкосновенный запас, 2005, № 6. С. 130.

96

Там же. С. 131.

97

Haaretz. 7.11.2005. English edition: <http://www.haaretz.com/hasen/spages/642206.html>

98

Le Monde, 18.03.2006.

99

Наиболее полно это настроение выразил, разумеется, Ф.Фукуяма в своей книге о конце истории. См. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек (The End of History and the Last Man). М.: АСТ, 2005.

100

Derrida J. Specters of Marx. N. Y. & L. 1994. P. 39.

101

Giddens A. The Third Way. P. vii.

102

Socialism and Democracy. 1998. V. 12. № 1–2. P. III

103

См.: Бернштейн Э. Очерки из истории и теории социализма. СПб., 1902. Основная программная работа на немецком языке: Bernstein E. Wie ist wissenschaftlicher Socialismus möglich. Berlin, 1901.

104

Иноземцев В.Л. К теории постэкономической общественной формации. М., 1995. С. 13–14,192. Те же выводы без какой-либо серьезной корректировки Иноземцев повторяет и в более поздних работах: Иноземцев В.Л. Расколота цивилизация. М.: Наука, Академия, 1999; Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. М.: Логос, 2000. Готовность представить достижения западного Welfare State 1960-х годов как необратимые присуща и более радикальным авторам. Например, так же рассуждает и Олег Смолин, депутат Государственной Думы, известный защитник права на образование. См.: Смолин О. Куда несет нас рок событий. М., 1995. Полемику со Смолиным см.: Кагарлицкий Б. Принцип Кассандры//Альтернативы. 1996/97.

№ 4.

105

Полис. 1996. № 4. С. 113.

106

Подробнее см.: Валлерстайн И. После либерализма. М.: УРСС, 2003.

107

Thompson W. *The Left in History*. L.&Chicago, Pluto Press. 1997. P. 1, 9.

108

Формулируя итоги самокритики немецких левых в начале 90-х годов, Андре Бри пишет об их некритической приверженности «буржуазному пониманию прогресса» (Brie A. *Befreiung der Visionen*. Hamburg, 1992. S. 25).

109

Thompson W. *Op. cit.* P. 9. См. также: Giddens A. *Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics*. Cambridge: Polity Press, 1994. P. 1–4,69 etc.

110

См.: PDS Pressedienst, Dec. 13.1996. №. 50–51. S. 3.

111

Block F. *Postindustrial Possibilities*. Berkeley. LA., Oxford, 1990. P. 82–83.

112

Ibidem. P. 82.

113

New Left Review, Nr. 1 — new series, Jan.-Feb. 2000. P. 20–21.

114

Socialist Review (S.F.). 1995. V. 25, № 3–4. P. 10.

115

Любопытно, что к тому времени, когда постмодернистские концепции уже выходили из моды на Западе, они начали стремительно распространяться в среде российской интеллигенции, причем не только в столичных городах. Показательным примером русского постмодернистского философствования может служить сборник, изданный в Самарском университете: *Идея университета и голос мысли*. Самара, 2005.

116

Ewen S. *All Consuming Images*. N. Y.: Basic Books, 1988. P. 112.

117

Показательным примером является выставка «Советский идеализм», прошедшая в России и Бельгии. См.: *Советский идеализм*. Под руководством Е. Деготь и А. Сысоенко. Брюссель — Москва, Europaia, 2005.

118

Подъем «альтернативной культуры» в 1960-е годы был связан с очевидным вырождением «классической левой», будь то социал-демократы или коммунисты. С тех пор вырождение старых партий стало еще более очевидным, приняв уже совершенно гротескные формы. Однако политические проекты альтернативного радикализма оказались еще менее успешными. Для того

чтобы окончательно интегрировать партий и организации, порожденные рабочим движением, европейской буржуазии потребовалось около столетия, да и то нельзя говорить об окончательном успехе. А вот «зеленые» партии были «переварены» системой за какие-то 15–20 лет. Более того, несложно заметить, что эффективность «альтернативной культуры» строго пропорциональна эффективности «традиционных» левых партий, опирающихся на рабочее движение. Пока на сцене была революционная социал-демократия, в политике было место и для массовых анархистских течений. Реформистские левые правительства 1960-х годов сосуществуют с «новыми левыми». А крушение коммунизма и моральный крах социал-демократии сопровождался столь же массовой капитуляцией радикалов. Не добившись своих идеологических целей, старое рабочее движение все же смогло создать социальное государство. Потеря этих завоеваний в 1980—1990-е годы обернулась жизненной катастрофой для большинства человечества.

119

Альтернативная культура. Энциклопедия. Сост. Дм. Десятерик. Екатеринбург: Ультра. Культура. 2005. С. 93, 213.

120

Разумеется, в рамках самой «альтернативной культуры» далеко не всегда наблюдается подобное самодовольство. Инстинктивные поиски выхода из политического тупика и расширения «социальной базы» повторяются на всем протяжении ее истории. Именно такой смысл имел символический «пролетаризм» новых левых, которые, будучи исключительно молодежно-интеллигентским движением, обожали говорить о «рабочей автономии», «пролетарской демократии» и т. п. «Антиглобализм» тоже может рассматриваться как (не во всем удачная) попытка преодоления «альтернативности», когда радикальные группы вышли из своих гетто и обратились к массам, а заодно и друг к другу.

121

The Buffler. 1995. № 6. P. 15.

122

Надо отметить, что «широкое» и «узкое» понимание рабочего класса, наёмного труда и пролетариата были одной из ключевых тем в дискуссиях советских обществоведов, начиная с конца 60-х годов. В 90-е годы этот вопрос стал восприниматься значительной частью исследователей как разновидность марксистской «схоластики», а потому отступил на второй план. Тем не менее, обсуждение этой темы можно найти в публикациях А. Глинчиковой, А. Колганова, А. Тарасова и А. Бузгалина. В то же время для западной социологии вопрос о классовом характере наемного труда вновь встал в полный рост именно в 1990-е годы благодаря технологической революции.

123

Sassoon D. One Hundred Years of Socialism. L. & N. Y., 1996. P. 392–393.

124

Giddens A. Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics. Cambridge: Polity Press, 1994. P. 113.

125

Ibid. P. 14.

126

Ibid. P. 196–197.

127

Encyclopedia of the American Left / Ed. by M. J. Buhle, P. Buhle, D. Georgakas. N. Y. — L., 1990. P. 12.

128

См.: F. Jameson. Actually Existing Marxism. In: Beyond Marxism. Ed. by S. Makdisi. C. Gasarino, R. E. Karl. N. Y., 1996.

129

Socialist Review (S. E), 1995, v. 25, № 3–4. P. 4.

130

Links. 1996. July-October, № 7. P. 22.

131

О принципиальных различиях между женским движением и феминизмом конца XX века см.: Современная западная социология / Под ред. П. Монсона. СПб., 1992; Feminism. The Essential Historical Writings. Ed. by M. Schneir. NY, 1972; Feminism and Socialism. Chippendale, Australia, 1992. См. также: Глущенко И. Женское счастье // Независимая газета. 17 марта 1993.

132

Bowbotham Sh., Segal L., Wainwright H. Beyond the Fragments. Merlin Press, 1979. P. 4.

133

Sassoon D. Op. cit. P. 440.

134

Bobbio N. Op. cit. P. 11.

135

См.: Второй съезд РСДРП. Протоколы. М., 1959. С. 320 и др.

136

Brie A. Op. cit S. 126.

137

Бухарин Н. Тюремные рукописи / Под ред. Г.А. Бордюгова и С. Коэна. М., 1996. Т. 1. С. 126.

138

Там же. С. 133, 126.

139

См.: Marable M. Race, Identity and Political Culture. Цит. по: Socialist Review (S.F.). 1995. № 2. P. 48.

140

Mouffe Ch. The Return of the Political. L., 1988. P. 19, 18.

141

Burbach R., Nuñez O., Kagarlitsky B. Globalisation and its Discontents. The Rise of Postmodern Socialism. L.: Chicago, 1997. P. 145. Будучи одним из соавторов книги, в своей главе о Восточной Европе я попытался предложить иное видение альтернативы. Эти очевидные противоречия в тексте (отчасти отмеченные в предисловии Бербака), однако, придали книге еще более постмодернистский вид. Австралийский рецензент книги Пол Кларк не без ехидства заметил: «Довольно странно участвовать в сочинении книги, с которой ты принципиально не согласен, но так получилось» (Green Left Weekly. May 19.1997. P. 25). Беда в том, что острота и непримиримость противоречий между постмодернистскими интерпретациями социализма и марксизмом стали для меня очевидны именно в

процессе работы с Бербаком и Нуньесом. Более подробно мои разногласия с Бербаком и Нуньесом были изложены в книге Kagarlitsky B. *New Realism, New Barbarism*. L.: Pluto Press, 1999.

142

Marxism in the Postmodern Age: Confronting the New World Order/ Ed. by A. Callari, S. Cullenberg, C. Biewener. N. Y. & L.: Guilford Press 1995. P. 7–8.

143

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 16. С. 31.

144

Калиникос А. *Антикапиталистический манифест*. М. Праксис, 2005. С. 21.

145

См.: Holloway J. *Change the World Without Taking Power*. New edition. L.: Pluto Press, 2005.

146

Ibid. P. 244.

147

См.: *Ibid.* P. 244–245.

148

См.: Hardt M., Negri A. *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*. Penguin Press, 2004.

Русский перевод: Хардт М., Негри А. *Множество: война и демократия в эпоху империи*. М.: Культурная Революция, 2006.

149

Хардт М., Негри А. *Империя*. М.: Праксис, 2004. С. 10.

150

Там же. С. 191.

151

Hardt M., Negri A. *Multitude*. P. 27.

152

Ibid. P. XV.

153

Хардт М., Негри А. *Империя*. С. 154.

154

Holloway J. *Op. cit.* P. 222.

155

Хардт М., Негри А. *Империя*. С. 380.

156

Свободная мысль. 1995. 3. С. 75.

157

См.: Giddens A. *Beyond Left and Right*.

158

Negt O. In: P. Ingrao, R. Rossanda u.a. *Verabredungen zum Jahrhundertende. Eine Debatte über die Entwicklung des Kapitalismus und die Aufgaben der Linken*. Hrsg. von H. Heine. Hamburg, 1996. S. 259.

159

Brie A. Op. cit. S. 124.

160

В 2005–2006 годах Гейдар Джемаль активно участвовал в попытках создания Левого Фронта и выступал за «радикальную антисистемную» политику. В то же время, он постоянно отмежевывался от марксизма, который считал «устаревшим» (в отличие от ислама).

161

Джемаль Г. Освобождение ислама. М.: Умма, 2004. С. 95.

162

Джемаль Г. Революция пророков. М.: Ультра. Культура, 2003. С. 348.

163

Джемаль Г. Освобождение ислама. С. 57.

164

Там же. С. 56.

165

Там же.

166

См.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций.

167

Джемаль Г. Освобождение ислама. С. 350.

168

Джемаль Г. Освобождение ислама. С. 351.

169

См.: Bello W. Op. cit. P. 66.

170

Грамши А. Избранные произведения. М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. Т. 3. С. 176.

171

Лидер соцпартии Беттино Кракси, который оказался первым из социалистов, добившимся поста премьер-министра в Италии, инициировал политические реформы, целью которых было обеспечение большей стабильности и управляемости в государстве — естественно, за счет сужения демократии. Политическая карьера Кракси завершилась громкими коррупционными скандалами. Он вынужден был покинуть родную страну и закончил свои дни изгнанником в Тунисе.

172

Losurdo D. Fuga dalla storia? Il movimento comunista tra autocritica e autofobia. Napoli: La città del sole, 1999. P.9.

173

Ibid. P. 8.

174

Mapping the West European Left / Ed. by P. Anderson and P. Camiller. Lnd. — N.Y., 1994. P. 99, 100.

175

Correspondences Internationales, Informations et analyses sur le mouvement ouvrier et les forces de gauche dans le monde / Ed. by P. Theuret. P., 1995. N 22. P. 20.

176

Marijnissen J. Enough! A Socialist Bites Back. // Socialistische Partij, The Netherlands. S. L., 1996, p. 157.

177

Результаты выборов здесь и далее приводятся по: Correspondences Internationales, Informations et analyses sur le mouvement ouvrier et les forces de gauche dans le monde. Special elections européennes 1979—94. Resultats des forces de gauche et ecologistes. Ed. by P.Theuret. Paris, mai 1995, № 19.

178

См. PDS Pressedinst. 1997. № 16. S. 3.

179

Для того чтобы как-то отреагировать на растущее недовольство масс, лидеры Коммунистической партии Российской Федерации в 2005 году даже придумали нелепый «народный референдум». Вместо того чтобы бороться с властью, возмущенным гражданам предлагалось поставить подпись в опросном листе, подтверждавшем их желание изменить общественно-политическую систему в стране. Предполагалось, видимо, что, прочитав результаты подобного опроса, власть ужаснется и сама себя отменит.

180

New Left Review. New Series. 2000. V. 1. N. 1. P. 11.

181

Как уже говорилось выше, Андерсон считает, что задачи левых сводятся к «культурной критике».

См. Ibid. P. 20—21

182

Sassoon D. One Hundred Years of Socialism. L. and N.Y.: New Press, 1996. P. 759.

183

Giddens A. The Third Way: the Renewal of Social Democracy. Maiden, Mass.: Polity Press, 1999. P. 66.

184

Российский обозреватель. 1996. N 4.С. 132.

185

Полис, 1996, № 4. С. 118.

186

Российский обозреватель, 1996, № 4. С. 132.

187

Bobbio N. Left and Right: the Significance of a Political Distinction. Cambridge: Polity Press, 1996. P. 78.

188

Цит. по: Le Monde diplomatique. 1997, № 516.

189

Альманах Форум. Политический процесс и его противоречия / Под ред. Т. Тимофеева. М.: Весь мир, 1997. С. 223.

190

См.: Альманах Форум. С. 224—225.

191

La Repubblica, 22.12.1996.

- 192
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 572.
- 193
Вопросы социологии. 1996. № 7. С. 189.
- 194
Свободная мысль. 1995. № 8. С. 65.
- 195
Sassoon D. Op. cit. P. 22.
- 196
Термин «отложенная революция» был использован Л.Д. Троцким применительно к состоянию России в период между 1906 и 1914 годами. Я использовал этот же термин в ином контексте, чтобы объяснить реформистский характер рабочих выступлений на Западе после 1918 года, когда трудящиеся, не переставая быть оппозиционными к капитализму, не готовы были бороться за его революционное свержение. Именно этот стихийный реформизм «низов», а не «предательство политического руководства» предопределил, на мой взгляд, неудачу революционных альтернатив как в период между мировыми войнами, так и в годы «холодной войны». См.: Кагарлицкий Б. Диалектика надежды. Париж: Слово, 1988.
- 197
Frankel B. Beyond the State? Dominant Theories and Socialist Strategies. L.: Macmillan Press, 1983. P. 280. Любопытно, кстати, что эта книга, содержащая очень жесткую атаку на всех критиков традиционного государственного социализма, была издана Macmillan Press в серии, редактором которой был Энтони Гидденс.
- 198
Hutton W. The State We're In. L.: Vintage, 1996. P. 24.
- 199
Ibid. P. 262, 267–268.
- 200
Бузгалин А., Колганов А. Трагедия социализма. М., 1992. С. 107–108.
- 201
Sassoon D. Op. cit. P. 739.
- 202
Ibid. P. 735.
- 203
Hutton W. Op. cit. P. 277.
- 204
Hutton W. Op. cit. P. 301.
- 205
Disput. 1997. № 1. S. 2.
- 206
Disput. 1997. № 1. S. 28.
- 207

Hutton W. Op. cit. P. 326.

208

Giddens A. The Third Way. P. iv, vii.

209

Обзор дискуссии Тони Блэра, Герхарда Шредера и Грегора Гизи, а также мой ответ Гизи см.:
Альтернативы. 1999. № 4.

210

См.: Hutton W. Op. cit. P. 16.

211

Inprecor 1997. № 410. P. 31.

212

Socialist Campaign Group News. January 1997. P. 10.

213

Newsweek. 17.10.2005.

214

Свободная мысль. 1996, № 8. С. 90–91.

215

Цит. по: La Nouvelle Alternative, juin 1995, № 38. P. 11.

216

Red Pepper. March 1997. P. 5.

217

См.: Socialist Review. April 2005. P. 24.

218

Newsweek, 10.10.2005. P. 41.

219

Red Pepper. June 2000. P. 17.

220

Ibid. P. 16.

221

Socialist Campaign Group News. 1996. December. P. 8.

222

Labour Focus on Eastern Europe. 1996. № 53. P. 65.

223

Labour Focus on Eastern Europe. 1996. № 53. P. 75.

224

Надо отметить, что Британия остается практически единственной страной, где пребывание у власти «новых реалистов» не сопровождалась внушительным подъемом правого экстремизма. В Англии нет исторической фашистской традиции. И все же уже в мае 1997 года леволейбористский журнал предупреждал: «Одним из парадоксов британской политики является то, что правительство Блэра может стимулировать подъем фашистских настроений» (Workers Liberty, May 1997. P. 28–29).

225

The Nation. 12.12.1996. P. 22

226

См.: The European. 19.12.1996.

227

New Left Review. 1996. № 217. P. 126.

228

См.: Jacques Walker. Fascismes des armées trente et quatre-vingt-dix: alters et retours // Utopie critique. 1997. № 9. P.29; J. Breitenstein. Offensive sociale du Front national // Le Monde diplomatique. 1997, № 516.

229

Labour Focus on Eastern Europe. 1997. № 56. P. 88.

230

Modzelewski K. Wohin vom Kommunismus aus? Berlin: BasisDruck, 1996. S. 188. Оригинальное польское заглавие: Dokad od komunizmu? Warszawa, 1993. Цитируемый текст, однако, относится к заключительной главе, написанной специально для немецкого издания.

231

Tygodnik Powszechny, 9.10.2006

232

Newsweek-Polska, 16.10.2006.

233

Если популизм «Самообороны» в Польше эволюционировал слева направо, то на Украине Блок Юлии Тимошенко в 2006–2007 годах явно проделывал эволюцию в противоположном направлении, заполняя вакуум, образовавшийся из-за разложения коммунистической и социалистической партий.

234

Грамши А. Избранные произведения. Т. 3. С. 174.

235

The Independent. 2.10.1996.

236

Socialist Register 1996 Ed. by Leo Panitch. N.Y. — Halifax, 1996. P. 26.

237

Тарасов А. Революция не всерьез. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005. С. 5.

238

Замечательным примером повторения «троцкистской» сектантской культуры среди сталинистов является Турция, где многочисленные сталинистские группы ведут между собой борьбу не менее яростную, чем троцкисты в Западной Европе.

239

Грамши А. Избранные произведения. Т. 3. С. 138.

240

Троцкий Л.Д. Сталинская школа фальсификаций. М.: «Наука», 1990. С. 94.

241

Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев). 1938. № 66–67.

242

Любопытно, что когда общее настроение в пользу единства левых становится настолько сильным, что противиться ему открыто невозможно, сектантские группы, вместо того чтобы участвовать в реальных объединительных процессах, начинают создавать свои собственные пародийные объединения. Так, в России в 2005 году, как только зашла речь о создании Левого фронта, возникла и зеркальная инициатива Фронта Революционного Действия, в котором троцкистам пришлось объединяться с анархистами — с единственной целью: не объединяться с другими троцкистами. Не просуществовав и нескольких недель, этот фронт начал раскалываться. Те, кого еще вчера называли «настоящими» революционерами (в противовес «оппортунистам», «реформистам» и «мелкобуржуазным радикалам» из Левого фронта), сами тотчас были уличены в мелкобуржуазности.

243

Weekly Worker, 10.08.2006, Nr. 637.

244

Iniciativa socialista 1996. № 40. P. 19.

245

См.: Correspondances Internationales. 1995. Nr. 19.

246

Бузгалин А. Будущее коммунизма. М., 1996, С. 44.

247

Sassoon D. Op. cit. P. 656.

248

Латинская Америка. 1996. № 2. С. 48.

249

Iniciativa socialista № 36.1995. P. 12.

250

Лосано Х.Х. Властолюбец / Пер. П. Грунжо // Сегодня. 19.12.1995.

251

Utopias. 1996. Vol. 4. № 170. P. 128.

252

New Left Review. 1996. № 216. P. 67.

253

Ibid. P. 69.

254

Utopias. 1996. Vol. 4. № 170. P. 129.

255

Bauer O. Zwischen zwei Weltkreisen. Bratislava, 1936. S. 213.

256

Amin S. Re-Reading Postwar Period: an Intellectual Itinerary. N.Y., 1994. P. 192.

257

Ibid. P. 193.

258

Rauber M. I. Izquierda latinoamericana. Crisis y cambio. La Habana, 1993. P. 99.

259

Rauber M. I. Izquierda latinoamericana. Crisis y cambio. P. 163.

260

В Венесуэле боливарианская революция провозгласила лозунг «социализма XXI века», отчасти перекликающийся с идеями Самира Амина.

261

Что делать? 2005. Вып. 10.

262

International Socialism. 2005. № 106. P. 124.

263

Бюллетень оппозиции (большевиков-ленинцев). 1938. № 66–67. Май — июнь.

264

Там же.

265

Типичным примером может послужить предполагаемый «налог Тобина» на международные финансовые трансакции. В самом по себе проекте нет не только ничего антикапиталистического, но даже радикального. Однако сопротивление этому предложению со стороны финансового капитала и политического истеблишмента было столь жестким и решительным, что, в свою очередь, радикализовало многих активистов, первоначально стоявших на вполне умеренных позициях, что превратило организацию АТТАК (Attac) из коалиции сторонников налога Тобина в ведущую силу «антиглобалистского» протеста.

266

International socialism, Winter 2007, Nr. 113. P. 33.

267

Ibid. P. 46.

268

Надо сказать, что позиция сенаторов повергла руководство партии в полную растерянность. С одной стороны, голосуя против войны в Афганистане, они действовали в полном соответствии с официальной позицией партийного большинства. С другой стороны, руководящие органы партии категорически не желали предпринимать что-либо для реализации этой позиции, поскольку это ставило под удар «левоцентристское» правительство. В тот же день, когда Сенат отправил в отставку Проди, официальный сайт Rifondazione опубликовал заявление, в котором выражалась надежда, что «голосование в Сенате не прервет работу правительства»

(http://home.rifondazione.it/dettaglio_01.php?id=1165). В целом позицию Rifondazione можно

суммировать следующим образом: политика Проди очень плоха и представляет реальную угрозу для будущего страны. Мы эту политику полностью поддерживаем.

269

Die PDS — Herkunft und Selbstverstaendnis. Hrsg. von L Bisky, J. Czerny, H. Mayer, M. Schumann. B., 1996. S. 157.

270

Ibid.
271
Sklaven. 1997. № 32–33. S. 8,11.
272
Disput, 1997. № 1. S. 11; PDS Pressedienst. 1997. № 16. S. 3.
273
PDS Auslandsbulletin. 1996. September. S. 2.
274
Цит. по: Альтернативы. 1996. № 1. С 99—100.
275
См.: Liebisch R. Transformierter Ossi noch nicht in Sicht. Neues Deutschland. 1997. Mar 2. S. 20.
276
Neues Deutschland. 15–16.12.1997.
277
Ostdeutschland — Herausforderung und Chance. Parteivorstand der PDS und Bundestagsgruppe PDS. Oct 2.1996. B. — Bonn, 1996. S. 4.
278
PDS Auslandsbulletin. 1996, September. S. 2.
279
См.: Neues Deutschland. 1997. Mar. 4 Некоторые опросы давали PDS до 2 % потенциальных избирателей на Западе. На муниципальных выборах в Касселе и Франкфурте-на-Майне ПДС, не имея никаких шансов на успех, получила 1,4–1,6 % голосов.
280
PDS Pressedienst. 1997. № 16. S. 3.
281
Linke (wieder) im Bundestag. Opposition konkret. Bonn, 1994. S. 25.
282
Inprecor. 1996. № 400. P. 26.
283
Magdeburg: Modell oder Experiment? Landtags Report Sachsen-Anhalt. Fraktion der PDS. Magdeburg, 1996. S. 55.
284
Ibid. S. 71–72. Следует отметить, что уже Ленин считал отказ от реальных реформистских возможностей политической ошибкой: «Мы всегда учим, что социалистическая партия, не соединяющая этой борьбы за реформы с революционными методами рабочего движения, может превратиться в секту, может оторваться от масс и что является наиболее серьезной угрозой успеху подлинного революционного социализма» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 27. С. 72).
285
KPD-Verbot Oder mit Kommunisten leben? Opposition konkret. Hrsg. von Parteivorstand der PDS. B. — Bonn, 1996. S. 107.
286

Ibid. S. 109.

287

Luxemburg R. Gesammelte Werke. Berlin-DDR, 1970–1975. Bd. 1/2 S. 373.

288

Utopie-kreativ. 1997. № 77. S. 7.

289

Disput. 1997. № 1. S. 14,10.

290

Wir brauchen einen dritten Weg. Hrsg. von G.Gysi. Hamburg, 1990. S. 57.

291

См.: Focus. 2005. № 30. S. 21.

292

Disput. 2000. № 4; Muensteraner Parteitag vom 7. Bis 9. April 2000. S. 6,10.

293

Inprecor. 1997. № 410. P. 34.

294

Sader E., Silverstein K. Without the Fear of Being Happy: Lula and the Workers' Party in Brazil. L.: Verso, 1991. P. 9.

295

О латиноамериканских левых партиях «новой волны» см.: La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura. César A. Rodríguez Garavito, Patrick S. Barrett, Daniel Chavez (eds.). Grupo Editorial Norma, 2005.

296

Inprecor. 1996. № 400. P. 30.

297

Sader E. Governar para todos. Sao Paulo, 1992. P. 60.

298

См.: Pont R. The Left and Local Government. The Porto Alegre experience in Brazil // Links. 1996. № 6.

299

См.: Wainwright H. Reclaim the State. Adventures in Popular Democracy. S Lnd.: TNI/Verso, 2003.

300

Сравнение опыта латиноамериканских левых муниципальных администраций см.: Chavez D. The Left in Municipal Governance in Montevideo and Porto Alegre. Amsterdam — Maastricht: TNI/ Shaker Publishing, 2004; The Left in the City. Participatory Local Governments in Latin America / Ed. by D. Chavez and B. Goldfrank. Foreword by Hilary Wainwright. Amsterdam — L.TNI/Latin American Bureau, 2004. Испанская версия: La Izquierda en la Ciudad. Participación en Gobiernos Locales de América Latina. D. Chavez y B. Goldfrank (eds.). Barcelona: TNI/Icaria editorial, 2004.

301

Sader E. Op. cit. P. 122.

302

Disput. 1996. № 10. S. 17.

- 303
Disput. 1996. № 11. S. 16.
- 304
Sader E., Silverstein K. Op. cit. P. 164.
- 305
Inprecor. Mars 1996. № 407. P. 27.
- 306
Stolowicz B. The Latin American Left: Between Governability and Change. Amsterdam: TNI, 2004. P. 16.
- 307
См.: Green Left Weekly. 26.03.1997.
- 308
Red Pepper. March 1997. P. 13.
- 309
Альтернативы. 1996. № 1. С. 105.
- 310
Mainstream. 1995. Vol. XXXIII. № 47. P. 3.
- 311
Newsweek. 10.10.2005. P. 49.
- 312
PDS Pressedienst. 1995/96. № 52/1. S. 39.
- 313
Reissig R. Mitregieren in Berlin. Die PDS auf dem Pruefstand. B.: Karl Dietz Verlag, 2005. S. 73.
- 314
Ibid. S. 10.
- 315
См.: B.:Karl Dietz Verlag, S. 70.
- 316
B.: Karl Dietz Verlag, S. 80.
- 317
Ibid. S. 81.
- 318
См.: Focus. 2005. № 30. S. 21.
- 319
Sozialismus. 2005. Nr. 6. S.4.
- 320
В точности заявление Лафонтена звучало так: «Государство обязано... препятствовать случаям, когда отцы семейств и их жены оказываются безработными, потому что их места занимают „чужие рабочие“, готовые трудиться за низкую зарплату» («Еврейская газета» (Берлин), 2005, август).
- 321
Автор комментария в «Еврейской газете» сразу же определил слова Лафонтена как «откровенно популистское и ксенофобское заявление», хотя он лишь описал реальное положение дел.

- 322
См.: *Junge Welt*. 28.07.2005.
- 323
Newsweek. 17.10.2005. P. 27.
- 324
Ibid. P. 26.
- 325
McGiffen S. *The European Union. A Critical Guide*. L.: Pluto Press. 2005. P. 45.
- 326
The Guardian. 28.10.2005.
- 327
Хаттон У. *Мир, в котором мы живем*. М. Ладомир. 2004. С. 341.
- 328
Этциони А. *От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям*. М. Ладомир, М. 2004. С. 78.
- 329
Там же. С. 77.
- 330
По итогам общеевропейского опроса, проведенного осенью 2005 года, обнаружилось, что подавляющее большинство жителей континента (более 90 %) не разделяют миф о единой Европе, не считают себя ее гражданами. Как заметил один из немецких социологов: «Европейской идентичности никогда не будет. Попытка ее достичь смехотворна. С таким же успехом можно спросить себя, что у нас общего с китайцами» (*Die Tageszeitung — taz*. 2005. Nr. 7794).
- 331
McGiffen S. *Op. cit.* P. 176.
- 332
Der Spiegel. 2005. Nr 24. S. 118.
- 333
International Socialism. 2005. Nr. 107. P. 17.
- 334
Utopie critique. Juillet 2005, Nr. 34. P. 11.
- 335
The Guardian. 14.10.2005. Высказывание вице-президента Европейской комиссии Маргот Вальстрем (Margot Wallstrom).
- 336
International Herald Tribune. 9.10.2005.
- 337
McGiffen S. *Op. cit.* P. 176.
- 338
Die Zeit. 2005. Nr. 29. S. 1.
- 339

Freitag. 29.07.2005. Nr. 30. S. 5.

340

Die Zeit. 2005. Nr. 29. S. 39.

341

Freitag. 29.07.2005. Nr. 30. S. 5.

342

Focus. 2005. Nr. 30. S. 22.

343

Focus. 2005. Nr. 30. S. 20.

344

Neues Deutschland. 28.07.2005.

345

Newsweek. 17.10.2005. Цитируется высказывание профсоюзного лидера Франка Бзирске (Frank Bzirske).

346

Freitag. 2005. Nr. 30. S. 5.

347

Die Linke. PDS Pressedienst. 2005, Nr. 49/50.

348

Ibid., Nr. 50. S. 3,2.

349

Троцкистская традиция, хорошо описывая этот тип кризиса, склонна объяснять им любую неудачу левого движения. На практике, однако, радикализм масс находится в противоречии с политикой партийных элит не в любой момент, а именно тогда, когда массовое движение находится на подъеме. В периоды спада мы нередко видим как раз обратное соотношение: лидеры по инерции продолжают повторять радикальные лозунги (которые сами же массы им в недавнем прошлом навязали), а массы их уже не слушают. Необходимость политической силы, основывающейся на марксистской теории, связана как раз с тем, что борьбу за социализм надо продолжать независимо от колебания настроения масс.

350

Die Zeit. 2005. Nr. 29. S. 9.

351

Freitag. 2005. Nr. 30. S. 5.

352

Die Zeit. 2005. Nr. 29. S. 39.

353

Junge Welt. 28.07.2005

354

Socialist Worker. 15.10.2005, No. 1972.

355

Придумывала, впрочем, не только пресса. Забавным изобретением властей стала Всероссийская

антиглобалистская лига (ВАЛ), организованная в 2005 году под патронажем администрации президента — с не особенно ясными целями, но зато с впечатляющим бюджетом. Скорее всего это было частью общей политики по созданию фиктивных общественных организаций, представляющих разные части политического спектра и тем самым позволяющих начальникам манипулировать всеми аспектами политического процесса одновременно.

356

Каллиникос А. Антикапиталистический манифест. М., Праксис, 2005. С. 21.

357

Каллиникос А. Антикапиталистический манифест. С. 152. Подобный подход, видимо, знаменует определенное смещение акцентов во взглядах самого Каллиникоса. Показательно, что когда в книге «Dialectics of Change» (L.: Verso, 1989) я высказывал ровно те же позиции в связи с так называемым революционным реформизмом, Каллиникос выступил с гневной отповедью, обвиняя меня в социал-демократизме.

358

Независимая газета. 4.08.2001.

359

International Herald Tribune. 18.08.2000. P. 4.

360

Red Pepper. 2000. № 73. P. 19.

361

Ibid. P. 21.

362

Democratizing the Global Economy/ Ed. by K. Danaher. Philadelphia, 2001. P. 11.

363

International Socialism. Summer 2000. V. 87. P. 92.

364

Keet D. The International Anti-Debt Campaign. Cape Town, S.D. P. 21.

365

Ibid. P. 20.

366

New Politics, 2001. Winter, V. VIII, № 2 (30). P. 104.

367

Democratizing the Global Economy. P. 148.

368

As the South Goes... 2000. Spring. V. 8. No. 1.

369

International Socialism. 2000. Spring. N 86. P. 49.

370

Ibid. P. 10.

371

International Socialism. Summer 2000. V. 87. P. 92.

- 372
Democratizing the Global Economy. P. 55.
- 373
См.: Democratizing the Global Economy. P. 14. См. также Кагарлицкий Б. Восстание среднего класса.
- 374
Voix rebelles du monde. Paris: HB editions/Attac-04. 2007. P. 43.
- 375
International Socialism, Spring 2000, v. 86. P. 17.
- 376
Starr A. Global Revolt. A Guide to the Movements Against Globalization. L: Zed Books, 2005. P. 227.
- 377
Democratizing the Global Economy. P. 149–150. Подробнее взгляды Наоми Кляйн на антикапиталистические выступления 1999–2005 годов см. в книге: Кляйн Н. Заборы и окна. Хроники антиглобализационного движения (Fences and Windows. Dispatches from the Front Lines of the Globalization Debate). М.: Добрая книга, 2005.
- 378
International Herald Tribune, 18.08.2000, p. 4.
- 379
См.: International Socialism, 2001. No. 91. P. 12.
- 380
Danaher K., Burbach R. (eds.) Globalize this! The Battle Against the World Trade Organization and Corporate Rule. Monroe: Common Courage Press, 2000. P. 7.
- 381
Green Left Weekly/Resistance. 2000. Winter. P. 2.
- 382
Новые Известия. 19.09.2000.
- 383
Ingrao P., Rossanda R. et al. Verabredungen zum Jahrhundertende. Eine Debatte ueber die Entwicklung des Kapitalismus und die Aufgaben der Linken. Hamburg, 1996. S. 202–203. См. также Кагарлицкий В. The Twilight of Globalization. Property, State and Capitalism. L: Pluto Press, 2000. P. 23–25.
- 384
НГ-сценарии. 19.09.1996.
- 385
На примере Боснии это очень хорошо показано в статье: Iens Stilhoff Sorensen. Pluralism or Fragmentation // War Report. May 1997. № 51.
- 386
Amin S., Arrighi G, Gunder Frank A., Wallerstein I. Transforming the Revolution. Social Movements and the World-System. N.Y. 1990. P. 179.
- 387
Yanitsky O. Russian Environmentalism: Leading Figures, Facts, Opinions. Moscow, 1993. P. 7.
- 388

Яницкий О. Экологическое движение в России. М., 1996. С. 199.

389

Society and Natural Resources. 1996, Nr. 9. P. 75.

390

The Prague Post, 13–19.09.2000.

391

Green Left Weekly. 7.02.2001.

392

Дискуссия о тактике и значении позитивной программы очень активно велась на страницах австралийского журнала «Links», изначально созданного как международное издание для левых активистов. Она велась также на страницах английского троцкистского журнала «International Socialism» который, неожиданно для многих превратился в широкий форум нового антикапиталистического движения, открытый для авторов, придерживавшихся различных взглядов — не только не троцкистских, но даже и не марксистских (во всяком случае — в ортодоксальном понимании термина). О значении позитивной программы движения см.: Kagarlitsky B. Lessons of Prague // Links. 2001. No. 17. Перепечатано также в: International Socialism. № 90. По-русски та же статья была опубликована несколько позднее в журнале «Альтернативы» (2001. № 1).

393

International socialist review, Jan.-Feb. 2007. Nr. 51. P. 27.

394

Здесь, впрочем, надо сделать оговорку: американская буржуазная пресса склонна называть анархистами всех левых, не входящих в троцкистские или сталинистские организации. Активисты калифорнийской группы Global Exchange очень смеялись, когда я показывал им вырезки из нью-йоркских изданий, где их описывали в качестве образца анархистского движения.

395

New Politics. 2001. Winter. V. III. N 2. P. 9.

396

Репортаж о событиях в Генуе глазами одного из наиболее умеренных участников российской делегации, представителя профсоюзного объединения «Соцпроф», см. в газете «Рабочая сила» (2001. № 4). Более радикальные участники событий из группы «Социалистическое сопротивление» изложили свои взгляды на страницах газеты «Левый авангард» (2001. № 43).

397

Green Left Weekly. 1.08.2001.

398

О насилии в движении и возникших в связи с этим противоречиях подробнее см.: Kagarlitsky B. Lessons of Prague // Links. 2001. No. 17; Healy S. G8 rulers turn to violent repression // Green Left Weekly. Aug. 1.2001. Хотя Хили и не соглашается с теми, кто считал склонных к насилию сторонников «Черного блока» фактическими провокаторами, он согласен, что их тактика «оказалась открытой для подрывной деятельности полиции, использовавшей замаскированных провокаторов, чтобы превратить ограниченное и символическое разрушение собственности в широкомасштабный погром, одновременно сталкивая одну часть движения с другой».

399
Le Monde diplomatique. Aout 2001. P. 1, 6.

400
International Socialism. 2001. No. 91. P. 12.

401
Ibid.

402
Ibid. P. 13.

403
См.: International Socialism. 2001. No. 91. P. 11.

404
Green Left Weekly. 1.08.2001

405
Socialist Campaign Group News. January 2001. P. 8.

406
Socialist Worker, 2.02.2001. P. 9.

407
Another World is Possible. Popular Alternatives to Globalization at the World social Forum / Ed. By W.F. Fisher and Th. Ponniah. L.: Aed Books, 2003. P. 356.

408
Подробности об экспериментах альтернативной экономики можно найти на сайте www.globalexchange.org и в статьях: Кагарлицкий Б. Мобильник — оружие революционера // Домашний компьютер. 2001. № 6; Степанов А.Г. Антиглобалисты за мир, похожий на социализм // Экономическая газета. 2001. № 22.

409
Financial Times. 10.10.2001.

410
Financial Times. 10.10.2001.

411
См.: Socialist Review. 2001. No. 257.

412
Wainwright H. Challenging US Power // Red Pepper. November 2001.

413
Ramonet I. Buts de guerre // Le Monde diplomatique. Nov. 2001.

414
The Green Left Weekly. 4.10.1995.

415
Shadows of Tender Fury. The Letters and Communiques of Subcomandante Marcos and the Zapatista Army of National Liberation. N.Y. 1995. P. 92–93.

416
Субкоманданте Маркос. Четвертая мировая война. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005. С. 359.

- 417
Shadows of Tender Fury. P. 85.
- 418
Ibid. P. 29.
- 419
Shadows of Tender Fury. P. 45.
- 420
Латинская Америка. 1996. № 2.; Singer D. Whose Millenium? Monthly Review Press, N.Y. 1999. Олег Ясинский, переводчик и исследователь творчества субкоманданте Маркоса, в письме к автору данной книги отмечает: «В последних интервью Маркос настаивал на том, что сапатисты не являются первыми. Видимо, здесь, кроме моментов исторического реализма и скромности, еще очень важна тема того, что сапатизм старается (причем далеко не всегда успешно) избежать некой стигматизации в глазах левых активистов планеты, стремится не стать очередным объектом для памятников и примером для слепого подражания». Маркос выразил это в свойственном ему стиле: «Кто пытается нас идеализировать, не понимает нас».
- 421
Green Left Weekly. 4.10.1996.
- 422
Utopie critique. 1997. № 9. P. 65.
- 423
См. Субкоманданте Маркос. Четвертая мировая война. С. 358.
- 424
Viento del Sur. 1996. № 8. P. 35.
- 425
Viento del Sur. 1996. № 8. P. 12.
- 426
New Left Review, July-August 1996, N 218. P. 129.
- 427
Utopie critique. 1997. № 9. P. 67.
- 428
Viento del Sur. 1996. N 8. P. 24.
- 429
Субкоманданте Маркос. Четвертая мировая война. С. 39–40.
- 430
Green Left Weekly. 12.02.1997.
- 431
Le Monde diplomatique. Janvier 1997. P. 13,
- 432
Inprecor. 1997. N 410. P. 34.
- 433
Pagina 12 (Buenos Aires) 5.1.1997.

- 434
Le Monde diplomatique. Janvier 1997. P. 13.
- 435
New Left Review, July-August 1996. T 218. P. 129.
- 436
New Left Review, May-June 1997. P. 17.
- 437
Agenda Radical. 19.10.2005. Nr. 44.
- 438
La Jornada, 29.06.2005.
- 439
Ibid., 2.03.2005.
- 440
Ibid., 29.06.2005.
- 441
Майданик К. Эрнесто Че Гевара: его жизнь, его Америка. М.: Ad Marginem, 2004. С. 325.
- 442
Время новостей. 1.08.2002.
- 443
Надо отметить, что исторически четкой оценки коки как наркотика не было и в западном обществе. В конце XIX века она считалась полезным биостимулятором, а ее применение не только было легально, но и поощрялось. Первоначальный рецепт кока-колы содержал кокаин (отсюда и название этого популярного напитка).
- 444
Коммерсант-daily. 2.11.2004.
- 445
Carlos J. et al. O caminho da vitória. Porto Alegre: Editora Veraz Lida, 2003. P. 66, 92.
- 446
International Socialism. 2005. Nr. 107. P. 146.
- 447
El National (Caracas). 26.07.2005.
- 448
Agenda Radical. 2005. Nr. 52.
- 449
Convicciones guevaristas. 2005. Setiembre/Octubre. № 3. P. 2.
- 450
International Socialism. 2005. № 107. P. 149.
- 451
Boron A. Estudio introductivo: Actualidad de Que Hacer? En V.I.Lenin. Que Hacer? Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2004. P. 19.
- 452

Boron A. Estudio introductivo... P. 20.

453

Основными партиями «исторической левой» в Венесуэле были MAS (Движение к социализму — Movimiento al Socialismo) и Causa R. В преддверии революции их позиции были достаточно сильны, Causa R даже овладела муниципалитетом Каракаса. Однако с началом революционных событий обе партии раскололись на сторонников и противников Чавеса.

454

Coup Against Chavez in Venezuela / Ed. By G. Wilpert. Caracas, 2003. P. 205.

455

El Nacional. 26.07.2005.

456

International Socialism. 2005. Nr. 106.P. 136 1

457

Temas (Caracas). 30.09.2005.

458

См.: Green Left Weekly 26.10.2005.

459

Ibid. На этом фоне весьма скромно выглядят 6–7 % экономического роста, достигнутые Россией в середине 2000-х годов. При той же конъюнктуре радикальный курс, проводимый в Венесуэле, обеспечил рост в два с половиной раза больший.

460

Pro et Contra, 2006. Т. 10, № 1. С. 75.

461

См. Agenda Radical. 2005. Nr. 43.

462

Новый понедельник (Киев). 5.09.2005.

463

Agenda Radical. 2005. Nr. 43.

464

Chávez Frías H. Los tres ejes del proyecto de gobierno y el liderazgo. Caracas: 2006. P. 17.

465

Green Left Weekly, 7.02.2007.

466

Socialist Review, December 2006. R 12.

467

Ibid.

468

Wildcat. 2005. Nr. 73. S. 32.

469

Новый понедельник (Киев). 5.09.2005.

470

Links. 2004. Nr. 26. P. 15.

471

Green Left Weekly, 7.12.2005.

472

Ibid., 31.01.2007.

473

Ibid., 24.01.2007.

474

Сандинистский фронт назван в честь Аугусто Сесара Сандино (1895–1934), национального героя Никарагуа. С 1926 он возглавлял борьбу против войск США, оккупировавших страну в 1912 г. В 1933 году Никарагуа была освобождена, но год спустя Сандино был вероломно убит.

475

В Латинской Америке официальные компартии избегали участия в вооруженной борьбе, предпочитая легальное существование, а иногда и сотрудничество с диктаторскими режимами. Единственным сколько-нибудь заметным исключением является Колумбия. Здесь с 1960-х годов действуют Революционные Вооруженные Силы Колумбии (исп. Fuerzas Armadas Revolutionarias de Colombia — ФАРК). Зародились они как вооруженное крыло компартии.

476

Одним из советников чилийского президента Сальвадора Альенде был английский советолог Алек Ноув, известный критик централизованного планирования. См. Nove A. *The Soviet Economy*. Lnd.: George Allen, 1968. Практические выводы из своего чилийского опыта (в сопоставлении с уроками советской системы) Ноув изложил в книгах: Nove A. *Economics of Feasible Socialism*. London: George Allen & Unwin, 1983; Nove A. *The Economics of Feasible Socialism Revisited*. London: Harper Collins Academic, 1991.

477

International socialist review, Nov.-Dec. 2006, Nr. 50. P. 31.

478

Идеологическое оформление этих идей в Латинской Америке дал мексиканский социолог Хорхе Кастанеда. См. Castaneda G. *La Utopía desarmada: intrigas, dilemas y promesa de la izquierda en América Latina*. Barcelona: Ariel, 1995.

479

International socialist review, Nov.-Dec. 2006, Nr. 50. P. 34.

480

Beluche O. *Unidad latinoamericana: Utopia bolivariana o posibilidad real?* Caracas: 2006. P. 6.

481

Известия, 29.01.2007.

482

Nouvelles foundations, 2006, Nr. 3/4. P. 11.

483

Ibid.

484

См. например: Пирогов Г.Г. «Коммунитаризм», капиталистическое общество и социалистическая мысль // Проблемы общественных преобразований / Под ред. Т. Тимофеева, Р. Евзерова, Б. Кагарлицкого. М. ИСПРАН, 1997. С. 124–125.

485

Neues Deutschland. 3.03.1997.

486

Правда. 18.05.1996.

487

Текст обращения (Bamako Appeal) опубликован на сайте журнала Monthly Review:

<http://mrzine.monthlyreview.org/bamako.html>.

488

Агитон К. Альтернативный глобализм. Новые мировые движения протеста. М.: Гилея, 2004. С. 17.

489

См.: Anti-capitalism: A Guide to the Movement. Lnd.: Bookmarks, 2001.

490

Агитон К. Альтернативный глобализм. Новые мировые движения протеста. С. 186. В переводе неточность, здесь исправленная — вместо «Партия Трудящихся» написана «Партия Труда».

491

Junge Welt. 25.06.2005.

492

Voix rebelles du monde. P. 65.

493

Green Left Weekly, 7.02.2007.

494

Концепция «исторического блока» у Грамши неотделима от понятия гегемонии. Итальянский марксист исходил из того, что любой класс, чтобы победить в общественной борьбе, должен опираться на более широкий блок сил. Иными словами, в реальной политике действуют не сами классы, а созданные на их основе блоки. В свою очередь, формирование и успешное развитие «исторического блока» связано с установлением гегемонии определенных идей и интересов. Именно в этом состоит задача марксистов и революционной партии.

495

LCR — организация весьма популярная среди молодежи, в профсоюзах. Одно время она вместе с другой троцкистской группой — Lutte ouvrière — даже сумела провести своих депутатов в Европейский парламент, но она практически не была представлена на муниципальном уровне.

496

Voix rebelles du monde. P 51.

497

Links. 2004. Nr. 26. P. 35.

498

Socialist Review. April 2005. P. 13.

499

Critique. 2005. No. 36–37. P. 61.

500

Ibid. P. 75.

501

Socialist Review. May 2005. P. 13.

502

Цветков А. Суперприсутствие. М.: Ультра. Культура, 2003. С. 12–13.

503

Зюганов Г. Святая Русь и Кощеево царство. М., 2003.

504

Избави бог от союзников... // ИА «КПРФ-news». 7 ноября 2005, (http://www.kprf.ru/news/party_news/37203.html).

505

«Правда», 28–31.10.2005.

506

Против течения. 2005. № 2. С. 2.

507

Эксперт, 2005, № 42. С. 78.

508

Славин Б.Ф. Социализм и Россия. М.: УРСС, 2004. С. 187.

509

Против течения. 2005. № 2. С. 5.

510

А. Аркуша на сайте Communist.ru характеризовал Коммунистическую партию Украины (а вместе с ней и КПРФ) как переходную организацию, которая опирается на пенсионеров и часть рабочих, занятых на умирающих производствах. Эти предприятия ориентированы на внутренний рынок, не выдерживают конкуренции с мировыми концернами, а потому обречены (см. Аркуша А. Жаба // Communist.ru.2005. 24 ноября: (<http://www.comunist.ru/root/archive/discussion/jaba>)). С этой средой связана и часть массовой интеллигенции (врачи и учителя), которая изначально была ориентирована не на обслуживание элиты, а на обслуживание рабочего класса по «повышенному стандарту», заданному советской системой ценностей. Этот стандарт уходит в прошлое, оказывается «избыточным» с точки зрения нового рынка труда, а потому и интеллигенция чахнет. Этот весьма остроумный анализ, однако, нуждается в корректировке. Историческая практика показывает, что подобный «внутренний» сектор экономики в периферийных странах может стагнировать десятилетиями, причем порождаемая им нищета является фактором, снижающим издержки экспортного производства. К тому же отношение к КПУ, как и к другим партиям, не может измеряться только соотношением между уровнем жизни до и после распада СССР. Оценка настоящего и прошлого происходит по целому ряду параметров, включая уровень политической свободы, масштабы коррупции, доступ к товарам, качество образования, жизненные шансы для себя и своих детей. Поэтому слабость КПУ состояла не в том, что ее массовая база обречена на исчезновение, а в том, что даже для этой социальной среды в новых условиях вопросы надо ставить

по-новому, в соответствии с потребностями и проблемами, существующими у нее в данный исторический момент. В этом плане ностальгия по советскому прошлому при всей ее идеологической привлекательности не может стать фактором политической мобилизации. И именно потому, как справедливо полагает Аркуша, и КПУ, и КПРФ представляют собой явления переходного периода.

511

Андрей Манчук в журнале «Против течения» цитирует газету «Рабочий класс», которая упрекает КПУ в попытке «отождествить капитализм с украинским национализмом, а коммунизм — с русским патриотизмом». При этом, продолжает Манчук, непонятно, откуда они взяли, будто «новая буржуазная Россия хоть чем-то лучше капиталистического Запада» (Против течения. 2005. № 2. С. 4).

512

«Цветовая» идентификация политических сил, воспроизводящая византийские традиции, крайне символична. Как и в средневековом Константинополе, партии выражали лишь интересы борющихся придворных группировок.

513

Альтернативы. 2005. № 1. С. 84.

514

Против течения. 2005. № 1. С. 5.

515

На пороге революции? М.: ИПРОГ, 2005. С. 13.

516

Новый понедельник. 25.07.2005. С. 3.

517

Новая волна. Февраль 2005.

518

Новый понедельник. 5.09.2005, № 14.

519

Новая волна. 2005, № 3. С. 5.

520

Новый понедельник. 8.08.2005.

521

The Moscow Times. 18–20.11.2005.

522

Новый понедельник. 1.06.2005, № 6.

523

См.: Украинская правда. 25.10.2005 (<http://main.pravda.com.ua/ru/news/2005/10/25/34022.htm>).

524

Либерализм, социал-демократизм, коммунизм. Академическая дискуссия / Под ред. А.В. Бузгалина и М.И. Воейкова. М.: ЛЕНАНД, 2005. С.163.

525

Бумбараш-2017. 2005. № 5.

526

Подробнее см.: Кагарлицкий Б. Управляемая демократия. Екатеринбург: Ультра. Культура, 2005.

527

Эксперт. 2005. № 42. С. 78.

528

Более подробный анализ политических и социально-экономических раскладов в России начала 2000-х годов см.: Кагарлицкий Б. Управляемая демократия.

529

За Родину! 24.11.2005.

530

Москва — наша Родина. Московская программа партии «Родина». М., 2005. С. 14.

531

В этом плане трудовая миграция «нелегалов» совершенно не похожа на легальную миграцию с Востока на Запад в рамках континента. В первом случае речь идет о мигрантах, которые занимают дешевые рабочие места, пустующие из-за нежелания избалованного столичного населения делать черную работу за нищенские деньги. Во втором случае речь идет, в соответствии с директивами Евросоюза, о передаче легальных рабочих мест и функций иностранцам, которым по закону положено платить 15–30 % от той же зарплаты, которую предприниматель обязан платить своим соотечественникам.

532

После этнических волнений в Кондопоге российские власти, пойдя навстречу давлению ультраправых, ограничили использование труда иммигрантов на рынках. Однако к снижению цен это не привело. Начались только перебои в работе торговых точек.

533

О том, как на самом деле либералы относятся к расизму и ксенофобии, можно судить по теоретическим высказываниям, например, авторов журнала «Pro et Contra» Л. Гудкова и Б. Дубина: «Ксенофобия в принципе неустранима, поскольку порождающие ее элементы играют крайне значимую роль в системах этнонациональной и социальной идентификации, а стало быть, в поддержании социального порядка» (Pro et Contra. Сентябрь — октябрь 2005. С. 12). Иными словами, национализм, расизм и ксенофобия необходимы, чтобы, стравливая трудящихся между собой, поддерживать равновесие буржуазной системы эксплуатации. Надо только контролировать «эксцессы» и не доводить дело до прямой фашистской диктатуры. Все же править должны не дикари и погромщики, а цивилизованные буржуа.

534

«Неофициальный союз ДПНИ и КПРФ получил благословение со стороны отдельных лидеров компартии отнюдь не сегодня. И, скорее всего, его негласным вдохновителем стал нынешний идеолог и наиболее вероятный претендент на место Зюганова — зампред генсека Иван Мельников», — писал журналист сайта «Правда. Ру» накануне первомайского марша (<http://www.pravda.ru/politics/parties/82969-0/>). Кажущийся парадокс состоит в том, что именно Мельников считался в партии проводником «либерального» влияния. Однако с точки зрения политических

раскладов середины 2000-х годов ничего странного здесь не было. «Для тех, кто трезво смотрел на политику руководства КПРФ в течение последних лет, в данном факте не было ничего удивительного. Наши доблестные „коммунисты“ давно уже заменили диалектический материализм на всякую православную мишуру, а интернационализм на русский патриотизм, отдающий мелкобуржуазным смрадом... Не знаю, что уж такого полезного для русских сделало КПРФ за последние годы, только вот я заметил за собой, что тщательно стал избегать слова „Родина“, т. к. оно у меня теперь четко ассоциируется с капээрэфным „патриотизмом“», — читаем мы на сайте революционного комсомола (<http://www.rksmb.ru/get.php?980>).

535

См.: В. Колташов. Крах иллюзий и разрыв с КПРФ (<http://www.aglob.ru/analysis/?id=1485>).

536

Известия, 19.06.2006. См. также Ведомости, 19.06.2006.

537

Эксперт. 2005. № 42. С. 80.

538

Токарева Е. Записки рядового информационной войны. М.: Яуза, Пресском, 2005. С. 129.

539

Там же. С. 134.

540

КоммерсантЪ. 11.11.2005.

541

КоммерсантЪ. 11.11.2005.

542

Links. 2004. Nr. 25. P. 81.

543

В западной левой периодике эта история получила название «Ukrainian scam». Подробнее см. Weekly Worker. 11 09.2003. Nr. 495. В 2007 году на украинском сайте «Репортер» была опубликована разоблачительная статья против марксистской группы «Че Гевара», где ее обвиняли в получении «олигархических денег». При этом сами обвинители так и не смогли привести ни одного примера того, чтобы группа меняла свои позиции, дабы угодить спонсорам (что и является критерием продажности в политике). Показательно однако, что наибольшую активность среди критиков «Че Гевары» проявили некоторые бывшие фигуранты истории с Ukrainian scam.

544

Токарева Е. Указ. соч. С. 136.

545

Правда-info. Май 2005.

546

Клоцвог Ф.Н. Социализм: теория, опыт, перспективы. М.: URSS, 2005. С. 146.

547

См.: <http://www.aglob.ru/news/?id=270> 23.11.2005.

548

Вольный город. 21.10.2005.

549

Объединенная профсоюзная газета, октябрь 2005, № 1. С.2.

550

Новая волна. Декабрь 2005. № 3.

551

Вольный город. 21.10.2005.

552

Институт проблем глобализации (ИПРОГ) был основан экономистом Михаилом Делягиным, В 2002 году эта организация перешла в руки новой команды, во главе которой оказался автор данной книги вместе с Ильей Пономаревым. Задача нашего маленького коллектива состояла в том, чтобы превратить ИПРОГ в основной экспертный центр российского левого движения, однако с самого начала проект не ограничивался чисто аналитическими задачами: сотрудники института активно участвовали в политической деятельности. Это создало целый ряд проблем. Делягин, совершенно не разделявший подобный подход, сохранил статус учредителя ИПРОГа, однако после того, как он вступил в партию «Родина», отношения с ним постепенно прекратились. Политизация института привела к тому, что все перипетии развития левого движения в России стали отражаться на его судьбе. В 2006 году в составе института произошел раскол. Михаил Делягин воссоздал ИПРОГ под своим руководством, а другая часть сотрудников зарегистрировала Институт глобализации и социальных движений (ИГСО).

553

Правда-info. Май 2005.

554

Объединенная профсоюзная газета, октябрь 2005, № 1.

555

Либерализм, социал-демократизм, коммунизм. С. 150.

556

Голос коммуниста. 2005. № 6.

557

Новый понедельник. 18.07.2005.

558

Там же.

559

Правда-info. Сентябрь-октябрь 2005.

560

Голос коммуниста. 2005. № 6.

561

Объединенная профсоюзная газета. 2005. № 1.

562

Правда-info. Сентябрь-октябрь 2005.

563

Объединенная профсоюзная газета. 2005. № 1.

564

Правда-info. Сентябрь-октябрь 2005.

565

В том, что объединительный процесс не удастся с первого раза, нет ничего странного. Речь идет о достаточно сложной реконфигурации политических сил, требующей не только поисков идеологического согласия и «отладки» организационных форм, но и массового переобучения, как актива, так и лидеров. Аналогичным примером является создание единого левого фронта в Англии. Сначала он формировался под вывеской «Социалистического Альянса», который в целом потерпел неудачу. Однако вскоре последовало второе издание единого фронта в форме «Respect Coalition», оказавшееся куда более успешным.

566

«На практике, — писал активист Левого фронта и член ЦК СКМ Василий Колташов, — такая стратегия проводилась ЛФ в течение всего минувшего года, завершившегося ее полным провалом. В ходе этого периода. Левый Фронт не обозначил с достаточной ясностью своих идейных позиций. Не порвав с националистами из КПРФ, он не стал политически самостоятельной силой. Ожидание, что симпатизирующие ему члены СКМ подготовятся к переходу в его ряды, без критики с нашей стороны предательского классового курса КПРФ, парализовало приток новых сторонников.

Достигнутые за лето 2005 года пропагандистские успехи не были развиты»

(<http://www.aglob.ru/analysis/?id=1485>).

567

Формально, поводом для начала раскола стало обнародование доклада «Штормовое предупреждение» (С. Жаворонков и А. Неживой под научным руководством Б. Кагарлицкого). В докладе ряд оппозиционных партий, включая КПРФ, обвинялись в политической коррупции. Однако само по себе обнародование доклада, подготовленного задолго до этого, было уже отражением состоявшегося размежевания на тех в Левом фронте, кто цеплялся за КПРФ, и тех, кто отстаивал необходимость самостоятельной левой организации.

568

В этом отношении поучительной является политическая судьба Ильи Пономарева, действия которого в начале 2000-х годов явились своего рода катализатором перемен в Союзе коммунистической молодежи, да и вообще на левом фланге России. Подтолкнув многих своих сторонников к открытой критике руководства КПРФ, он сам не решился ни на разрыв с партией, ни на жесткое размежевание с либеральной оппозицией. В итоге, будучи одним из инициаторов процесса консолидации левых, он все больше вынужден был выступать противником перемен, которые сам же инициировал. В конце концов он отказался от активной общественной деятельности. Такова судьба всех левых политиков, которые не решаются в определенный исторический момент сделать принципиальный выбор. «Для умеренных мир с КПРФ, сохраняемый почти любой ценой, — условие выживания ЛФ, не открывающее, однако, условий для его развития», — констатировал Василий Колташов. Однако сохранение брэнда ценой потери политического лица неминуемо ведет любую организацию к гибели. И если «старте, проверенные» брэнды вроде той же социал-демократии или КПРФ могут держаться на плаву в течение некоторого времени, несмотря на

отсутствие каких-либо достижений, то для новичков подобная ситуация не оставляет никаких шансов.

569

«Дело не в организационной зрелости движения. Оно все еще остается крайне слабым и плохо оформленным — по сути ЛФ больше лозунг, чем даже реальная конфедерация. Дело в осознании необходимости политического созревания движения», — писал Колташов (<http://www.aglob.ru/analysis/?id=1562>).

570

Цит. по: <http://www.newsru.com/world/07jul2006/rada1.html>.

571

Эта человеколюбивая система получила название «Спрут». «Еще в 2005 году „Киевэнерго“ провело на Подоле показательные отключения квартир граждан, которые были объявлены „злостными неплательщиками“, — сообщает журналист Андрей Манчук. — Каждый из десяти районных жэков определил несколько квартир, в которые были запущены „Спруты“. В других, новых районах дело застопорилось — как выяснилось, провинциальный полтавский „Спрут“ мог двигаться только в прямом стояке диаметром не менее 25 мм, и поднимался только до девятого этажа. А потому в „Киевэнерго“ усовершенствовали устройство, создав собственный вариант „Спрута“, способного блокировать верхние квартиры даже в двадцатипятиэтажках. И передали его в серийное производство, чтобы изготовить, как минимум, двадцать экземпляров — для всех крупных жилмассивов столицы. Разовое отключение одного стояка с помощью этого коммунального монстра обходится в Киеве в тысячу гривен. Нелепый робот рыночной эпохи рентабелен лишь потому, что запугивает жильцов-должников — к чему и сводится его главное предназначение» (<http://www.comunist.ru/root/archive/routine/sprut.tarakan>). Та же статья в несколько иной версии была опубликована «Газетой по-киевски».

572

Профспілки України, 2007, № 3. С. 34.

573

Столичные новости, 3—10 апреля 2007, № 12 (449).

574

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. С. 12.

575

См.: Каутский К. Путь к власти: Политические очерки о вращении в революцию; Славяне и революция. М.: УРСС, 2006.

576

Славин Б.Ф. Социализм и Россия. С. 85.

577

Там же.

578

Примером марксистской критики югославской модели самоуправления может быть книга французского экономиста Катрин Самари, опубликованная в конце 1980-х годов, еще до того, как эта модель развалилась фактически: Samary C: Le marché contre l'autogestion — l'expérience yougoslave.

Paris: Publisud-La Brèche, 1988.

579

Подробнее об этом см.: Гэлбрейт Дж.-К. Новое индустриальное общество.

580

Bond P. Op. cit. P. 151.

581

Систематический анализ и критику брендов см.: Кляйн Н. No Logo. Люди против брендов. М.:
Добрая книга, 2005.

582

Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 27. С. 252.

583

Сталин И.В. Сочинения. Т. 4. С. 366.

584

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. С. 196.

585

International Herald Tribune. 29.09.2000. P. 6.

586

New Left Review. 2000. July-August 2000, New Series. № 4. P. 68.

587

Эту мысль высказал Алекс Каллиникос на конференции Marxism-2001 в Лондоне в июле 2001 года.